

# Русская литература

№ 3

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й   Ж У Р Н А Л

1986

*Журнал выходит с 1958 года*

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
<b>Н. А. Грознова.</b> Социалистический реализм. Некоторые актуальные вопросы изучения . . . . .	3
<b>Т. В. Савинкова.</b> Проблема нового героя в свете решений XXVII съезда КПСС и заветы Горького . . . . .	16
—	
<b>Д. С. Лихачев.</b> Строение литературы (к постановке вопроса) . . . . .	27
<b>Г. М. Фридлендер.</b> Пушкин и проблема народности литературы . . . . .	30
<b>А. А. Горелов.</b> Н. С. Лесков и Н. А. Некрасов . . . . .	55
<b>В. Ф. Соколова.</b> Русский роман 60—70-х годов XIX века и народознание . . . . .	71
<b>А. А. Шайкин.</b> Эпические герои и персонажи в «Повести временных лет» и способы их изображения . . . . .	89

## П О Л Е М И К А

<b>В. А. Ковалев.</b> О путях разработки проблемы периодизации истории советской литературы . . . . .	109
<b>Я. С. Лурье.</b> Возрождение домислов о сыне Соломонии Сабуровой и опричнине . . . . .	114

## П У Б Л И К А Ц И И   И   С О О Б Щ Е Н И Я

<b>С. А. Кибальник.</b> Из предыстории «Арзамаса» (послание А. Ф. Воейкова «Дашкову» и неизвестный стихотворный «Постскриптум» к нему В. А. Жуковского) . . . . .	120
<b>М. В. Разумовская.</b> К вопросу о некоторых литературных традициях в «Станционном смотрителе» . . . . .	124
<b>Т. И. Краснобородько, Л. П. Лобанова.</b> На пути к «Современнику» . . . . .	134

*(См. на обороте)*

Г. М. Дейч. Архивные документы о Пушкине . . . . .	143
В. Г. Березина. В. Г. Беллинский и «Слово о полку Игореве» . . . . .	147
Б. В. Мельгунов. Некрасов, Панаев — <i>Новый поэт</i> (к истории создания журнальной маски) . . . . .	153
М. Г. Китайник. «Единственный воспитатель» (из неопубликованных писем Ф. В. Гладкова) . . . . .	169
Т. В. Павлова. «Вера, или Нигилисты» — «русская» драма Оскара Уайльда . . . . .	171
О. В. Миллер. К вопросу о литературных реминисценциях в балладе Лермонтова «Три пальмы» . . . . .	181
М. Д. Эльзон. Неизвестная статья А. А. Фета . . . . .	183

#### ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

П. Е. Глинкин. Поэтика жанра в современных советских исследованиях . . . . .	185
А. Н. Севастьянов. Ошибки в изучении истории русской интеллигенции . . . . .	195
П. Р. Заборов. Полезный библиографический труд . . . . .	201
В. Н. Баскаков. Русская провинция в литературном процессе страны . . . . .	203
Э. Э. Найдич. Трилогия завершена . . . . .	208
А. Л. Ершов. Современная русская советская проза о деревне в освещении польской критики 1970—1980-х годов . . . . .	212

А. М. Панченко. Дмитрий Сергеевич Лихачев (к 80-летию со дня рождения) . . . . .	218
--	-----

Г. М. Фридлендер. Памяти Михаила Борисовича Храпченко . . . . .	223
---	-----

С. Н. Азбелев. Письмо в редакцию . . . . .	226
--	-----

А. А. Горелов. Постскрипtum к дискуссии об историзме былин . . . . .	228
--	-----

П. С. Выходцев. Ответ на «Реплику» . . . . .	235
--	-----

#### ХРОНИКА

М. В. Рождественская. Дни древнегрузинской литературы в Пушкинском Доме . . . . .	236
---	-----

С. А. Полозкова. Первые Грибоедовские чтения . . . . .	239
--	-----

О. Б. Алексеева. XXIII Некрасовская конференция . . . . .	244
---	-----

А. К. Михайлова. Научно-теоретическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова . . . . .	248
--	-----

От редакции . . . . .	252
-----------------------	-----

#### Редакционная коллегия:

*В. В. ТИМОФЕЕВА* (главный редактор),  
*П. С. ВЫХОДЦЕВ* (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ*,  
*Н. А. ГРОЗНОВА*, *Л. Ф. ЕРШОВ*, *А. Н. ИЕЗУИТОВ*, *В. А. КОВАЛЕВ*,  
*А. М. ПАНЧЕНКО*, *Ф. Я. ПРИЙМА*, *Г. М. ФРИДЛЕНДЕР*

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

*Журнал выходит 4 раза в год*

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1986 г.

## СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ

В последние годы о социалистическом реализме как творческом методе проведена не одна дискуссия, опубликовано большое число книг и статей. Достаточно назвать, например, такие монографические издания, как «Курс лекций по теории социалистического реализма» (1973), «Социалистический реализм сегодня. Проблемы и суждения» (1977), «Вопросы теории социалистического искусства. Проблемы социалистического реализма» (1980), статьи Д. Ф. Маркова «Системное единство социалистического реализма. Вопросы поэтики» («Вопросы литературы», 1983, № 1), Л. В. Поляковой «Споры о методе — спор о человеке: социалистический реализм и современность» («Вопросы литературы», 1984, № 4); «Круглый стол» — «Литературы социалистических стран: итоги, тенденции развития, задачи изучения» («Вопросы литературы», 1986, № 1) и ряд других публикаций.

С обстоятельными исследованиями по вопросам социалистического реализма выступили многие зарубежные филологи. В этом состоит одна из самых примечательных особенностей нынешнего этапа изучения социалистического реализма.

Институт научной информации по общественным наукам АН СССР и Международная информационная система по общественным наукам (МИСОН), выпустив в конце 70-х годов реферативные сборники «Проблемы современного творческого процесса в литературоведении зарубежных социалистических стран» (1977), «Проблемы социалистического реализма» (1978), «Социалистический реализм в зарубежном литературоведении» (1979), познакомили советскую литературоведческую общественность с широким кругом зарубежных материалов по этому вопросу.

Прямым продолжением таких публикаций стал сборник «Социалистический реализм за рубежом. Разработка проблем теории и практики» (1985). Вслед за широко известными работами Т. Павлова, Л. Штолла, П. Зарева, Вл. Достала, Г. Грзаловой, М. Заградки в Болгарии и Чехословакии недавно появились новые монографические исследования таких авторов, как В. Колевски («Социалистический реализм. Теория и творчество», 1985), Л. Червеняк («Социалистический реализм в дискуссии», 1983), В. Марчок («Социалистический реализм сегодня», 1985), в ГДР — коллективный труд «К теории социалистического реализма» (1974), сборник статей «Введение в социалистический реализм» (1975) и др.

Большинство зарубежных исследований широко демонстрируют опыт своих национальных литератур, раскрывают общее и особенное в социалистическом реализме применительно к историческим условиям развития искусства в той или иной стране. Последовательно эта тема раскрывается в монографии В. Колевски «Социалистический реализм. Теория и творчество». Изучение таких категорий, как эстетическая сущность социалистического реализма, литературные традиции, национальные особенности и др., автор проводит на постоянном сопоставлении советского и болгарского литературных процессов.

В статье «Социалистический реализм и мировой литературный процесс», которая открывает сборник «Социалистический реализм за рубежом. Разработка проблем теории и практики» (М., 1985), Е. Трущенко отмечает, что на протяжении последних лет происходит особенно заметное «расширение художественного диапазона социалистического реализма в масштабах современной всемирной литературы» и что «этому сопутствуют позитивные сдвиги и в теоретическом плане» (с. 3—4).

Хотя в общем виде современная историко-литературная ситуация вполне благоприятна, труднорешаемых проблем в этой области еще достаточно много. Их поставляет прежде всего сама жизнь социалистического искусства. Прошедшие десятилетия показывают, что проблемы, связанные с осмыслением новаторства социалистического реализма, особенностей его эстетических параметров, с признанием его гражданских прав, вспыхивают на каждом новом этапе литературного развития со все еще не ослабевающей силой. Более того, в истории социализма вопрос о социалистическом реализме оказался одним из тех вопросов, по которому вот уже на протяжении почти века идет принципиально важное размежевание не только литературных направлений. В области как строго научных, так и самых широких представлений именно о социалистическом реализме наблюдается особенно тесное переплетение политического, социального мышления тех или иных общественных групп. Сложные политические события во второй половине XX века в истории ряда государств (Венгрия, Чехословакия, Польша) если не начинались с дискуссии о социалистическом реализме, то, во всяком случае, с особой ожесточенностью скрещивались именно здесь. В такой борьбе, выигрывая политические сражения, социалистический реализм укрепляет свою идеологическую силу, обогащает свои эстетические ресурсы.

История советской литературы и литературы других народов показывает, что социалистический реализм как творческий метод обладает такой эффективностью социального воздействия, какой не достигал еще ни один из предшествовавших ему в искусстве творческих методов. (Нельзя при этом не отметить, что отсутствие разработанной теории воздействия литературы на общественное сознание, полное отсутствие систематических литературоведческих, социологических исследований на этот счет не позволяют до сих пор сформировать необходимые научные представления о конкретных путях воздействия социалистического искусства на общественное сознание личности, отдельных социальных групп той или иной эпохи в целом).

Коммунистические, рабочие партии в социалистических государствах рассматривают вопросы о творческом методе искусства в качестве составной части их общей политической борьбы. В 70-е годы эта проблема приобрела особенно активное звучание. Достаточно напомнить хотя бы деятельность Комиссии по вопросам культурной политики при ЦК Венгерской социалистической рабочей партии. Этой Комиссией в 1972 году при одобрении Политбюро ВСРП был подготовлен документ «Некоторые вопросы нашей литературной и художественной критики», в котором тщательно проанализирован с марксистских позиций литературный процесс в Венгрии, определены политические, эстетические задачи литературы; особое внимание уделено анализу различных течений и групп, существующих в венгерской критике.

В это же время в Будапеште появились и работы о социалистической культуре, о социалистическом реализме таких крупнейших литературоведов, как М. Сабольчи («Изменяющийся мир и социалистическая литература», 1973), Б. Кёпечи («Заметки о литературе социалистических стран Европы последних пятнадцати лет», 1972), Д. Золгаи («Социалистический реализм: теория и практика», 1975). Нельзя не назвать при этом и книгу Л. Фаркаша «Экзистенциализм, структурализм и фальси-

фикация марксизма» (1972; русский перевод — 1977). Хотя здесь социалистический реализм и не является предметом специального исследования, эта книга самым непосредственным образом участвует в развитии его теории, так как в ней с научных позиций вскрыт истинный смысл фальсификации марксизма, подменена его идеализмом в том буржуазном искусстве, которое всячески стремится скомпрометировать социалистический реализм в послевоенном мире и присвоить себе право говорить в искусстве от имени марксизма.

Большую роль в осмыслении социалистического реализма на современном этапе его развития играет и деятельность Социалистической Единой партии Германии. В 70-е годы на партийных форумах, которые предшествовали только что состоявшемуся XI съезду СЕПГ, руководством партии был подготовлен и принят на Пленумах ЦК СЕПГ в 1972, 1973, 1975 годах целый ряд документов по вопросам развития искусства, литературы в социалистической Германии. В партийных материалах СЕПГ, поднимающих вопросы социалистического реализма, получают оценку самые разные стороны литературных явлений, вплоть до проблемы положительного героя и теории бесконфликтности.<sup>1</sup> Особое внимание уделено теоретическим, методологическим проблемам (понятие культуры, классовости искусства и т. д.). Подобная картина открывается также в деятельности других социалистических и рабочих партий.

На XXVII съезде Коммунистической партии Советского Союза, следуя ленинской традиции, к вопросам развития искусства, литературы вновь было привлечено большое внимание. Литература характеризуется как важнейшая сфера духовной жизни общества. И потому ее развитие связано в документах съезда со всеми проблемами общественного движения.

Ни перед каким из существовавших ранее творческих методов не стояли, пожалуй, столь ответственные задачи в познании, в осмыслении человеческой жизни на земле. Никогда еще эти задачи не были столь трудны, потому что теперь человечество знает не только прекрасные начала, горделивые взлеты и мучительные заблуждения в своей истории. Оно впервые увидело и приблизившиеся на расстоянии человеческого взора возможные трагические концы своего существования в мироздании (атомные катастрофы, космические войны, разрушение среды жизнеобитания на планете и т. п.). Перед искусством социалистического реализма стоит особый вопрос: как раскрыть перед человечеством знание об этих «концах» и одновременно как высветить ярче, чем когда бы то ни было, идеи оптимизма, как защитить нравственные силы земли от возможного разрушения. «Никогда еще политическая обстановка не была столь тревожной для человечества, как сегодня», — сказал академик Е. Велихов, но «при всей сложности и противоречивости сегодняшней ситуации движение человечества к жизни счастливой и свободной — в высшем смысле этих слов — неодолимо».<sup>2</sup>

Развернутая в Политическом докладе ЦК концепция общемирового развития имеет самое непосредственное отношение к проблемам развития искусства социалистического реализма на современном этапе. Следует подчеркнуть, что впервые именно на XXVII съезде КПСС идеи социализма получили преломление в масштабах вселенской жизни: «Неукротимый поток истории уже устремился к перекату между вторым и третьим тысячелетием. Что дальше там, за этим перекатом? Не станем прощцать... В нынешний тревожный век наша социальная и... жизненная

<sup>1</sup> См. об этом: *Александров Д. Б.* Политика СЕПГ в области культуры, литературы и искусства в период между VIII и IX съездами партии (1971—1976). — В кн.: *Проблемы современного творческого процесса в литературоведении зарубежных социалистических стран.* М., 1977, с. 44—90. (Ин-т науч. информации по обществ. наукам АН, СССР).

<sup>2</sup> *Велихов Е.* Проблема планетарного значения. — *Коммунист*, 1986, № 8, с. 97.

стратегия нацелена на то, чтобы люди берегли планету, небесное и космическое пространство, осваивали его как новоселы *мирной* цивилизации, очистив жизнь от ядерных кошмаров и до конца раскрепостив для целей созидания, и только созидания, все лучшие качества такого уникального обитателя Вселенной, как Человек».<sup>3</sup>

Эта заключительная часть Политического доклада насыщена волнующими символами: «неукротимый поток истории уже устремился к перекату между вторым и третьим тысячелетием», «тревожный век», «новоселы мирной цивилизации», «уникальный обитатель Вселенной» и др. Такая символика помогает еще ярче прозвучать одной из главных политических идей съезда: именно социализм перед всем мирозданием берет на себя ответственность за судьбу человека и человечества как уникальных явлений природы.

Основы учения о социализме, о человеке и его взаимоотношениях с обществом, с природой при социализме были заложены в трудах классиков марксизма, но, пожалуй, впервые в наше время это учение становится последовательной политической программой социалистического государства: «Социализм с его плановой организацией производства и гуманистическим мировоззрением способен внести гармонию во взаимоотношения между обществом и природой».<sup>4</sup>

Социалистическая система берет на себя ответственность не просто за само по себе благоустройство человека на земле (что было первоочередной целью на всех предыдущих этапах социалистического строительства), но ответственность перед всей мировой жизнью за человека как за одну из вершин в многомиллионной эволюции природы. Вместе с этим та же ответственность возлагается и на каждую личность. Не самоценность ее важна сама по себе. Ее деяния необходимо расценивать с точки зрения меры ее служения многотрудной борьбе всего человечества за продолжение жизни во Вселенной. Это опрокидывает любого рода эгоцентрические побуждения личности, ее потребительские настроения, касаются ли они конкретных социальных целей, которые ставит себе человек на земле, или философского осмысления им собственного существования, собственного предназначения. Вселенские масштабы при этом не могут и не должны подавлять своей гигантской мощью частную жизнь. Наоборот, в каждой человеческой судьбе они сказываются как единственно возможное в каждом случае преломление вселенских закономерностей. От этого сокровенность, неповторимость каждого человеческого существования становится еще более значимой величиной.

Все более масштабной становится и классовая борьба пролетариата на планете в целом. Возглавив общественное движение за создание таких социально-экономических условий для всех народов земли, которые бы привели к гармоническому развитию каждой личности, к расцвету ее духовных и физических возможностей, пролетариат тем самым помогает наиболее полно раскрыться тем природным силам Вселенной, которые участвуют в созидании человеческого рода.

Социально-политические тезисы съезда партии об ускорении экономического развития нашего общества, о проведении в жизнь активной социальной политики имеют ярко выраженную философскую направленность.

Такой ракурс политического мышления оказывает большое воздействие на нынешнее состояние непосредственно гуманистических воззрений. По-видимому, под этим углом зрения развернутся в ближайшей пер-

<sup>3</sup> Горбачев М. С. Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза, 25 февраля 1986 года. М., 1986, с. 124.

<sup>4</sup> Там же, с. 63.

спективе и нравственные искания советской литературы. Концепция личности в искусстве социалистического реализма в связи с этим должна все полнее, все активнее обогащаться представлениями о всей совокупности социальных, исторических, природных воздействий, которые испытывает человек любой эпохи. Литература должна приобрести способность познавать сложное взаимопроникновение в каждом индивидуе наследственных черт и качеств, приобретенных под воздействием меняющегося окружающего мира. От осмысления подобных проблем зависит сегодня углубление принципа историзма в искусстве социалистического реализма.

Как становится видно теперь, все более нужной, важной для социалистического реализма как творческого метода предстает сегодня одна из философских, натурфилософских идей Л. Леонова: «...число обстоятельств, которыми человек привинчен к Земле, безгранично. Человек — создание Земли, производное всей жизни планеты. Он сотворен из таких координат, о существовании которых мы даже не подозреваем и которые будут открыты, может, через тысячелетия».<sup>5</sup>

Вооруженная опытом научного познания мира, литература социалистического реализма должна уметь еще более прозорливо, чем это делали все художники прошлого, исследовать пути нравственного усовершенствования человека и помогать ему осиливать эти пути.

Ход истории показывает, что все увеличивающаяся ответственность личности за происходящее на земле не обессиливает ее, а только еще больше возвышает духовные, нравственные ее возможности. Будучи наделен разумом, человек обязан каждодневным своим существованием все активнее приобщаться к созданию земных ценностей, которые предстают сегодня не иначе как ценности всей Вселенной. Такой ракурс гуманистических исканий активнее противостоит тем многочисленным буржуазным концепциям, с помощью которых капиталистический строй предпринимает агрессивные попытки внедрить в сознание современного человека идеи о том, что он теряет «самостоятельность мышления и действия», что люди превращаются «из типов, внутренне управляемых, в типы, управляемые другими», что человеческая личность является только «расчитателем естественной и общественной среды, культурных ценностей», что она действует «в условиях страха и ужаса под влиянием различных синдромов, прежде всего синдрома смерти».<sup>6</sup>

Постигая основы человеческого бытия с философских позиций, советская литература в последние годы, особенно в преддверии XXVII съезда партии, уже не раз делала попытки выйти к параметрам именно вселенской жизни. И ей удавалось в этих случаях осмыслить хрупкую судьбу человека как результат приложения гигантских сил мироздания. На перекрестке этих исканий осуществляется активное обогащение и гуманистических, и эстетических возможностей социалистического реализма. Об этом особенно ярко говорят, например, такие произведения, как «Буранный полустанок» Ч. Айтматова, «Прощание с Матерой» В. Распутина, как фрагменты «Мироздания по Дымкову» (две редакции) и «Последняя прогулка» из нового романа Л. Леонова, роман С. Залыгина «После бури» и др.

Характерно, что на расширенном заседании секретариата Союза писателей РСФСР (5 июня 1986 года в Ленинграде), посвященному теме «Социально-экономическое развитие — экология — литература», не раз

<sup>5</sup> Вопросы литературы, 1966, № 6, с. 98.

<sup>6</sup> *Нетопилик Я.* Критика буржуазных спекуляций о положении личности в социалистическом обществе. — В кн.: Социализм и личность: Совместное издание издательств «Мысль» (Москва); «Наука и искусство» (София); «Космус» (Будапешт); «Дитц» (Берлин); «Ксеяжна и ведза» (Варшава); «Свобода» (Прага). М., 1979, с. 340, 356.

шла речь о все громче заявляющей о себе в наши дни «потребности человечества в некоей нравственной экспертизе своих планов и свершений»,<sup>7</sup> после того как человеческому взору, человеческому вторжению стали доступны могучие и в то же время легко ранимые законы вселенского бытия. «Метод проб и ошибок, на основе которого человечество веками строило свои взаимоотношения с природой, — подчеркивалось в докладе С. П. Залыгина, прочитанном на этом секретариате, — сегодня неприемлем — мы стали слишком сильны, а ошибка сильного может привести к необратимым последствиям».<sup>8</sup>

В осмыслении столь сложных нравственных, научных проблем искусство социалистического реализма раскрыло в настоящее время свои новые творческие возможности.

Историкам социалистического реализма еще предстоит уяснить с позиций, так сказать, верховных, общечеловеческих ценностей ту роль, которую играют сегодня именно советские писатели, вставшие на защиту глобальных масштабов бытия. Пожалуй, не было еще в нашей истории другого такого периода, когда бы литература выступила на столь равных — и, можно даже сказать, преимущественных с точки зрения социального воздействия на общество, — правах с наукой в вопросах постижения общественных и экологических закономерностей земной жизни. Здесь особенно ярко раскрылась оснащенность социалистического реализма как творческого метода научными способами познания действительности, родство социалистического реализма с научным мышлением.

Одно из наиболее ярких в литературе социалистического реализма парений философской, научной мысли являет собой «Мироздание по Дымкову» Л. Леонова. Этот фрагмент романа дает основание говорить об уникальном событии в истории нашей литературы: впервые художник «вышел в открытый космос» как ученый. Леонов раздвинул границы художественного мышления. Для того чтобы понять место человека в «первичном иероглифе замысла»<sup>9</sup> вселенской жизни, писателю оказалось необходимо вторгнуться даже в область научных космогонических построений. Леонов в «Мироздании по Дымкову» предложил самостоятельную, покоящуюся на безупречном употреблении законов, формул астрофизики научную концепцию возникновения и течения жизни в космическом пространстве, которую он называет «инженерной схемой мироздания», «вселенской архитектурой».<sup>10</sup> Такого рода материал является не просто одной из граней многоликого повествования романа, но главным фокусом его сюжета, стержнем мировоззренческих исканий писателя и — что, может быть, особенно важно отметить — тем зерном, которое дает жизнь гармонии художественного мира Леонова, питает утверждаемые этим романом представления о прекрасном. С помощью своей космогонической концепции автор «Мироздания по Дымкову», «Последней прогулки» как бы проделал за человечество те тревожные маршруты в Большой Вселенной, которые стоят сегодня перед человеческой жизнью.

Леоновская космогония, как и философская концепция С. Залыгина, положенная в основу романа «После бури», показывают, насколько мобилен социалистический реализм как творческий метод, насколько активны происходящие в нем жизнетворные процессы, как он осваивает все новые области художественности. Мы стоим сегодня, по-видимому, перед выводом о том, что без оригинальных догадок, без самостоятельных философских концепций на основе марксистского мировоззрения современное

<sup>7</sup> Фояков И. На своей единственной земле: Заметки с расширенного заседания секретариата Союза писателей РСФСР. — Лен. правда, 1986, 7 июня, с. 3.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Леонов Л. Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1984, т. 10, с. 564.

<sup>10</sup> Там же, с. 562.



художественное мышление вряд ли сможет наращивать свою творческую силу.

Из-за многих причин исторического, теоретического порядка сложилось так, что творческий метод социалистического искусства в существующих научных определениях предстает как такая эстетическая система, в которой словно бы не предусматривается право художника на оригинальные мировоззренческие искания, философские построения, самостоятельное философское постижение мира. Потому-то и не существует в нашем литературоведении ни опыта, ни научного инструментария, ни школы, ни традиции, ни, наконец, систематических знаний, для того чтобы развертывать изучение этих вопросов.

Документы XXVII съезда КПСС обязывают науку о социалистическом реализме решительным образом перестраиваться. Литературоведческой мыслью должна быть взята на вооружение прежде всего та целостная концепция общественно-исторического развития, которая получила последовательное изложение в Политическом докладе ЦК, в Программе партии (Новая редакция). На съезде сформулировано положение о том, что «научный анализ объективных противоречий социалистического общества, выработка обоснованных рекомендаций по их разрешению, надежных экономических и социальных прогнозов — неотложная задача общественных наук на современном этапе развития».<sup>11</sup>

Мысль о незатухающей противоречивости, об исторической сложности действительности пронизывает все основные положения документов съезда. Одной из важнейших политических установок стало требование не допустить, чтобы наше общественное сознание приспособилось к сколько-нибудь упрощенному, облегченному восприятию реальностей окружающего мира. Отсюда и вывод: «строить политику на таком анализе социальной действительности, который последовательно и без каких-либо изъятий ориентируется марксизмом, а не просто декларирует марксистские истины».<sup>12</sup> Стремление политической логики видеть всю полноту общественно-исторических условий, в которых осуществляется социалистическое строительство («Марксизм-ленинизм... указывает путь к научному изучению общественного развития как единого, закономерного во всей громадной разносторонности и противоречивости процесса...»),<sup>13</sup> стремление улавливать взаимодействие больших и малых явлений в социальном развитии и их неразъятость порождает, с одной стороны, мобильную концептуальность в оценке социальных явлений, а с другой — политическую, научную бережливость, осторожность в обращении с реалиями многоликими, находящимися в движении. В документах съезда подчеркнуты многообразие социально-политических процессов, их диалектическая подвижность: «Именно так, через борьбу противоположностей, трудно, в известной мере как бы на ощупь, складывается противоречивый, но взаимозависимый, во многом целостный мир».<sup>14</sup> Непривычны, на первый взгляд, для политического документа стилистические обороты этого текста: «трудно», «как бы на ощупь», «во многом целостный» и т. п. Но именно они, осуществляя тонкую нюансировку явлений, помогают передать как сложность движения современного социального мира, так и необратимую поступательность этого движения. Для изучения литературы социалистического реализма этот методологический урок означает многое.

<sup>11</sup> Программа Коммунистической партии Советского Союза: Новая редакция. — Коммунист, 1986, № 4, с. 137.

<sup>12</sup> Крестогурьян Н. Единство теории и политики. XXVII съезд КПСС: Стратегия ускорения. — Правда, 1986, 18 апр., с. 2.

<sup>13</sup> Горбачев М. С. Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза, с. 107.

<sup>14</sup> Там же, с. 25.

К сожалению, сегодня в работах о социалистическом реализме не всегда наблюдается подобное отношение к литературе, к литературному процессу. Так или иначе все еще часто присутствует упрощение литературных явлений. Для уяснения в связи с этим некоторых основ теории социалистического реализма сегодня необходимо вспомнить один из главных тезисов М. Горького из «Истории русской литературы» (1907—1909), который, как хорошо видно, корреспондирует с сегодняшней необходимостью уметь осмыслить сложные процессы, происходящие в исторической действительности.

«Историю русской литературы» принято чаще рассматривать сквозь призму тех многих субъективных и даже ошибочных суждений, которые допустил здесь писатель в отношении некоторых историко-литературных фактов (оценка отдельных сторон творчества Радищева, Гоголя, Чернышевского и др.). Но, по-видимому, настало время перечитать заново многие страницы горьковской творческой биографии. Во всяком случае, «История русской литературы» дает для этого немало оснований. И дело не только в том, что в этой книге огромное количество поразительных по своей глубине наблюдений над творчеством по сути всех крупнейших писателей России XVIII—XIX веков. (Буквально напрашиваются, например, яркие сопоставления горьковских рассуждений о Л. Толстом со статьями В. И. Ленина об этом художнике или концепции Горького о двух линиях в русской дореволюционной литературе с ленинской концепцией двух культур и др.).

Обширное историко-литературное исследование, проведенное писателем в его «Истории русской литературы», можно считать и чуть ли не первым горьковским манифестом социалистического реализма. По неоспорительности, видимо, ни историки литературы, ни теоретики социалистического реализма не изучали еще с достаточной пристальностью те многие идеи Горького, изложенные в этой работе, которые и легли впоследствии в его концепцию социалистического реализма.

Сформулировав здесь не одно классическое определение, прежде всего социального, классового предназначения литературного искусства («Литература... является наиболее чутким и верным отображением междуклассовых отношений...»; «...литература... является... наиболее распространенным, удобным, простым и победоносным способом пропаганды классовых тенденций»<sup>15</sup> и др.), Горький неистово внушал литературе будущего, что она не должна никогда изменять правде жизни, исповедовать объективность, широту идейно-эстетических воззрений. Анализируя особенности русского литературного процесса XVIII—XIX веков, он постоянно подчеркивал, что «русская литература особенно поучительна, особенно ценна широтой своей» (с. 4), что «романист всегда шире своих тенденций» (с. 2). Он восхищался английской литературой XVIII века за то, что она «принесла с собою» красоту «слова, языка — его точность, музыкальность, его умение формулировать тончайшую игру психики — это была красота действительности, с которой никогда не сравнится фантазия, это была красота будничного дня...» (с. 39). В рассуждениях Горького присутствует такой поворот мысли, который оказывается в общем-то труднодоступным для нынешнего состояния теории социалистического реализма: широту, объективность воссоздания действительности автор романа «Мать» рассматривал как главное условие наиболее глубокого выражения искусства непосредственно классовых, именно классовых тенденций, как главный путь обогащения творческого сознания художника. Он писал, что в России «тем более подчинялись политике литераторы как люди широких обобщений, как наиболее чутко восприни-

<sup>15</sup> Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 1. (Архив А. М. Горького, т. 1). Далее ссылки на это издание — в тексте.

мающие; объективно мыслящий мозг — вот причина, почему русская литература, вплоть до наших дней, стояла в теснейшей связи с революционными течениями» (с. 86). Может быть, потому теоретики социалистического реализма и не обращались, в частности, к этой горьковской работе, что присущая ей в ней диалектика мысли плохо увязывалась с теми или иными упрощенными установками, которые в избыточном количестве появлялись на всех этапах становления теории социалистического реализма. Политическая, классовая определенность художественного произведения в наших работах реже всего ставилась в непосредственную связь с мерой именно полноты, многообразия воссоздания жизни. В то время как только это и может позволить уловить динамику общественного развития, диалектику различных жизненных тенденций, запечатлеть ту полноту жизни, в которой всегда таится прошлое и истоки будущего.

При этом надо иметь в виду, что Горький, проявляя удивительную зрелость историко-литературного, идеологического мышления, стремился одновременно увести литературу и от опасности объективизма, ползучей описательности. Он замечал, анализируя явление классовости в искусстве: «...мы, однако, должны помнить, что враг наш (идейный противник, — Н. Г.) — хитер и часто бывает, что его объективизм, ценный для нас, — является только ловким прикрытием классовой тенденции. Форты покрыты дерном — ах, как красив пригорок!» (с. 3).

Если говорить о тенденциях в теоретическом изучении социалистического реализма, то в общем виде сегодняшняя ситуация выглядит примерно такой. В одной стороне — те точки зрения, где наблюдается воцарение концепции, согласно которой социалистический реализм является «открытой системой». При такой трактовке литература социалистического реализма вроде бы находится в некоем непрекращающемся диффузном состоянии от воздействия разного рода влияний, вторжений, соприкосновений с другими литературными явлениями. А в другой стороне — работы, в которых совершается столь же постоянное, под разными предлогами, прямое или косвенное «усекование» и творческих возможностей, и творческих достижений социалистического реализма.

Для первого рода выступлений характерны суждения, например, следующего типа: «...в отдельных произведениях, появившихся за последнее время, нет в чистом виде того реализма, который критики привыкли считать реализмом, а есть нечто необычное, неожиданное, сильное, самобытное, расширяющее наши представления о границах и возможностях современного социалистического искусства».<sup>16</sup> Или: «Развитие литературы социалистического реализма во всем мире свидетельствует, что традиционное, предметно-аналитическое изображение не может быть привилегированной формой субъективного отражения объективного мира, и ему нельзя отдавать предпочтение по сравнению с романтическими, условными, гротескными, фантастическими и другими стилями».<sup>17</sup>

В выступлениях другой группы авторов чаще всего социалистическое искусство сводится к простейшему отображению реальной действительности, и потому здесь вполне удовлетворяются примитивными художественными формами: «Прежде всего новое в искусстве — это новое в жизни... Художественное открытие включает в себя непосредственные признаки современной ему действительности, ее зримые, отчетливые, „узнаваемые“ черты... Задача художника — отбор фактов, знаменующих новое... Рассказать о них — это рассказать о новом».<sup>18</sup> При всем призна-

<sup>16</sup> Социалистический реализм сегодня: Проблемы и суждения. М., 1977, с. 61.

<sup>17</sup> Там же, с. 295.

<sup>18</sup> Вопросы теории социалистического искусства: Проблемы социалистического реализма. М., 1980, с. 303.

нии приоритета социального мышления в художественном творчестве, все же недопустимо таким упрощенным образом толковать пути к новаторству в искусстве социалистического реализма.

Но дело-то в том, что по сути своей на таком же упрощении строят свои концепции и сторонники «открытой системы». В их выступлениях так или иначе, но провозглашаются некие ограничительные рамки для социалистического реализма: «наше представление о границах... социалистического искусства», «традиционное, предметно-аналитическое изображение», реализм «в чистом виде». Происходит приращение тех или иных новшеств не иначе как к примитивному началу в искусстве. Только таким обстоятельством можно объяснить, например, и настойчиво внедряемый критикой в последние годы тезис о появившемся будто бы наконец «интеллектуализме» в советской прозе: «Не так давно прозвучало не лишнее резона заявление, что „интеллектуализм стал одним из течений внутри социалистического реализма“». <sup>19</sup> Невольно возникает вопрос: разве все то, что лежит за рамками так называемого «интеллектуализма», лишено самостоятельного интеллектуального значения? Кстати, в той же «Истории русской литературы» Горький писал о том, что сам художественный образ это есть не что иное, как «экономнейший способ организации мысли» (с. 4).

Не менее уязвимые положения были сформулированы и в принципиально важной статье А. Оганова «Ленинская теория отражения и искусство социалистического реализма». Напомнив читателю совершенно верный тезис о том, что «недооценивать объективную действительность как источник уникальности художественных произведений никак нельзя», <sup>20</sup> автор этой работы вместе с тем в целом ряде ключевых вопросов допускает электические, на наш взгляд, суждения. Так, например, в статье появляется формулировка, упрощенно толкующая понятие прогресса в искусстве: «неуклонно прогрессирующая (?) художественная культура развитого социалистического общества». <sup>21</sup> Или: поставив в один ряд психологический анализ, социологический метод, семиотический, ценностный подход в изучении произведений искусства, А. Оганов делает вывод о том, что «ни один из них (названных методов, — Н. Г.) не гарантирует удовлетворительного (?) объяснения познавательной и образной природы художественного творчества...», <sup>22</sup> т. е. теория отражения в таких случаях начинает как бы терять под собой почву.

Примеры упрощенных трактовок литературы социалистического реализма и вопросов, связанных с ее изучением, можно достаточно легко множить.

Среди причин, допускающих (даже в авторитетных, фундаментальных изданиях) подобные издержки, существует, на наш взгляд, та, которая сегодня оказывает самое сильное негативное влияние на разработку и теоретических, и историко-литературных вопросов социалистического реализма. Это отсутствие научно разработанной целостной теории литературной преемственности, особенно применительно к литературе социалистического реализма, в непосредственном контакте с которой находится и теория новаторства социалистического реализма.

Наблюдения над преемственными связями группируются в основном по двум направлениям: выяснение разрозненных перекличек между отдельными литературными явлениями и суммарное накопление фактов, говорящих о преемственном течении литературного процесса в общем виде (как реки втекают в море). При всей ценности добываемых в этих случаях сведений, все же остается непроясненным самый механизм пре-

<sup>19</sup> Социалистический реализм сегодня, с. 179.

<sup>20</sup> Коммунист, 1984, № 12, с. 60.

<sup>21</sup> Там же, с. 57.

<sup>22</sup> Там же, с. 58.

емственности во всей его сложной иерархии и разных и однородных, и разнонаправленных процессов.

Еще не предпринимались с этой точки зрения сколько-нибудь обстоятельные исследования даже начального этапа советской литературы — периода Октябрьской революции. Сейчас, когда стали хорошо видны становые линии развития советской литературы, пришедшей спустя всего десять лет после революции к классике мирового звучания («Тихий Дон», «Жизнь Клыма Самгина» и др.), наконец можно рассмотреть, как сохранялось в те годы сражений основное русло национального развития в русской литературе, которое так быстро привело к появлению столь высоких новаторских достижений социалистического реализма. Не изучена в связи с этим та «питательная» среда, благодаря которой обеспечивалась жизнеспособность социалистического реализма как творческого метода на самом начальном этапе его становления.

Из-за отсутствия в науке о социалистическом реализме последовательной теории преемственности до сих пор не установлены и истинные ценностные критерии для выявления художественных достижений этого метода. Отсчет завоеваниям социалистического реализма ведется, как правило, от явлений, которые находились на обочине литературного развития, были его издержками — пролеткультовская проза, декларации многочисленных группировок и др. В то время как достижения нового метода могут быть выявлены лишь в сравнении с теми вершинами, которые были уже представлены в творчестве выдающихся предшественников — Тургенева, Достоевского, Некрасова. Только это условие может исключить возможность появления сомнительных версий об «интеллектуализме», как будто бы некоем новшестве социалистического реализма, или радостных извещений о появлении чего-либо самобытного в литературе социалистического реализма, отличного от «традиционного (?) предметно-аналитического изображения». Традиционного по сравнению с чем? Традиционного в каком смысле?

Иначе искусство социалистического реализма оказывается без корней, без жизненно важных традиций. Мы сумели только отыскать некоторые нити его истоков в предреволюционной поре (высказывания отдельных писателей о назревающих переменах в литературном процессе, появление романа Горького «Мать» и др.).

Но понять генезис социалистического реализма, в частности в русской литературе, можно лишь в том случае, если мы сумеем, наконец, литературу социалистического реализма — при всех ее новаторских взлетах! — увидеть как прямое продолжение идейно-эстетических исканий всей русской классической литературы, причем в ее наиболее высоких достижениях.

Русская литература выступала на протяжении всего исторического пути страны самым активным и верным помощником революционного движения. Ей принадлежала особая роль в приближении Октябрьской революции, в осмыслении нравственных идеалов социалистической революции. И историкам советской литературы предстоит еще тщательным образом изучить факты, которые со всей обстоятельностью объяснят, в силу каких объективных и субъективных причин так ожесточенно в литературной жизни 20—30-х годов возводилась неприступная стена между этим классическим наследием и социалистическим искусством. Открывающиеся даже при первых разысканиях историко-литературные материалы (неопубликованные произведения, забытые публикации в периодике, дневники, переписка литераторов и др.) говорят о том, что нынешнее литературоведение стоит, видимо, на пороге существенного пересмотра многих из тех литературных, общественных явлений, которые лежали у истоков социалистического реализма и которые определяли его дальнейшее развитие.

Литературный процесс как непрерывающееся осуществление преемственности — только такое понимание вещей и позволит увидеть истинные перспективы социалистического реализма как новаторского творческого метода, его общечеловеческие ценности, его достижения и утраты.

А пока сегодня можно констатировать лишь то, что вопрос о возникновении социалистического реализма, о начальном этапе советской литературы (как первопроходца в искусстве социалистического реализма) исчерпывается метафорой, приблизительно такого содержания: «Эволюционное развитие традиции... сменяется революционным скачком, взрывом», который засыпает глубинную сущность традиций. Это испытание на прочность. Если испытание выдерживается, то традиции «из-под многовековой золы снова вспыхивают и представляют не только археологическую, музейную ценность, но новую жизнь».<sup>23</sup> Хотя это сказано по поводу совсем другой литературной эпохи, но сам ход рассуждений, символы «пепла» и «обломков» являются общераспространенными, они неизменно присутствуют и в подавляющем большинстве концепций о возникновении литературы социалистического реализма, заслоняя истинную суть многих литературных явлений.

Вне глубокой разработки теории литературной преемственности стали возможными и столь затянувшиеся споры вокруг концепции о социалистическом реализме как «открытой системе». Одним из основных в этой концепции является тезис: «Социалистический реализм относится к критическому реализму как к великому наследию, опирается на его богатый опыт; он использует также и опыт романтизма и других прогрессивных течений. Но все они, входя в новую эстетическую систему, теряют черты методов, сохраняя в то же время присущие им формы и типы художественных обобщений, которые вместе с вновь возникающими формами становятся компонентами поэтики социалистического реализма, способствуют расширению его художественного многообразия, осуществляемого на основе принципа правдивости изображения жизни».<sup>24</sup> Важно здесь заметить, что идея «открытости» социалистического реализма по отношению к предшествующим завоеваниям искусства является не чем иным как самым общим принципом преемственности в литературном развитии вообще. Каждый новый творческий метод так или иначе наследует, использует все то ценное для себя, что было добыто предшественниками. Это общие процессы освоения мира искусством, общие принципы гносеологии вообще. Здесь нет момента теоретической или историко-литературной новизны.

Идея представить социалистический реализм не иначе как «открытую систему» возникла потому, что мы все еще оказываемся не в силах понять каждую национальную литературу как уникальную генетическую, типологическую структуру, которая исторически развивается, меняется, но при этом происходит не разрушение, а, наоборот, укрепление ее целостности. «Разнообразие генофонда в природе, национальная многокрасочность рода людского — признак и условие устойчивости самой жизни, биологической, культурной».<sup>25</sup>

С особой очевидностью подтверждает эту мысль, например, расцвет в 70—80-е годы национальной прозы в советской литературе. Социально-историческое единство, политическая общность, идеологическое родство народов Советского Союза не только не упрощают, но, наоборот, пестуют расцвет национальных богатств в культуре каждой союзной республики.

<sup>23</sup> *Благой Д.* О традициях и традиционности. — В кн.: *Традиции в истории культуры*. М., 1978, с. 30.

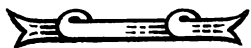
<sup>24</sup> *Марков Д.* Социалистический реализм: Теория и практика. — *Вопросы литературы*, 1986, № 1, с. 11.

<sup>25</sup> *Адамович А.* Не перекаладывать на плечи потомков. — *Коммунист*, 1986, № 3, с. 107.

Сторонники концепции «открытой системы» безусловно стоят за многообразием и разнообразием социалистических литератур, ради этого концепция и выдвинута. Но выглядит этот процесс в их трактовках бесстержневым, отсутствуют научные разработки о типологии национальных процессов. В результате оказывается нарушенной сама жизненная картина движения национальных литератур и общемирового литературного процесса в целом.

Развитие национальной литературы — это не беспорядочное, не затухающее движение, а целенаправленный процесс. И в периоды революционных изменений в жизни общества этот процесс не прекращается, а затем не начинается вновь. Он ищет новых путей. Национальная специфика литературы создается под влиянием определенных родовых черт, идеологических, эстетических доминант. Раскрыть «формулу» национального, типологического развития той или иной литературы, развивающейся на основе метода социалистического реализма, можно лишь с помощью совершенствования науки о литературной преемственности, которая позволит в то же время выяснить и истинное новаторство социалистического искусства.

Развивать теорию социалистического реализма дальше — сегодня означает прежде всего подытожить, осмыслить все то, что накоплено литературоведческой отечественной и зарубежной наукой в этой области на протяжении чуть ли не века исследовательских разысканий.



Т. В. САВИНKOVA

## ПРОБЛЕМА НОВОГО ГЕРОЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXVII СЪЕЗДА КПСС И ЗАВЕТЫ ГОРЬКОГО

«Современный мир сложен, многообразен, динамичен, пронизан противоборствующими тенденциями, полон противоречий. Это мир сложнейших альтернатив, тревог и надежд».<sup>1</sup> Принятая XXVII съездом КПСС политическая, экономическая и социальная программа развития нашего общества учитывает это. Она исходит из того, что «главное направление борьбы в современных условиях — создание достойных, подлинно человеческих материальных и духовных условий жизни для всех народов, обеспечение обитаемости нашей планеты, рачительное отношение к ее богатствам. И прежде всего к главному богатству — самому человеку, его возможностям».<sup>2</sup> Эту борьбу за человека ведет и советская литература, действенный гуманистический пафос которой особенно ярко зазвучал в творчестве зачинателя искусства социалистического реализма М. Горького. «Максим Горький был не только основоположником пролетарского гуманизма. В истории мировой литературы он первый, кто воплотил этот гуманизм в жизнь» (И. Бехер).

В современных условиях социально-экономического и духовного совершенствования нашего общества гуманистическая концепция М. Горького оказывается необычайно важной. Философские, этические, эстетические суждения писателя, особенно полно развернутые в его выступлениях 30-х годов, способны вызвать сегодня живой интерес не только литературоведов, но и философов, и социологов. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы дискуссии о глобальных проблемах настоящего и будущего всего человечества. Ее участники — доктор философских наук В. Загладин и член-корреспондент АН СССР И. Фролов, — развивая тезис о необходимости комплексного изучения человека, включающего общение социально-нравственных, медико-генетических, психофизиологических, экологических и прочих факторов его жизнедеятельности, о необходимости взаимодействия науки и искусства в создании единой системы знаний о нем, подчеркивают, что «необходимость именно такого подхода предвидел еще Маркс» и что «именно этот подход пронизывал идею и конкретные действия А. М. Горького», предпринимавшего в 30-е годы практические шаги по созданию Института человека в Москве. Реализация такой идеи, по их мнению, поможет «внести нечто новое в постановку ряда современных и перспективных проблем коммунистического воспитания...»<sup>3</sup>

Практическое осуществление такого комплексного изучения человека намечает Академия наук СССР. Вице-президент АН СССР академик П. Н. Федосеев, признав, что «общим для всей нашей науки направле-

<sup>1</sup> Горбачев М. С. Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля 1986 года. М., 1986, с. 7.

<sup>2</sup> Там же, с. 26.

<sup>3</sup> Загладин В., Фролов И. Человечество на пороге III тысячелетия: Утопии и реальность. — Лит. газ., 1985, 13 февр., с. 14. См. также: Человеческое измерение. — Правда, 1985, 12 окт., с. 3.



нием является широкое исследование проблем человека, человеческого фактора в жизни общества», на сессии годичного общего собрания АН СССР 19 марта 1986 года сообщил: «Президиум Академии наук принял решение о создании координационного совета, который объединит представителей различных областей знаний для глубокой разработки всего комплекса вопросов человековедения». <sup>4</sup> Важное место в этом комплексном изучении должны занять литература, искусство, литературоведение, критика.

Образ нового человека в литературе всегда выступает главнейшим показателем и критерием участия искусства слова в общественной жизни. Именно в этом аспекте дается характеристика роли литературы и искусства социалистического реализма в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии: «Нравственное здоровье общества, духовный климат, в котором живут люди, в немалой степени определяются состоянием литературы и искусства. Наша литература, отражая рождение нового мира, вместе с тем активно участвовала в его становлении, формируя человека этого мира — патриота своей Родины, подлинного интернационалиста. Тем самым она верно выбрала свое место, свою роль в общенародном деле. Но это и критерий, с которым народ, партия подходят к оценке работы писателя, художника, да и сама литература, советское искусство — к собственным задачам». <sup>5</sup> Была дана на XXVII съезде КПСС и оценка исторических обстоятельств появления новых людей, в которой ощущаем живую преемственность с русской демократической и революционной мыслью: «Когда возникает общественная потребность осмыслить время, в особенности время переломное, оно всегда выдвигает людей, для которых это становится внутренней потребностью. В такое время мы живем сейчас». <sup>6</sup> (Ср. у Чернышевского: «Нельзя найти в истории ни одного случая, в котором не явились бы на первый план люди, соответствующие характеру обстоятельств. Если в обстоятельствах происходила быстрая перемена, требовавшая людей иного характера, чем прежние деятели, выступали на первые места люди, о которых до той поры не было ни слуху, ни духу».) <sup>7</sup>

Особую роль в этом плане должно сыграть изучение наследия М. Горького, становления и развития его гуманистической концепции. Эти вопросы были поставлены зачинателями науки о Горьком — А. В. Луначарским, В. А. Десницким, И. А. Груздевым, С. Д. Балухатым, Н. К. Пиксановым. Активно обращались к этой проблеме К. Д. Муратова, Б. А. Бялик, Е. Б. Тагер, А. А. Волков, И. К. Кузьмичев и др. Из современных работ выделим прежде всего монографии А. И. Овчаренко «От Горького до Шукшина» и А. И. Метченко «Кровное, завоеванное (Из истории советской литературы)». Однако нельзя не заметить, что богатейшие завоевания горьковедения все же слабо включаются в круг сегодняшних размышлений о развитии советской литературы. Явно не хватает внимания к традициям Горького со стороны литературно-художественной критики.

Открытие Горьким новых людей, не только рождаемых самой действительностью, но одновременно подготавливающих и осуществляющих грандиозные общественные перемены, опиралось на опыт предшествующей литературы и на марксистско-ленинское учение. Раскрытие качественных изменений общественного сознания на переломе эпох позволило писателю ввести в литературу новый тип героя — участника революционного движения и социалистического созидания.

<sup>4</sup> Ключевая роль науки: Годичное общее собрание Академии наук СССР. — Правда, 1986, 20 марта, с. 3.

<sup>5</sup> Горбачев М. С. Указ. соч., с. 114.

<sup>6</sup> Там же, с. 114—115.

<sup>7</sup> Чернышевский Н. Г. Литературная критика: В 2-х т. М., 1981, т. 2, с. 253.

Современное обращение к горьковской концепции нового человека предполагает выход ко всему многообразию политической, экономической, социальной и духовной жизни нашего общества.

Советская литература живет заботами этого общества, она есть его часть, а потому в разговор о ней активно входят все новые термины. Давно ли в широкий обиход вошла, казалось бы, сугубо экономическая и социологическая терминология: интенсификация, ускорение, человеческий фактор. Но вот уже привычно звучат в печати мнения об интенсификации духа, интенсификации совести, идет речь о роли литературы в активизации человеческого фактора.<sup>8</sup>

В условиях интенсификации всех сфер общественной жизни значение гуманистического постижения современника особенно возрастает, но одновременно и сопрягается с новыми трудностями. Кандидат философских наук Г. Смолян справедливо отмечает: «Не исключено, что массовая компьютеризация будет сопровождаться усилением некоторых нежелательных тенденций в духовной жизни, в частности формированием рационалистического, сугубо утилитарного восприятия жизненных, духовных и нравственных ценностей».<sup>9</sup> Ученый говорит о недопустимости отделять «проблемы развития автоматизации от проблемы развития человека, его творческих сил и способностей».<sup>10</sup>

О необходимости гуманитаризации учебно-воспитательного процесса в инженерных вузах пишет доктор химических наук А. Цыкало: «Обращение к шедеврам литературы и искусства, к истории отечественной науки, техники поможет выпускникам обрести емкое, образное мышление. Позволит им в будущем глубже понимать товарищей по труду, активнее участвовать в воспитательной работе, отстаивать свои коммунистические убеждения, давать отпор враждебной идеологии».<sup>11</sup>

Подобные высказывания наглядно свидетельствуют о возрастающем общественном внимании к задачам гуманистического воспитания личности. Если учесть, что «человеческий фактор», особенно в современных условиях, характеризует прежде всего социальную активность человека, то перед литературой и искусством открываются необыкновенно широкие возможности влиять на него. «Человек — это и труженик, и гражданин, и нравственная личность. Он многогранен, и во всех его проявлениях ему присущи как личности качественные характеристики... Все многообразные качества, проявляющиеся в различных видах деятельности человека, в его отношениях с другими людьми, с окружающим миром, как раз и охватываются понятием „человеческий фактор“».<sup>12</sup> В таком случае литература ничем иным, кроме «человеческого фактора», и не занимается. Это и есть то настоящее искусство слова, ощутившее родственное, доверительное отношение с социалистическим созиданием, искусство, которому Горький нашел чрезвычайно емкое, образное определение — *человековедение*. «У социализма одна цель — счастье человека, благо человека. Задача литературы — человековедение. С открытия этой истины начинается социалистический реализм, этим открытием отмечен и художественный подвиг Горького».<sup>13</sup>

Размышления писателя о литературе и ее возможностях передать облик нового человека, воздействовать на формирование гармонической лич-

<sup>8</sup> За интенсификацию духа: Беседа с С. А. Герасимовым. — Правда, 1985, 9 дек., с. 6.

<sup>9</sup> Смолян Г. Электронно-вычислительная машина и человек. — Коммунист, 1985, № 1, с. 105.

<sup>10</sup> Там же, с. 106.

<sup>11</sup> Цыкало А. Дружат музы с наукой. — Правда, 1986, 5 янв., с. 3.

<sup>12</sup> Уледов А. Социально-психологический аспект активизации человеческого фактора. — Политическое самообразование, 1986, № 1, с. 39.

<sup>13</sup> Метченко А. Пора зрелости. — В кн.: Перспектива: О советской литературе зрелого социализма. М., 1983, с. 185.

ности опираются на факты реальной действительности, охватывают все стороны жизни советских людей. Поэтому горьковское наследие не только не утратило своего звучания в современной жизни, но актуальность его ощущается все острее и действеннее.

Современная международная обстановка, характеризующаяся повышением агрессивности империализма, ростом опасности ядерной войны, требует направить силы всех здравомыслящих людей на борьбу за укрепление мира и безопасности народов. Известное горьковское обращение «С кем вы, „мастера культуры“?» стало, можно сказать, девизом Всесоюзной творческой конференции писателей СССР «Ради жизни на Земле», посвященной 40-летию Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. Она состоялась в октябре 1985 года в Ленинграде и собрала представителей всех республик нашей страны и 35 государств мира. Участники конференции поддержали гуманистический пафос советской литературы, осмыслили его применительно к современным особенностям международной обстановки, определив целью своих усилий не просто выживание людей в условиях ядерной войны, а достижение народами высокой духовности в условиях мира без войн. «Литература должна помочь обрести новое мышление», — сказал Д. Гранин.

Писатель И. Виноградов вспомнил, как в 1943 году в блокадном Ленинграде проходило совещание писателей-фронтовиков. В одном из обсуждавшихся на нем рассказов прозвучала фраза: «Этот человек был рожден для войны». Против нее резко возразил Н. Тихонов. Известный поэт, лейтмотивом творчества которого был героизм и мужество советских людей, оценил ее истинно по-горьковски: «Человек рожден для жизни, а не для войны».

О новом герое, входящем в афганскую литературу, рассказал писатель из Демократической Республики Афганистан Д. Фахри. Он отметил, что основным художественным методом его национальной литературы является сейчас критический реализм. Однако под влиянием интенсивно развивающихся политических, экономических, духовных преобразований в стране зарождается новая личность, осознающая свою ответственность за гуманистическое развитие афганского общества. С обращением к ней писатели ДРА связывают надежды на создание произведений, проникнутых верой в будущее. Это ведет к формированию социалистического реализма, к развитию в афганской литературе жанров повести и романа, позволяющих объемно, концепционно передать зарождение нового общественного сознания. Этот пример как нельзя лучше подтверждает сегодня художественную правоту Горького и высказанное позже суждение И. Бехера: «Новое искусство никогда не начинается с новых форм, новое искусство всегда рождается с новым человеком».<sup>14</sup>

Нельзя не вспомнить сегодня прощательного предупреждения М. Горького о коварстве империализма, его стремлении поставить под контроль духовную жизнь и культуру народов: «Капитализм способствовал умственному развитию людей труда лишь настолько, насколько это необходимо и выгодно для успехов промышленности и торговли. Для капитализма человек нужен только как более или менее дешевая сила, как защитник существующего строя. Капитализм не дорос и не мог дорасти до понимания, что цель и смысл подлинной культуры — в стремлении к развитию и накоплению интеллектуальной энергии».<sup>15</sup> Это горьковское суждение сохраняет свою ценность в наши дни и оказывается созвучным развернутому в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду пар-

<sup>14</sup> Бехер И. В защиту поэзии: О литературном новаторстве. — Новый мир, 1953, № 11, с. 227.

<sup>15</sup> Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953, т. 26, с. 25. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

тии положению о социальных последствиях научно-технического прогресса в капиталистических странах и картинам, запечатленным в современной публицистике и художественной литературе.

В. Цветов в очерке «Пятнадцатый камень Сада Рёандзи», объясняя причины высокого развития техники и технологии в послевоенной Японии, говорит об умении японских предпринимателей тормозить развитие классового сознания у трудового народа. Автор очерка отдает справедливость высокой организации производства, но впечатления от труда японцев на современных предприятиях вызывают у В. Цветова неожиданную на первый взгляд ассоциацию с романом Ч. Айтматова «Буранный полустанок»: «Нынешние манкурты не пасут верблюдов, а работают со сложнейшей техникой. Нужно, следовательно, убить в современном манкурте побуждение к бунту, к неповиновению, которого японские предприниматели боятся так же сильно, как жуаньжуаны, однако сохранить способность к активному высокопроизводительному труду, сберечь желание выпытать его качество... Прибегая не к шире и не к скальпелю, а к идеологическим орудиям и инструментарию, японские предприниматели стремятся превратить в энергичных, деятельных, но послушных и безропотных манкуртов миллионы японцев».<sup>16</sup>

Этот вывод, к которому приходит советский журналист-международник, используя яркий художественный образ Ч. Айтматова, может служить одним из подтверждений важного положения Новой редакции Программы КПСС, что «наука и техника нашего времени дают возможность обеспечить на Земле изобилие благ, создать материальные условия для процветания общества, для развития личности. И они же, эти творения ума и рук человека, — силою классового эгоизма, ради обогащения властвующей в капиталистическом мире элиты — обращаются против него самого».<sup>17</sup>

Иную перспективу раскрывают перед человечеством устремления и возможности социалистического общества. Еще в 30-е годы с большим увлечением М. Горький писал о необычайном развитии науки и техники в условиях социализма. «...Недалеко время, когда ваша физическая энергия будет свободной, будет превращаться в интеллектуальную энергию, когда в область науки войдут тысячи, десятки тысяч людей. Это же страшнейший рычаг, — говорил он в беседе с писателями-ударниками 12 июня 1931 года. — Техника, которой мы сейчас уже обладаем, еще не есть что-то законченное, она будет развиваться... Машина заменяет потребность в живой человеческой силе, физический труд сводится к ничтожному количеству времени, и тогда встанет перед нами свобода творчества, свобода исследования. Это не преувеличение, не поэзия, это то, к чему человек неизбежно будет стремиться как к удовлетворению своих желаний. А удовлетворения он не найдет никогда, и чем дальше, тем все выше он будет идти, тем больше будет хотеть» (т. 26, с. 86—87).

М. Горький просит А. Е. Ферсмана, других ученых писать для молодежи «о работниках науки, о их героизме», при этом «не затушевывая, т. е. не обходя исследовательских задач науки, подчеркивать погуще практическое значение исследований и достижений, обязательно указывая и на сложность, на трудность их. Необходимо, чтоб масса, а особенно — молодежь наша, понимала эти трудности и чтоб этим повышалось ее уважение к науке» (т. 30, с. 128—129).

Борьба за просвещенный разум, научное миропонимание и созидание — лейтмотив горьковских высказываний 30-х годов, одно из важнейших

<sup>16</sup> Цветов В. Пятнадцатый камень Сада Рёандзи. — Новый мир, 1985, № 9, с. 196.

<sup>17</sup> Программа Коммунистической партии Советского Союза: Новая редакция. Принята XXVII съездом КПСС. М., 1986, с. 20.

положений гуманистической концепции писателя. О своем чувстве «глубокого изумления и почтения пред творчеством работников науки и пред русскими ее творцами» пишет Горький президенту Академии наук СССР А. П. Карпинскому: «Это почтительное изумление я испытал еще в юности, когда, полудиким человек, я впервые познакомился с чудесными достижениями положительных наук и с неутомимой работой ученых, окрыляющей разум и волю человека... Именно работа Человека в этой области воспитала мое восхищение Человеком, мое непоколебимое уважение к нему и веру в его творческие силы» (т. 30, с. 39—40).

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду весьма важное значение уделено культурной политике партии, удовлетворению растущих духовных запросов современного человека. «Главную задачу своей культурной политики, — говорится в докладе, — партия видит в том, чтобы открыть самый широкий простор для выявления способностей людей, сделать их жизнь духовно богатой, многогранной. Добиваясь радикальных перемен к лучшему и в этой области, важно построить всю культурно-воспитательную работу так, чтобы она все полнее удовлетворяла духовные запросы людей, шла навстречу их интересам».<sup>18</sup> Эти положения заставляют нас с особой признательностью вспомнить о неустанных практических заботах М. Горького о духовном росте, всестороннем совершенствовании трудящихся, о его стремлении привлечь к творческой работе по «Истории фабрик и заводов», «Истории гражданской войны» не только профессиональных писателей, но и рабочих людей, самих участников великих строек социализма, наконец, о деятельной поддержке многих и многих начинающих литераторов.

Поддерживая стремление журнала «Молодой большевик» приобщить читателей к изучению и освоению природных богатств страны, М. Горький обращается с таким призывом к молодежи: «Молодые хозяева Союза Советов, вы обязаны знать природные сокровища страны своей, рассеянные на поверхности огромной земли и скрытые в недрах ее. Не знать — значит не обладать, обладание учит уменью пользоваться, а чем лучше умеет человек пользоваться силами природы, тем обильней и совершенней его оружие в борьбе за жизнь, за свободу» (т. 26, с. 101).

Сегодня, когда остро встала задача охраны природы и рационального использования ее ресурсов, формирования современного экологического мышления, нельзя забывать этих призывов Горького и выступлений других писателей, активно отстаивающих глубоко ответственное отношение к природе, — Л. Леонова, С. Залыгина, В. Солоухина, В. Астафьева, В. Белова, В. Чивилихина и др.

Развитие советской литературы — предмет особой заботы Горького. При этом он исходит из того, что «в наши дни поставлен вопрос о необходимости более тесного сближения искусства с действительностью, об активном вторжении литературы в жизнь эпохи, основное содержание которой — социальная революция» (т. 26, с. 46).

Откликаясь на сообщение о переводе его книг на язык чувашей, Горький пишет: «Мне кажется, что литература всего легче и лучше знакомит народ с народом. Это не есть суждение профессионала, влюбленного в свое дело, — это вывод из моих наблюдений за 40 лет сознательной жизни моей. Вывод этот подтверждается тем, что нигде в западно-европейских странах не переводится так много книг с чужих языков, как у нас, в Союзе Советских Республик. Поэтому русский грамотный человек знает о жизни европейских народов несравнимо больше, чем эти народы знают и знали о России и о племенах, издревле живущих среди русских людей» (т. 30, с. 115—116). Такими гуманистическими побуждениями питалась инициатива М. Горького в издании «Библиотеки всемир-

<sup>18</sup> Горбачев М. С. Указ. соч., с. 114.

ной литературы», «Библиотеки поэта», развитии наднациональных литератур народов СССР, поддержка молодых талантов, укрепление дружественных связей с зарубежными писателями.

Идеи пролетарского интернационализма, заложенные Горьким, развиваются литературой наших дней, причем и в таком важном для современности направлении, как формирование нового политического мышления, важность которого особо подчеркнута XXVII съездом КПСС. И здесь мы наблюдаем разносторонний подход советских писателей к осмыслению внешнеполитических реалий послевоенных десятилетий. Широко известные писатели-журналисты Г. Боровик, С. Кондрашов, В. Цветов в своих произведениях сквозь призму профессионального взгляда специалистов-международников показывают читателю особенности противоположного нам образа жизни, которые приходится учитывать в инициативных поисках предложений для оздоровления международной обстановки. Иными путями идут такие художники слова, как Ч. Айтматов, Ю. Бондарев, В. Чивилихин, которые в исследовании политического мышления нашего современника отправляются от гуманистических традиций отечественной литературы и общественной мысли. И столь разные по материалу, героям, жанровым и стилистическим особенностям романы Ю. Бондарева («Берег», «Выбор», «Игра»), Ч. Айтматова («Буранный полустанок»), В. Чивилихина («Память») сближаются в своем стремлении к гуманистическому обогащению сознания советского человека. Обращая читателей к истории, далекой и недавней, к тревожным тенденциям наших дней, они раскрывают опасность незнания, недопонимания, предрассудков по отношению к любому из народов планеты Земля.

Критике еще предстоит выяснить реальные пути соприкосновения с горьковской традицией таких художников, как В. Шукшин, В. Астафьев, С. Залыгин, рассмотреть отражение горьковской концепции человека в высказываниях и творческой работе ряда современных писателей, в том числе и таких, которые чаще всего воспринимаются в русле иных традиций.

Например, обычно подчеркивается (и исследователями, и самим автором), что творчество Ю. Бондарева развивается в русле традиций Ф. Достоевского и Л. Толстого. Между тем Ю. Бондарев, новаторски выступивший в военной прозе, а теперь обратившийся к современности, продолжает и развивает горьковские идеи активного гуманизма. Не случайно эта проблема, существующая как бы за кадром в «Береге» и «Выборе», в «Игре» уже выходит наружу. Своеобразие подхода Ю. Бондарева заключается в том, что он исследует *художественное* сознание современника. В этом угадываются не только авторские пристрастия, но осознание возрастающей роли художественного творчества в социалистическом обществе.

О героях Ю. Бондарева много говорят, часто спорят, высказывая порой прямо противоположное к ним отношение. Читатели и критика отмечают их внутреннюю противоречивость, упрекают за слабости, не соглашались с трагическими поворотами их судеб. Для несовпадения мнений, суждений о героях «Берега», «Выбора», «Игры», конечно, есть основания. Причина этого отчасти объяснена самим писателем: «Никогда не ставил себе целью — написать так называемый положительный или отрицательный персонаж. Мне важно было ощутить человека со всеми его страстями и душой его».<sup>19</sup> Однако, думается, дело здесь не только в неприятии Бондаревым схематичного, прямолинейного, упрощенного понимания проблемы положительного героя. Отношение к героям писателя — Никитину, Васильеву, Крымову — не может складываться без учета того, что перед

<sup>19</sup> Цит. по: Овчаренко А. Литература восьмидесятых. — Наш современник, 1985, № 10, с. 154.

нами — художники, причем художники талантливые, чье творчество хорошо знают не только в своей стране, но и за ее пределами: книги Никитина издаются в ФРГ, с картинами Васильева знакомятся в Италии, фильмы Крымова получают международные премии. Это художники-реалисты, хорошо осознающие силу и возможности высококонцепционного искусства в отстаивании добра, справедливости, красоты, мира. В острых дискуссиях с буржуазными оппонентами о роли и назначении современного искусства они отстаивают горьковскую концепцию социально-действенного искусства социалистического реализма.

У Бондарева ощутимо родственное внимание к психологизму Достоевского в исследовании характера, тонкого эмоционального восприятия мира нашим современником. Как переключка с Достоевским воспринимается постоянная внутренняя борьба центральных героев, неотступные поиски ими истины, их сомнения, метания, ошибки, предельный накал чувств, страдания. С другой стороны, пути к спасению человечества, разрешению внутренних противоречий, преодолению разлада мечты и действительности герои Ю. Бондарева видят иные, нежели те, что указывал Достоевский. Эти пути — в осознании человеком своих сил, способностей, достоинства, необходимости действовать.

Особенность восприятия мира Никитиным, Васильевым, Крымовым обострена их художественной натурой, тем, что им свойственно воспринимать мир в образах. Горький не раз отмечал это качество художественного сознания, называя художника «чувствилищем своей страны», «голосом своей эпохи» (т. 24, с. 491). Приобщаясь ко всему многообразию современной жизни, художник пропускает через себя, свое сердце все боли и тревоги времени, и порой это может завершиться для него трагически. Ю. Бондарев в беседе о назначении художника с известным словацким скульптором Яном Кулихом отметил: «...порой мастерство ставят выше таланта. Я же думаю, что талант первичен. Он предмет, страсть, поиск, открытие, сомнение, утверждение и вновь сомнение, ибо это — познание мира и самого себя в нем».<sup>20</sup>

Все более полно раскрывающаяся гуманизация социалистического общества усиливает интерес советских писателей к положительному герою нашего времени. Несмотря на острую дискуссионность этой проблемы в критике последних лет, все же начинает «набирать скорость» тенденция передавать главные особенности времени через облик действительно нового человека, аккумулирующего в себе высшие достижения социально прогрессирующей формации. В русле этих исканий — творчество Ч. Айтматова, Н. Думбадзе, Ф. Абрамова, О. Гончара, В. Быкова. Этими побуждениями отмечены повесть В. Распутина «Пожар», роман В. Астафьева «Печальный детектив».

Таким образом, писатели делают выбор в пользу самого главного завоевания нашего общества и литературы, объединяемых социально действенной гуманистической устремленностью, а не в пользу звучащих порой предложений отказаться от самого термина «положительный герой» (а следовательно, и от содержания его, от самого понятия!), который дискредитируется схематическим подходом к нему и литературы, и критики. Этим выбором действительно поддерживается и главный завет основоположника литературы социалистического реализма — «обратить больше внимания на достоинства людей... потому что оказывается: история развития культуры есть в главнейшей, существенной части своей — история развития в трудовой массе сознания ее достоинства и что только сила этого сознания и способна „перевернуть мир“... Другой „точки опоры“ для этого — нет» (т. 30, с. 114).

<sup>20</sup> Советская Россия, 1983, 5 окт., с. 4.

Этот совет М. Горького, адресованный в 1928 году рабочему Л. Ф. Хинкулову, впоследствии ставшему литературоведом, будет постоянно развертываться писателем и насыщаться все новыми фактами и аргументами. В 1931 году, в беседе с молодыми ударниками, вошедшими в литературу, М. Горький скажет: «Мы не можем за тринадцать лет превратиться не то что в ангелов, но, во всяком случае, в каких-то совершенно новых людей. В каждом из нас есть нечто от старинки. Не тем характерны и не тем интересны и значительны вы, что в вас есть такие отзвуки прошлого, а тем, что в настоящем вы являетесь творцами новой действительности... Выгоднее и социально и социалистически подчеркивать в нем (в человеке, — Т. С.) то хорошее, то действительно важное и ценное, что он несет в жизнь, для того, чтобы дать ему возможность расти с еще большей быстротой, чтобы это хорошее отражалось в жизни еще более значительно, чтобы оно приблизило ту победу, к которой мы стремимся и которую мы одержим. Я вовсе не против того, чтобы человеку дать трепку. Но дело не в этом, а в том, чтобы выхватить из жизни в ярких картинах волю к жизни, к победе, к изумительной стройке, к освоению мира, всего мира» (т. 26, с. 70—71).

Активное включение горьковского наследия в круг сегодняшних разговоров, литературно-критических обсуждений проблемы положительного героя и перспектив развития советской литературы становится все более осязаемо необходимым. И тем досаднее, что дискуссия о положительном герое, проведенная «Литературной газетой» в преддверии 50-летнего юбилея Союза писателей СССР, можно сказать, почти не затронула опыт М. Горького.<sup>21</sup>

Участник дискуссии Вячеслав Шугаев подчеркнул необходимость использовать уроки отечественной классики. «Казалось бы, ни к чему гальванизировать, возрождать термин „маленький человек“. Но мне кажется, была в нем, в этом термине, и осталась того качества страдательность, та гуманность, уважительность, внимательность к человеку без всяких рангов, которыми всегда славилась русская литература и от которых трудно и не хочется отказываться».<sup>22</sup> Он упрекнул современных литераторов в том, что они отдают предпочтение представителям немассовых профессий: «И сейчас большинство людей незаметно, изо дня в день совершают свою работу. Какой-нибудь счетовод за свою жизнь износил не одни нарукавники. Он хорошо, честно служит, но его труд впрямую не влияет, скажем, на ускорение технического прогресса. Мне кажется, я вправе о нем сказать, что это „маленький человек“, без, естественно, того груза оскорблений и унижений, который нес на своих плечах Акакий Акакиевич. Он маленький человек в том смысле, что не воздвигнут на пьедестал за свои дела, за исполнение обыкновенных человеческих обязанностей».<sup>23</sup>

Действительно, в нашей литературе последних лет немало героев из среды художественной интеллигенции — у Ю. Бондарева, Н. Думбадзе («Закон вечности»), П. Загребельного («Разгон»), есть дипломаты — О. Гончар («Твоя зоря»), техническая интеллигенция — Д. Гранин. Но ведь наряду с ними существуют и играют важную роль в художественном осмыслении современного человека герои Ф. Абрамова, Ч. Айтматова, В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина!

Едва ли возможно в эпоху НТР, интенсификации всех сфер нашей общественной жизни ориентировать писателей на изображение какой-либо одной области жизнедеятельности, лишь на «счетоводов», этаких

<sup>21</sup> Общую ссылку на опыт Горького найдем лишь в статье Ст. Лесневского «Свет подвига» (Лит. газ., 1984, 8 авг., с. 3).

<sup>22</sup> Шугаев Вячеслав. Не профессия — характер! — Лит. газ., 1984, 15 авг., с. 3.

<sup>23</sup> Там же.



современных «маленьких людей», вся жизнь которых сводится лишь к прилежному исполнению профессиональных обязанностей. Трудяшки современной эпохи, и об этом неопровержимо свидетельствует паша действительность, в частности выступления трудящихся в преддверии и после XXVII съезда КПСС, все более глубоко проникается заботами и делами не только своей страны, но всего мира. Это тот «маленький человек», «великая работа» которого, труд на благо социалистического созидания дает ему право на «титул великих людей нашего мира» (т. 25, с. 13). С особым увлечением писал о нем в 30-е годы М. Горький.

Эта горьковская традиция подхвачена в современной литературе многими художниками, в том числе Ч. Айтматовым. Войдя в литературу с подлинно гуманистическим отношением к человеку, киргизский писатель еще более углубил эту основополагающую линию социалистического реализма в романе «Буранный полустанок». Для Едигея Жангельдина, путевого обходчика с далекого степного полустапка, совершенно не приемлемо понятие «маленький человек». Этот герой не нуждается в состраданиях, более того, в его лице читатель обретает надежду на мирное будущее всего человечества, высокую духовность нашей жизни. Не случайно автор счел необходимым специально подчеркнуть в своем обращении к читателям: «Образ Едигея Буранного — это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом исследования которого был и остается человек труда».<sup>24</sup>

В русле горьковского переосмысления понятия «маленький человек», видимо, нужно искать и причину изменения первоначального названия романа. Первое — «И дольше века длится день...» — наиболее точно передавало философско-нравственную проблематику, соответствовало поэтике романа. Второе — «Буранный полустанок («И дольше века длится день...»)» — оказалось более приближенным к главному герою — Едигею, горячий, страстный характер которого ассоциируется у окружающих его людей с названием разезда «Боранлы — Буранный».

Гуманистические идеи М. Горького ощутимо входят в социальную и духовную жизнь нашего общества. Обращение к ним сегодня не столько связано с желанием найти какие-то новые или же не до конца прочитанные страницы (хотя это тоже очень важно и интересно), сколько диктуется необходимостью еще раз высветить те положения, которые кажутся всем известными и вместе с тем сохраняют актуальность, позволяют глубже осмыслить особенности социального и художественного процесса конца XX столетия и перспективы нашего развития.

Политический доклад ЦК КПСС XXVII съезду партии заканчивается размышлением о будущем. Перспективы будущего, говорится в нем, для нашего общества связаны с тем, чтобы сберечь планету, космическое пространство, очистить жизнь от ядерных кошмаров и до конца раскрепостить «для целей созидания, и только созидания, все лучшие качества такого уникального обитателя Вселенной, как Человек».<sup>25</sup>

Широко известны горьковские слова о Человеке с большой буквы, Человеке человечества, емко передающие самую суть нового типа личности. Но писатель не только создает образную формулу, заключающую в себе огромные обобщения, — он наполняет ее конкретными примерами и характеристиками. «В лице вашем на земле растет новый человек, человек с большой буквы — Человек человечества, — обращается он к читателям журнала «Молодой большевик». — Я говорю это, думая не о славянах, семитах, тюрках, финнах и вообще о племенах Союза Социалистических Советов, не думаю о племенах Европы, — я говорю о детях той великой идеи, которой служили ваши отцы, которую извлекли

<sup>24</sup> Айтматов Ч. Роман; Повести. Л., 1982, с. 174.

<sup>25</sup> Горбачев М. С. Указ. соч., с. 124.

из жизненного опыта всего человечества Маркс и Ленин. Поистине растет новый человек, он неоспоримо заявляет о росте своей беспощадной борьбы против наследий прошлого его неукротимым стремлением к великой цели своей, его изумительной героической работой по вооружению своей страны новой культурой. Вихрь его энергии все решительнее и все более обильно привлекает к себе пролетариат всех стран» (т. 26, с. 101).

Образное, поэтическое, емкое понятие «Человек» входит в политический документ, определяющий все стороны нашего развития. Тем самым подчеркивается, с одной стороны, преемственность наших идеалов, гуманистическая направленность устремлений и целей, с другой — место и значение советской литературы в условиях современного социально-экономического ускорения. Именно эта основополагающая для социалистического искусства тема «Человек» демонстрирует глубочайшие возможности нашей литературы, опирающейся на богатые традиции отечественной и мировой культуры, среди которых особое место занимает освещенное высочайшим взлетом социалистической личности творчество М. Горького.



## СТРОЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

### (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

Каждая литература представляет собой некоторое единство, состоящее из того, что можно назвать «отдельностями». Эти отдельности — не только произведения, а часто совокупности произведений, и эти совокупности не всегда совпадают с тем, что мы называем жанрами. Хронографы, летописные своды, степенные книги, различные сборники постоянного и непостоянного состава и т. д. входят в совокупность, называемую древнерусской литературой. Литература состоит из отдельных, иерархически резко различающихся между собой по размерам и выстраивающихся в литературе, входящих друг в друга. Это касается не только древней русской и вообще средневековых литератур, но и литератур Нового времени, где, однако, обращают на себя внимание главным образом «отдельности», называемые произведениями. Там, в Новое время, так же произведения (во всяком случае, в первоначальном своем появлении на свет) входят в состав сборников (поэтических, например), журналов (особенно «толстых»), газет (форма менее устойчивая), собраний сочинений (в собраниях сочинений часто нарушается предшествующая «отдельность») и т. д.

Строение литературы Нового времени резко отличается от строения литератур средневековых. Попробуем в этом разобраться. «Отдельности» в строении литературы бывают в каждый период развития литературы двух родов: традиционные, созданные в предшествующее время, но продолжающие читаться, воздействовать на движение литературы и на то, что называется действительностью, и «отдельности», вновь возникающие, состоящие из новых произведений или новых сводов различных старых и новых произведений. Постепенно новые произведения становятся старыми, переходят в область традиционного фонда литературы. Традиционный фонд литературы близок по своей роли к постоянно действующему фонду иностранной литературы — переводной и той, что доступна писателям на своем национальном языке (например, болгарской, сербской, греческой в Древней Руси). Традиционный фонд, очень важный для качественной высоты литературы, постоянно увеличивается в размерах (особенно свой) и расширяется, причем увеличивается его «упругость», т. е. способность жизни в настоящем, связанная с расширением и углублением эстетической восприимчивости как писателей, так и читателей. Естественно, однако, что накопление традиционного фонда связано и с параллельно действующим процессом утрачивания ценностей и с периодическим возвращением их в традиционный фонд.

Литература движется вперед, развивается благодаря энергии, получаемой от действительности, — главным образом в результате изменений действительности — тех изменений, которые происходят или которые назревают, находятся в потенции.

Можно сформулировать два закона. Первый: литература тем больше передает энергии действительности, чем больше ее получает от действительности (особенно в периоды нависающих перестроек).<sup>1</sup> Второй: лите-

<sup>1</sup> Этим, кстати, на мой взгляд, объясняется необычайный подъем литературной деятельности (и не только литературной) в начале XX века.

ратура «питается» за счет материалов, поступающих от действительности, из запасов «традиционной литературы» и из литературы иностранной, и тем больше, чем сильнее в них нуждается.

Переработка энергии и материалов в литературе создает в ней «добавочные ценности».

В разные эпохи мы видим различные типы строения литературы. В конце X и в XI веке в Древней Руси материал для литературы поступал из-за рубежа — с Балканского полуострова, из устного народного творчества и от действительности Руси. Импульсы были сильнейшие, ибо сильнейшей была и потребность в литературе, которая не сразу смогла реализоваться. Литература, как звездное образование, появилась в результате взрыва, как «выброс» взрыва. Поэтому литература Руси (и это не только на Руси) сразу со своим возникновением дала произведения высокого литературного класса: «Слово о Законе и Благодати», Начальная летопись, Житие Феодосия Печерского и т. д.<sup>2</sup> Напряжение энергии, порожденной действительностью, было очень велико. Соответственно и излучение литературой энергии, воздействующей на действительность, было не менее сильным, но действовала эта энергия литературы первоначально в ограниченном слое господствующего класса и в ограниченном пространстве господствующих культурных центров (Киев, Новгород, Владимир, Суздаль, Смоленск, Галич и др.).

В последующее столетие (XII и первая треть XIII века) литература развивала «отдельности» разных типов, новые жанры (развитие их началось с «рождающим взрывом» в X—начале XI века), произведения, стоящие вне традиционных жанров литературы или на грани с фольклором. Энергия, получаемая литературой и отдаваемая ею действительности, в период феодальной раздробленности (в XII—первой трети XIII века) возросла по разнообразию и по «пространству воздействия».

Коренным образом строение литературы изменилось в эпоху чужеземного ига. Традиционный состав литературы сохранился в основном прежним (хотя были утрачены отдельные произведения — Хронограф по Великому изложению, Житие Антония Печерского и, может быть, что-то еще). Однако новые произведения сузились по темам, по материалу. Литература, посвященная в основном одной важнейшей в ту эпоху теме — теме сопротивления завоевателям, стала излучать энергию почти лазерной силы и лазерной сосредоточенности.

С конца XIV века начинается расширение сферы воздействия литературы и многочисленность получаемых ею импульсов — от зарубежных литератур и от своей, накопленной в предшествующее время. Происходит обращение к культуре эпохи независимости Руси во всех областях: живописи, зодчества, эпоса, политической мысли, литературы. И все это на фоне обращения к византийско-южнославянскому предпрещансу.

В XV веке строение литературы представлено равномерными по своей величине «отдельностями»; полностью восстанавливается необходимое разнообразие жанров. Энергия, получаемая от действительности и возвращаемая ей в преобразованном виде, приобретает широкие формы. Значение литературы в культуре еще более возрастает и начинается развитие публицистической мысли в связи с необходимостью преобразовать государственную и социальную структуру общества.

В середине XVI века значительно увеличивается число «отдельностей», крупных по размерам (Лицевой свод, Великие четьи минеи, Сте-

<sup>2</sup> Аналогичное явление, по-видимому, имело место при возникновении грузинской литературы («Житие Шушаники»). Но это только один из возможных примеров.

пенная книга и т. д.). И вместе с тем отдача энергии в силу, преобразующую действительность, слабеет.

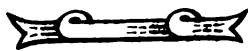
Новый взрыв малых и средних «отдельностей», появление разнообразных новых жанров, воздействие энергии и материала действительности (появление новых литературных жанров на основе деловых форм письменности и жанров фольклора) наступает в «излучающую энергию» эпоху Смуты и непосредственно следующую за ней.

Переход к Новому времени и новому строению не только литературы, но и культуры в целом сопровождается крайним усложнением форм «отдельностей»: появлением новых и новых жанров, ломкой старых и преобладанием жанров, относительно невеликих по размерам, которые гораздо мобильнее крупных, а также новым воздействием иноземных литератур (иноземные литературы «помогают» особенно в периоды неудовлетворенности своим).

Эпоха Петровских реформ — продолжение предшествующего развития и усложнения строения литературы в его парадоксальной форме. Литература как бы отступает на второй план и получает в дальнейшем новое строение в результате появления периодики, театра, распространения печатания не только на традиционную литературу, но и на новую — светскую. Ясное осознание в обществе разделения литературы на «новую», только что создаваемую, и традиционную становится фактом нового литературного строения. Новые произведения получают преимущественное внимание общества, их читают, их ждут. Процесс отдачи энергии литературы действительности усиливается именно от «новой» части литературы, именно она излучает энергию, воздействующую на действительность. Возникают «литературные моды», убыстряется смена стилей, направлений и т. д. Эти перемены в строении литературы очень значительны, и литература начинает сближаться по своему строению с литературами остальной Европы, что способствует усиленному обмену литературным опытом между Россией и Западом. Традиционные «отдельности», связанные с Древней Русью, переходят по преимуществу в пассивное состояние.

Но есть и переходные формы. «Вивлиофика» Н. И. Новикова, включающая в себя огромное количество произведений и документов Древней Руси, могла бы читаться и в Древней Руси, по читаться по-особому — не так, как в конце XVIII и в XIX веке. «Вивлиофика» Новикова была научным изданием, изданием источников, но этого не поняли бы в Древней Руси и к ней не было бы известной исторической «отстраненности», порождаемой историческим сознанием Нового времени. Другие требования предъясняются в Новое время и к разным собраниям сочинений, к сборникам. В Новое время действует иное отношение к авторству, сказывающееся и на самом строении литературы.

Изучение строения литературы и изменений в этом строении — задача высокой важности. Она необходима прежде всего для построения не фактографической, а теоретической истории литературы. На первых порах изучение предложенного мною вопроса (одного из возможных) могло бы начаться со сбора статистических данных о различных литературных «отдельностях», в их типах, размерах, частоте употребления в ту или иную эпоху.



## ПУШКИН И ПРОБЛЕМА НАРОДНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

## 1

Пушкин «первый возвел у нас литературу в достоинство национального дела», — заметил Н. Г. Чернышевский.<sup>1</sup> Поэт не только завершил длительную работу многих своих предшественников, создав на долгое время норму русского литературного языка, общедоступного и близкого народу. Он дал своим творчеством высший, подлинно классический образец национального искусства слова, остающийся непревзойденным до нашего времени, ставший для последующих поколений ориентиром общего движения русской литературы по пути реализма и народности.

Вот почему вполне закономерно проблема поисков таких путей развития русской литературы, которые способствовали бы совершенствованию ее национальной формы и национально-народного содержания, органически сопряженные с нею вопросы о взаимосвязи русской литературы с литературами других народов, выработанными ими культурными и художественными традициями постоянно находились в центре внимания Пушкина. И то же относится к проблеме взаимоотношения верхов и низов. Хотя он жил в дворянской России, в эпоху, когда, по выражению Ленина, «историю творили горстки дворян и кучки буржуазных интеллигентов при сонных и спящих массах рабочих и крестьян»,<sup>2</sup> у Пушкина с молодых лет пробудился, а в дальнейшем постоянно углублялся интерес к народу, его внутренним духовным потенциям, роли его в прошлом и настоящем России и человечества. Причем внимание и любовь к русскому крестьянину органически сочетались у великого русского поэта с глубоким уважением к другим народам России и всего мира, интересом к своеобразному укладу жизни, психологическим и культурным особенностям каждого из них. Интересы эти получили в последние годы жизни поэта ярчайшее отражение, с одной стороны, в его «Памятнике» (1836), где поэт пророчески писал о себе:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  
И назовет меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой  
Тунгуз, и друг степей калмык...<sup>3</sup>

а с другой, в стихотворении, посвященном Мицкевичу («Он между нами жил...», 1834). Выражая общую мечту обоих поэтов, Пушкин вспоминал здесь про их беседы

...о временах грядущих,  
Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся.

(III, 331)

<sup>1</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1949, т. II, с. 475.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 81.

<sup>3</sup> Пушкин. Полн. собр. соч. М., 1948, т. III, с. 424. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

«Пушкин первый объявил, что русский человек не раб и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство... Он даже по виду, по походке русского мужика заключал, что это не раб и не может быть рабом... — черта, свидетельствующая в Пушкине о глубокой непосредственной любви к народу», — заметил Достоевский.<sup>4</sup> И он же вслед за Белинским указал на «всемирную отзывчивость» Пушкина, гениальную его способность проникать в сокровенные глубины поэзии и культуры других народов, творчески воспроизводить их особый лик, внутренний мир каждого из них.<sup>5</sup>

Основы интереса Пушкина к русскому прошлому, к народному слову и народному творчеству, как и к русской деревне его эпохи, закладывались уже в первые годы жизни поэта, под влиянием няни и летом в Захарове. «Весь сказочный русский мир, — замечает о воспитательнице поэта Арине Родионовне П. В. Анненков, обобщая рассказы родных и друзей Пушкина, — был ей известен как нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у ней с языка. Большую часть народных былин и песен, которых Пушкин так много знал, слышал он от Арины Родионовны».<sup>6</sup>

В последующие годы, уже в Лицее определяющее влияние на формирование интереса Пушкина и других лицейцев к широкому кругу проблем общественной и государственной жизни имела Отечественная война 1812 года, всколыхнувшая умы и остро поставившая вопросы о роли русского народа в судьбах человечества, о значении народных масс в прошлом и настоящем России.

Тем не менее, несмотря на отражение в лицейских журналах и в ряде уже ранних стихотворений Пушкина (таких, как «Воспоминание в Царском селе», 1814) патриотических переживаний и воодушевления лицейцев, должно было пройти еще несколько лет, чтобы требование народности как сознательное программное устремление вошло в качестве составной части в общую эстетическую программу Пушкина. В этом смысле как начальное звено в становлении у Пушкина поэтической темы народности можно рассматривать первую его поэму «Руслан и Людмила» (1817—1820).

Отечественная война вызвала в русском обществе не только широкий подъем патриотических чувств, но и обострила потребность в создании национально-героической поэмы, основанной на русском легендарном или историческом материале, и притом поэмы, персонажи и события которой не были бы отделены от читателя традиционными — холодными и риторическими — формами классицистической эпопеи, но были бы приближены к нему, созвучны его душевной жизни, его чувствам и настроениям. Как автор «Людмилы» (1808) и «Светланы» (1813), Жуковский успешно разрешил подобную задачу в рамках жанра баллады. Как создатель «Шевца во стане русских воинов» (1812), он же способствовал повороту от традиции ломоносовской и державинской одической поэзии, воспевавшей монархов и полководцев в образах превосходящих обычные человеческие размеры колоссов и полубогов, к патриотической лирике, воодушевленной индивидуальным чувством, воспевающей бесстрашие и героизм общенародного подвига русской армии и ее военачальников. Но хотя в последующие годы и Жуковский, и Батюшков, и их современники не раз обращаются мыслью к вопросу о необходимости создания русской героико-эпической поэмы, отмеченной чертами народности и обращенной к национально-историческим темам, проблема эта, ощущавшаяся всеми ими как очередная и остро современная,

<sup>4</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1984, т. 26, с. 115.

<sup>5</sup> Там же, с. 145—147.

<sup>6</sup> Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984, с. 34.

не была разрешена ни одним из предшественников Пушкина. Только он сумел (хотя во многом и необычно с точки зрения традиции) решить ее, создав «Руслана и Людмилу».

О «Руслане и Людмиле» существует огромная научная литература. В ней подробно освещен вопрос об отношении первой поэмы Пушкина и к рыцарским поэмам эпохи Возрождения, и к опытам русской богатырско-сказочной поэмы и оперы конца XVIII—начала XIX века, в том числе богатырско-сказочным поэмам Радищева и Карамзина.<sup>7</sup> Поэтому в настоящее время нет надобности возобновлять дискуссию по всем этим вопросам. Важнее подчеркнуть другое. Уже Жуковский в послании Воейкову (1814) выдвинул в противовес тяжелой и громоздкой риторической эпопее эпохи классицизма, повествующей о деяниях официальных героев русской истории — царей и полководцев, как более эффективный и верный путь к решению задач русской национальной поэмы-эпопеи программу поэмы, построенной на материале русской волшебной сказки, свободно сочетающемся с восходящими к русским былинам элементами национально-героического повествования. Именно по этому пути, как верно указал Б. В. Томашевский,<sup>8</sup> молодой Пушкин пошел в «Руслане и Людмиле». Холодной условности и риторичности эпопеи классицизма Пушкин противопоставил мир русских былин, волшебных сказок и лубочных повестей, сохранивший в сложном, переработанном по законам народного творчества и близком вкусам широкого народного читателя виде исторические «преданья старины глубокой». Причем задача, которую поставил перед собой Пушкин, состояла не в том, чтобы создать историческую дистанцию между героями поэмы и читателем, их чувствами и переживаниями, но постараться максимально сблизить героев и читателя друг с другом. Сказочные герои поэмы — Руслан и Людмила, Финн, волшебница Наина, карла Черномор и другие — не подняты выше ко над уровнем обычных человеческих судеб, чувств, переживаний, поступков, они показаны в поэме, пользуясь позднейшим выражением поэта, как бы «домашним образом», со всеми присущими им слабостями. Это позволило Пушкину, не поступаясь привычными мотивами и традиционными законами построения народной сказки и сообщая поэме условный колорит русской старины, предельно очеловечить образы ее героев, сделать их живыми не только для своего, но и для будущих поколений. Все это дало полное право поэту (вопреки мнению ряда позднейших исследователей) в прологе к своей поэме (1828) охарактеризовать ее сюжет и образную ткань как сплетение излюбленных, традиционных мотивов, почерпнутых из мира русской сказки и национального предания.

«Некто справедливо заметил, что простодушие (*naïveté, bonhomie*) есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться: Лафонтен и Крылов — представители духа обоих народов», — писал Пушкин в 1825 году в статье о французском переводе Лемонте басен Крылова (XI, 34). В «Руслане и Людмиле» поэт гениально сумел и в освещении героев поэмы и их судеб, и в своих лирических отступлениях выразить то «веселое лукавство ума» и «насмешливость» (не мешающие глубокому интересу и участию, которые читатель сохраняет на всем протяжении поэмы к героям и их переживаниям), которые Пушкин считал одной из характерных черт исторически сложившегося, получившего отражение в народной сказке, анекдоте, пословице, прибаутке и в живой речи народа русского народного самосознания. Это «веселое лукавство ума» мы

<sup>7</sup> См., например: *Томашевский Б.* Пушкин. Кн. 1-я (1813—1824). М.; Л., 1956, с. 295—370.

<sup>8</sup> Там же, с. 299—304.



узнаем также в «Графе Нулише», «Домике в Коломне», «Повестях Белкина», «Истории села Горюхина», многих местах «Евгения Онегина», в сказках Пушкина 1830—1834 годов и в ряде других его произведений.

## 2

Поэма «Руслан и Людмила» была первым важнейшим шагом Пушкина на пути его движения к народности. Именно эта сторона поэмы была восторженно воспринята и старшими и младшими современниками поэта (вплоть до М. И. Глинки). И именно решительный разрыв Пушкина в «Руслане и Людмиле» с традициями классицизма, щедрое обращение в поэме к миру народной сказки и к стихии «простонародного» языка вызвали неприятие поэмы консервативной критикой, которая обрушилась на нее с теми же упреками, которые она позднее адресовала «кучерской», по оценке любителей итальянской оперы, музыке Глинки.

Уже в лицейские годы, как свидетельствует стихотворение «Лицинию» (1815), национально-исторические и патриотические размышления Пушкина непосредственно смыкаются с гражданскими. В послелицейские годы, в обстановке того подъема передовых, вольнолюбивых настроений, которым был ознаменован в России период второй половины 1810-х—начала 1820-х годов, подготовивший выступление декабристов, наряду с поисками национально-самобытных путей развития русской поэзии перед молодым Пушкиным, как свидетельствуют «Вольность» и «Деревня», все более остро встают непосредственно политические и социальные проблемы русской жужни. При этом в понимании поэта вопросы законности и политической свободы для России сплетаются в единый узел с идеей необходимости уничтожения крепостного права. А это закономерно подвело поэта к тому важнейшему выводу, который Пушкин сформулировал в 1822 году в своих исторических заметках о русской истории XVIII века. Вывод этот во многих отношениях предваряет лейтмотив последующих размышлений поэта о крепостном праве: «Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; *нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян...* и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы» (XI, 14—15; курсив мой, — Г. Ф.).

Для следующего после создания «Руслана и Людмилы» периода в формировании пушкинских представлений о народности и отражении ее в литературе важнейшее значение имеют его южные поэмы. Уже в первой из них, обращаясь к традиционной для романтической поэмы 10—20-х годов теме контрастного поэтического изображения двух разных культурно-исторических стихий — «Востока» и «Запада», Пушкин глубоко новаторски подходит к ее освещению. Байрон в своих восточных поэмах стремился создать устойчивый, условно-поэтический образ мусульманского Востока. Пушкин же в «Кавказском пленнике» с предельной смелостью и оригинальностью отходит от условного романтического канона в изображении «чужой», неевропейской национальной стихии. Вместо обобщенного красного условно-поэтического мира пашей, гаремов и минаретов он рисует неповторимые, точные картины природы реального Кавказа, эпизоды повседневной — мирной и боевой — жизни черкесского селения. Сложные взаимоотношения тогдашней России и горцев имеют в изображении Пушкина всю свою подлинную исто-

рическую многозначность. С нарисованными в эпиллоге образами прославленных русских военачальников — от Цицианова и Котляревского до Ермолова (каждый из которых сохраняет в поэме свое особое лицо и которые по-разному оцениваются поэтом) в «Кавказском пленнике» соседствует образ сына «вольных станиц» — донского казака, а в ее герое поэтом впервые намечены черты сложного, раздвоенного и охлажденного «отступника света» (а вместе с тем и жертвы его «неприязни двуязычной»), для которого участие в войне с горцами, плен и освобождение из плена становятся этапами обретения внутренней, духовной свободы. Столь же дифференцированно обрисованы будни и праздники населения Кавказа — «племен, возросших на войне», их домашняя и боевая жизнь, их нравы, занятия и праздники. Отвечающим ударом кинжала на посягательство чужеземцев «мстительным грузинкам» противопоставлена облагороженная поэтом в ее целомудренной и скромной любви, жертвующая своей жизнью ради счастья пленника героиня-черкешенка.

По пути, на который он встал в «Кавказском пленнике», Пушкин дальше пошел в других южных поэмах. Мир крымской истории, преданий и легенд, как он представлен в «Бахчисарайском фонтане», — мир, где на фоне изображенной в ее особой, неповторимой красоте природы Крыма сталкиваются три разные культурно-исторические стихии, воплощенные в татарском хае, грузинке Зареме и дочери другой цивилизации христианке-пленнице Марии. Позднее в поэме «Цыганы» в образах и речах Земфиры и Старого цыгана Пушкин сумел исторически конкретно и этнографически точно запечатлеть уклад жизни, комплекс бытовых и нравственно-этических представлений вольного цыганского племени. Характерное для всей эпохи романтизма в Западной Европе и России внимание к «местным краскам» и «национальному колориту» углубляется у Пушкина до стремления понять каждую национальную культуру, уклад жизни, весь строй представлений, свойственных каждому народу, в присущих им историческом своеобразии, неповторимости, уникальности — и в то же время чутко оценить и художественно раскрыть меру их общечеловечности, свойственный им уровень развития идеала гуманности.

Результаты своих длительных размышлений первой половины 20-х годов о народности в литературе Пушкин изложил в специальных заметках на эту тему, относящихся к 1825—1826 годам.

«Климат, образ правления, вера дают каждому народу, — писал поэт, — особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» (XI, 40; ср.: XI, 38, 83, 177).

Споря с теми, кто сводил народность в первую очередь к «выбору предметов из отечественной истории» (там же), Пушкин вряд ли полемизировал в 1825—1826 годах лишь с эпопеей эпохи классицизма и русской трагедией XVIII—начала XIX века от Сумарокова до Озерова. Скорее можно предположить, что он критически отзывался в своих рассуждениях также на программную установку рылеевских дум (которые он несколько раньше подверг придирчивому разбору в письмах), равно как и на ряд положений трактата «О романтической поэзии» О. М. Сомова (1823) и статей критиков-декабристов (в том числе А. А. Бестужева и В. К. Кюхельбекера). Утверждая вместе с критиками-декабристами принципы национальной самобытности и народности в литературе, Пушкин понимал их более широко, чем писатели и критики декабристской ориентации. Не отрицая значения для формирования новой русской литературы национально-исторических тем, Пушкин ориентировал ее на изображение не только национального прошлого, но и живой современности. Требование же народности языка и стиля он, углубляя его,

связывал с отражением в литературе «особой физиономии народа», присущего ему «образа мыслей и чувствований» (так же как его «обычаев, поверий и привычек»).

Утверждая, что народность литературы — понятие принципиально иного, более сложного, широкого и емкого порядка, чем «выбор предметов из отечественной истории» (к которой обращались уже авторы национально-государственных эпосов и трагедии XVIII века), Пушкин, разумеется, ни в коей мере не отвергал значения для русской литературы тем и образов национальной истории и национального фольклора. Об этом свидетельствует его упорное возвращение к этим темам и образам в 1821—1822 годах. Еще в эпилоге «Кавказского пленника» он упоминал о своем намерении описать в одной из будущих поэм «Мстислава древний поединок» (IV, 113). В 1821—1822 годах поэт работает над поэмой и трагедией «Вадим», а в конце 1822 года набрасывает план поэмы о Мстиславе, где исторические предания соединяет со сказочными и былинными. К 1822 году относятся первые опыты разработки сказочной поэмы о Бове (к ней Пушкин вернулся позднее, в 1834 году, остановившись на первых строках).<sup>9</sup> На полях поэмы «Братья разбойники» (1821—1822) набросан план поэмы «Олег — в Византию — Игорь и Ольга — Поход» (III, 741).<sup>10</sup> С работой над «Вадимом» связан, по-видимому, один из ранних опытов обращения Пушкина к стихотворной ритмике русской народной песни («Уж как пал туман седой на синее море»),<sup>11</sup> предвещающий позднейшие пушкинские опыты разработки народного стиха в «Песнях о Стеньке Разине», «Сказке о Медведихе» и «Песнях западных славян». Сама поэма «Братья разбойники» должна была первоначально включать в себя, как свидетельствуют ее предварительные планы, близкую к разинской теме историю о нападении «молодцев»-разбойников и их атамана на Волге, под Астраханью на купеческий корабль. Причем для направления исканий Пушкина характерно, что, в отличие от первых планов поэмы, где в центре фабулы находилась драма ревности и страсти — судьба разбойничьего атамана и его возлюбленной, в окончательном тексте поэмы он строит ее в форме рассказа об испытаниях рядового члена шайки, которого привели в нее нужда и сиротство, «горе» и «заботы», выпадающие в самодержавно-крепостной России на долю рядового, простого человека.<sup>12</sup> Примечательно и то, что уже в первых строках опубликованного в «Полярной звезде» (1824) отрывка Пушкин подчеркивает разноплеменность изображаемого им разбойничьего семейства. Общая нужда и несправедливость свели здесь вместе сы-

<sup>9</sup> Поэму «Бова» Пушкин начал еще в 1814 году в Лицее, подражая в то время Вольтеру и Радищеву. Позднее он критически отзывался о сказочно-богатырских поэмах Радищева и его сына (в статье «Александр Радищев», 1836); «Жаль, что в Бове, как и в Аеше Поповиче... нет и тени народности, необходимой в творениях такого рода; но Радищев думал подражать Вольтеру...» (XII, 35). «Орлеанскую девственницу» Вольтера Пушкин высоко ценил и начало ее перевел в 1825 году. Но в отличие от «Руслана и Людмилы» она имеет характер просветительской поэмы-сатиры, а не романтической поэмы, основанной на свободной поэтической обработке мотива сказки и национального эпического предания. Возвращение к сюжету о Бове в 1822-м и 1834 году явилось отражением дальнейших исканий поэта в области создания стихотворной поэмы-сказки.

<sup>10</sup> Ср.: Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10-ти т. М., 1957, т. IV, с. 577.

<sup>11</sup> Там же, с. 554.

<sup>12</sup> На одном из ранних этапов творческой истории при переходе от планов поэмы к разработке ее сюжета рассказ этот должен был получить форму «молдавской песни» (IV, 373). Об интересе Пушкина в период пребывания в Кишиневе к молдавскому фольклору и историческим преданиям рассказывает И. П. Липранди. Вопросу этому посвящен ряд научных исследований (Б. В. Томашевского, Г. Ф. Богача, Е. М. Двойченко-Марковой и др.). Напомним, что в состав поэмы «Бахчисарайский фонтан» входит «Татарская песня», посвященная Зареме (IV, 158—159).

нов разных угнетенных народов самодержавной России, объединив и спаяв их в борьбе с официальными законом и властью:

Какая смесь одежд и лиц,  
 Племен, наречий, состояний!..  
 . . . . .  
 Меж ними зрится и беглец  
 С берегов воинственного Дона...  
 . . . . .  
 И дикие сыны степей,  
 Калмык, башкирец безобразный,  
 И рыжий финн, и с ленью праздною  
 Везде кочующий цыган!

(IV, 145)

Наконец, в 1822 же году написана «Песнь о вещем Олеге». Все эти многообразные опыты обращения к национально-исторической и народной теме способствовали критическому пересмотру общих взглядов поэта на проблему народности искусства, интенсивным раздумьям о ней, их углублению и обогащению. И вместе с тем они стимулировали постоянные упорные размышления поэта над методом воплощения в искусстве национально-исторических тем и сюжетов. Не случайны обостренный интерес Пушкина во второй половине 1810-х—первой половине 1820-х годов к «Истории государства Российского» Карамзина, оставшаяся неизменной у поэта до последних дней жизни высокая оценка исторического значения труда «последнего» русского «летописца».

### 3

Характеризуя умонастроение Пушкина начала 20-х годов, его острый интерес к греческому восстанию и вообще тогдашним национально-освободительным и революционным движениям в Европе, Б. В. Томашевский и Г. А. Гуковский справедливо отметили, что поражение этих движений, торжество политики Священного Союза (по прямому распоряжению руководителей которого Франция в 1823 году ввела войска в Испанию, свергла там революционное правительство и восстановила самодержавие) имели огромное значение для последующего развития взглядов Пушкина на проблемы революционного восстания и на взаимоотношение передовой, мыслящей части общества с народом. «Особенно поразило Пушкина, — глубоко и пронизательно отмечает Томашевский (комментируя стихотворение «Свободы сеягель пустынный», 1823), — что народ не поддержал революционных вождей и часто оказывался орудием в руках фанатических священников, ратовавших за восстановление королевского самодержавия».<sup>13</sup> «Отчужденность передовых политических деятелей от народа», так же как отраженное в заметках и письмах Пушкина о греческом восстании трезвое осознание коренного различия между романтическими идеалами филэллинизма и реальным обликом не только рядовых участников, но и многих из этеристов и других руководителей греческой борьбы за независимость, преследовавших в своей деятельности узко личные, а нередко и мелочно корыстные цели, сделали для поэта очевидным, «что филантропические мечтания и подлинны исторические силы не одно и то же».<sup>14</sup>

Все это должно было привести поэта к новому этапу в развитии его политической и социальной мысли: у Пушкина возникает представление

<sup>13</sup> Томашевский Б. Пушкин. Кн. 2-я. Материалы к монографии (1824—1837). М.; Л., 1961, с. 495; ср.: Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1-я, с. 552, 563—566; Гуковский Гр. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946, с. 284—298.

<sup>14</sup> Томашевский Б. Пушкин. Кн. 2-я, с. 496.

о передовых исторических деятелях и о народе не как о посетителях «вечных», раз навсегда данных неисторических, абстрактных свойств, но как о конкретных силах, которые в условиях любой страны и каждой эпохи имеют свое особое, неповторимое «лицо», обусловленное закономерным ходом национальной и всей мировой истории. Этот новый глубокий историзм в подходе к проблеме народа как творца истории, его отношения к государственной власти и к историческим деятелям, выступающим от его лица (или берущим на себя выполнение дела проведения общественных преобразований, но остающимся при этом более или менее далекими от него одиночками, которые в силу этого осуждены историей на неизбежное поражение), выражен в «Борисе Годунове» (1823—1825).

Как верно указал П. В. Анненков, «Борису Годунову» принадлежит в творчестве Пушкина, в исторических размышлениях поэта и в решении им проблем народа и народности совершенно особое место: историческая драма Пушкина представляет собой «зерно, из которого выросли почти все его исторические и большая часть литературных убеждений».<sup>15</sup>

Известно, что Пушкин связывал с «Борисом Годуновым» широкие реформаторские планы, полагая, что «дух века требует важных перемен и на сцене драматической» (XI, 141). «Драма родилась на площади» и составляла первоначально «увеселение народное», — полагал Пушкин (XI, 178). Позднее она стала «заведовать страстями и душою человеческою», превратилась в отражение «судьбы человеческой» и «народной» (XI, 178, 419). Но драма Шекспира сумела сохранить верность традиции и законам народной драмы, в то время как французские трагикки (в том числе Расин) подчинились стеснительной опеке двора и вкусам «избранного» аристократического общества.

Таким образом, проблема выбора русской драматургией в качестве образца системы шекспировской драмы или драматической системы французского классицизма не была для поэта всего лишь эстетическим вопросом. Без «вольного и широкого изображения характеров» (XI, 140), без полнейшей свободы драматического поэта от вкусов и опеки двора и аристократических салонов, без его творческой независимости, свободы воображения, исторического беспристрастия (т. е. глубочайшей верности писателя «истине страстей» и суду истории) Пушкин не мыслил создания подлинно национально-народной исторической драмы.

Этого мало. Широкая постановка вопросов общенационального значения сочетается в «Борисе Годунове» со стремлением органически включить народ, понимаемый как одна из решающих сил истории, в число действующих лиц трагедии, дать ему возможность на сцене открыто заявить о себе, о своих интересах, исторических чаяньях и этических идеалах.

Русские романтики (в том числе романтики-декабристы и молодой Пушкин) выдвигали в своем творчестве на первый план выдающуюся личность, считали исторических «героев» главным источником инициативы, движущей силой истории, увлекающей народ за собой. В «Борисе Годунове» же Пушкин утверждает взгляд на народ не только как на объект, но и субъект истории — как на питательную почву и основу всей национальной жизни и культуры.

Трагедия эпохи классицизма не допускала изображения на сцене простых людей. Ее героями были цари и героини, а действие в ней происходило, как правило, во дворце или в царской ставке, было всецело замкнуто в четырех стенах. Люди незнатного происхождения могли появляться в классической трагедии XVII века лишь в роли наперсников (или вестников), и лишь в последней своей трагедии «Гофоллия» Расин — по примеру древних трагиков — предоставил место хору. Но и

<sup>15</sup> Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина, с. 137.

в трагедиях Шекспира народ, за исключением двух римских его трагедий — «Юлия Цезаря» и «Кориолана», как правило (хотя народные симпатии и антипатии в них постоянно привлекают интерес и внимание главных персонажей), непосредственно — в виде многоликой толпы — фигурирует лишь в сценах, рисующих своеобразный «апофеоз» главных героев, отмечающих высшие, кульминационные точки их жизненного пути (такова встреча Отелло на Кипре во II акте трагедии или сцены I акта «Макбета»). В остальных трагедиях Шекспира народные идеалы олицетворяются в отдельных, умудренных жизненным опытом народных персонажах, комментирующих поступки и судьбу протагониста с народной точки зрения, произносящих над ним свой приговор (могильщики в «Гамлете», шут в «Короле Лире»). Вот почему Пушкин следует в разработке общих контуров действия своей драмы в «Борисе Годунове» образцу не столько шекспировских трагедий, сколько шекспировских хроник, где народные сцены занимали значительно более обширное место, чем в трагедиях. Выводя на сцену народ и в виде многоликой, непосредственно участвующей в действии и постоянно активно психологически реагирующей на него толпы, и в образах отдельных персонажей, репрезентирующих в трагедии разные стороны народной жизни и выражающих разные грани народного сознания эпохи (Пимен, Варлаам и Мисаил, Юродивый и т. д.), Пушкин ставит своей задачей синтезировать, слить воедино черты поэтической структуры, свойственные двум во многом близким, но в то же время разграниченным в творчестве Шекспира жанрам — его хроникам и трагедиям (действие последних — в отличие от хроник — сосредоточено вокруг фигуры и судьбы главного героя).

Действие «Бориса Годунова» то свободно выносится на площадь, то происходит в кремлевских палатах, во дворце Бориса, в доме Шуйского или Мнишека, в корчме на Литовской границе, в уединенной келье Чудова монастыря, в ставке Самозванца, на поле боя и т. д. Причем оно охватывает весь период правления Годунова — от его избрания на царство до гибели его династии и воцарения Самозванца, т. е. семь с половиной лет. Все это позволяет Пушкину на протяжении развития действия сменять постоянно в изображении событий два плана — крупный (если пользоваться термином кинематографии), при котором господствуют психологические портреты, изображение поступков и переживаний отдельных лиц, в том числе обоих главных героев трагедии — Годунова и Дмитрия, и иной, широкомасштабный, который дает поэту возможность свободно раздвинуть границы сценического пространства и заполнить его до краев множеством лиц, показав массовую психологическую реакцию на происходящее.

Любимым героем Шекспира в его трагедиях был простодушный, прямой и щедрый носитель эпического, рыцарско-героического сознания, живой и гибнущий в эпоху, которая породила вместе с расцветом свободной личности политическое коварство и утонченный, цинический «макиавелизм».<sup>16</sup> Проблематика пушкинской народной драмы иная. Основным узел ее социально-политического и нравственного содержания составляют проблема растущего трагического отчуждения между верховной властью и народом, вопрос о причинах этого отчуждения, а также об исторических путях и возможностях, которые могли бы способствовать его преодолению.

Поэт изобразил в «Борисе Годунове» народ как ту историческую силу, отношение которой к лицам, действующим на авансцене исторической жизни, играет решающую роль в конечном развитии событий, определяя успех или неуспех их замыслов и предприятий. Уже в начале

<sup>16</sup> См. об этом: Пинский Л. Шекспир: Основные начала драматургии. М., 1971, с. 101—113.

трагедии в сцене избрания Годунова на царство зрителю становится очевидным, что народ, живущий своей жизнью и своими интересами, равнодушен к верховной власти, не симпатизирует Годунову и не хочет его избрания. Лишь вмешательство бояр и патриарха побуждают народ участвовать в хитроумно разыгранной сцене призвания Годунова на царство. И позднее Годунову так и не удается завоевать доверие и поддержку народа. Именно это, в конечном счете, решает судьбу Бориса и его наследников. И точно так же суровое «безмолвие» народа в ответ на призыв приветствовать Лжедмитрия криком: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» свидетельствует об его отрицательном отношении к преемнику Бориса, начавшему свое царствование с нового — сходного с преступлением Бориса — жестокого и кровавого преступления. Это отрицательное отношение народа предвещает Самозванцу скорый бесславный конец.

Следует отметить, что в трагедии подчеркнуты два разных мотива отрицательного отношения народа к Борису. Один из них — несоответствие образа Бориса и поступков его народному идеалу правды и справедливости. Борис проложил себе дорогу к трону преступлением. Он — убийца, и, более того, убийца невинного младенца. Недаром Юродивый называет его «царем Иродом». Преступление Годунова, то, что он во имя личного честолюбия убил Дмитрия, расчистив себе тем самым дорогу к престолу, осуждают и Пимен, и Юродивый, и вся стоящая за ними безымянная, многоликая народная масса. Как царь-преступник, царь-детоубийца, Годунов не отвечает требованиям народной нравственности: он — преступник не только с точки зрения официального закона, но и с точки зрения народного этического идеала, а потому народ не может и не хочет дать свою санкцию на его избрание, глухо враждебен Годунову, несмотря на его «щедроты».

Но народ имеет, по Пушкину, как свидетельствует трагедия, не только право высшего нравственного суда над Годуновым и другими историческими лицами первого плана, которые могут быть сильны лишь «мнением народным» (а потому успех и неуспех их всецело зависят от поддержки народа). Народ имеет в истории, по Пушкину, также свои особые интересы. Они могут и совпадать и не совпадать с интересами монарха и высших классов. На эту сторону исторической мысли Пушкина в «Борисе Годунове» намекает упоминание об отмененном Годуновым «старинном Юрьеве дне».

Однако, хотя народ имеет в трагедии свои особые интересы и притом его нравственный приговор совпадает с требованиями бескомпромиссного и непогрешимого высшего, общечеловеческого нравственного суда, он в эпоху, изображаемую поэтом, не обладал собственной исторической инициативой, способностью к активному, целенаправленному историческому действию. У него было историческое право дать или не дать свою санкцию на притязания героев первого плана, осудить или оправдать их, но ему не дано было выдвинуть из своей среды лиц, способных действовать самостоятельно, а не поддерживать того или другого из борющихся героев, происходящих из боярской (или дворянской) среды и представляющих в истории, с одной стороны, свои личные честолюбивые интересы, а с другой — исторические чаяния этой среды. В этом состоит трагический оттенок народного «безмолвия» в финале великой народной драмы Пушкина. Поэтому финал «Бориса Годунова» не только апофеоз высшей народной правды и народного суда, но и художественное отражение трагического и мучительного сознания невозможности для народа пока осуществить тот идеал правды и добра, который составляет неотъемлемую черту его внутренней нравственной жизни. Ибо идеал этот стихийно живет в душе народа, определяет неприятие им Бориса и Самозванца, но не может пока проявиться в слове или действии.

Пушкин нарисовал в «Борисе Годунове» не только ярчайшую незабываемую картину избранной им эпохи. Благодаря гениальному проникновению в дух русской истории, поэт, изображая мастерски политические события и нравы Смутного времени, давая емкие, впечатляющие, психологически глубокие портреты Бориса Годунова, Самозванца, Шуйского, Басманова, Марины Мнишек, смог в то же время гениально обрисовать ряд обобщенных характеров-типов и исторических ситуаций, воссоздающих общий склад, самую национально-историческую атмосферу жизни московской допетровской Руси и — еще шире — русской старины вообще. Не случайно уже первых слушателей и читателей трагедии особенно поразил образ Пимена, в котором Пушкин стремился нарисовать тип древнерусского монаха-летописца. Пимен, Юродивый, странствующие монахи отцы Варлаам и Мисаил, патриарх, молодой Курбский, Ксения Годунова, плачущая над портретом своего жениха, — не только образы-характеры одной конкретной эпохи, но и глубокие исторические характеры-типы, в которых воплощены общие черты быта и психологии людей древней Руси. Такой же обобщающий, типический смысл Пушкин сумел придать изображению основных исторических сил, действовавших и борющихся на арене истории Руси не только в эпоху правления Годунова, но на протяжении многих других веков и десятилетий, — верховной власти, духовной и светской, бояр, служилого дворянства, народа. Мало того. Так же как «русские сцены» «Бориса Годунова» гениально воссоздают общий колорит русской истории, сложившийся в течение многих эпох ее развития, впитали в себя дух и приметы не одной, но многих ее эпох, так «польские» сцены и персонажи трагедии (как и в «Иване Сусанине» М. И. Глинки, опиравшемся в работе над музыкой этой своей гениальной оперы на опыт Пушкина — исторического драматурга) представляют собой аналогичный сгусток черт и примет многих эпох в истории старой аристократически-шляхетской Польши, воссоздают ее общий местный национально-исторический колорит.<sup>17</sup>

## 4

Переход от романтических «южных» поэм к «Евгению Онегину» (а затем — к «Графу Нулину», «Полтаве», «Домику в Коломне») был, как и работа над «Борисом Годуновым», важнейшим шагом Пушкина на пути движения его к идеалу глубокой, реалистической народности. «Он понял, — писал Белинский, говоря о причинах, обусловивших эволюцию Пушкина от поэм 10-х—начала 20-х годов к роману в стихах, — что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостью».<sup>18</sup>

В «Борисе Годунове» русская история предстала перед читателем во множестве бытовых и психологических отражений, дополняющих друг друга и благодаря этому складывающихся в единую и цельную, при всей своей внутренней сложности, картину. Близкий этому метод «стереоскопического» по своей объемности и выразительности воссоздания жизни современной России, воспринятой во всем богатстве ее бытовых и психологических красок, Пушкин применил в «Онегине».

Воспользовавшись той поэтической свободой, которую давала ему форма романа в стихах, Пушкин превратил «Онегина», по верному опре-

<sup>17</sup> См. об этом: *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 35—72.

<sup>18</sup> *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955, т. VII, с. 440.



делению Белинского, в «энциклопедию русской жизни» своей эпохи.<sup>19</sup> Из Петербурга, где мы в первой главе знакомимся с главным героем, Пушкин в дальнейшем переносит нас в имение Лариных, чтобы затем вернуть действие в главные географические и исторические центры России — Москву и Петербург. Перед читателем проходят одна за другой картины русского лета и русской зимы, весны и осени, он приобщается не только к жизни молодого «европеизированного» столичного дворянина, обрисованной в первой главе, но и к деревенской жизни русского помещичьего семейства, к радостным переживаниям дворового мальчика, радующегося приходу зимы (как и других деревенских мальчишек, коньками «режущих» лед), к быту дворовых и крестьянских девушек, собирающих ягоды для помещика в его саду, к мыслям и чувствам воспитательницы и наперсницы героини — русской деревенской няни, слышит из ее уст бесхитростный рассказ о ее непростой и нелегкой жизненной судьбе. Образ Москвы предстает в романе овеянный славными историческими воспоминаниями о подвиге 1812 года, а глава «Странствие» раскрывает перед читателем еще более широкую, уходящую в даль перспективу, связывающую основное действие поэмы с набросанным яркими красками историческим и географическим образом России.

Глубоко национален в романе не только географический и исторический фон, такой же национальный характер имеют и образы обоих ее героев — русского юноши мечтателя Ленского, «романтика по натуре и по духу времени»,<sup>20</sup> с его «геттингенской» душой, осужденного на раннюю гибель, и «москвичка в гарольдовом плаще» Онегина, больного «русской хандрой». Но особенно важное, программное для автора значение имеет образ главной героини «Онегина» — «уездной барышни», выросшей в провинциальной глуши, в мире обрядов и поверий «простонародной старины» (VI, 99) и сумевшей сохранить верность народным этическим идеалам и ничем не замутненную чистоту души в кругу холодных и бездушных людей «большого света».

Мы все поем уныло. Грустный вой  
 Песнь русская. Известная примета!  
 Начав за здравие, за упокой  
 Сведем как раз. Печалию согрета  
 Гармония и наших муз и дев.  
 Но нравится их жалобный напев, —

(V, 87)

писал Пушкин в «Домике в Коломне» в год окончания «Онегина» — этой «первой истинно национально-русской поэмы», по оценке Белинского, поэмы, где Пушкин, по словам критика, «является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания», «истинно народным, истинно национальным поэтом».<sup>21</sup> С приведенной характеристикой русской народной лирической песни гармонирует общий тон «Онегина» — мажорного и в то же время овеянного светлой грустью повествования о несбывшихся надеждах трех русских людей, одаренных «большими духовными силами» и в то же время не могших достичь своего счастья из-за враждебного им рокового «фатума», «закрывающегося в действительности, которою, — по определению Белинского, — окружены они, как воздухом» и от которой не в их силах и не в их власти освободиться.<sup>22</sup>

«В словах няни, простых и народных, без тривиальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни

<sup>19</sup> Там же, с. 503.

<sup>20</sup> Там же, с. 470.

<sup>21</sup> Там же, с. 432, 491.

<sup>22</sup> Там же, с. 469.

народа, его взгляд на отношения полов, на любовь, на брак... И это сделано великим поэтом одною чертою, вскользь, мимоходом брошенной!» — писал Белинский о разговоре Татьяны с нянею в третьей главе «Онегина».<sup>23</sup> Найденный здесь глубоко новаторский подход к изображению народной жизни одновременно «извне» и «изнутри» — в сложном, контрапунктном переплетении и сопоставлении точки зрения внешнего, постороннего наблюдателя и точки зрения самого народа — Пушкин развил в «Утопленнике» (1828), «Бесах», «Гробовщике», «Станционном смотрителе», «Истории села Горюхина» (1830). И в стихах, и в прозе Пушкин дает здесь голос реальному человеку из народа, представленному в разных его ликах, крестьянским детям, их отцу, ямщику, Адриану Прохорову, Самсону Вырину, мужикам-горюхинцам, для того чтобы тут же ввести народную жизнь, народную мысль и слово в более широкий объективный культурно-исторический и социальный контекст русской общественной жизни, изображенной в истинных ее пропорциях и очертаниях, со всем присущим поэту, по выражению Белинского, «тактом действительности».<sup>24</sup>

«Бесы», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «История села Горюхина» отражают одну грань размышлений Пушкина о народе болдинской осенью 1830 года. Другая грань упорно занимавшей поэта в это время народной темы преломилась в созданной им в 1829—1832 годах народной драме (или лирической трагедии) «Русалка», где Пушкин создает обобщенный образ русской девушки из народа, нравственную красоту, чистоту и бескорыстие которой поэт противопоставляет и жадности ее отца — старого мельника, и легкомыслию ее возлюбленного, князя, жертвующего любовью к Наташе — своим первым и единственным подлинно глубоким чувством — во имя государственного и сословного долга и навсегда осужденного на душевные терзания и муки совести.<sup>25</sup> В «Моцарте и Сальери» (1830) поэт изображает народность истинного художника: его Моцарт, в отличие от мрачного, завистливого и подозрительного Сальери, всегда открыт жизни и людям. Потому он с удовольствием слушает бесхитростную, неумелую игру уличного музыканта, вызывающую у Сальери презрение и злобу, так как он считает искусство делом одних лишь избранных.

В «Полтаве» (1828—1829) и «Медном всаднике» (1833) Пушкин измеряет образ Петра и его дело не только государственными и национальными интересами, но и высшим идеалом гуманности. Глубокое сочувствие поэта вызывают невинные жертвы как исторического процесса, порождающего жестокую борьбу политических страстей, так и стихийных сил природы, восстающей против границ, в которую ее втиснула вступившая с нею в борьбу и обуздавшая ее железная воля «строителя чудотворного». И в то же время поэт отдает должное делу Петра, национально-государственному пафосу его военного и строительного подвига во имя созидания новой России. В борьбе с Карлом XII и Мазепой Петр выступает как мститель также и за Кочубея, Марию, молодого казака, доставившего ему «донос на гетмана-злодея». А Евгений и Петр, как верно отметил Андрей Платонов,<sup>26</sup> не только противопоставлены друг другу как антагонисты, но и сопряжены как «жизнеустроители» — один в большом, историческом, а другой в своем «малом», домашнем мире.

<sup>23</sup> Там же, с. 491.

<sup>24</sup> Там же, с. 329.

<sup>25</sup> См. о народности «Русалки»: Берковский Н. Я. «Русалка» — лирическая трагедия Пушкина. — В кн.: Берковский Н. Я. О русской литературе. Л., 1985, с. 112—154.

<sup>26</sup> Платонов А. Пушкин — наш товарищ. — Литературный критик, 1937, № 1, с. 49—53.

В статье, посвященной «Борису Годунову», Белинский усмотрел недостаток пушкинской трагедии в том, что, поскольку поэт исходил в ней из карамзинской трактовки Годунова — убийцы Дмитрия и положил ее в основу своей исторической драмы, он не мог показать истинной исторической трагедии Годунова. На деле трагедия эта состояла, по мнению критика, в том, что, овладев престолом, Годунов остался верен старым историческим традициям и идеалу московских великих князей, не сумев выступить в качестве носителя нового, более высокого, исторического принципа. Однако, если рассматривать «Бориса Годунова» в более широком контексте творчества Пушкина, с упреком Белинского трудно согласиться. Создав «Бориса Годунова», Пушкин позднее лишь в историческом отрывке 30-х годов «Москва была освобождена...» (1832), представляющем, по новейшим разысканиям, черновой вариант зачина будущей «Истории Петра»,<sup>27</sup> и в письме к Чаадаеву 1836 года мимоходом коснулся 1612 года, царствования Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Но зато с 1827 года, когда был задуман «Арап Петра Великого», и до конца жизни Пушкина творческое воображение его продолжает тревожить образ Петра, к которому поэт упорно обращается все снова и снова, освещая каждый раз какие-то новые грани его личности и исторической деятельности. Это дает известное основание предположить, что Борис Годунов и Самозванец, с одной стороны, и Петр — с другой, представляли в понимании Пушкина антитезу, в какой-то мере близкую той, о которой писал Белинский, противопоставляя пушкинскому Годунову «гениального» деятеля истории — всемирно-историческую личность, воплощающую в национальной жизни новый исторический принцип.

Следует напомнить, что Пушкин хорошо знал не только о «мятежах и казнях», мрачневших «начало славных дней Петра» (III, 40), но и об указах царя, «писанных кнутом» (X, 256), и о многих жестоких действиях, которые Петр совершил во имя создания и укрепления своей империи. Но, в отличие от Годунова, Петр был в глазах поэта посетителем нового, созидательного начала. Его железная воля была направлена на преобразование России, преобразование, хотя и связанное с рядом жестоких и трагических последствий, но при этом исторически необходимое, оправданное интересами развития страны и народа.

Но отсюда напрашивается вывод, что Годунов и Петр для Пушкина представляли именно те два разных типа исторических личностей, между которыми Белинский проводит грань в своей статье. Вынужденные оба обращаться как исторические деятели к насилию, Годунов и Петр пользовались им — по Пушкину — в разных целях, первый всего лишь во имя возвышения и упрочения своей династии, а второй — во имя широко понятых общенациональных и общегосударственных интересов. Все это позволяет думать, что Пушкин подходил к анализу причин исторической катастрофы Годунова как государственного деятеля с широкой национально-исторической точки зрения, а не склонялся слепо (как представлялось Белинскому) к повторению оценки Годунова, данной Карамзиным в «Истории государства Российского». Между проблематикой «Бориса Годунова», с одной стороны, и проблематикой «Арапа Петра Великого» и «Полтавы» — с другой, в сознании Пушкина существовала внутренняя связь. Обращение к петровской теме в «Арапе Петра Великого», «Полтаве», «Пире Петра Первого», «Истории Петра», «Медном всаднике» и других произведениях на петровскую тему имело поэтому

<sup>27</sup> См. об этом: Петрунина Н. Н. О наброске Пушкина «Москва была освобождена...». — Русская литература. 1982, № 2, с. 149—153.

для Пушкина принципиальное значение с точки зрения постановки проблем национальности и народности литературы в ее отношении к исторической жизни России.

## 5

Одной из черт, определяющих для всего облика Пушкина — человека и поэта, был его глубокий патриотизм. «Простительно выходящу не любить ни русских, <ни> России, ни истории ее, ни славы ее, — писал он в 1830 году в полемике с Булгариным. — Но не похвально ему за русскую ласку марасть грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев» (XI, 153).

Поэт с негодованием и скорбью замечал, что Россия и русский народ составляли «вечный предмет невежественной клеветы писателей иностранных» (XI, 27). И наоборот, Пушкина глубоко радовало каждое исключение из этого правила. Недаром он сочувственно отметил, что «Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил ее и хорошо знал ее новейшую историю» (XI, 55).

В процессе выработки национальной литературы широкое обращение ее к «энергическому наречию нашего народа» (XI, 151) было для Пушкина одним из условий дальнейшего развития и обогащения русской литературы, условием поворота ее от аристократическо-светской жеманности и чопорности к национальности и народности. В прошлом в ходе исторического развития на Руси «простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизилась, — утверждал поэт, — и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (XI, 31).

Возражая хулителям «простонародного» языка, Пушкин писал, что нужно принципиально отличать друг от друга «выражения простонародные» и те, которые «просто принадлежат языку дурного общества» (XI, 93). По Пушкину, «разговорный язык простого народа (не читающего иностр.<анных> книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на фр.<анцузском> языке) достоин... глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре; не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирным. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» (1830, XI, 148—149).

В 1825 году в Михайловском и Пскове поэт, как известно, и сам посещает народные гуляния, ярмарку, прислушивается к живым народным речениям, пословицам и поговоркам. «Время пребывания в Пскове, — свидетельствует Анненков, — он посвятил тому, что занимало теперь преимущественно его мысли, — изучению народной жизни. Он изыскивал средства для отыскания народной речи в самом ее источнике: ходил по базарам, терся, что называется, между людьми...»<sup>28</sup>

«... Утомленный вкус требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках новой, народной поэзии», — писал Пушкин в 1828 году (XI, 66). И в другом месте: «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному. Так некогда во Фр.<анции> blasés, светские люди, восхищались Музою Ваде, так ныне Wordsworth, Coleridge увлекли за собою мнение многих. Но Ваде не имел ни воображения, ни поэтического чувства, его остроумные произведения дышат одною

<sup>28</sup> Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина, с. 153. Ср.: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 1, с. 413, 429—430.

веселостью, выраженной площадным языком торговцев и поспыльщиков. Произведения английских поэтов, напротив, исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина» (XI, 73).

«Не решу, какой словесности отдать предпочтение, по есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.», — замечал поэт еще раньше (XII, 192). Идеалом Пушкина был идейно-культурный синтез народности и той передовой, благородной и свободолюбивой гуманистической мысли, носителем которой в его время еще оставалась по преимуществу лучшая, независимая часть русского дворянства; к ней принадлежал и сам Пушкин, и дворянские революционеры — герои 14 декабря.

Записывание русских народных песен и сказок,<sup>29</sup> собственная работа над сказками готовят Пушкина к созданию «Песен западных славян» (1833—1834). К ним примыкают наброски, восходящие к мотивам сербских песен и народных исторических преданий («Что белеется на горе зеленой...» и «Менко Вуич грамоту пишет...»). Опираясь на изданный на французском языке сборник П. Мериме «Гузла» (1827), собрание сербских песен Вука Караджича и «Путешествие по Далмации» аббата Фортиса, Пушкин с исключительным художественным совершенством воссоздает в этих произведениях художественный мир и поэтический колорит южнославянской народной песни и исторического эпоса, выступает как всеславянский певец, поборник братства и культурного сближения славянских народов. Для размера сербских народных песен он гениально находит близко соответствующий ему русский ритмический эквивалент.

В 1825 году в Михайловском поэт создает первый опыт сказочной поэмы-баллады «Женихи». Опыт этот предшествует работе Пушкина-сказочника, автора «Сказки о Медведихе» («Как весенней теплою порою...», 1830), «Сказки о попе и о работнике его Балде» (1830—1831), «Сказки о царе Салтане» (1831), «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» (1833) и «Сказки о золотом петушке» (1834). В качестве источника своих сказок он пользуется как записями сказок Арины Родионовны, так и книжным материалом, черпая сюжеты и мотивы порою не только из русского, но и из международного фольклора («Сказка о рыбаке и рыбке»), а в «Сказке о золотом петушке» — из современной ему литературной сказки (сюжет ее, как установила А. А. Ахматова, восходит к сборнику обработок средневековых восточных арабо-испанских легенд, сказок и новелл американского писателя-романтика В. Ирвинга «Альгамбра» (1832), где содержится привлекавшая внимание поэта «Легенда об арабском звездочете»). Все свои сказки Пушкин пишет в стихах, пробуя в них разные интонации, размеры и ритмы. Основная особенность сказок Пушкина в том, что в эпоху широкого распространения в России и на Западе различных версий литературной сказки поэт сумел остаться в них свободным как от холодной морально-просветительской или педагогически-учительной назидательности, так и от характерного для эпохи романтизма философского переосмысления, от попыток идеалистического «углубления» сказочных сюжетов (превращавшихся нередко в произведениях романтиков в условное, зашифрованное изложение идей романтической философии искусства и жизни и, в соответствии с этим, свободно дополнявшихся романтическим вымыслом). Чужд Пушкин и отношения к сказке

<sup>29</sup> До нас дошла 61 песня, записанная Пушкиным, вероятно — лишь часть его собрания. См. публикацию А. Д. Соймонова: Лит. наследство, 1968, т. 79, с. 171—230; ср.: Берестов В. Д. Еще девять пушкинских строк? — Вопросы литературы, 1981, № 8, с. 163—190.

как ко всего лишь дающему богатую пищу воображению занимательному литературному материалу или как к выражению воспринимаемого отстранено экзотического «местного колорита». С глубоким доверием и уважением относившийся к законам построения, образному строю и стилистическим приемам народной сказки, выраженной в ней народной мудрости, сложившемуся веками и проверенному опытом многих поколений комплексу этических и эстетических ценностей, свойственных ей, Пушкин с исключительным искусством воссоздает в своих сказках привычный русский сказочный мир, образ «мыслей и чувствований» народа. Освобождая чистое золото от шлака, он очищает «разум» народной сказки от примеси языка грубой повседневности, посторонних наслоений, суеверий и предрассудков и придает своим стихотворным сказкам яркий, задорный и радостный, праздничный колорит. Чутко улавливая особый склад разных модификаций жанра народной сказки, принципы их внутренней структуры, приемы развертывания сюжета, свободный и раскованный интонационный ход, поэт достигает близкого духу народного творчества предельного динамизма, краткости, меткости характеристики персонажей. Язык сказок он насыщает восходящими к народной речи и фольклору афоризмами, эпитетами, пословичными оборотами, обильно пользуется приемами смыслового и синтаксического параллелизма. При этом Пушкин гармонически сливает в сказках эпическое начало с лирическим, свое глубокое, просветляющее, мужественное гуманистическое восприятие жизни с постижением демократической мудрости, лукавой насмешливости, здравого смысла народных сказочников, свой высочайший художественный артистизм с предельной простотой, ясностью и прозрачностью содержания и формы, одинаково доступной детям и взрослым, широкому народному читателю и любому — самому рафинированному — ценителю поэзии.<sup>30</sup>

Параллельно с работой над сказками поэт создает своеобразный грандиозный полулирический, полупэпический цикл «голосов народов в песнях» (переводы из Д. Беньяна, Р. Соути и Б. Корнуола, «Пред испанкой благородной» (1831) и др.), в основе которого лежит, с одной стороны, идея единства всемирного исторического процесса, а с другой — глубокое понимание художественной уникальности и общечеловеческой значимости поэзии каждого народа.

Широкий и острый интерес, постоянное внимание Пушкина к узловым национально-историческим проблемам русской жизни его эпохи отражены в стихотворениях «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» (1831) и других его откликах 30-х годов на события войны 1812 года («Перед гробницею святой...», 1831, «Полководец», 1835, «Художнику», 1836, и др.), в стихотворениях, посвященных осужденным декабристам («Арион», 1827, «Послание в Сибирь», 1827), и других произведениях 30-х годов. Все эти произведения, более того — свое творчество в целом — поэт неизменно связывал с миссией национального поэта, идеей патриотического служения народу в его настоящем и будущем («Пророк», 1826, «Памятник», 1836). Защита каждого человека — не только свободного, но и «раба», направленная против жестокости и бездушия властителей («Анчар», 1828), проповедь просвещения и гуманности, мужественного поведения перед лицом верховной власти («Стансы», 1826, «Друзьям», 1828), призыв к милости «падшим», духовная свобода и независимость, равнодушие к «суду глупца» — все это

<sup>30</sup> В связи с этим следует напомнить, что, как не раз отмечалось, народность литературы Пушкин связывал также и с ее общедоступностью широкому демократическому читателю, любовью к ней последнего. Об этом свидетельствует не только стихотворение «Памятник», но и отзывы Пушкина о Фонвизине, Крылове, Гоголе.

входило в пушкинское понимание миссии национально-народного поэта. Важно напомнить, что и в самом народе Пушкин проводил разделительную черту между тем, что делало народ в повседневном его существовании «рабом нужды, забот» (III, 141), и национально-историческим его призванием. В этом смысле, вопреки широко распространенному в прошлом представлению, между поэтом и народом в понимании Пушкина можно усмотреть не столько противоположность, сколько известный параллелизм: поэт в часы обыденной жизни, когда его не призывает Аполлон, мог оставаться, по Пушкину, «всех ничтожней» «меж детей ничтожных мира» (III, 65). Но в часы вдохновения его долг — обрести свой истинный голос, родственный силам природы и ее животворящим стихиям. Так и народ — в своей будничной, повседневной жизни «поденщик, раб нужды, забот» (для которого в эти часы «печной горшок» был «дороже» мраморного изваяния бога поэзии) — в своем высоком, национально-историческом облике, открывающемся в решающие, роковые минуты истории России и человечества, обретал черты могучей и величественной исторической силы, основы всей национальной жизни и культуры. В знаменитом своем письме к А. Н. Пышину от 2 апреля 1871 года по поводу «Истории одного города» М. Е. Салтыков впоследствии отчетливо разграничил обе эти исторические грани, входившие для него в понятие «народ», одну — обращенную к прошлому, а другую — к будущему («народ исторический» и «народ, представляющий собою идею демократизма», по определению Щедрина).<sup>31</sup>

В творчестве 20—30-х годов Пушкин выступает и как певец русской деревни, где ему дорог «избушек ряд убогой» (III, 236), и как певец русского города, в особенности — Петербурга — «пышного» и «бедного» (III, 124). В статьях об «Истории русского народа» Н. А. Полевого (1830) он стремится в полемике с современной ему русской и западной историографией определить своеобразие исторического пути развития России, уяснить особую «формулу» русской истории (XI, 127), отличную как от официальной, уваровской формулы «православия, самодержавия и народности», так и от того общего понимания закономерностей исторического развития народов, которое Ф. Гизо (в «Истории цивилизации в Европе», 1828—1830) и О. Тьерри (в работах по истории средневековой Англии и Франции) пытались вывести, исходя из истории цивилизации одних лишь западноевропейских народов после крушения Западной Римской империи и вплоть до Французской революции XVIII века, оставляя в стороне Византию, Восточную Европу и славянский мир. Характеризуя новейшую русскую историю как громадное, еще не обработанное поле (XVI, 168), Пушкин до конца жизни усердно занимается русской историей и различными областями истории русской культуры. Он работает над «Историей Петра», над изучением «Слова о полку Игореве»,<sup>32</sup> намечает в качестве предметов для будущих статей русские песни (XII, 209), исторические, обрядовые и бытовые,<sup>33</sup> и историю русской литературы. До нас дошли два плана задуманной в 1834 году статьи, один из которых включает в себя пункт, непосредственно связанный с размышлениями поэта о народности литературы и фольклора («<1.> Летописи, сказки, песни, пословицы... Песнь о полку, Побоище Мамаево <...> <2.> Сказки, пословицы... Песнь о П<о>лку Игореве. Песнь о побоище Мамаевом. Сказки, мистерии.

<sup>31</sup> См.: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1969, т. 8, с. 458.

<sup>32</sup> См. об этом: Прийма Ф. Я. «Слово о полку Игореве» в русском историко-литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980, с. 158—178.

<sup>33</sup> Ю. Г. Оксман, М. А. Цявловский и вслед за ними А. Д. Соймонов высказали предположение, что статья эта предназначалась как предисловие либо к задуманному Пушкиным сборнику народных песен, либо к изданию собрания П. В. Кляреевского. — См.: Лит. наследство, т. 79, с. 180, 181, 218, 230.

Песни. Пословицы (*гротеск*). Народность сказок (пересказать по-своему — Калдерон)...» — XI, 208). Поэт делает выписки из различных источников по вопросам русской истории и русского языка. Почти тогда же в «Путешествии из Москвы в Петербург» он с восхищением вспоминает «о наших народных легендах, которые до сих пор еще не напечатаны и которые заключают в себе столь много истинной поэзии» (XI, 258). Сердцу Пушкина равно близки Украина, Кавказ, жизнь и культура всех народов России.

Как итог размышлений Пушкина об особенностях исторического развития России и о ее взаимоотношениях с Западом можно рассмотреть письмо поэта к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года — ответ на присланное Пушкину Чаадаевым знаменитое его первое «Философическое письмо». Пушкин пишет здесь, возражая Чаадаеву: «Нет сомнения, что Схизма <разделение церквей> отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена... нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех... У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева» (XVI, 392, 393; оригинал на французском языке — XVI, 171, 172). И далее: «Что же касается нашей исторической ничтожности (о которой с болью писал Чаадаев, — Г. Ф.), то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов?.. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история!.. Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал» (XVI, 393; ср. черновик того же письма — XVI, 260—262 и 421—433).

## 6

До конца жизни Пушкин оставался убежден в том, что в современной ему России необходимы «великие перемены» (XI, 258). Отсюда постоянные апелляции поэта к Петру I, стремление поставить его в пример преемникам Петра.

Пушкина пугала мысль о возможности смены в России демократии дворянской демократией буржуазной, «худшей чем в Америке», добавлял он, ссылаясь на характеристику ее в книге Токвиля. «Я еще под горячим впечатлением от его книги и совсем напуган ею», — писал он в 1836 году (XVI, 421). Тогда же в статье «Джон Теннер» Пушкин (также не без влияния книги Токвиля) посвятил американской буржуазной демократии гневные строки: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (*comfort*); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров среди образованности и свободы; родословные гоне-



ния в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами. Отношения Штатов к индийским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей... Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся» (XII, 104).

Негодование Пушкина вызывало положение английского рабочего класса: «Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непопятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что всё это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы пять тысяч или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию...» — писал Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург» (XI, 257).

Изучение английских газет и журналов, чтение сочинений демократически и социалистически настроенных защитников интересов трудящихся и угнетенных классов на Западе побуждали Пушкина сопоставлять положение русского крепостного крестьянина и западного безземельного пролетария, причем сопоставление это приводило поэта к выводу об относительном преимуществе материального положения первого перед вторым. Это не значит, что Пушкин в конце жизни изменил свое отрицательное отношение к крепостному праву.

«Наружный вид русской избы мало переменился со времени Мейерберга... Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году. Изба, мельница, забор — даже эта елка, это печальное тавро северной природы — ничто, кажется, не изменилось» (XI, 256), — писал поэт, подкрепляя свой вывод о необходимости для России в ближайшем будущем «великих перемен».

Анализируя историю взаимоотношений дворянства и самодержавия в России, поэт приходил к выводу, что «свобода, понимаемая как личная независимость, полнота политических прав, в равной мере нужна и народу и дворянской интеллигенции... выковавшей в вековой борьбе с самодержавием свободолюбивую традицию».<sup>34</sup> С этих позиций народ и дворянская интеллигенция («старинные дворяне») выступают в понимании Пушкина как возможные «союзники в борьбе за свободу. Их противник — самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную самодержавным произволом псевдоаристократию, „новую знать“». В словах этих Ю. М. Лотман удачно сформулировал идейно-политическую суть пушкинской идеи союза свободолюбивых, честных и независимых потомков «шестисотлетнего дворянства» с народом в борьбе с самодержавием и крепостным правом.

Еще в 1822 году в Кишиневе Пушкин склонен был считать, что неудача попыток «вельмож» и «аристократии» захватить в России вер-

<sup>34</sup> Лотман Ю. М. Идеальная структура «Капитанской дочки». — В кн.: Пушкинский сборник. Псков, 1962, с. 4. (Псковский гос. педагогич. институт им. С. М. Кирова. Кафедра литературы).

ховную власть, ограничив права преемников Петра, «спасла нас от чудовищного феодализма и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян» (XI, 14). «Каков бы ни был образ моих мыслей, — писал поэт позднее, в 1830 году, — никогда не разделял я с кем бы ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа» (XI, 161; ср. там же, 162).

«Что такое дворянство? — так разъяснял в другом наброске Пушкин свою мысль, — потомственное сословие народа высшее, т. е. награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом или его представителями. С какой целью? с целью иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных предстателей. Какие люди составляют сие сословие? люди, которые имеют время заниматься чужими делами». И далее, отвечая на вопрос: «Чему учится дворянство?», поэт писал: «Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? так; но образ жизни может их развить, усилить — или задуть. — Нужны ли они в народе, так же как напр. трудолюбие? Нужны, ибо они la sauve garde (оплот, — Г. Ф.) трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества» (XII, 206).

Но исполнять свои обязанности, служить «оплотом трудолюбивого класса», выступать в качестве его «защитников или близких ко властям... предстателей» дворянство может, по Пушкину, лишь будучи наследственным. Ибо лишь имеющее твердые, закреплённые законом права, опирающееся на свою имущественную независимость от государства и на воспитанные в нём историей, передающиеся по наследству от отца к сыну родовые традиции чести и долга перед народом и родиной дворянство может защищать народные права, противостоять деспотизму самодержавия, его военного и государственного аппарата. «Наследственность высшей знати есть гарантия ее независимости, — писал поэт, — противоположное неизбежно явится средством тирании, или скорее трусливого и дряблого деспотизма» (XII, 485).

Вот почему начиная с Петра I («одновременно Робеспьера и Наполеона», т. е. революционера-уравнителя и деспота-законодателя, в то же время сохранившего и упрочившего завоевания Французской революции — XII, 206, 335, 485) все русские цари стремились подавить сопротивление и независимость не только «черного народа», но и «старого», культурного и свободолюбивого дворянства, «окружить деспотизм преданными наемниками» (XII, 485) — толпой могущественных циничных фаворитов из новой знати.

В результате ущемления политических прав и экономического разорения старого дворянства его потомки постепенно потеряли в России то историческое место, которое принадлежало их предкам, составившим в прошлом славу России и вместе с тем — оппозицию неограниченному деспотизму самодержавия. Начало этому процессу положило введение Петром табели о рангах (1714). При преемниках Петра процесс падения политической активности и независимости старого дворянства, усиления деспотизма самодержавия и возвышения новой знати неуклонно продолжался. В результате те потерявшие свои права и обедневшие представители старого дворянства, которые не слились с новой знатью, но сохранили верность идеалам независимости и чести, составили в России в XIX веке род «третьего сословия», превратились в «вечную», «страшную» для империи «стихию мятежей» (XII, 334, 335). Именно выходцы из него составили основную часть руководителей и рядовых участников восстания 14 декабря: «Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении?» «Что касается до tiers état, что же значит наше старинное дворянство

с именьями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе», — отвечал поэтому Пушкин 22 декабря 1834 года (как мы знаем из его дневника) брату Николаю I, великому князю Михаилу Павловичу на его презрительно-пренебрежительное замечание, что России не нужно революционное «третье сословие» наподобие того, которое во Франции возглавило революцию конца XVIII века (XII, 334—335).

Взгляд на дворянство как на исторически закономерно сложившееся в России, необходимое также в XIX веке сословие, лучшая часть которого одна лишь могла бы взять на себя в условиях самодержавной России роль защитника народа, руководителя всего общенационального сопротивления деспотизму самодержавной власти, цинизму представителей созданной ею новой аристократии и нового служилого дворянства (ставшего оплотом правительственной бюрократии), побуждал Пушкина в конце жизни искать точку соединения интересов лучшей части господствующего класса и народа, приглядываться к таким фигурам реальных выходцев из дворянской среды, которые как в историческом прошлом, так и в настоящем действовали на арене общественной борьбы в союзе с «черным народом» («Дубровский», «Капитанская дочка»). Следует, впрочем, заметить, что, мечтая о возможности увидеть в лучших представителях независимого и свободолюбивого дворянства силу, способную честно и бескорыстно служить национально-народным интересам, Пушкин прекрасно понимал, что исторический опыт далеко не всегда свидетельствовал в пользу осуществимости этих его мечтаний.

«Кто составляет дворянство в респ.<убликах>? богатые люди, которыми народ кормится, — писал он в одной из своих заметок. — А в государств.<ах>? Военные люди, которые составляют гвардию и войско государево.

Чем конч.<ается><sup>35</sup> дворянство в рес.<публиках>? Аристократическим правл.<ением>. А в гос.<ударствах>? рабством народа. а=в» (XII, 205—206).

И тем не менее Пушкин до конца жизни продолжал лелеять мечту о союзе в России «лучших людей из дворян» с «черным народом».

Обобщающую характеристику русского крестьянина, отражающую горячую любовь и высокое уважение, которые Пушкин питал к народным массам, поэт дал в главе «Русская изба» «Путешествия из Москвы в Петербург» (1834). «Взгляните на русского крестьянина, — писал он здесь, — есть ли и тень рабского уничижения (в черновом варианте: рабства, — Г. Ф.) в его поступи и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют un badaud (ротозеи, — Г. Ф.); никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому...» (XI, 258, 489).

Сформулированную в этих словах высокую оценку «проворства и ловкости» русского крестьянина, его «переимчивости», «смелости и смышленности», гордое сознание того, что в простом русском человеке из народа и даже в самой его поступи и в речи нет «и тени рабского уничижения», Пушкин положил в основу изображения своих народных героев — кузнеца Архипа в «Дубровском», Савельича и Пугачева в «Капитанской дочке».

<sup>35</sup> В Большом академическом издании конец этого недописанного в рукописи слова дополнен иначе: конч.<ится>. Однако нам такое окончание представляется ошибочным (или во всяком случае весьма спорным).

В «Дубровском» (1832—январь 1833) крестьяне и дворовые становятся опорой молодого Дубровского в сопротивлении несправедливым действиям богатого и знатного Троекурова и поддерживающих его судебных властей. Как и в «Борисе Годунове», народ выступает здесь как сила, которой дано право суда над неправдой и беззаконием, сила, чутко реагирующая и готовая поддержать борьбу за восстановление поправленной справедливости и законности. В образе кузнеца Архипа, спасающего во время пожара кошку, между тем как до этого он — вопреки приказанию — запер двери дома, чтобы исправник и чиновники уездного суда не могли выбраться из огня, Пушкин рисует всю меру того гнева против «крапивного племени», который накопился в сердцах наиболее активных, сильных и мужественных людей из народа.

Пушкин-художник показал в «Дубровском», что человек из дворянской среды, ставший жертвой несправедливости, ущемленный в своих правах равно и более богатым и знатным представителем своего же сословия, и во всем покорной ему местной власти, может найти себе подлинную поддержку и сочувствие лишь у своих дворовых и крепостных людей, в груди которых не угасает искра горячей правды и справедливости. А в «Капитанской дочке» (1836) мужицкий «царь» Пугачев становится для дворянина Гринева в минуту величайших исторических и личных испытаний помощником и «вожатаем» на сложном пути нравственных исканий и устройства своего семейного счастья. Он не только помогает Гриневу, щедро, по-царски отплачивая за оказанное ему когда-то героем добро, но и не дает Швабрина и своим сообщникам обидеть беззащитную сироту — дочь казненного его людьми коменданта Белогорской крепости, оказавшуюся во власти пугачевцев. Этого мало: в разговорах с Гриневым Пугачев открывает ему свое сердце и затаенные думы — и все это находит благодарный отклик в душе его собеседника. Таким образом, для Пушкина очевидно, что взаимопонимание между «лучшими людьми из дворян» (пользуясь выражением Ленина) и представителями «черного народа» исторически все же возможно. И в то же время великий поэт отчетливо сознает и другое: те реальные, глубокие трудности, которые и в его время и в прошлом стояли на пути объединения усилий «лучших людей из дворян» и народа, несмотря на общность их исторических судеб и нередкое переплетение и совпадение их интересов.

В романе о пугачевщине дядька молодого Гринева Савельич — крепостной «раб» по своему положению. Но он же выступает в решающие минуты жизни Петра Гринева как его смелый заступник и защитник. С огромной любовью, юмором, удивительной добротой Пушкин раскрывает высокое благородство, здравый смысл, чувство собственного достоинства, свойственные этому крепостному человеку. В любви и нерушимой верности своему воспитаннику Савельич никогда не задумывается об опасности, грозящей ему самому, чтобы грудью защищать вверенное ему барское «дитё».

С образом Савельича сложным контрапунктом в «Капитанской дочке» соединена фигура другого покровителя Гринева — Пугачева. Хитрый и умный, плутоватый бродяга в первой главе повести, он в дальнейшем вырастает в могучую полусимволическую фигуру. Как царь Петр I в «Арапе Петра Великого», Пугачев становится в «Капитанской дочке» посаженным отцом Гринева, помогая ему и беззащитной сироте Маше соединить свою судьбу. Закон человечности, связующий его и Гринева, Пугачев в острой и сложной ситуации восстания ставит выше того, что их исторически и социально разделяет. На его примере учится герой. И даже Екатерина II, отменяя в конце повести приговор, вынесенный Гриневу военным судом, и способствуя его окончательному соединению с Машей, в сущности, лишь доверяет то, что начал Пугачев,

угадавший в Гриневе его честность и благородство и со всею щедростью души, свойственной простому русскому человеку, отплативший ему добром за добро в минуту разлива рожденной исторически угнетенным положением народа, жестокими действиями правительства волны народного гнева.

Пушкин отнюдь не скрывает при этом и в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке» жестокости, присущей как действиям правительства, так и многим действиям пугачевцев.<sup>36</sup> Но в «Истории Пугачева» он показывает и то, что именно жестокость правительства закономерно рождала ответную беспощадность и подозрительность пугачевских «енералов». И притом талантливость и удаль Пугачева автор «Капитанской дочки» противопоставляет бездарности Рейнсдорпа. Не вельможи, а скромные, рядовые дворяне, подобные Гриневу и Мироновым, в которых дворянское сложно слито воедино с национально-народным, — люди, отделенные от народа сословным положением и традициями, но во многом внутренне близкие ему, выступают в его романе в качестве героев первого плана.

Однако Пушкин зорко видит и другое. Дворяне Дубровского, подерживая его, смотрят на него как на своего барина, доброго и справедливого и в то же время обиженного судьбой. Пугачев же и его «господа-енералы», принадлежа всей своей кровью и плотью к народу, вынуждены рядиться в чужое платье, подражая в нем бывшим своим господам. А потому союз между Дубровским и его людьми по самой своей природе может иметь лишь преходящий характер. И Гринев, при всей любви к Пугачеву и чувстве признательности к нему, не может признать в Пугачеве императора Петра Федоровича, сделав, подобно Швабрину, вид, что он верит в его императорские права и вообще в весь тот исторический маскарад, без которого не были бы возможными временные успехи пугачевского восстания.

Неоднократно справедливо отмечалось, что образы Пугачева и его сообщников овеяны в «Капитанской дочке» глубокой поэзией, приобщены — через песню и притчу — к стихии народной песни и сказки.<sup>37</sup> И все же Пушкин-историк с его могучим реализмом прекрасно понимал и то, что пугачевское восстание не могло иметь другого исхода, кроме поражения. «Улица моя тесна», — горько жалуется Гриневу Пугачев, вынужденный, при всех присущих ему огромных человеческих потенциях, удовлетвориться мечтою о том, чтобы хоть на время поцарствовать над Москвою, повторив судьбу Гришки Отрепьева (VIII, 352—353).

От стихийной вольной поэзии, но и жестокости («беспощадного», по определению Гринева, и вместе с тем исторически осужденного на поражение, «бессмысленного») крестьянского «бунта», равно как и от «страшной стихии мятежей», Пушкин призывает лучших людей дворянства и народ подняться на высоту истинной гуманности. Это та гуманность, которая возвышает Пугачева и Гринева в лучшие, самые счастливые минуты жизни над узким горизонтом «жестокого вска», способ-

<sup>36</sup> Точно так же в повести «Кирджали» (1834) Пушкин показывает, как при смене обстоятельств жизни ее народного героя раскрываются разные черты его характера: Кирджали — разбойник, он мог и может быть коварен, хитер и даже беспощадно жесток. Но он и умен, горд, находчив; в обстановке борьбы за свободу он способен к бескорыстному подвигу, стоек в несчастье, презирает предательство и обман, всем сердцем предан своей семье.

<sup>37</sup> «... После Пушкина тема крестьянской революции, независимо от политических симпатий или антипатий авторов, так или иначе присутствует в произведениях русских писателей... Это была тема, завещанная Пушкиным всему XIX веку», — справедливо отметил Б. В. Томашевский (*Томашевский Б. Пушкин*, Кн. 2-я, с. 150).

ствуется установлению между ними чистых и бескорыстных человеческих взаимоотношений. Светлая мечта о возможности и о будущем реальном утверждении таких отношений как естественной, нерушимой нормы отношений между людьми не только в сфере их «частной» жизни, но во всех сложных сферах государственного и общественного бытия, а вместе с тем и в области взаимосвязей объединившихся в одну братскую «семью» всех народов Земли неотделима от пушкинского идеала народности.



## Н. С. ЛЕСКОВ и Н. А. НЕКРАСОВ

Заглавие настоящей статьи обращает внимание на проблему, которая в качестве самостоятельной литературоведением не разрабатывалась. По существу все, чем мы на сегодня располагаем, — лаконичные комментирующие справки в Одиннадцатитомном собрании сочинений Н. С. Лескова<sup>1</sup> с упоминаниями некоторых эпизодов-откликов писателя-прозаика на сочинения поэта, с отсылкой к источникам ряда некрасовских цитат и с репликами по поводу высказываний Лескова о Н. А. Некрасове. Критические и исследовательские суждения о сходстве мотивов, образов Лескова и Некрасова не простирались далее самых общих и беглых констатаций.<sup>2</sup> Единственным специальным выходом в тему остается небольшая газетная заметка, пунктирно обозначившая некоторые аспекты проблемы.<sup>3</sup>

Нет сомнений, что затронутый вопрос еще не раз привлечет к себе исследователей, тем более что он многосторонен, требует пристального внимания и разыскания новых материалов.

\* \* \*

Всякий читатель сочинений Николая Лескова не может не увидеть, что среди упоминаемых писателем русских поэтов всех времен Некрасов стоит в ряду любимых, а среди современников выделен как первый поэт эпохи. Несмотря на всю лесковскую любовь к произведениям А. К. Толстого, не они, а именно стихи Некрасова дали Лескову возможность назвать искомые им литературные образцы для нравственного вдохновения общества.

Лесков цитирует, упоминает или интерпретирует стихи Некрасова в литературно-критических и театральных статьях и рецензиях, в публицистике («О литераторах белой кости», 1862;<sup>4</sup> «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе „Что делать?“ (Письмо к издателю «Северной пчелы)»), 1863; «Русский драматический театр в Петербурге», 1867; «Специалисты по женской части», 1867; «Русские общественные заметки», 1869; «Карикатурный идеал. Утопия из церковно-бытовой жизни. Критический этюд», 1877; «Вычегодская Диана», 1883; «Потребленные тени С. Терпигорева (Атавы), т. II. СПб., 1890», 1890), в путевых очерках («Из одного дорожного дневника», 1862), очерковых памфлетах («Русское общество в Париже (1863 г.)», 1863, 1867; «Загадочный человек», 1870), в романах («Некуда», 1864—1865; «Обойденные», 1865; «Соборяне», 1872), в пьесе («Расточитель», 1867), в повестях и рассказах («Овцебык», редакция 1867; «Смех и горе», 1871; «Однодум» и «Шерамур», 1879; «Штопальщик», 1882; «Театральный характер», 1884; «Старинные психопаты», 1885; «Колыванский муж»,

<sup>1</sup> Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11-ти т. М., 1956—1958. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома римской цифрой.

<sup>2</sup> См., например, редкие для лесковианы «скользящие» упоминания Н. А. Некрасова в монографии В. Ю. Троицкого «Лесков-художник» (М., 1974, с. 43, 178).

<sup>3</sup> Громов В. Верность интересам народа. — Орловская правда, 1982, 14 янв.

<sup>4</sup> При отсылках к сочинениям Лескова указана дата их публикации.

1888; «Зимний день», 1894), в письмах (1885).<sup>5</sup> Известно, что Лесков охотно цитировал меткие характеристики из поэзии Некрасова «к случаю» и в устных беседах.<sup>6</sup>

Некрасовская поэзия была частью духовного мира Лескова, постоянно присутствовала в его сознании и, как увидим, играла немалую роль в восприятии и оценках действительности, в формировании лесковского эстетического «кодекса». Общение Лескова с поэзией Некрасова могло получать более или менее зарегистрированную лесковской прозой выраженность, но оно документируется временем с января 1862 года по сентябрь 1894-го. Оно старше, нежели собственно художественное творчество Лескова, начатое публикацией рассказа «Погасшее дело» только в марте 1862 года. Некоторые высокие, если не высшие, точки развития прозы Лескова, несмотря на все общественные и художественские разноречия двух мастеров, как бы озарены вспышками яркого некрасовского слова в лесковских текстах, глубоко демократически трактованными у Лескова формулами стихов поэта.

Что же некрасовское зримо преломлялось в творчестве Лескова?

Лирика, поэмы.

Перечень цитатно вкрапливаемых и литературно обыгрываемых сочинений Некрасова насчитывает 12 стихотворений («Истинная мудрость», «Он у нас осьмое чудо...» (эпиграмма на Ф. В. Булгарина), «Тройка», «Родина», «Еду ли ночью по улице темной», «Влас», «В больнице», «Поэт и гражданин», «Внимая ужасам войны», «Школьник», «Зеленый шум», «Балет») и 2 поэмы («Коробейники», «Мороз, Красный нос»). Лесков также пародийно использовал название известного ему стихотворения «Филантроп» и упоминает стихотворение Н. А. Некрасова, обращенное к М. Н. Муравьеву.

Из названных произведений некоторые цитировались неоднократно: «Мороз, Красный нос» (5 раз), «Родина» (4), «В больнице» (2).<sup>7</sup>

Соотнесение цитаций Лескова с книжными публикациями произведений Некрасова (указаний на использование журнальных публикаций стихов обнаружить не удалось) позволяет с большой долей вероятности считать, что Лесков располагал следующими изданиями сочинений поэта: Мечты и звуки. Стихотворения Н. Н[екрасова]. СПб., 1840;<sup>8</sup> Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856;<sup>9</sup> Стихотворения Н. Некрасова,

<sup>5</sup> Перечень заведомо не полон, так как мы не имеем полного собрания сочинений Н. С. Лескова и, значит, наши наблюдения, не опирающиеся на исчерпанность материала, уже по одной этой причине не претендуют на окончательность.

<sup>6</sup> Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова по его личным семейным и семейным записям и памятам: В 2-х т. М., 1984, т. 2, с. 66.

<sup>7</sup> Ода в честь Муравьева в полемических целях была упомянута трижды (в «Загадочном человеке», «Соборях», «Кольванском муже»), с вариацией в двух случаях устно донесенной некрасовской фразы (III, 364; VIII, 410).

<sup>8</sup> Лесков в «Загадочном человеке» (за этот памфлет А. В. Амфитеатров именовал автора в своей книге «Кургань» (СПб., 1906, с. 86) «двуликим Янусом») цитировал «Истинную мудрость», язвительно говоря «о тщательном изъятии Некрасовым из продажи книжечке, носящей заглавие „Мечты и звуки“, которую од, Лесков, «уберег у себя» как редкость нынешнего времени» (III, 363).

<sup>9</sup> В Доме-музее Н. С. Лескова в г. Орле хранится среди остатков личной библиотеки писателя это издание со штампом владельца. В числе карандашных помет «на многих... страницах» есть, в частности, пометы к стихотворениям «Поэт и гражданин», «В больнице», а также не фигурирующим в реестре цитаций стихотворениям «Секрет», «Созлапне» («Праздник жизни — молодости годы...») (Афонин Л. Н. Книги из библиотеки Н. С. Лескова в Государственном музее Н. С. Тургенева. — Лит. наследство, 1977, т. 87, с. 139. Прочие пометы не оговорены автором публикации). Штамп с указанием адреса «Сергиевская 56, кв. 14» (там же, с. 141) относится к периоду: июнь 1880 — конец мая 1885 года, когда Лесков жил в Петербурге на Сергиевской улице (Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова, т. 2, с. 134, 229). Но возможно, что штамп был оттиснут на книге, купленной прежде.



ч. 3. (изд. 1-е или изд. 2-е) СПб., 1864;<sup>10</sup> Стихотворения П. Некрасова, ч. 4 [1-е изд.]. СПб., 1869,<sup>11</sup> а также одним из изданий «Коробейников» или сборником стихотворений поэта, включившим поэму и вышедшим не позднее декабря 1879 года (дата публикации лесковского рассказа «Шерамур» с цитацией некрасовской «Песни убогого странника» из поэмы «Коробейники»). Кроме того, писатель слышал и запомнил эпиграмму на Булгарина или заполучил ее список.

Лесков знал и хотел знать разного Некрасова — гражданского лирика и сатирика, поэта крестьянства и изобразителя столичных нравов, быта. Писатель с жадностью ловил слово самого Некрасова и молву о нем, вшитывал его стихи и добрые и недобрые слухи о поэте.

Все контакты Лескова с миром некрасовской поэзии, с некрасовскими журналами и изданиями, с кругом друзей и соратников поэта обуславливались и корректировались общественной ситуацией, что с начала 60-х годов властно потребовала от каждого литератора политического самоопределения (а первые лесковские выступления в печати датированы июнем 1860 года), затем развела и записала убежденного демократа (но и убежденного же «постепеновца») Лескова и поэтического вождя революционно-демократических сил Некрасова в противостоявшие литературные станы. И при всем том, однако же, и первого и второго объединяла общность стремления к народному благу, способность искать пути его достижения с опорой на самобытную народность и ее историю, общность натиска на отжившие российские социальные структуры, политический режим.

С некоторой благостностью во взоре, обращенном в прошлое, Лесков начала 80-х годов напишет, что двадцатилетием ранее «в литературе последовал великий раскол», а выразился он в том, что «из одного лагеря, с одним общим направлением к добру, — образовались две партии: „постепеновцев“ и „нетерпеливцев“» (XI, 74).<sup>12</sup> На исходе 80-х годов в очерке о писательнице Т. П. Пассек ее устами Лесков назовет поляризовавшиеся силы с осудительной резкостью: «попятники» и «нетерпеливцы»,<sup>13</sup> не принимая программ ни тех ни других, уже давно преодолев былой реформизм и отстаивая христианско-нравственную утопию. В начале же 60-х годов ни примирительной благостности, ни, напротив, резкой двухадресной осудительности у молодого журналиста Лескова не было: тогда он только что встал под постепеновское знамя, уверовав в реформистский прогресс под эгидой самодержавного правительства, освобождавшего крестьян от крепостной зависимости, и в голосе его со страниц московской «Русской речи» и петербургских изданий зазвучал металл, которым он надеялся воздействовать на сторон-

<sup>10</sup> Приводимые Лесковым строки из IV части поэмы «Мороз, Красный нос» появились впервые в печати в «Современнике» (1864, № 1), но Лесков обычно покупал и держал у себя поэтические сборники, а не журналы. Вот почему логичнее предположить, что он прикупил дополнение к ранее приобретенному изданию Некрасова. Первые цитаты из поэмы писатель ввел в сочинения 1867 года («Овцебык», новая редакция; «Расточитель», май (см.: *Богачевская К. П.* Хронологическая канва жизни и деятельности И. С. Лескова — XI, 809); «Специалисты по женской части», сентябрь), а следующее издание поэмы появилось лишь в 1869 году (см. комментарий в изд.: *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т. Художественные произведения: Т. 1—10. Л., 1982, т. 4, с. 556—557).

<sup>11</sup> Стихотворение «Балет» цитировано в декабрьских «Русских общественных заметках» Лескова за 1869 год (X, 94). В том же году оно впервые вошло в 4-й том сочинений Некрасова, хотя увидело свет еще в «Современнике» № 2 за 1866 год.

<sup>12</sup> Впервые у Лескова эти термины мелькают в очерках «Из одного дорожного дневника» под 8 сентября 1862 года, где виленские поляки названы людьми, не разумеющими, «чего хотят наши „нетерпеливцы“ и на что надеются наши „постепеновцы“» (Северная пчела, 1862, № 335, 11 дек.). Затем — в «Загадочном человеке» (1870) (III, 339).

<sup>13</sup> И. С. Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984, с. 216.

пиков крестьянской революции. Вот тогда-то Лесков и оказался впервые противником Некрасова, а точнее — некрасовского «Современника» и сподвижников поэта. Выбраться из этой колеи писателю было не суждено, хотя лесковские высказывания о журнале, о Чернышевском, суждения по проблемам социальной жизни России и европейских народов были на редкость неслаженными, и их противоречивость вызывала у литературных оппонентов Лескова сомнения вообще в органичности его «постепеновства».

По-своему парадоксальное звучание имела в лесковской публицистике первая примененная как боевое оружие цитата из Некрасова.

Это произошло в январе 1862 года, когда Лесков, уже приступивший к писанию передовиц для «Северной пчелы», опубликовал статью «О литераторах белой кости». <sup>14</sup> Обнаружив известную переменчивость суждений, <sup>15</sup> автор-постепеновец защищал петербургскую журналистику в целом от «разнуздавшихся желчевиков московского журнального мира» (имелся в виду недавно приветствовавшийся Лесковым «Русский вестник», ныне же порицавшийся также и за стремления к «англизироваанию русской земли», за попытки на английский манер «пересоздать нашу коренастую Русь»). <sup>16</sup> Лесков усматривал в критической позиции М. Н. Каткова «крайний консерватизм, не соображающий своих положений с движением человеческой мысли и состоянием среды». Говоря, что «правильное, постепенное разрушение и создание нового на месте старого составляют элемент самой жизни общества», что «для истинных друзей разумного поступательного движения слово *разрушение* не имеет никакого ужасающего значения», Лесков упоминал в качестве образца «великого патриота» Токвиля, «который в самые роковые минуты, стоя между двух огней, не устал своим пророческим голосом утверждать, что *единственный способ отвлечь предвиденную им катастрофу состоит в отмене или в существенном изменении органических законов государства...*».

А далее Лесков, сформулировавший приведенными словами Токвиля дорожную ему в тот час охранительную общественную концепцию, упрекает Каткова в отсутствии «солидарности» с «толпою», катковскую «пухлую среду» — в рудинстве. Воитель против «литераторов белой кости» осудит «Гизо и Полиньяков», которых обладатели его пронизательно-трезвого взгляда способны распознавать даже «по самым маленьким приметочкам, по шерсточке, по родимым пятнышкам».

Лесковым будет провозглашено «наиглубочайшее презрение к людям, „Чье назначение разговоры“», а популярнейшие некрасовские стихи

<sup>14</sup> Русский инвалид, 1862, № 15, 20 янв.

<sup>15</sup> В статье «О замечательном, но не благотворном направлении некоторых современных писателей» (Русская речь и Московский вестник, 1861, № 60, 27 июля), где осуждалось «всеотрицающее направление», тои которому задавал «один петербургский толстый журнал» (подразумевался некрасовский «Современник»), Лесков брал под защиту «Русский вестник», думавший, в частности, как «пособить» «беспомощности русского народа в болезнях», и заботившийся «о благоустройстве народного быта», тогда как «народники» отвергали «науки, дающие способ изыскивать средства к удовлетворению народных нужд» (науки были «ими „переварены и выкинуты“»), «народникам»-де милее была «эпоха драк и насилий», нежели опыты крохотной филантропии или же мирного социального целительства по рецептам Елизаветы Фрей, Оуэна, Астлей, хотя то были уроки «гражданской мудрости». (Менее чем через месяц, в августе 1861 года, Н. А. Добролюбов высмеял в «Современнике» издания основательницы «Русской речи» Евгении Тур и ее брошюру о Елизавете Фрей. — См.: Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3-х т. М., 1952, т. 3, с. 635—638). В 1880-е годы, изжив иллюзии 1860-х годов, Лесков напишет: «Я не филантроп... и не верю в пользу филантропических затей...» (Лесков Н. С. Рассказы кстати: Пагубники. — Новь, 1885, № 1, с. 124).

<sup>16</sup> Рикошет попадал и в «Русскую речь», которую Лесков именовал «девственным изданием», что «по крайней своей скромности и целомудрию никогда никого не огорчает и никого, кроме своих издателей, не радует».

из диалога между поэтом и гражданином с бичующей силой ударят по тем, «которые

Свою особу ограда,  
Бездействуют, твердя:  
„Неисправимо наше племя;  
... Мы даром гибнуть не хотим.  
Мы ждем: пускай поможет время,  
И горды тем, что не вредим“».

Публицист, вводя строки Некрасова, подхватывает и перефразирует слова последнего о «логике презренной», типичной для «мудрецов», носителей «себялюбивых» мечтаний, скрываемых «умом надменным». <sup>17</sup> Он не из их числа. Стало быть, ради гражданского действия можно или нужно и «гибнуть». Но, как видим, в стихи вливается сугубо охранительная мораль прогрессиста-постепеновца, стихотворение переосмысливается. Гражданский долг, вопреки оригиналу — источнику поэтической цитаты, введен в рамки обороны режима. <sup>18</sup> Первый опыт обращения Лескова с бунтарским текстом Некрасова был полемичен по отношению к революционно-демократическим кругам, а что касается спора с «Русским вестником», то он ушел в песок и сменился альянсом уже через два месяца. <sup>19</sup>

Анализ печатных выступлений Лескова в 1861—1862 годах показывает, что молодой писатель испытывал различные колебания во взглядах, обнаружив, в частности, известную симпатию к Чернышевскому, заверяя в питаемом к «талантливым сотрудникам» «Современника» уважении, <sup>20</sup> но его высказывания по главному вопросу момента были стойко однозначны. Соглашаясь с выражением революционно-демократического журнала, что «у нас в литературе все хотя бы счастья русскому народу», <sup>21</sup> публицист, на которого обратили не лишние назидательного сочувствия взгляды Г. З. Елисеев и Н. Г. Чернышевский, <sup>22</sup> отстаивал несогласие с «Современником» «в средствах, которыми... может быть достигнуто общественное благосостояние». <sup>23</sup> С позиций практика, знатока народа, он варьировал мысль о неготовности русского общества к «форсированным движениям», к тому, чтобы «кое-что делать». <sup>24</sup> Тот весенний резонанс «пожарной» статьи Лескова в «Северной пчеле» от 30 мая 1862 года, который потряс молодого публициста и вызвал его осеннее «бегство» в Европу, <sup>25</sup> был в существе своем неизбежен вследствие идейного размежевания Лескова с революционно-демократи-

<sup>17</sup> Ср.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., 1981, т. 2, с. 8—9. Лесков устраняет для естественности движения фразы «они» перед «бездействуют» и вместо «авось» пишет «пускай», как обычно цитируя стихи по памяти.

<sup>18</sup> Своего рода экстаз охранительного настроения Лескова был зарегистрирован 13 мая 1862 года в дневнике В. Ф. Одоевского: «У меня Лесков — толковали о глупых прокламациях («Молодая Россия», — А. Г.) и о нелепости нашего социализма. „Уж если будет резня, — сказал Лесков, — то надобно резаться за Александра Николаевича“» (Лит. наследство, 1935, т. 22—24, с. 149).

<sup>19</sup> В передовице «Северной пчелы» от 18 марта 1862 года (№ 75), полемически характеризуя достоинства журналов, Лесков скажет, что «Русский вестник... со-здал едва ли не самую сильную и не самую честную и разумную партию, представителей которой можно в наши дни встретить во всех тех слоях русского общества, которые не сидят на кованых сундуках и не живут для одного благоутробия».

<sup>20</sup> Северная пчела, 1862, № 134, 20 мая. [Передовица].

<sup>21</sup> Там же.

<sup>22</sup> См.: Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова, т. 1, с. 206—208, 452—454; Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М., 1950, т. 7, с. 1074.

<sup>23</sup> Северная пчела, 1862, № 142, 29 мая. [Передовица]. Здесь опять говорилось о «талантливой редакции» «Современника», о ее «честности и благонамеренности».

<sup>24</sup> Северная пчела, 1862, № 134, 20 мая. [Передовица].

<sup>25</sup> См. об этом, в частности, в кн.: Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова, т. 1, с. 12—13, 209—218. 453—454. 455—457.

ческой журналистикой и, в частности, его затяжного диспута с редакцией Некрасовского журнала, стоявшего, по его словам, во главе «самого распространенного направления русской литературы».<sup>26</sup>

Полемика затрагивала коренной вопрос социального бытия, поэтому она была продолжена Лесковым уже в дорожных тетрадах журналиста,<sup>27</sup> а затем многократно возрождалась в новых формах в лесковской художественной прозе, когда уже отступили вдаль самые 60-е годы, сошли со сцены десятки виднейших оппонентов Лескова, но еще острее стал вопрос о том, быть или не быть русской революции. Позднейшие годы показали, что эволюция российского общества и общественной борьбы вызвала эволюцию Лескова и в этом вопросе. Известная статья писателя «На смерть М. Н. Каткова» (1887) содержит примечательнейшие слова об ушедшем «львовростном кормчем „Московских ведомостей“»: «Он будто не видел, как много дров кладет на костер неизбежной в первую голову из-за его же работы русской революции. . .» (XI, 159, 161). Сознания неизбежности русской революции у Лескова 60-х годов не было. Но была редкостная по объективности оценка целого ряда русских революционеров, было восхищение некоторыми деятелями русского революционного освободительного движения, давшее героев-двойников в его произведениях, в том числе героев «Овцебыка», «Некуда» и «На ножах» (Богословского, Райнера, Елизавету Бахареву и Анну Скокову (Ванскок)).<sup>28</sup> Была в той же «Северной пчеле» статья «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе „Что делать?“», написанная о книге узника Петропавловской крепости и приветствовавшая деятельность ведущих персонажей романа — «нигилистов».<sup>29</sup> Были позднейшие направленные против охранки рассказы «Путешествие с нигилистом» (1882), «Административная грация» (1893), повесть «Заячий ремиз» (1894). Была вся огромная, калейдоскопически богатая сага Лескова о России и ее народе.

Наконец, были составляющие предмет нашего рассмотрения сложные, но неизменно исполненные восхищения перед талантом поэта, красноречивейшие высказывания о Некрасове, и они начинались в злополучный год «пожарной» истории и представляются тем более знаменательными на общем фоне нараставшего лесковского антагонизма в отношении концепций революционных демократов.

\* \* \*

15 октября 1862 года Лесков посетил в Львове, что находился в ту пору в пределах габсбургской монархии, русское казино в «Народном русском доме» — один из центров культурной жизни местного русинского населения. По обыкновению Лесков, любивший личность и стихи Тараса

<sup>26</sup> Северная пчела, 1862, № 134, 20 мая. [Передовица].

<sup>27</sup> Среди записей «Из одного дорожного дневника» Лесков отметит «наибольший почет», которым пользуется в виленских польских кругах «Современник» среди всех «русских периодических изданий». Он скажет и о «сочувствии к приостановленному» в 1862 году журналу, услышанном «от людей самых различных общественных положений». Однако Лесков не преминет продолжить это свое наблюдение сатирическим пассажем: «Здесь любят этот журнал так же, как любят его помещики Орловской, Курской, Пензенской, Саратовской и многих других губерний. А там его любят ужасно. Афанасий Васильевич, обыватель. . . ханжа, ревнивец и крепостничок, получив известие о приостановлении *Современника* по распоряжению правительства, целый месяц сидел, списывая в особую тетрадь некоторые статьи из вышедших книжек *Современника*» (Северная пчела, 1862, № 335, 11 дек.).

<sup>28</sup> «Лесков окружил Райнера сиянием благородства и почти святости. . .» (Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1953, т. 24, с. 230).

<sup>29</sup> Не исключено, разумеется, что Лесков в 1863 году принял роман Чернышевского в связи с тем, что усмотрел в нем смену революционной программы на постепенскую.

Шевченко, обратил внимание на царивший здесь культ великого украинского поэта: «В главной комнате, на самом парадном месте, где в некоторых странах вешаются портреты Наполеонов да Фердинандов, висит в вызолоченной рамке портрет Тараса Григорьевича Шевченки. „Любей кобзарь Украины“ здесь еще в большем, кажется, почете, чем у нас в Малороссии и Украине. Любовь к нему лично так велика, что... отрицается возможность критического разбора его сочинений. Молодежь самым серьезным образом утверждает, что „Шевченко выше всех поэтов“».

Лесков, в прошлом близкий поэт, дружески расположенный к нему и уже защищавший его память от псевдомемуарного литературного сочинительства,<sup>30</sup> увидел в этом превознесении Шевченко и «пламенную любовь к родине» и незнание поэтов, с которыми Шевченко сравнивался. И в возникшем споре он сразу же припомнил других крупнейших поэтов славянства, среди которых в числе семи имен первым возникло у него (хотя и с сознанием высшего авторитета покойных русских и польских гениев) имя Некрасова: «Едва-едва уступили имя Гомера, но лучших из славянских поэтов так и оставили позади Шевченка. Покойник рассердился бы, — эмоционально вспоминал Лесков прав великого Тараса, — если бы ему в глаза сказать, что он не только безгранично выше Некрасова, Сырокомли, Гавличка и Кольцова, но что и Пушкин, и Мицкевич, и Лермонтов при нем отодвигаются на второй план».<sup>31</sup>

А между тем имя Некрасова не могло не вспомниться Лескову уже потому, что петербургский поэт-современник присутствовал в его сознании десятками запавших в душу стихов, и на той же дороге, только еще прежде, между Пинском и Домбровицей, где путь был особенно тяжок и печален, ему припомнились пейзажные строки некрасовского «Школьника».<sup>32</sup> Это были обиходные летучие слова, цитировавшиеся автоматически. Так же легко цитировался Лесковым и Шевченко. Превознесение одного поэтического имени над другим не удивило Лескова, но вызвало целый его монолог о национальном чувстве и его нормальных и ненормальных проявлениях у представителей хорошо известных поэту национальностей — украинцев, русских, поляков. Авторитет Некрасова, равно как и апелляция к человеческой скромности и эстетической объективности Шевченко при этом как бы обязывали к соблюдению национального паритета и подлинного такта не только при подобных сопоставлениях поэтов, но и вообще в межнациональных контактах, где Лескову дороже всего была объединяющая человечество «мировая идея», что опрокидывает самовеличающуюся народную гордыню с ее оскорбительным и провинциальным «квасным патриотизмом» и «утушает» «народные усобицы».

Важный эпизод для оценки отношения Лескова к Некрасову дает год 1863-й. До Лескова, считавшего, что в полемике хороши почти все средства, конечно, доходили и ранее слухи о виновности Некрасова в деле с огаревским наследством. Подлинная роль поэта, принявшего на себя вину А. Я. Панаевой, при этом оставалась глубоко замурованной молчанием Некрасова.<sup>33</sup> Его писатель не знал. Превратная версия происшедшего липко обволакивала имя поэта, а потому полемический «регулятор» публицистики Лескова сработал против Некрасова с безотказной незамедлительностью: в очерках «Русское общество в Париже» автор прорвался целым язвительным каскадом по поводу этики «пунсового

<sup>30</sup> Н—в. Нечто вроде комментариев к сказаниям г. Аскочненского о Т. Г. Шевченке. — Русский инвалид, 1861, № 263, 2 дек.

<sup>31</sup> Из одного дорожного дневника. — Северная пчела, 1862, № 351, 29 дек.

<sup>32</sup> Там же. — Северная пчела, 1862, № 350, 28 дек.

<sup>33</sup> См. хотя бы изд.: *Летопись жизни и творчества А. И. Герцена: 1851—1858*. М., 1976, с. 347, 353, 359, 370 и др.

филаитропа» (Некрасова), которого «даже на порог к себе не допустил» лондонский изгнанник Герцен.<sup>34</sup>

Лесковым и далее будут инкриминироваться Некрасову нравственные промахи: такова была логика литературно-общественной борьбы, в которой и к Лескову не раз применялись средства беспощадные. В обоюдоострых полемиках второй половины XIX века можно неоднократно засвидетельствовать действия согласно суровому древнейшему повелению — «воздать каждому по пути его» (Иеремия XVII, 10).<sup>35</sup> Через год П. И. Якушкин, со свойственным ему примиряющим даром, пытается выступить ходатаем за Лескова перед Некрасовым.<sup>36</sup> Возмутившись тем, что «Современник» в одной из статей ругает Лескова, собиратель народных песен заявляет:

«— Знаешь, я сейчас пойду к Некрасову и скажу, что это свинство. Он говорит о тебе хорошо, а позволяет писать совсем скверно. Я их за тебя сам обругаю» (XI, 76).<sup>37</sup>

Примечательный этот штрих относится к моменту, когда появляется «Некуда» (1864—1865), но Лесков и без того должен быть хорошо известен. Скорее всего он мог иметь добрую репутацию и заслужить соответствующие отзывы Некрасова, слышанные Якушкиным, на основании того, что был уже автором по крайней мере двух произведений 1863—1864 годов из народной жизни, признанных позднее классическими («Овцебык», «Житие одной бабы»). Демократическая проза Лескова позволяла Некрасову совершенно объективно, по реальному достоинству оценивать незаурядное лесковское искусство.

В 1865 году выходит из печати роман Лескова «Обойденные», где одна из деталей служит поэтической характеристике внутреннего мира героини Доры: она любит драматические стихотворения Некрасова и сильно волнуется при их чтении.<sup>38</sup>

Позитивная оценка поэзии Некрасова положительными героями Лескова — крепнущий мотив отношения прозаика к поэту. В 1867 году создается новая редакция повести «Овцебык» — одного из значительнейших в лесковском творчестве произведений как по объективному его звучанию, так и по субъективной нацеленности автора на художественное манифестирование некоторых главных представлений о ближайших перспективах развития России, о взаимоотношениях демократической интеллигенции и народа. Особая полемическая направленность повести явствовала не только из того, что хождение главного героя в народ завершилось

<sup>34</sup> Русское общество в Париже: (Письмо третье). — Библиотека для чтения, 1863, № 9. (Цит. по: Сб. мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого. СПб., 1873, с. 518).

<sup>35</sup> Одно из «инициативных» проявлений борьбы со стороны Лескова начала 60-х годов — его статья «Литературно-полемический вопрос. (К изданию «Северной пчелы)», где автор резко выступил за ужесточение полемики с социалистами, материалистами («пора окончить... ни к чему не ведущее деликатничанье» с «гаерами») и солидаризовался с Катковым (последний, по тогдашнему суждению Лескова, «ясно» доказывал «отсутствие в народе русское социалистических понятий») (Северная пчела, 1863, № 166, 24 июня).

<sup>36</sup> Время «ходатайства» П. И. Якушкина, его попытка литературно сблизить Лескова с Некрасовым должны были относиться (судя по тому, что действие происходит в Петербурге начала 1860-х годов, но после «пожарной» истории, притом летом) к 1864 году. Именно в это время Якушкина видят в Петербурге (*Баландин А. И.* П. И. Якушкин: Из истории фольклористики. М., 1969, с. 212, 263. Ср.: XI, 78). Осенью 1864 года Якушкин был болен (см.: *Якушкин П. И.* Соч. М., 1986, с. 572, примечание З. И. Власовой).

<sup>37</sup> Ср. далее: XI, 77. Подразумевалось «Внутреннее обозрение» Г. З. Елисеева, автор которого с памфлетной резкостью отзывался о «Некуда», включая книгу Лескова вместе с романами «Отцы и дети», «Взбаламученное море», «Марево» в число походов «против русского либерализма» (Современник, 1864, № 7, отд. Современное обозрение, с. 116—119).

<sup>38</sup> Лесков Н. С. Полн. собр. соч. 2-е изд. СПб., 1897, т. 3, с. 132—133.

трагично, не только из прямой идейной связи с романом «Пекуда» («Пекуда идти», — категорически подводит итог своих путешествий по Руси и вместе итог духовных скитаний разночинец Василий Богословский — I, 85). Не только пафос сомнения и отрицания, но и пафос утверждения и неизбежные моменты солидарности с тем лагерем, с которым он столь часто спорил, должны были придать законченность лесковской мысли о России. А в этой связи писатель не мог не высказаться по столь волновавшему его женскому вопросу, трактовка которого уже прежде доказывала и общую прогрессивность собственного взгляда Лескова и его изначальный адогматизм — готовность к приятию некоторых взглядов в этой области поэта и публициста революционера М. Л. Михайлова, автора «гуманных статей» о женщине.<sup>39</sup>

Лесков, боровшийся против общественно безнравственной и ретроградной традиции восприятия русской женщины исключительно как «плутовки с русой головкой», коснеющей «в милом и простодушном неведении», считал самый этот образ продуктом предрассудков «отчасти с нашей литературы», в том числе «некоторых писателей прудоповского направления». Лесков отвергал сей «идеал женского совершенства» и искал идеала иного, выработанного средой сторонников «равноправия женщин».<sup>40</sup> Вторая редакция «Овцебыка» свидетельствует о том, что писателя удовлетворял как искомое решение женского вопроса лишь одухотворенный синтез национального темперамента, энергии русской женщины и высокой образованности. И вот здесь происходила новая знаменательная встреча Лескова с Некрасовым.

Рисуя жену новейшего российского буржуа Александра Свиридова красавицу Настасью Петровну, бывшую крепостную, которая является не только «правой рукой» мужа, но и всем своим обликом воплощает то, что отсутствует в ее супруге — чуткость сердца, страдающее внимание к человеку и стихийную тягу к гуманитарному знанию, Лесков изображал желанный тип русской женщины новой эпохи.

С одной стороны, героиня была плотью от плоти народной, и оттого в ее характеристике просвечивает народный идеал женской красоты и использованы — впрочем, без навязчивости, в сочетании с иными — краски народной палитры (фольклорно-просторечная фразеология либо синонимичные ей стилистические замены): «Люди говорили, что у них [Свиридовых] „совет да любовь“... Настасья Петровна, что говорят, „раздобрела“. Она всегда была писаная красавица, но замужем расцвела, как пышная роза. Высокая, белая, немпожко полная, но стройная, румянец во всю щеку и большие ласковые голубые глаза. Хозяйка Настасья Петровна была очень хорошая. Муж, бывало... все в разъездах по работам, а она и хозяйство по хутору ведет, и приказчиков отсчитывает, и лес или хлеб, если нужно куда на заводы, покупает. Во всем она была Александру Ивановичу правая рука...» (I, 81; курсив мой, — А. Г.).<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Лесков-просветитель уже в 1861 году отстаивает необходимость эмансипации женщин в обществе, имея в виду преодоление женской неполноправности в сферах наемного труда и образования, а значит, и в семье, — например, в статьях «О наемной зависимости» (Русская речь, 1861, № 37, 7 мая, с. 543, 544), «Русские женщины и эмансипация» (Русская речь и Московский вестник, 1861, № 44, 1 июня, с. 655—658; № 46, 8 июня, с. 688—690). И в последующие годы у него стойко сохраняются присущие просветительскому разночинному мышлению эпохи феминистские убеждения, естественно не приобретающие нигде той последовательности и решимости, которые могли дать только революционные взгляды.

<sup>40</sup> Здесь и выше цитирована первая часть упомянутой статьи «Русские женщины и эмансипация».

<sup>41</sup> Здесь сконцентрировались раздумья Лескова о типе достойной славянки-жены, о которой он много думал в год своего первого зарубежного вояжа. Встретив в Пинске руководительницу детского приюта и дома призрения Целину Лядкевич, Лесков с восторгом писал о ее «энергическом лице» и отпечатке в нем «силы

С другой стороны, эта женщина, которая «читать сама выучилась» и «шутя называла себя „дурой безграмотной“... знала едва ли менее многих иных так называемых воспитанных дам. По-французски она не разумела, но русские книги просто пожирала... Карамзинскую историю, бывало, чуть не наизусть рассказывает.<sup>42</sup> А стихов на память знала без счету. Особенно она любила Лермонтова и Некрасова. Последний был особенно понятен и сочувствен ее много перестрадавшему в былое время крепостному сердцу» (I, 82). Своеобразным синтезом оказывалось и слово Настасьи Петровны Свиридовой: «В разговоре у нее еще часто прорывались крестьянские выражения, особенно когда она говорила с воодушевлением, но эта народная речь даже необыкновенно шла к ней. Бывало, если она станет рассказывать этой речью что-нибудь прочитанное, так такую силу придаст своему рассказу, что после уже и читать не хочется» (I, 82).

Лесков произносит в «Овцебыке» одну из важнейших своих оценок Некрасова как выразителя внутренней жизни народной, в особенности близкого крестьянству, а в нем — былым «крепостным сердцам». Тем самым практически писатель изъясняет и свои критерии восприятия современного литературного творчества, закрепляет эталон народности в поэзии за именем Некрасова, как вскоре (1869) закрепит таковой в прозе за именем автора «Войны и мира».

В пьесе «Расточитель» в том же году Лесков вернется в монологе трагического героя купца Ивана Молчанова к диспутам о русской женщине и процитирует некрасовские стихи из поэмы «Мороз, Красный нос», ощущая их высшую национальную эмблематичность: «Эх, помню я, как, бывало, в Петербурге белыми ночами слоняясь по островам, какие споры... вели мы про русскую женщину... „с которой никто не придет зубоскалить“, которая „в беде не сробеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет“...» (I, 412—413).

А в публицистической статье «Специалисты по женской части» (1867) он скажет от себя о крупнейшей роли Некрасова в русской поэзии XIX столетия, находя возможным сопоставить поэта-современника

воли и решимости». Глядя на женщину, «окруженную детьми, воспитанию которых она посвятила свою жизнь», публицист восклицал: «После лимфатических нимф, корчащих Офелий, и после эманципированных башибузуков в юбках необыкновенно приятно встретить женское существо, не принадлежащее к разряду слабых млекопитающих, о которых сказано, что

Ни полюбить они не смеют,  
ни вовсе бросить не умеют.

... Еще не выродилась славянская женщина, не вся ушла в кринолин да в гнилую французскую эманципацию». (Из одного дорожного дневника. — Северная пчела, 1862, № 348, 12 дек.). Наряду с псевдоэманципацией Лесковым отвергалась косная сила старозаветного обычая, «отеческого предания», создававшая семьи с твердой основой, но лишенные и «капли поэзии, без которой семья есть бремя», и где «все стремится врознь, где мать — не мать и не жена, где нет «ни доброго мужа, ни веселых детей». Он дорожит типом женщин, которые могут «попять и разделить благородные стремления их мужей», быть товарищами мужу, как это умела героиня польского прозаика Юзефа Коженевского (Там же. — Северная пчела, 1862, № 351, 29 дек.). Все эти соображения и доводы Лескова, видимо, вновь встали со дна его души, когда он прочел через несколько лет в поэме «Мороз, Красный нос»: «И все мы согласны, что тип измелчал Красивой и мощной славянки» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15-ти т., 1982, т. 4, с. 79).

<sup>42</sup> Лескова восхищал патриотизм польских женщин, проявлявшийся, в частности, в знании родной истории, и Лесков, спрашивая себя о женщинах русских, как бы экзаменовал их Карамзиным: «Сумеют ли хоть о Марфе-посаднице рассказать они «своим детям»?.. Он вспоминал утверждения некоторых русских дам, будто бы «из всех двенадцати томов отечественного историка [Карамзина] нельзя ничего вычитать, кроме повторяющихся сцен варварства и рабства». Лесков заключал свои слова вопросом: «А спроси их, читали ли они хоть один том своей истории? Знают ли хоть одну из ее драматических страниц?..» (Из одного дорожного дневника. — Северная пчела, 1862, № 351, 29 дек.).



только с Пушкиным. И решающим доводом при этом будет очевидная для него взаимодополнительность образов Татьяны Лариной и Дарьи: «Одному из наших поэтов внушен его вдохновением тип женщины, с которой никто не придет зубоскалить: которая „в беде не сробеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет“. Другой бессмертный, доколе звучит русское слово, написал Татьяну — этот светлый облик женщины...», «в одном постижении... совершенств» которой «видел блаженство» «человек, полный огня и страстей».<sup>43</sup> Сила нравственного примера типов русской женщины, созданных Пушкиным и Некрасовым, вызовет не только восторженность лесковской метафорической оценки одного и другого поэтов, но прольет в него окрыляющее сознание способности нации к вечному возрождению и очищению: «Нам ли падать духом оттого, что мы видим (в зеркале литературы, — А. Г.) горсть женщин, готовых на „содержание“, когда перед нами хоть бы только те два могучие типа, которые мы взяли у наших поэтов, — два типа — один твердый, как выносящая все непогоды бронза, другой нежный, но крепкий, как мрамор, от которого светлые рефлексy падают одинаково на мураву и на мусор, не отнимая свежести у муравы и не пачкаясь низкой перстью, ибо вся эта персть ниже лучезарного света души, произнесшей: я буду верна тому, в чем я поставлена».<sup>44</sup>

Лесков отделял в своей статье Некрасова от некоторых его литературных союзников и не остывал к полемике с ними. Он иронизировал над героинями В. А. Слепцова и высмеивал мнения Ю. Г. Жуковского. При этом он параллельно отказывался писать для «Отечественных записок» продолжение печатавшегося там романа «Чающие движения воды»,<sup>45</sup> мотивируя свой отказ вставшей на повестку дня передачей журнала под редакцию Некрасова.<sup>46</sup> Лесков отделял Некрасова-поэта от Некрасова-журналиста и Некрасова-человека. И тем не менее в 1869 году, когда бывшие сотрудники «Современника» М. А. Антонович и Ю. Г. Жуковский займутся литературными объяснениями с Некрасовым, выпустив книгу «Материалы для характеристики современной литературы», Лесков примет как раз сторону Некрасова-журналиста, назовет «Материалы» критического дуумвирата «книжонкой», «пасквилом», «проступком против нравственности», «недостойным делом» (X, 61), в чем окажется единоклассником со «всей передовой печатью» (X, 496).<sup>47</sup> Лесков осудит при этом «полемиические приемы», доводящие литературную среду до «неистовой полемики» (X, 60).

Последовавшие 1870—1872 годы, когда Лесков выпускает памфлетный очерк «Загадочный человек» с антинекрасовскими страницами о Герцене, Некрасове и огаревском наследстве (III, 324—325),<sup>48</sup> когда нарочито сыплет соль в «Соборьях» прямо на некрасовскую рану, связанную с одой Муравьеву (IV, 168), когда активно печатается у Каткова и считает себя своим в кругу «катковистов», казалось бы исключают возможность теплого встречного движения со стороны поэта. И тем не менее оно было и, подобно отношению к самому Некрасову со стороны его

<sup>43</sup> Н. С. Лесков о литературе и искусстве, с. 47—48.

<sup>44</sup> Там же, с. 48. Статья была опубликована «Литературной библиотекой» в сентябре.

<sup>45</sup> См. «Отечественные записки» за март, апрель, май 1867 года.

<sup>46</sup> Слухи об этом могли идти во всяком случае уже в июле 1867 года (см.: Емельянов Н. П. «Отечественные записки» Н. А. Некрасова: (1868—1877). Л., 1977, с. 9). Мотивировки неиздания романа в позднейшем освещении Н. С. Лескова (письмо И. С. Аксакову 9 декабря 1881 года — XI, 256) не обладали полной точностью.

<sup>47</sup> Комментарий А. М. Бихтера и Н. И. Соколова.

<sup>48</sup> А. В. Амфитеатров будет специально говорить об антинекрасовских выпадах Н. С. Лескова (*Амфитеатров А. В.* Курганы. СПб., 1905, с. 86).

оппонента, определялось художественными достижениями Лескова, его демократической ориентацией,<sup>49</sup> более глубокой, нежели формально-просочное «катковство», и более важной для нового редактора «Отечественных записок», нежели постреливание в него с бруствера «Русского вестника». Некрасов узнал цену Лескову-художнику и тоже отделял его от Лескова-журналиста и Лескова-человека.

У нас нет прямых отзывов Некрасова о Лескове, но у нас есть свидетельства лесковской реакции на действительно прозвучавшие после 1864 года (ходатайство Якушкина) новые, принадлежащие 1874—1876 годам, высокие некрасовские оценки, дошедшие, впрочем, и до Лескова, возможно, не напрямую, а через чье-то посредство.<sup>50</sup>

1872—1873 годы ознаменованы в биографии прозаика публикацией «Соборян» и «Запечатленного ангела» (оба произведения вышли в «Русском вестнике»), «Очарованного странника» (повесть появилась в петербургской газете «Русский мир» в 1873 году, после отклонения ее Катковым за «антидворянство», первое отдельное издание относится к 1874 году). В 1874 году публикуется в «Русском вестнике» (завершена печатанием в октябре) любимая Лесковым хроника «Захудалый род», после появления которой у Каткова, оскорбительно вмешавшегося в лесковский текст,<sup>51</sup> происходит разрыв между писателем и редакцией правого московского журнала. Лесков переживает душевный кризис и ищет служебного пристанища для заработков, чтобы «стать вне зависимости от всеподавляющего журнализма», от «тиранства журналов» (X, 362).

Журналистский мир не мог этого не наблюдать. Безусловно с какими-то словами редактора «Отечественных записок» связаны фразы лесковского письма к И. С. Аксакову от 16 ноября 1874 года, где он называет Некрасова: «...никаких удач ниоткуда давно уже не ожидаю. Чтобы иметь в это время успех и не бояться голодной смерти, надо было

<sup>49</sup> Фактически Лесков отвечал своим творчеством начала 1870-х годов (а впрочем, и появившимися в 1860-х годах «Житием одной бабы» и «Леди Макбет Мценского уезда») на запрос русских читателей, о котором писал в статье 1868 года «Напрасные опасения (по поводу современной беллетристики)», опубликованной некрасовскими «Отечественными записками», М. Е. Салтыков: «Физиономия русского простолюдина не только не выяснилась, но еще более утонула в тумане благодаря балетно-идиллическим украшениям, с одной стороны, и поверхностно-каррикатурным обличиям, с другой. А вместе с тем осталась скрытою... и тайна русской жизни, та горькая тайна, которая до того спутывает все понятия, до того морочит глаза, что и впрямь дозволяет первому встречному наблюдателю утверждать, что русский крестьянский мир есть мир бессмысленных и ничем не объяснимых движений». На русского мужика после реформы 19 февраля 1861 года «потребовалось взглянуть... пристальнее и притом признать предварительно, что та внутренняя его сущность, которая подлежит изучению, не есть какая-нибудь особенная и курьезная, а сущность общечеловеческая, почерпывающая свою оригинальность исключительно из внешней обстановки... картина должна дать более полное и отчетливое понятие об искомом предмете, нежели даже мастерские типы Тургенева, при помощи которых перед нами раскрывалась только какая-то таинственная, недоступная глубь» (*Салтыков-Щедрин М. Е. О литературе. М., 1952, с. 316—318*).

<sup>50</sup> В противоречие со словами о «комплиментах», говорящихся «в глаза» (X, 362), Лесков напишет в «Товарищеских воспоминаниях о П. И. Якушкине», что он «с Николаем Алексеевичем Некрасовым лично знаком не был до весьма поздней встречи с ним в доме В. П. Гаевского» (XI, 77). Впрочем случайные — без специального представления друг другу — встречи в литературной среде неизбежно бывали по крайней мере с 1861 года: Лесков участвовал 28 февраля 1861 года в похоронах Шевченко (X, 10—12), за гробом которого шел и Некрасов (*Евгеньев-Максимов В. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М., 1952, т. 3, с. 176; Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 2, с. 377—378, комментарий Н. Н. Скатова*).

<sup>51</sup> «...2-я часть „Захудалого рода“, явившаяся бог весть в каком виде, исперпала или, лучше сказать, источила последние капли и моего терпения и всех моих сил душевных», — писал Лесков И. С. Аксакову (X, 362—363).

идти не тем путем, каким шел я, служба мою посильную службу русской литературе и русской мысли. „Русский вестник“ был последний журнал, которого я мог еще как-нибудь держаться, терпя там значительное стеснение, — теперь и это кончено; а ни плодить материалистов других „Вестников“, ни лепить олигархов „Русского мира“ я не могу» (X, 362). Лесков и в критической ситуации, не без сгущения красок говоря о крайности своего положения, пытается заявить твердость своих убеждений: ему не по пути ни с «материалистами», ни с их антагонистами; он защищает право на независимые воззрения и надеется их проводить в литературе.

И вот здесь он напоминает Аксакову, что его, Лескова, репутация теперь иная, нежели прежде, в непосредственно «посленекудовский» час, хотя некоторая тень романа «Некуда», омрачающая для него литературный горизонт, пробегает и по строчкам цитируемого письма: «...представьте себе, что мне все говорят... комплименты и в глаза и за глаза; а между тем... мне некуда (вот он — наем! — А. Г.) деться! И так идет не с одним Некрасовым, а так шло и с Юрьевым, которому *первому* были предложены и „Соборяне“ и „Запечатленный ангел“...» (X, 362).

Время после «Соборян» и «Запечатленного ангела», конечно, изменило многое, но с Некрасовым дело не идет, хотя некие некрасовские «комплименты», как подтверждается и иными показаниями, звучат. Лесков смутно заявляет Аксакову: «Я понимаю, за кого и за что может мстить мне кружок бывшего „Современника“ и вся беспочвенная (видимый крен в сторону «почвы», на которой всегда старался стоять обеими ногами И. С. Аксаков, — А. Г.) и безнатурная стая петербургских литературщиков...» (XI, 362). Между некрасовцами и Лесковым — старые счеты, и их еще не настолько перевесили комплименты текущих дней, чтобы Лескову стало возможно сотрудничать с Некрасовым.

Разумеется, от бывшего виднейшего антинигилиста хотелось бы, наверное, и большей «пригнанности» не только его сочинений, но и высказываний в прессе к суждениям лиц круга «Отечественных записок». Как же быть прочности сотрудничества без союза?..

Однако ждать этого от Лескова всерьез не приходилось. В письме к П. К. Щербальскому через полгода после откровений с Иваном Аксаковым Лесков сообщает: на попытки «ангажировать» его литераторами различной групповой масти он ответил отказом. Писатель саркастически бросает: «Эти бедные люди думают, что образ мыслей человека зависит от Каткова или от Некрасова, а не проистекает органически от своих чувств и понятий» (X, 400). Нет, на подстройку своего «образа мыслей» под некрасовский Лесков не согласен. В посланном Аксакову двумя неделями прежде, чем к Щербальскому, письме от 23 апреля 1875 года Лесков восклицает, что он не хочет служить «партийной, или, лучше сказать, направленной лжи» (X, 397).

Это письмо, наконец-то, доносит переданные Лескову солидарные высказывания о нем Некрасова и Щедрина: «В одном знакомом доме Некрасов сказал: „Да разве мы не ценим Лескова? Мы ему *только* ходу не даем“, а Салтыков пояснил: „А у тех на безлюдье он да еще кой-кто мотается, так они их сами *измором возьмут*“» (X, 397).

Некрасов, как можно полагать из цитации, указывал на невозможность для себя открыть дорогу Лескову в свой журнал, несмотря на всю ценность сочинений Лескова. Почему же?.. Ответ доносит отзыв Салтыкова-Щедрина, видевшего, что писатель инороден стану «тех» (т. е. катковцев), и он ожидал существенных удостоверений полного разрыва «Русского вестника» с временным его попутчиком Лесковым или Лескова с «Русским вестником».

В январе следующего, 1876 года Щербальскому вновь отправляется письмо Лескова, в котором речь идет о литературных невзгодах послед-

него. И в него снова проникают слова о редакции «Отечественных записок»: «Я не удивляюсь... когда считает меня чуждым себе Некрасов или Салтыков... им я досадил...» (X, 441). Но в середине фразы в скобках мелькает после фамилий Некрасова и Салтыкова добавка, которую автор письма не может не сделать: «хотя никто, как эти два, не выражаются обо мне с похвалой».

Примирения нет и не может быть. Стороны суверенны и стойки в своих убеждениях и в идейной, а возможно, и личной неприязни. За это — вся совокупность приведенных извлечений из писем.

Однако похвалы Некрасова (и Салтыкова) Лескову превосходят любые иные хвалы. И это было хвалимому тем дороже, что он с самого начала своей деятельности воспринял сатирические уроки Щедрина (1860) и чем далее, тем выше оценивал Некрасова.

Всего лишь одно-единственное свидетельство конкретизирует, что же именно из сочинений Лескова привлекло одобрительное внимание Некрасова.

В 1889 году «Новое время», откликаясь на выход четырех томов сочинений Лескова, поместило признание В. Буренина:<sup>52</sup> «Я помню, как покойный Некрасов, прочитав „Запечатленного ангела“, жалел о том, что автора этого рассказа по разным либеральным соображениям радикальная журналистика оттолкнула, не дает ему хода<sup>53</sup> в литературе, старается дискредитировать его талант в мнении читателей» (XI, 741).

Произведение названо одно, но это произведение — из наиболее изысканных и сложных по стилистической фактуре, поэтике, что было связано с задачей литературного «репродуцирования» самого акта изустного творчества народной патриотической легенды. Некрасов, стало быть, признавал важность запечатления повестью реальных форм народного сознания. Видимо, он оценил и «влечение» героев-простолудинов «во едино одушевиться со всею Русью» (IV, 383), и роль старöverческой среды в сохранении памятников древней отеческой культуры, и высоту нравственных побуждений простого народа. Во всяком случае в восприятии народной религиозности Лесковым начала, а затем середины 70-х годов и Некрасовым — автором «Власа» (1855), «Тишины» (1857), «Дедушки» (1870), «Кому на Руси жить хорошо» (1873—1877) — нельзя не усмотреть ряда существенных аналогий.

Меняла ли что-нибудь во взаимных оценках личная встреча двух русских писателей, которую наиболее вероятно отнести к 1876 году?

Едва ли. Каждый из них шел своей дорогой.

\* \* \*

Признание некрасовского поэтического гения — лейтмотив позднейших высказываний Лескова о Некрасове.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Комментатор И. Я. Айзеншток, назвав статью «бесподписной», гадательно предположил, что автором ее был А. С. Суворин (XI, 741). Между тем статья-рецензия подписана: *Буренин В.* «Критические очерки. Собрание сочинений Н. С. Лескова. Томы I—IV» (Новое время, 1889, № 4761, 2 (14) июня, с. 2). Лесков назвал статью «несправедливой, хотя и ласковой» (XI, 434). См. критические заметки о технологии комментирования материалов 11-го тома Собрания сочинений Лескова в рецензии: *Богавская К. П.* О собрании сочинений Н. С. Лескова. — Русская литература, 1959, № 3, с. 221.

<sup>53</sup> Этот штрих, совпадающий с текстуальной деталью письма Лескова к Аксакову от 23 апреля 1875 года (Некрасов: «Мы ему только ходу не даем» — X, 397; курсив мой, — А. Г.), указывает на тогдашнего нововременца В. П. Буренина как вероятный источник приводимых Лесковым слов об отношении к нему Некрасова.

<sup>54</sup> Имею в виду, что Лесков не отказался и в будущем от некоторых укорявших Некрасова штрихов в своих произведениях (см., например, упоминание Лесковым сплетен о семейной жизни втроем И. И. Панаева, А. Я. Панаевой и Н. А. Некрасова в рассказе 1881—1883 годов «Счастье в двух этажах», оставшемся неопубликованным при жизни Лескова — Лит. наследство, т. 87, с. 113).

В год смерти поэта Лесков напишет о нем как о выразителе национального начала, назвав человеком, «редким чутым чувявшим русскую жизнь», знавшим, как именно «по-русски» ведут себя в драматических и деликатных ситуациях жизни русские крестьяне (X, 214).<sup>55</sup>

Этапность последующего развития лесковского творчества отмечена как вехами определенными ссылками писателя на своего рода верховный некрасовский авторитет. Внутреннее движение Лескова поставило его в конце 1870-х годов перед необходимостью создания специального цикла произведений о русских положительных силах, без которых «несть граду стояния» (VI, 642). И если картины, изображенные высоко ценным Лесковым Писемским, поляризовали тьму и беспросветность национальной жизни, то имя и круг героев Некрасова символизировали в глазах Лескова надежду, в которой, по его мнению, особенно нуждался российский читатель.

Показательно с этой точки зрения, что уже в первом рассказе «праведнического» цикла герой его — простонародный писатель-философ, взявшийся превратить стоящий на «мзде» и «дарах» Солигалич в город торжествующей совести и нравственного закона, — охарактеризован как отпрыск одной «из тех русских женщин, которая „в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет“», — «простой, здоровой, трезвомысленной русской женщины, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно» (VI, 212).

Но дабы не дать затеряться мысли о важности поворота и всего общества к самовоспитанию на образцах поведения, которые были так схвачены в типических фигурах Некрасова, Лесков предлагает свою особую на сей счет «декларацию» в очерке «Вычегодская Диана». Обрисовав простую сельскую попадью из Устьсысольского уезда, писатель подчеркнул: «Такие энергические и, так сказать, всепобеждающие характеры везде редки, и их, как зажженную свечу, нельзя оставлять под спудом, а надо утверждать на высоком свешнике — да светят людям. Бодрый, мужественный пример часто служит на пользу ослабевающим и изнемогающим в житейской борьбе. Это своего рода маяки. Воодушевить угнетенного человека, сообщив его душе бодрость, — почти во всех случаях жизни значит *спасти его*. . .» И рядом звучало: «Тип вычегодской попадьи — это тип из „некрасовских женщин“. . .» — и возникали крылатые некрасовские стихи о женщине, которая «в беде не сробеет, спасет. . .».<sup>56</sup>

В русской литературе второй половины XIX столетия «праведники» Лескова, первые из которых являются еще вне цикла и задолго до мысли писателя о специальной идейно-тематической циклизации ряда рассказов, — одно из крупнейших явлений. Герои-исполины, в которых запечатлены лучшие порывы человека и, между прочим, порывы к социальной свободе, к духовному раскрепощению и подвигу, находят себе ближайшую параллель в образе Некрасова. Не исключена возможность того, что некрасовские принципы изображения человека сыграли роль в формировании аналогичных художественных принципов у Лескова, хотя прямое утверждение необходимости ориентироваться на опыт Некрасова приходит с лесковскими высказываниями значительно более позднего времени.

Обращает на себя внимание тот факт, что Лесков в «Кадетском монастыре», а затем и в других сочинениях о «глухой» николаевской поре,

<sup>55</sup> В «критическом этюде» «Карикатурный идеал» Лесков к тому же защитил поэтический сюжет «Власа» от произвольной его переделки в книге Ф. В. Липанова «Жизнь сельского священника. Бытовая хроника из жизни русского духовенства» (М., 1877) (X, 213—215).

<sup>56</sup> Лесков Н. Вычегодская Диана. (Попадьа-охотница). — Новости и биржевая газета, 1883, № 67, 9 (21) июня.

особо отмечает стоическое противоборство незаметных людей эпохи давящей силе общественного строя. В постскриптуме к рассказу писатель говорил: «Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, *сильнее других делают историю*» (VI, 347). Но, солидаризируясь с историографом, Лесков не менее отчетливо вторил Некрасову, писавшему в «Медвежьей охоте» (1866—1867):

Да! Были личности!.. Не пропадет народ,  
Обретший их во времена крутые!  
Мудреными путями бог ведет  
Тебя, многострадальная Россия!..<sup>57</sup>

Социально-исторические концепции Некрасова и Лескова при всей их несхожести обнаруживают моменты аналогии в одном из центральных вопросов — оптимистической трактовке перспектив русской истории XIX века.

Финал творческого пути Лескова обычно — и по справедливости — характеризуется как время бескомпромиссно-острой борьбы писателя с существующим режимом, затормозившим развитие России и превратившим ее в «загон». Было бы ошибкой, однако, сводить многообразие мысли поздних лесковских сочинений к некоему слишком общему знаменателю. Рисуемый писателем мир сохраняет все черты многогранности, а на фоне тех народных множеств, которые живут в «юдоли плача» («Юдоль», 1892), в сфере сумеречных «импровизаций» и искаженности представлений о действительности («Импровизаторы», 1892), на фоне тех неотступных задач, которые не решило время Лескова, появляются сущностно новые герои, новое поколение с прямым порывом к общественному мятежу. Обновление реального мира порождает особенные веяния в лесковской прозе, и одно из самых замечательных созданий позднего Лескова — образ Лидии из рассказа «Зимний день» (1894). Лидия — это лесковские отрада и упование, это живой человек 1890-х годов, и это человек, смело глядящий в будущее.

В высокой степени значительно, что героиня Лескова вызывает в памяти писателя мажорные строки Некрасова, а Лесков, аранжируя их иначе, нежели то позволял «праведнический» цикл, одухотворяется вместе с героиней устремленностью некрасовской поэзии к социальной борьбе и проникается вместе с Лидией некрасовским оптимизмом: «Характеры идут, характеры зреют, — они впереди, и мы им в подметки не годимся. И они придут, придут! „Придет весенний шум, веселый шум!“ Здоровый ум придет!.. Придет! Мы живы этою верой! Живите ею и вы, и... вам будет хорошо, всегда хорошо, что бы с вами ни делал!» (IX, 418).

Это был голос целого поколения, услышанный писателем.

Поздний Лесков был обременен сомнениями и тяжкими раздумьями. Его мысли о противоречиях общественного движения подчас вызвали слова писателя о необходимости писать новое «Некуда» (об этом достоверно свидетельствуют мемуаристы). Но измученную борениями его душу омывала и надежда, а ее питала поэзия «одного из преславнейших поэтов»<sup>58</sup> его века Некрасова, постоянно участвовавшая в движении общественного протеста, к которому и он оказывался постоянно причастен, хотя шел особенным путем. На своем пути он, Лесков, тоже приуготовлял будущее. И он не мог не сознавать — и с наибольшей прямотой выразил это своим «Зимним днем», — что подчас его голос звучал в унисон голосу Некрасова.

<sup>57</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., 1982, с. 21.

<sup>58</sup> Лит. наследство, т. 87. с. 113.

## РУССКИЙ РОМАН 60—70-х ГОДОВ XIX ВЕКА И НАРОДОЗНАНИЕ

Интерес к проблеме связи русской классической литературы с народной культурой в последние годы значительно возрос. Свидетельством этому служат прежде всего два заключительных тома монументального труда «Русская литература и фольклор», подготовленные коллективом Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (1972; 1982). Тем не менее до настоящего времени, если не считать известной книги В. Г. Базанова «Русские революционные демократы и народознание» (М., 1974), в нашем литературоведении вопрос о влиянии на характер историко-литературного развития достижений народознания серьезному изучению не подвергался. Даже в новейших работах по истории русской литературы эта проблема не нашла своего отражения, а между тем ее обстоятельное исследование могло бы пролить новый свет на процесс становления и развития русского реализма, пути утверждения в общественном сознании идей народности литературы. Оно позволило бы по-новому взглянуть на формирование и взаимодействие различных жанровых образований, в частности на некоторые особенности социально-психологического романа, в которых обнаруживаются признаки непосредственного влияния успехов русского народознания.

\* \* \*

П. Н. Ткачев писал о романном творчестве Ф. М. Решетникова: «Решетников полагает, что он пишет романы; в сущности же то, что он называет этим именем, не имеет и подобия романа. Это просто ряд очерков, характеризующих с поразительной рельефностью хозяйственный быт нашего мастерового, заводского, трудящегося люда — быт нашего пролетариата... Талант его — талант этнографа, а отнюдь не романиста».<sup>1</sup>

Действительно, Решетников исходит из принципа жизненной конкретности. Метод прямого отражения факта основной как в его очерке, так и в крупном эпическом произведении. Н. В. Шелгунов считал Решетникова не столько художником, сколько собирателем-исследователем, преподносящим этнографический материал в форме беллетризованных очерков, повестей и романов.<sup>2</sup>

Определяя основные тенденции литературного развития, Салтыков-Щедрин писал в 1863 году: «Беллетристика приобретает характер, так сказать, этнографический, посвящает себя разработке подробностей жизни, настойчиво ловит отрывки, осколки и элементы ее и, надо сказать правду, в этой бисерной работе обнаруживает не одну настойчивость, но и замечательное мастерство».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Цит. по: Решетников Ф. М. Полн. собр. соч.: В 6-ти т. Свердловск, 1939, т. 4, с. 432—433.

<sup>2</sup> См.: Шелгунов Н. В. Народный реализм в литературе. — Дело, 1871, кн. 5, с. 7.

<sup>3</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1968, т. 6, с. 180.

Современный исследователь справедливо отмечает, что для многих теоретиков и практиков литературы 60—70-х годов «этнографизм был одним из важнейших признаков народности».<sup>4</sup>

Этнографические влияния проникали в русскую литературу разными путями. Важную роль здесь играл личный опыт писателей, активно включившихся в процесс изучения России и ее народа. Задачи, поставленные в этой области критикой «Современника» и «Отечественных записок», определяли деятельность как прогрессивно мыслящих этнографов, так и демократически настроенных писателей. «У нас до сих пор не было и нет ни одного этнографа, который бы сколько-нибудь напоминал собою европейских этнографов-исследователей, в роде известного Рилля... — писал в 1871 году журнал «Дело». — Этнографы, которых мы называли „учеными“, мало читаются публикой; для нее существует разряд писателей, которых следует назвать этнографами-беллетристами. Они занимаются тем же, что и первые, но обрабатывают этнографический материал в форме рассказов, очерков, путешествий, украшенных описаниями природы, сценами, размышлениями».<sup>5</sup>

Плодотворным было и влияние на историко-литературный процесс многочисленных научно-этнографических публикаций. Недаром некоторые исследователи творчества таких видных представителей этнографической беллетристики, как Ф. М. Решетников и П. И. Мельников-Печерский, утверждали, что основным источником их художественных произведений была современная литература.<sup>6</sup> И хотя работы последних лет<sup>7</sup> доказывают, что главную роль в творчестве этих писателей играли личные наблюдения над действительностью, этнографические и исторические публикации являлись зачастую подспорьем в их труде и способствовали оформлению их творческих замыслов.

Исключительно популярным стал жанр художественно-этнографического очерка, который, имея важное самостоятельное значение, выполнял в то же время конструктивную, сюжетообразующую функцию в более крупных прозаических жанрах, и в первую очередь в социально-психологическом романе, определяя не только стилевое своеобразие произведения, но и его идейно-тематическую значимость.

В 60-е годы художественно-этнографический очерк в творчестве ряда писателей перерастает сначала в повесть или цикл очерков, потом в роман.

Пожалуй, убедительнее всего этот факт литературного развития подтверждают истории формирования романов П. А. Зарубина, П. И. Мельникова-Печерского и Ф. М. Решетникова. Свои выросшие из художественно-этнографических очерков о костромском мещанстве повести — «Жизнь», «Торговая Волга», «Женитьба» («Библиотека для чтения», 1861—1862), «Происшествие 40-х годов...» («Эпоха», 1864), «Русский самородок» («Записки для чтения», 1867) — Зарубин в 1872 году объединяет в роман «Темные и светлые стороны русской жизни», который позд-

<sup>4</sup> Некрылова А. Ф. Г. И. Успенский. — В кн.: Русская литература и фольклор: (Вторая половина XIX в.). Л., 1982, с. 189.

<sup>5</sup> Дело, 1871, № 12, с. 82—83.

<sup>6</sup> См.: *Виноградов Г. С.* Фольклорные источники романа Мельникова-Печерского «В лесах». — В кн.: *Мельников П. И. (Андрей Печерский)*. В лесах. М.; Л., 1936; комментарий И. И. Векслера к «Подлиповцам» в кн.: *Решетников Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 6-ти т., 1936, т. 1.

<sup>7</sup> См.: *Логман Л. М.* Роман из народной жизни; Этнографический роман. — В кн.: История русского романа. Л., 1964, т. 2; *Соколова В. Ф.* П. И. Мельников-Печерский: Очерк жизни и творчества. Горький, 1981; *Ганина М. К.* К вопросу о фольклоризме Ф. М. Решетникова. — Учен. зап. Пермск. ун-та, 1967, т. 155; *Шептаев Л. С.* Творчество Ф. М. Решетникова. — В кн.: Проза писателей-демократов шестидесятых годов XIX века. М., 1962, и др.



нее герой Горького, Матвей Кожемякин, назовет «резкой» и «очень обидной» книгой.

В творчестве Ф. М. Решетникова серьезным подступом к крупному эпическому произведению явилась повесть «Подлиповцы», не без влияния этнографических публикаций названная автором «этнографическим очерком».

Коми-пермьяцкий край, изображению которого посвятил свое произведение Решетников, оказался в центре внимания многих исследователей 40—60-х годов. Решетникову, безусловно, известны были и статья В. Хлопова «Хозяйственный и нравственный быт пермяков», и исследование А. Луканина «О движении народонаселения в Чердынском уезде в десятилетие 1841—1850 г.», и работа Н. Рогова «Материалы для описания быта пермяков» («Пермский сборник», 1860, кн. II) и др. Архивные материалы Решетникова, хранящиеся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, красноречиво свидетельствуют о том, что он проявлял к печатным источникам серьезный интерес.<sup>8</sup> Тем не менее, независимо от этих публикаций, Решетников имел свой собственный взгляд на состояние края, положение его населения и неоднократно отмечал новизну представленного в повести материала. «Я пишу быт нашего края, — подчеркивал он, — и быть может, публика узнает многое о нем, узнает то, чего не знала».<sup>9</sup>

Свои богатейшие этнографические познания писатель использует для широких обобщений жизненных явлений. Как автор «этнографического очерка» он дает, казалось бы, точное определение места действия — Чердынский уезд Пермской губернии, в основном населенный обрусевшими коми-пермяками. Но как художник-балетрист Решетников неожиданно отступает от документализма, присущего названному в подзаголовке к произведению жанру. В перечне сел и деревень Чердынского уезда Пермской епархии, данном А. Луканиным,<sup>10</sup> деревни Подлипной, где живут герои Решетникова, не значится. На конкретном этнографическом материале писатель создал обобщающий образ пореформенной российской деревни, оказавшейся на грани полного вымирания.

Сознательно разрабатывая социальный аспект произведения и придерживаясь документальной достоверности изображения, Решетников обращается к этнографии «самого бедного», по словам А. Луканина,<sup>11</sup> уезда Пермской губернии — Чердынского, значительную часть населения которого составляли государственные крестьяне. Писатель правдиво рассказывает о невежестве забитых крестьян и безысходности их положения, точно и обстоятельно описывает их занятия. «Чердынские крестьяне, — писал Луканин, — большею частью бедны и необразованны и почти все занимаются хлебопашеством, частью рубкою дров и леса и сплавом их в Дедюхинские, Усольские и Ленвинские соляные промыслы. Занятия всех жителей однообразны, и образ жизни у всех одинаков».<sup>12</sup>

В повести реалистически верно воспроизводятся не только быт и нравственно-психологический уровень героев, но и определяющие их этнографический облик природные условия края. «Холод господствует здесь около десяти месяцев, — писал в своем этнографическом исследовании В. Хлопов, — почва или каменистая, или болотистая, в некоторых местах совершенно не воспроизводит растений, а в других родит так мало, что они не возвращают семян».<sup>13</sup> «Пробовали, — рассказывают герои Решет-

<sup>8</sup> См.: Ганина М. К. Указ. соч., с. 3—26.

<sup>9</sup> Решетников Ф. М. Полн. собр. соч.: В 6-ти т., т. 1, с. 410.

<sup>10</sup> Вестник Русского географического общества, 1859, т. 26, с. 10.

<sup>11</sup> Там же, с. 3.

<sup>12</sup> Там же, с. 7.

<sup>13</sup> Журнал Министерства государственных имуществ, 1852, т. 10, с. 169.

никова, — уж как вспахивали землю: и поздно и рано, да проку нет. Вспахаеть, — стужа настанет либо дождь, потом жара: все окоченеет, а там дождь, иней, снег... Пробовали и за хлебушком ходить, да все не в толк: только начинает созревать хлеб — баско! вдруг дожди, заморозки, снег... Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, измельешь и ешь так с горячей водой».<sup>14</sup> Тяжелые условия существования, постоянные поборы, которыми безжалостно облагают нищее население чиновники, делают подлиповцев апатичными и безвольными, лишают их способности бороться за свое существование. Им и в голову не может прийти, что как-то по-иному можно устроить свою жизнь. «А пошто? — спросит подлиповец. — А и так тожно баско».<sup>15</sup> И неприглядные постройки, и кое-как вспаханная земля, и наскоро сделанные изгороди — все говорит о крайнем отчаянье героев повести, потерявших всякую надежду на какие-либо перемены к лучшему.

Характеристике массы в «Подлиповцах» помогает и местный фольклор. Это анекдоты о коми-пермяках и вотяхках, нередко составляющие сюжетную канву отдельных эпизодов (сцены в церкви, разговор бурлаков о телеграфных столбах и т. д.), легенды, сказки, прибаутки и песни. «Заунывные» песни бурлаков хорошо передают душевное состояние изнемогающих от непосильной работы подлиповцев. Кроме того, местный фольклорно-этнографический материал становится важным фабульным элементом произведения (сцены смерти и погребения Апроськи основаны на популярных «страшных» рассказах об «обмираниях» и т. д.).

Художественно-этнографический очерк играл главную роль в создании всех следующих за «Подлиповцами» романов Решетникова, определяя такие их черты, как фактографичность, документализм, локально-этнографический колорит изображаемого.

Жизнь рабочих уральских заводов первоначальное освещение получила у Решетникова в очерках «Горнозаводские люди», «Осиновцы», в имеющих очерковый характер главах незаконченного романа «Горнорабочие». Все вместе взятые, они и подготовили появление крупного эпического произведения — романа «Глумовы».

Очерки «На Никольском рынке», «На заработки», «В деревню» стали как бы этюдами, художественными заготовками для другого его большого романа — «Где лучше?», который сам писатель считал продолжением «Глумовых». В очерке «На Никольском рынке» речь идет о женщинах, толпами стекающихся на рынок, чтобы «продать» свои рабочие руки. Нарисованные здесь сцены с незначительными изменениями позднее были перенесены писателем в роман. Прибывшая в Петербург Пелагея Прохоровна в поисках работы также идет на Никольский рынок. Созданные ранее картины Решетников использует в «Где лучше?», делая героиню романа свидетельницей всех описанных в очерке событий. Находят отзвук в новом романе и сцены из очерка «На заработки», повествующего о разоренных крестьянах, толпами хлынувших из деревни и пополняющих ряды безработных в столице.

Решетников рассказывает о рабочих-сезонниках, описывает их поиски работы и скитания по ночлежным домам, рисует их неприглядный быт.

О пристальном изучении Решетниковым народной жизни свидетельствуют и многочисленные «заметки», которые сохранились в его архиве. Они представляют собой то наброски классификации уральских рабочих («низшие рабочие чины, уставщики, кондукторы, мастера... Сословие рабочих мастеровые и урочно работающие... подмастерья, десятники, сотники, старшины»),<sup>16</sup> то замечания о петербургских квартирах (они

<sup>14</sup> Решетников Ф. М. Избр. произв.: В 2-х т. М., 1956, т. 1, с. 4.

<sup>15</sup> Там же, с. 3.

<sup>16</sup> ГПБ, ф. 638 (Решетников), № 17.

«дорогие и неудобные»),<sup>17</sup> то фиксацию отдельных фактов «из петербургской жизни», то описание внешнего облика петербургского дворника, на котором «зимой и летом... вязаная фуфайка поверху жилетки или курточки... на ногах сапоги или пимы, обшитые кожей с кожаными подошвами, кожаные рукавицы и фуражка или шапка...»<sup>18</sup> Иногда это обстоятельство петербургской «конуры», за которую бедняк платит 50 коп., или короткое замечание об «извощике Гавриле».<sup>19</sup>

Решетников-романист большое внимание уделяет быту, экономическому положению героев, самим производственным процессам. На фоне очеркового описания интрига, драма в его романах, как справедливо заметил А. К. Дивильковский, «проскакивает как сильный, но второстепенный элемент».<sup>20</sup> Глубокое изучение народной жизни помогло Решетникову сказать о народе «правду без всяких прикрас», которой требовала от литературы и демократической фольклористики критика журнала «Современник».

Характеристике народной среды в романах Решетникова, как и в «Подлиповцах», служит устная народная поэзия. Особое значение Решетников и здесь придает песне, художественные функции которой в его романах различны. В одних случаях («Ах ты, гулинька» в «Горнорабочих») она раскрывает душевное состояние героев, в других — настроение массы в целом («Сидит дрема» в «Глумовых»), в третьих — выражает отношение рабочих к горнозаводскому начальству («И да казначеет Переплетчиков» в романе «Глумовы») и т. д. Решетников использует фольклорные тексты без трансформации, не отступая от устно-поэтической традиции, о чем свидетельствуют и хранящиеся в его архиве записанные им горнозаводские песни,<sup>21</sup> которые он без каких-либо изменений включил в главы незаконченного романа «Горнорабочие».

Отказываясь от условностей классического романа и ориентируясь на специфику художественно-этнографического очерка, Решетников создает новую форму романного жанра, которая давала ему возможность показать общие народные судьбы, обусловленные объективными социально-историческими причинами.

К этнографическим материалам постоянно обращались и писатели-народники при анализе процессов, наблюдавшихся в русской пореформенной деревне. Не случайно А. Н. Пыпин отмечал, что народничество «происходит по прямой линии от народных стремлений 60-х годов».<sup>22</sup> От шестидесятников наследовали писатели-народники и свой непреходящий интерес к очерковому жанру, этнографии и устному народному творчеству.

Народнический роман 70-х годов (Н. Н. Златовратский, П. Засодимский) — это обычно роман-хроника, в котором прослеживается эволюция крестьянской общины в условиях бурно развивающихся капиталистических отношений. Вызванный к жизни подъемом революционного движения 70-х годов, он носил на себе следы очерковой литературы.

Пристальное изучение народного быта, вплоть до мелочей деревенского обихода, и крестьянского мирозерцания, стремление писателей найти причины современных бед крестьянства приближают народнический роман к научному исследованию. Роман Златовратского «Устой»,

<sup>17</sup> Там же, № 20.

<sup>18</sup> Там же, № 5.

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Дивильковский А. К. Пролетписатель начального часа. — Красная новь, 1929, № 12, с. 261.

<sup>21</sup> ГПБ, ф. 638 (Решетников), № 23.

<sup>22</sup> Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1891, т. 2, с. 418.

например, подготовленный длительной работой над циклами очерков «Деревенские будни» и «Крестьяне-присяжные», П. Кропоткин рассматривал как «крупный этнографический вклад».<sup>23</sup>

Включаясь в художественную ткань народного романа 60-х годов, этнографический очерк придавал ему отчетливо выраженный местный колорит.

Без местного колорита в обстановке и подчеркнута национальных черт в характере действующих лиц, по мнению Н. Г. Чернышевского, не может быть «настоящих романов и настоящих повестей». «Для Чернышевского, — пишет М. К. Азадовский, — „местный колорит“ не экзотика и не внешний этнографизм, но элемент подлинного проникновения в народный быт».<sup>24</sup> В частности поэтому Чернышевский давал высокую оценку творчеству Н. Успенского, А. Писемского и писателей так называемой этнографической школы, к которой, к слову сказать, Горький относил Г. Успенского, Решетникова, Наумова, Нефедова, Лескова и Мельникова-Печерского. Всех этих писателей, стоявших на разных общественно-политических позициях, объединяла горячая любовь к России и русскому народу, его национальной культуре и русскому языку. Для одних из этих писателей очерковый жанр оставался главным на протяжении всего творческого пути, для других, как, например, для П. И. Мельникова-Печерского, период увлечения им стал необходимым подготовительным этапом к созданию крупных произведений о народной жизни. Очерки Мельникова-Печерского 60-х годов явились своеобразными «копилками» материалов для романов «В лесах» и «На горах», которые тот же П. Кропоткин назвал «очень интересными этнографическими исследованиями».<sup>25</sup>

Член Русского географического общества с 1846 года, Мельников-Печерский по поручению Общества вдоль и поперек изъездил нижегородское Поволжье. Как статистик он должен был составить подробный отчет о Нижегородской губернии с указанием количества усадебной и пахотной земли, леса, рек, озер, гор, числа жителей, их вероисповедания, представить точные сведения о развитии промышленности, ярмарке, об уровне нравственности и просвещения.<sup>26</sup> Именно этнографическим и историко-социальным изучением Нижегородского края был обусловлен замысел романов «В лесах» и «На горах». Личный опыт Мельникова-очеркиста, кропотливого исследователя социальных явлений, и опыт его предшественников, раздвинувших рамки традиционного романа, дали писателю возможность создать оригинальное художественное произведение, каким стала его диалогия.

Главным предметом исследований Мельникова-Печерского с первых же лет его научной деятельности стал церковный раскол. Старообрядчество представляло для него большой интерес прежде всего потому, что оно как бы остановилось в своем развитии. В течение двух веков старообрядцы выработали в себе черты упорного консерватизма, с которым отбрасывали от себя все новое и заимствованное. Благодаря этому упорству они остались верны букве обычаев старины. В их быту, нравах, понятиях и убеждениях сохранилась старая Русь, культура, созданная веками ее истории, сбереглось то, что так «безжалостно было уничтожено» «образованным обществом».

Очерки Мельникова 60-х годов — «Письма о расколе», «Счисление раскольников», «Очерки поповщины», «Тайные секты», «Белые голуби»

<sup>23</sup> См.: Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, с. 269.

<sup>24</sup> Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1963, т. 2, с. 105.

<sup>25</sup> Кропоткин П. Указ. соч., с. 250.

<sup>26</sup> См.: Архив АН СССР (Ленинградское отделение), ф. 30, оп. 1, № 173, л. 3.

и др. — содержали богатейший этнографический материал, который был потом использован им при работе над романами «В лесах» и «На горах».

В религиозном движении раскола и традиционной устойчивости быта ревнителей «древлего благочестия» писатель увидел проявление духовной самостоятельности русского народа, его несокрушимую волю и высокую моральную стойкость. «Письма о расколе», в которых Мельников выступил с защитой старообрядцев от гонений, — результат того огромного исследовательского труда, без которого невозможно было появление дилогии с ее неповторимыми образами, выражающими типичные черты русского национального характера, олицетворяющими величие и красоту души простого человека.

В то же время изучение церковного раскола, его истории помогло писателю понять истинную суть старообрядчества, его консерватизм, боязнь каких-либо перемен.

Характеристика нравственного состояния старообрядцев поповского толка, которых Мельников сделал героями своих романов, впервые была дана им в «Очерках поповщины».

Кропотливая работа по исследованию религиозных сект — скопцов, хлыстов, молокан, завершившаяся очерками «Белые голуби», «Тайные секты», предшествовала оформлению замысла романа «На горах», включающего в себя целые очерковые главы о различных религиозных течениях и их распространении.

Особенно богатый материал Мельников собрал за годы службы чиновником особых поручений по делам религиозного раскола. Свои наблюдения над жизнью и бытом старообрядцев он отразил в составленном по требованию Министерства внутренних дел в 1854 году «Отчете о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии», представляющем собой высокое достоинства художественные очерки о жизни нижегородских раскольников.

Видный представитель этнографической беллетристики, Мельников-Печерский успешно разрабатывает и совершенствует очерковую манеру художественного бытописания, создавая яркие, запоминающиеся образы людей из народа (Чапурин, Манефа, Фленушка) и увлекательные сюжетные построения. В этом писателю помогает использование богатых художественных возможностей народной речи и его мастерство рассказчика. Россию, быт ее народа, его прошлое и настоящее он описывает поэтически восторженным языком, порой приближая свое повествование к сказу. «Старая там Русь, ископая, кондовая, — говорит он о лесном Заволжье. — С той поры как зачпалась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь сыстари на чистоте стоит, — какова была при прадедах, такова хранится до наших дней».<sup>27</sup>

Используя устнопоэтический и бытовой материал в качестве «национально-народных элементов» (Белинский), Мельников-Печерский создает своеобразный фольклорно-этнографический контекст произведения, вписывая в него занимательный, порой авантюрный сюжет. Каждая часть, а иногда и отдельные главы дилогии «В лесах» и «На горах» открываются очерковым зачином, характеризующим край и бытующие в нем народные обычаи. Эти своеобразные художественно-этнографические очерки задают тон всему последующему повествованию и подчеркивают стремление писателя показать жизнь народа в ее целостности.

Художественно-этнографический очерк в тексте романа Мельникова-Печерского способствует характеристике народных обычаев, верований, нравственно-психологического уровня народной массы и в то же время

<sup>27</sup> Мельников-Печерский П. И. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1963; т. 2, с. 8. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

определяет многие основные конфликты произведения, сюжетные повороты. В зачине писатель нередко сообщает направление дальнейшего развития действия произведения. «„Свадьба уходом“ — в большом обыкновенье у заволжских раскольников. Это — похищение девушки из родительского дома и тайное венчанье с нею у раскольничьего попа, а чаще в православной церкви, чтоб дело покрепче связано было» (с. 73). Этот зачин не только предопределяет последующее развитие событий, но мотивирует и поступки героев. «Ведется обычай у заволжских тысячников народу „столы строить“. За такими столами угощают они окольных крестьян сытным обедом, пивом похмельным, вином зеленым...» (с. 46) — так начинается пятая глава первой части романа «В лесах», в которой в художественных картинах представлены «столы», устроенные Патапом Максимычем народу с целью показать московским купцам Снежковым, с которыми он задумал породниться, свою значимость в Заволжье.

Очерковость изложения материала как залог тесной связи с жизнью предусматривалась писателем уже при обдумывании плана произведения. Судя по первому наброску плана,<sup>28</sup> отдельные главы романа, в которых предполагалось знакомство читателя с этнографией нижегородского Поволжья, должны были представлять собой описания, близкие к физиологическому очерку.

Сам писатель неоднократно подчеркивал очерковый характер отдельных частей романов «В лесах» и «На горах». Не случайно он снабдил свое произведение подзаголовком «Рассказы Андрея Печерского», а приступая к работе над первыми главами романа «На горах», сказал в «Обществе любителей российской словесности», что его второй роман не что иное, как «продолжение тех очерков и рассказов, что под общим названием „В лесах“ помещались в „Русском вестнике“».<sup>29</sup>

«Очерки и рассказы о Заволжье (так воспринимал свое повествование сам Мельников-Печерский), — справедливо пишет Л. М. Лотман, — объединялись авторской идеей значения семейных основ быта и постоянства национальных традиций для исторических судеб народа».<sup>30</sup>

Страстный любитель русской старины и народного быта Мельников-Печерский в своей работе над романами «В лесах» и «На горах» постоянно ориентировался на традиции устной народной поэзии. Еще задолго до начала литературной деятельности он обратился к изучению фольклора как исторического источника. Интересовался он фольклором и как краевед-этнограф.

Мельников-Печерский испытывал влияние как мифологической школы, так и культурно-исторических методов изучения фольклора. В романе «В лесах» значительное место занимает древняя мифология, «реставрированная» учеными-фольклористами. В духе трудов мифологов романист создает образы Матери Сырой Земли, Грома Гремучего, Неба Ходячего, Яра Хмеля. Космогонический миф о союзе Неба и Земли, отражающий представления древнего человека о происхождении жизни на земле, включен автором в роман, чтобы при помощи его раскрыть традиционность народного сознания. Миф этот имеет в произведении важное композиционное значение.

Но в эпоху Мельникова постоянно присутствует выход и в историческую психологию, обнаруживает себя историко-социальный взгляд на

<sup>28</sup> Планы романа опубликованы. См.: Соколова В. Ф. К вопросу о творческой истории романов П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». — Русская литература, 1970, № 3, с. 109—118.

<sup>29</sup> ИРЛИ, архив П. И. Мельникова-Печерского, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 5, л. 12.

<sup>30</sup> Лотман Л. М. Динамика взаимодействия романа и повести: Углубление концептуальности в повествовании. — В кн.: Русская повесть XIX в. Л., 1973, с. 394.

фольклор, восприятие народного творчества как социального явления. Как ученый-исследователь он прежде всего видит в фольклоре отражение исторической жизни народа, отзвук далекой старины или следствие определенных историко-социальных процессов. Поэтому исключительно важное место в романах «В лесах» и «На горах» занимает легенда, имеющая своим источником либо утопию (легенда о Беловодье), либо историческое предание (Китежская легенда, легенда о Нижнем Новгороде).

Значение Китежской легенды в романе «В лесах» подчеркивается уже самим лирическим зачином первой главы. Веяние древности вносит легенда в зачин, характеризующий лесное Заволжье: «Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и „тропу Батыеву“, и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор — с белокаменными стенами, златоверхими церквями, с честными монастырями, с княженицкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами» (с. 7).

Китежская легенда становится композиционным центром романа «В лесах». Она воспринимается как символ седой старины «кондового» заволжского края. Мировоззрение народа, его взгляды на прошлое, настоящее края, его надежды — все это нашло свое отражение в легенде о невидимом граде Китеже.

Китежская легенда, раскрывая традиционность народного сознания, в аллегорической форме отражает веру писателя в возможность торжества правды и справедливости при условии возобновления исконно национальных форм русской жизни.

Кроме того, комплекс идей, заключенных в легенде, представляется Мельникову-Печерскому типичным проявлением мировоззрения народной старообрядческой среды, настроенной патриотично, но непреклонной в преданности «старой вере» и старинным обычаям.

Использованию этой легенды в крупном эпическом произведении предшествовала большая и кропотливая работа писателя по ее изучению. Еще в 1840 году в рапорте директору училищ Нижегородской губернии Мельников писал: «Занимался также я исследованием тропы Батыевой и некоторых других урочищ в Семеновском уезде».<sup>31</sup> В личном архиве писателя хранится подтверждающая эти слова небольшая заметка следующего содержания: «В Макарьевском уезде Нижегородской губернии за Волгой около... Люнды тож есть село и озеро Светлый Яр (глуб. более 20 м). Предание говорит, что здесь город Малый Китеж (а боль. Кит. — Городец)... Город провалился в озеро».<sup>32</sup>

В «Отчете» 1854 года Мельников также отмечал: «...в лесах Семеновского уезда около дер. Олонихи (Семен. уез.) есть действительно довольно широкая, запустелая дорога, которую народ зовет „Батыевой тропой“; раскольники говорят, что здесь шли татары на Китеж».<sup>33</sup>

Прием характеристики края через легенду используется Мельниковым-Печерским и в романе «На горах», который начинается преданием об основании Нижнего Новгорода. Предание как бы намечает предстоящее повествование и проливает свет на историческое прошлое нагорного правобережья, жизнь населения которого освещается в произведении. В предании речь идет о походе Ивана Грозного на Казань и попутном завоевании им мордвы.

О глубоком изучении Мельниковым-Печерским похода Грозного на Казань, всех «станов» царского войска на территории Нижегородской

<sup>31</sup> Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Н. Новгород, 1910, т. 9, ч. 1, с. 272.

<sup>32</sup> ИРЛИ, ф. 95, оп. 1, № 7.

<sup>33</sup> Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, 1910, т. 9, ч. 2, с. 191.

губернии говорят черновые бумаги его личного архива.<sup>34</sup> В Институте русской литературы хранится большая статья Мельникова-Печерского о походе Грозного на Казань, раскрывающая путь поисков писателя. «В Нижегородской и Симбирской губерниях, — пишет он, — живо в народе воспоминание о завоевании Казани. Здесь триста лет поются былевые песни о грозном царе».<sup>35</sup>

Ориентируясь в своем творчестве на традиции устной народной поэзии, Мельников-Печерский насыщает дилогию фольклорными материалами разных жанров — песнями, пословицами, поговорками и т. д. Эти фольклорные «цитаты» выполняют важнейшие художественные функции — способствуют выражению народного мирозерцания, раскрывают внутреннее состояние персонажей, играют большую композиционную роль.

\* \* \*

По-другому подходят к интересующей нас проблеме Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой. Отказываясь от скрупулезного анализа народной жизни и мелочей крестьянского быта, они переносят решение серьезных общественно-политических вопросов в нравственно-философскую сферу. «... С полемическим стремлением к „очерковости“, к отвержению сложных психологических коллизий, любовной интриги на одних ступенях и у одних направлений реалистической литературы, — пишет Г. М. Фридлендер, — в историческом развитии реализма переплетается и сосуществует противоположное стремление других ее представителей и направлений — освоить и творчески переработать все ценные традиции предшествующей литературы, подчинив их задаче широкого, свободного и многопланового изображения жизни».<sup>36</sup>

Тем не менее успехи этнографических исследований и небывалый расцвет художественно-этнографического очерка не могли не оказывать на писателей психологического направления своего благотворного воздействия.

Глубокое изучение русской национальной жизни, результаты которого находили отражение в художественно-этнографических очерках (как в их собственных, так и в очерках других писателей), давало этим романистам возможность ставить в своем творчестве важнейшие вопросы социально-политического и экономического развития страны, решать серьезные нравственно-этические проблемы, связанные с состоянием русского общества.

Путешествуя на военном фрегате «Паллада», вглядываясь в жизнь народов разных континентов, подмечая их этнографические особенности, Гончаров был поглощен мыслями о родине, о судьбе своего народа. «... Перед глазами все еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи, — пишет он в очерках «Фрегат „Паллада“». — Увижу новое, чужое и сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уже сказал вам, что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим».<sup>37</sup>

Думы о России, которую Гончаров сопоставлял с буржуазно-промышленной Европой и феодальной Азией, сопровождали его во время всего путешествия. Эти сопоставления питали воображение писателя и оказали воздействие на уточнение идеи романа «Обломов», работа над

<sup>34</sup> См.: Власова З. И. Фольклор о Грозном у П. И. Мельникова и Н. К. Мировлюбова. — В кн.: Русский фольклор. Л., 1981, сб. XX, с. 107—157.

<sup>35</sup> ИРЛИ, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 7, л. 122.

<sup>36</sup> Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. Л., 1971, с. 68.

<sup>37</sup> Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». М., 1976, с. 55. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.



которым уже была начата, на формирование его художественной структуры.

Непосредственные наблюдения жизни народов Европы, Азии и Африки, результаты которых легли в основу его очерков, дали Гончарову возможность уловить происходящий в разных странах по-разному процесс распада старых феодальных отношений и рождения новых — буржуазно-капиталистических. Сама Россия виделась писателю как бы со стороны. Те общественные процессы, которые в ней назревали, осмыслились им уже на фоне мировой истории, ход которой круто повернул в сторону капиталистического развития.

Главный вывод, к которому приходит Гончаров в результате длительных наблюдений и который в конечном итоге определит всю художественную концепцию романа «Обломов», следующий: воля, упорство и энергия — вот качества, необходимые для современного человека, осуществляющего прогресс.

Работа над очерками наполнила новым содержанием противопоставление в творчестве Гончарова старой, уходящей в прошлое дворянской культуры идущей ей на смену культуре буржуазной.

Многое в образе Штольца в романе Гончарова подсказано обобщающим типом «новейшего англичанина», который Гончаров наблюдал во время путешествия и изобразил в первом письме из очерков «Фрегат „Паллада“». Он, пишет Гончаров, «не должен просыпаться сам; еще хуже, если его будит слуга: это варварство, отсталость... Он просыпается по будильнику... Ему надо побывать в банке, потом в трех городах, поспеть на биржу, не опоздать в заседание парламента» (с. 50). Он подвижен и вездесущ. «Вот он, поэтический образ, в черном фраке, в белом галстуке, обритый, остриженный, с удобством, то есть с зонтиком под мышкой, выглядывает из вагона, из кеба, мелькает на пароходах, сидит в таверне, плывет по Темзе, бродит по музеуму, скачет в парке!» (с. 50).

Разительным контрастом этому герою современности предстает в очерках образ русского барина, взлелеянного феодально-крепостническим укладом жизни. «Вижу где-то далеко отсюда, — пишет Гончаров-очеркист, — в просторной комнате, на трех перинах, глубоко спящего человека: он и обеими руками, и одеялом закрыл себе голову, но мухи нашли свободные места, кучками уселись на щеке и на шее. Спящий не тревожится этим. Будильника нет в комнате, но есть дедовские часы: они каждый раз свистеньем, хрипеньем и всхлипываньем пробуют нарушить этот сон — и все напрасно... Он пробудился оттого, что ему приснился дурной сон: его кто-то начал душить во сне, но вдруг раздался отчаянный крик петуха под окном, и барин проснулся, обливаясь потом» (с. 51).

Русский барин, возникший в воображении писателя после того, как «облако английского тумана рассеялось», родствен образцу Ильи Ильича Обломова. Но Гончаров-романист делает Обломова человеком университетски образованным, с критическим складом ума, ясно сознающим свое положение, точно определяющим причины своего падения. И это в значительной степени обостряет критику изжившего себя феодально-крепостнического уклада.

Описывая хорошо известную ему русскую действительность и барина, загубленного неподвижностью и ленью, Гончаров не испытывал недостатка в художественных красках. Иначе обстояло дело, когда он создавал образ Андрея Ивановича Штольца. В облике этого героя ощутима ориентация на обобщенный тип европейского делового человека, которого писатель наблюдал и о котором размышлял во время кругосветного путешествия. Подобия этого типа в России только возникали, Гончаров связывает его с русской национальной культурой и заставляет действовать

в условиях патриархальной неподвижности и застоя. Не случайно современная Гончарову критика подвергала сомнению характерность и реальность полурусского, полунемца Штольца. «... Из романа Гончарова мы и видим только, что Штолец — человек деятельный, все о чем-то хлопочет, бегаёт, приобретает, говорит, что жить — значит трудиться, и пр. Но что он делает и как он ухитряется делать что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать, — это для нас остается тайной»,<sup>38</sup> — писал Добролюбов. Причину неудачи образа Штольца, как отмечает Е. Краснощекова, сам Гончаров видел в его «„служебном“ назначении — быть антиподом Обломова, декларатором авторской точки зрения на героя».<sup>39</sup>

Отдельные сцены из очерков «Фрегат „Паллада“» прямо совпадают с некоторыми эпизодами романа «Обломов». Поиски проснувшимся Ильей Ильичом сначала носового платка, который он без помощи Захара так и не обнаружил, затем письма из деревни заставляют вспомнить идентичную сцену из очерков — поиски еще не одевшимся баринном сапога и панталон. Вырисовывающийся из полученного из деревни письма образ хапуги-старосты, обманывающего непрактичного, мягкотелого помещика, также возникает в воображении писателя в период его работы над очерками «Фрегат „Паллада“».

Споры о народе, крестьянской общине, о просвещении низших сословий, которые велись на страницах передовых журналов 60-х годов, критика в них народных суеверий и предрассудков находят живой отклик не только в демократической литературе, но и в романах писателей либерального направления.

Обнажая социальные корни обломовщины, кроющиеся в самом феодально-крепостническом укладе, Гончаров в романе «Обломов» резко критикует отсталость народного сознания, расценивая ее как следствие изживших себя общественных отношений. Писатель еще не видит в народе движущей силы истории, и это накладывает отпечаток на его отношение к народной культуре.

Враг «розовой романтики» и бесплодной мечтательности, Гончаров в романе «Обломов» иронически говорит о народной поэзии, считая ее архаической, идеализирующей жизнь, уводящей слушателей от современной реальности. Отрицая положительное влияние сказочной фантастики на формирующуюся личность, он пишет в «Сне Обломова»: «Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса, — все трепещут чего-то в темный вечер: всякое дерево превращается тогда в великана, всякий куст — в вертеп разбойников».<sup>40</sup>

Новые тенденции литературного развития в 60-е годы, определяемые глубинным изучением народной жизни, резко изменяют взгляды Гончарова на народ, и это находит отражение в его последнем крупном произведении — романе «Обрыв», герои которого постоянно обращаются к народу, ссылаются на него в своих спорах.

Критикуя деятельность Тургенева-романиста и утверждая, что эпос не в природе его таланта, Гончаров неустанно подчеркивал, что очерки Тургенева из жизни народа «Записки охотника» имеют непреходящее значение, что именно как знаток народного быта и новеллист Тургенев создает художественно совершенные, классические произведения. В этом плане Гончаров рассматривал и поздние сочинения Тургенева, высоко ценя картины провинциального быта и природы в рассказах «Бригадир»

<sup>38</sup> Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М.; Л., 1962, т. 4, с. 340.

<sup>39</sup> Краснощекова Е. «Обломов» И. А. Гончарова. М., 1970, с. 81.

<sup>40</sup> Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1953, т. 4, с. 123.

и «Степной король Лир».<sup>41</sup> Гончаров был несправедлив к Тургеневу-романисту, умевшему выражать эпическое содержание в своих лаконичных романах. Проблемы народознания, интерес к быту, положению и психологии народной среды нашли свое отражение не только в рассказах, но и в романах писателя, причем в поле его зрения был не только русский народ, но и народы Европы.

В романе «Накануне» Тургенев делает демократа болгарина Инсарова, живущего единой жизнью с родным народом, изучающего его историю и фольклор, главным героем. Сблизиться с народом, понять его стремится и герой «Дворянского гнезда» Лаврецкий. В «Дыме», однако, в уста Потугина и Литвинова Тургенев вкладывает резкие оценки народной культуры, доходящие порой до полного отрицания ее значения. Эти «выпады» против фольклора и других проявлений народной культуры вызвали резкие возражения Достоевского в «Дневнике писателя» и его записных тетрадях.<sup>42</sup> Своеобразная позиция Тургенева сказалась и в романе «Отцы и дети», который во многом был подготовлен оживленными дискуссиями о русском народе и путях развития России 40—50-х годов XIX века.

Глубокое изучение жизни демократических низов, осуществляемое очеркистами эпохи, значительный вклад в которое внес и сам Тургенев, дало ему возможность создать реалистически конкретный образ отрицателя всех общественных устоев разночинца-демократа Базарова, тесно связанного с русской национальной культурой, способного отличить в ней россыпи подлинной мудрости от проявления архаических, консервативных представлений — следствия вековой забитости и темноты. Базаров — плоть от плоти народа, и сам сознает прочность этой связи, что ощутимо, в частности, в его манере выражать мысль. Его речь пестрит пословицами и поговорками, которые в споре с Павлом Петровичем подчас служат аргументом, доказывающим и подкрепляющим его точку зрения, а при беседах с крестьянами делают его разговор доходчивым и убедительным. Вместе с тем в своей критике народных предрассудков Базаров предельно резок и выказывает порой даже пренебрежение к темному народу.

Тургенев характеризует черты новой, исключительно сложной эпохи, ознаменовавшейся большими политическими и социальными сдвигами, изображая жизнь семейства Кирсановых, но ставит своего главного героя — Базарова во внебытовые отношения с окружающими его людьми. В его страстных спорах с либералами Кирсановыми отчетливо слышны отголоски тех оживленных полемик о русском национальном характере, исторических судьбах русского народа, которые были подготовлены социологическими и этнографическими изучениями последних десятилетий. Сами отрицания Базарова берут свои истоки, как замечает Г. А. Бялый, «в тех подспудных течениях, которые долгие годы струятся незримо, но в грозные периоды истории выбрасывают на поверхность русской жизни Разиных и Пугачевых».<sup>43</sup>

В очерково-описательном плане Тургенев рассказывает о состоянии предреформенной деревни. Базаров и Аркадий Кирсанов по пути в Марьино видят бедные деревеньки «с низкими избушками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетеными из хвороста стенами и зевающими воротницами возле опустелых гумен», встречают оборванных, «обтерханных» мужиков на «плохих клячонках». «Нет, — подумал Аркадий, — небогатый

<sup>41</sup> Там же, 1955, т. 8, с. 372, 435.

<sup>42</sup> См.: Буданова Н. Ф. «Спор» Достоевского с тургеневским Потугиным о прекрасном. — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1985, сб. 6, с. 92—106.

<sup>43</sup> Бялый Г. А. Роман Тургенева «Отцы и дети». М.; Л., 1963, с. 122.

край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы...»<sup>44</sup>

Поворот в изображении народной жизни, подготовленный бурным расцветом очерковой литературы, дает о себе знать в романе «Отцы и дети» как в оценке старинных нравов, обычаев, суеверий, так и в изображении крестьянства.

Тургенев говорит о грубости деревенских нравов, о постоянных раздорах в крестьянских семьях. «... Мужики начали между собой ссориться, — рассказывается о марьинских крестьянах, — братья требовали раздела, жены их не могли ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и всё вокруг поднималось на ноги, как по команде, всё сбегалось перед крылечко конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожками, в пьяном виде, и требовало суда и расправы; возникал шум, вопль, бабий хныкающий визг вперемежку с мужской бранью» (с. 131).

Такое суровое изображение крестьянской семьи было явно направлено против славянофильской идеализации сельского быта. Споры о путях развития России и новые тенденции в изображении народной жизни во многом определили авторскую концепцию и романа «Дым». Отрицая революционный путь развития России, Тургенев в поисках средств борьбы с отсталостью и невежеством приходит к выводу, что нужно сближаться с культурой Европы, развивать национальную цивилизацию.<sup>45</sup> Писатель не видит народной инициативы и не верит в спасительную роль крестьянской общины. Устами героев «Дыма» Потугина и Литвинова он резко выступает против вековой отсталости России, не избегая полемических «перехлестов». «Степной глушью, слепым мраком» повеяло на Литвинова от отцовского письма, в котором рассказывается о том, с каким трудом старику удалось освободить своего кучера от порчи.

Обосновывая свою западническую позицию, герои Тургенева, повторяем, отрицают какое-либо положительное значение устного поэтического творчества, где, по словам Потугина, даже любовь представлена «как следствие колдовства, приворота».

По справедливому мнению А. Б. Муратова, «для Тургенева идеи Потугина соотносились прежде всего с именем Белинского», который в восприятии романиста «был западником не просто потому, что верил „в превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя“, а потому, что, страстно любя Россию, желал ей самобытного быстрого развития».<sup>46</sup>

Несмотря на то что влияние достижений народознания и споров о народной культуре на развитие русского романа второй половины XIX века внешне проявляется не всегда определенно, все же постановка вопроса о степени этого влияния применительно к художественному наследию каждого писателя вполне правомерна.

Как ни тщательно скрыта связь творчества Достоевского с фольклором и народоведческими изысканиями 60—70-х годов, она неизменно обнаруживается при анализе всех его романов.

Годы ссылки, тесно сблизившие Достоевского с народом, значительно обострили его внимание к жизни простого человека. «Записки из Мертвого дома», воссоздающие страшные картины каторги, издевательств над человеческой личностью, одновременно являются и непревзойденным исследованием страдающей народной души. «Принцип изображения и ана-

<sup>44</sup> Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30-ти т. Соч.: В 12-ти т. М., 1981, т. 7, с. 16. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

<sup>45</sup> А. Батюто справедливо связывает публицистическую тенденцию романа с полемикой Тургенева с лондонской революционной эмиграцией и славянофилами о путях дальнейшего развития России (см.: Батюто А. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 19; см. также: Петров С. М. И. С. Тургенев. М., 1979, с. 438—439).

<sup>46</sup> Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей». Л., 1972, с. 83.

лиза индивидуальной психологии и судеб центральных персонажей в соотношении с психологией, моральным сознанием, судьбами нации и народа, — пишет Г. М. Фридендер, — был тем важнейшим завоеванием, которое со времен „Записок из Мертвого дома“ прочно вошло в художественную систему Достоевского-романиста, становится одним из определяющих элементов этой системы».<sup>47</sup>

Представляя собой «органический сплав в единое целое элементов художественного вымысла, автобиографии и очерка»,<sup>48</sup> «Записки из Мертвого дома» в то же время обладают и несомненными достоинствами этнографического исследования. Изображенные писателем обитатели Мертвого дома воплощают разнообразные жизненные уклады, верования, нравственно-этические воззрения. «И какого народу тут (т. е. в Мертвом доме, — В. С.) не было! — говорит рассказчик. — Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей. Были и инородцы, было несколько ссыльных даже из кавказских горцев».<sup>49</sup> В письме к брату 22 февраля 1854 года Достоевский писал: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними, и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта» (с. 275).

При всем искажении человеческой природы в «аду и тьме кромешной Мертвого дома» писатель почти в каждом из арестантов видит представителя определенной социальной и этнографической группы. Их он распознает как по внешности, так и по психическому складу, по сохранившимся в их быту обрядам и верованиям, по фольклору, носителями которого они являются. «Иной из кантонистов, другой из черкесов, третий из раскольников, — описывает рассказчику каторжников один из них, — четвертый православный мужичок... пятый жид, шестой цыган, седьмой неизвестно кто, и все-то они должны ужиться вместе во что бы то ни стало, согласиться друг с другом, есть из одной чашки, спать на одних нарах» (с. 28).

Создавая этнографически верные типы представителей различных губерний и краев России, Достоевский подчеркивает в каждом из них его социальную сущность, влияние на человеческую индивидуальность общественно-исторических условий бытия.

В «Записках» писатель воспроизводит самые различные жанры бытовавшего в арестантской среде фольклора — песни, легенды, пословицы, поговорки, прибаутки и т. д., — позволившего ему понять и воспроизвести обобщенный жизненный опыт разных этнографических групп.

Раздумывая над судьбами обитателей Мертвого дома, анализируя совершенные по тем или иным причинам преступления, Достоевский стремится проникнуть во внутренний мир преступника. Он то пытается представить, какие чувства должны волновать обвиняющегося в отцеубийстве Ильина, то поражается спокойствию и непроницаемости Газина и Орлова, то приглядывается к убийце Шишкову. Все эти наблюдения должны были оказать неоценимую услугу писателю в дальнейшем — как в период его работы над «Преступлением и наказанием», где он ставит перед собой цель проследить нравственное состояние убийцы после совершения преступления, так и при обдумывании замысла романа «Братья Карамазовы».

В нашем литературоведении неоднократно отмечалось как характерная особенность Достоевского-романиста его стремление поставить своих

<sup>47</sup> Фридендер Г. М. Ф. М. Достоевский. — В кн.: История русской литературы: В 4-х т. Л., 1982, т. 3, с. 719.

<sup>48</sup> Фридендер Г. М. Реализм Достоевского. М.; Л., 1964, с. 95.

<sup>49</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1972, т. 4, с. 10. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

героев в необычные жизненные обстоятельства, пристрастие к крутым поворотам в развитии действия. «Вдохновение Достоевского, — пишет, например, В. Я. Кирпотин, — начинало работать тогда, когда оно сосредоточивалось на изломе, на потрясении, на взрыве событий, приходящих вдруг, неизвестно откуда взявшись и обещая неизвестно какие результаты».<sup>50</sup>

Подытоживая свои наблюдения над жизнью, поступками людей в разных ситуациях, Достоевский отмечает в «Записках из Мертвого дома»: «С этакими людьми случается иногда в жизни, что они вдруг резко и крупно проявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого, поголовного действия или переворота и таким образом разом падают на свою полную деятельность» (с. 87).

Все свои последующие романы Достоевский строит, так или иначе ориентируясь на это «вдруг», им же объясняет он и бунт своих героев против современных социальных условий. Это «вдруг» превращается в принцип конструкции всех романов, созданных Достоевским после «Записок из Мертвого дома».

Физические страдания, невероятные нравственные испытания, пережитые писателем вместе с народом, раздумья над изломанными судьбами людей, большинство из которых «пострадали безвинно», заставляют писателя воспринимать жизнь как величайшую социальную трагедию.

Темы, впервые поднятые Достоевским в «Записках из Мертвого дома», стали сквозными в его творчестве. Такие коренные, «вечные» вопросы, волнующие человечество, как преступление и наказание, пути нравственного очищения человека, впервые были выдвинуты писателем в его «Записках», по форме стоящих «как бы посередине между романом и очерком или мемуарами».<sup>51</sup>

Впечатления, которые Достоевский вынес из Мертвого дома, углублялись в дальнейшем через обращения писателя к печатным публикациям по вопросам народознания и устному народному творчеству.<sup>52</sup>

Из всего многообразия фольклорных жанров Достоевский-романист особое предпочтение отдавал легенде. Но легенда в романном творчестве Достоевского всегда предстает в деформированном виде, и связь героев с устнопоэтическими образами обнаруживается лишь при анализе идей, сюжетов и всего стиля его произведений. Сами же художественные образы, построенные по аналогии с фольклорными, сохраняют свой реально-бытовой характер. Создавая определенный подтекст в виде скрытых аналогий к образам и сюжетным ситуациям, легенда в романах Достоевского выполняет важные художественные функции, способствуя выражению нравственно-этических представлений народной среды.<sup>53</sup>

Опираясь на нашедшие отражение в фольклоре народные нравственно-этические искания, Достоевский дает и оценку человеческой личности. Его идеал «положительно-прекрасного» человека, в основу которого положены черты странствующего по земле легендарного Христа, воплощен в образе князя Мышкина.

Умонастроения эпохи 60—70-х годов, растущий интерес к пародной культуре не могли не оказывать своего воздействия и на романное творчество Л. Н. Толстого. Правда, сам писатель упорно отрицал воздействие на него общественного движения 60-х годов. Однако именно обращение к народу, его истории и культуре явилось необходимым условием и залогом успеха в деятельности Толстого-художника.

<sup>50</sup> Кирпотин В. Я. Достоевский-художник. М., 1972, с. 24.

<sup>51</sup> Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского, с. 94.

<sup>52</sup> См. об этом: *Ветловская В. Е.* Ф. М. Достоевский. — В кн.: Русская литература и фольклор: (Вторая половина XIX в.), с. 12—76.

<sup>53</sup> См. об этом: *Лотман Л. М.* Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974, с. 285—316.

Наследуя лучшие традиции семейного романа и в то же время ломая его рамки, Л. Толстой, по словам Кирпотина, «звел семью в историю народа и историю народа в жизнь семьи».<sup>54</sup> «Мысль народная», пронизывающая эпопею «Война и мир», становится важнейшим критерием оценки ее героев и их поступков. «... „Исторический“ роман Толстого „Война и мир“, — справедливо писал С. Бычков, — входил в злободневную проблематику 60-х годов, когда обсуждались и решались судьбы народа».<sup>55</sup>

«Война и мир» — это высший результат историко-литературного развития, отразивший весь опыт, все достижения нашей предшествующей литературы, и, безусловно, признание в нем народа главной силой истории определялось и теми успехами в области народознания, какими ознаменовалась эпоха 40—60-х годов.

Сам Толстой к крупному эпическому произведению пришел от очерка, к изображению жизни нации — от галереи разнообразных типов солдат, представленных в военных рассказах, при работе над которыми образцом писателю служили тургеневские «Записки охотника». «Севастопольские рассказы», основным героем которых стал русский народ, явившиеся важной вехой на пути Толстого к «Войне и миру», отличаются ясно выраженной очерковой достоверностью изображения исторических событий. Сочетая в очерках введение новых пластов жизненного материала с психологизмом, Толстой создает очерковый жанр, по своей сюжетно-композиционной организации близкий к повести. «В этом цикле Толстого, — пишет Л. М. Лотман, — в пределах творчества одного писателя проявилась общая тенденция развития жанров в литературе середины XIX в.: эволюция от очерка к рассказу, от рассказа к повести (или циклу рассказов и очерков) и затем — от повестей или цикла — к роману, которая привела к расцвету жанра романа в 50—60-е годы».<sup>56</sup>

Не ограничиваясь изображением картин народной войны, сменяющихся рассуждениями автора о характере русского народа и картинами мирной жизни, Толстой создает в «Войне и мире» ряд народных типов или, сближаясь с представителями очерковой школы, описывает целые народные группы, подчеркивая и объясняя существующие между ними различия. Характеризуя богучаровских и лысогорских крестьян, по-разному проявивших себя перед приближением неприятеля, Толстой обращает внимание на те «подводные струи» народной жизни, которые определяют психологический и нравственный облик тех или иных социальных групп.

Два основных типа народного характера запечатлел Толстой в образах Тихона Щербатого и Платона Каратаева. Если в Тихоне Щербатом дано олицетворение тех сил, которые привели в движение дубину народной войны, то в образе Платона Каратаева нашли отражение мросозерцание патриархальной крестьянской массы, ее многовековой жизненный опыт.

С признанием высокого уровня народной нравственности связано и противопоставление пустоте и низменности интересов представителей высших аристократических кругов дворянства патриархального семейного уклада «породы ростовской». В этой семье писатель находит прочные нравственные основы жизни и идеалы, близкие народным. Необычность Наташи обусловлена, в частности, влиянием на ее развитие народной среды.

Общение с народом и соприкосновение с его культурой (сцена в имении дядюшки) доставляют Наташе большую радость и заставляют ее

<sup>54</sup> Кирпотин В. Я. Указ. соч., с. 12.

<sup>55</sup> Бычков С. Л. Н. Толстой: Очерк творчества. М., 1954, с. 107.

<sup>56</sup> Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века, с. 125.

переживать те же чувства, какие переживает Андрей Болконский, общаясь с солдатами своего полка, и Пьер Безухов — с Платоном Каратаевым.

Народная песня, солдатская шутка и острое словцо, по мнению писателя, выражают дух войска, настроение солдатской массы — то народное чувство, на которое опирается Кутузов в своей вере в неизбежную победу над французами. И привлечение фольклора при осуществлении творческих замыслов, и постоянное внимание к психологии и идеологии простого человека, и ориентация на народную нравственность, и стремление писателя раскрыть национальную сущность русского народа — все это соответствовало духу времени и определялось идейными и художественными исканиями передовой русской литературы 60-х годов.

Тенденции и интересы такого порядка находят свое отражение и в романе Толстого «Анна Каренина». «В отличие от „Войны и мира“, — подчеркивает М. Б. Храпченко, — тема народная здесь не выступает на первый план, но она неизменно ощущается на всем протяжении произведения, находя свое выражение во многих сценах».<sup>57</sup>

Поиски Левиным смысла жизни, его обращение к народу как носителю духовных и нравственных ценностей во многом созвучны думам и спорам о народном характере, которыми были насыщены страницы художественно-этнографических очерков, явившихся в 60—70-е годы наиболее удобной литературной формой осмысления русской народной жизни. «Искания Левина, — писал Н. И. Пруцков, — органично включали его (Толстого, — В. С.) в главный поток русской жизни 1870-х годов, когда русское крестьянство стало „альфой и омегой“ нравственной философии и революционной практики демократических сил России».<sup>58</sup>

Сама «мысль семейная», «цементирующая» все произведение, определяется подлинно национальными нравственными идеалами, предполагающими крепость семейных устоев как одно из основополагающих требований кодекса народной этики.

Не каноничный по своей природе, «вечно ищущий», «пересматривающий все свои сложившиеся формы»,<sup>59</sup> жанр социально-психологического романа и в последующие десятилетия будет постоянно ориентироваться на народную культуру и художественно-этнографический очерк, опираться на «осведомленность» последнего во всех вопросах современности, учитывать его опыт, чутко прислушиваться к бьющему в нем пульсу русской общественной и национальной жизни.

<sup>57</sup> Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. М., 1971, с. 191.

<sup>58</sup> Пруцков Н. И. Л. Н. Толстой, история, современность. — В кн.: Л. Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979, с. 15.

<sup>59</sup> Бахтин М. Эпос и роман. — Вопросы литературы, 1970, № 1, с. 96, 121.





## ЭПИЧЕСКИЕ ГЕРОИ И ПЕРСОНАЖИ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» И СПОСОБЫ ИХ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Под «эпическими» имеются в виду такие герои и персонажи, сведения о которых были почерпнуты летописцами в значительной мере из фольклорных источников. Хотя об эпических героях «Повести временных лет» существует обширная научная литература, *сплошного* и *совокупного* их изучения пока предпринято не было. Между тем такое изучение дает некоторые, не только количественные преимущества. Оно обеспечивает возможность классификации подобных персонажей на основе их собственных характеров и способов их изображения. Оно вынуждает пересмотреть вопрос о принципах летописного повествования, разработанный главным образом И. П. Ереминым. Последнее могло бы вполне заслуженно стать темой отдельной работы; в рамках данной статьи ограничимся краткими замечаниями. По И. П. Еремину, изображение человека в летописи отличается внутренней противоречивостью, князь может иметь несколько взаимоисключающих обликов. Эта противоречивость, распространяющаяся и на другие сферы изображаемого в летописи, объясняется исследователем «фрагментарностью» летописного повествования, которая в свою очередь обусловлена «погодным» принципом изложения. Погодная сетка разрывает цельность рассказа, один фрагмент стремится изолироваться от другого, «наглухо замкнуться» в себе самом. Изображаемое в летописи выстраивается «как механический ряд единичных исторических фактов». «*Фрагментарность* и связанная с нею порою внутренняя *противоречивость* летописного повествования — особенности, определяющие собою всю структуру „Повести временных лет“ как памятника литературы; они — ключ к пониманию и природы летописного человека».<sup>1</sup>

Действительно, «погодный принцип» — это данность, с которой прежде всего имеет дело читатель и исследователь летописи. Но признать его абсолютность — значит многое не увидеть в ней. В тексте «Повести временных лет» присутствуют связи, формы сопряжения, как бы «надстроенные» над «погодной сеткой», идущие поверх нее, точнее, пронизывающие ее и сообщающие известную целостность материалу, внешне расчлененному мерным ходом лет. Мы постараемся показать, что изображенные в летописи судьбы людей представляют собой не просто механическую сумму фактов, а художественно, в ряде случаев сюжетно организованные повествования.<sup>2</sup> По нашим наблюдениям, идейно-художественная организация проявляется не только на уровне отдельных фрагментов или «биографий», внутренне целостных, но и в их композиционном сопряжении. «Биографии» и их смыслы вступают друг с другом в отношения со- и противопоставления, реализуя тем самым определенные идеи писателей, создавших «Повесть временных лет». Фрагментарность и погодный принцип отнюдь не являются непреодолимым препят-

<sup>1</sup> Еремин И. П. «Повесть временных лет»: Проблемы ее историко-литературного изучения. Л., 1946 (на обложке: 1947), с. 57. Ср. также: с. 3, 4, 49—61, 72—75, 91.

<sup>2</sup> В коллективном труде «Истоки русской беллетристики» (Л., 1970) сюжетная организация признается только за отдельными фрагментами (с. 35).

ствием в создании этой достаточно высоко и сложно организованной идейно-художественной структуры. И наконец, мы в своем анализе коснемся отдельных, так сказать, не системных особенностей художественного строя «Повести временных лет».

В этой связи необходимо сделать некоторые оговорки. Мы подходим к «Повести временных лет» исключительно с ее литературной, художественной стороны. История в «Повести временных лет» интересует нас только как литературный материал. Поэтому здесь не будет обращений к каким-либо параллельным источникам для уяснения исторической истины. Может быть, наши наблюдения пригодятся историкам как напоминание о том, что в летописи они имеют дело нередко не с сугубо исторической информацией, а с художественным ее осмыслением.

И еще одна оговорка. Отдавая себе отчет во всей сложности родословной такого явления, как «Повесть временных лет», мы тем не менее в основном будем исходить из понимания ее текста как достаточно целостного. Правомерность такого подхода в свое время обосновывал И. П. Еремин, и здесь мы вполне солидарны с ним, «ибо какую бы сложную историю ни пережил текст того или иного литературного произведения, текст этот в своей окончательной редакции никогда не теряет своего единства как по содержанию, так и по форме: отрицать это единство в данном случае значило бы рассматривать дошедший до нас текст „Повести“, легший в основу всего древнерусского летописания, как механический сплав разного рода напластований, как текст неполноценный и по содержанию и по форме».<sup>3</sup> К этому добавим, что анализ собственно литературной, художественной стороны «Повести» сможет учитывать «движение текста», его разновременные слои только при условии, если текстологи сумеют дать не гипотетическую, а абсолютно достоверную картину этого движения, сумеют точно отделить один слой от другого. По всей вероятности, к такому результату текстология «Повести временных лет» не придет никогда. Поэтому литературоведческий анализ вынужден иметь дело с реально дошедшими текстами. Наконец, мы не имеем права игнорировать волю «последнего» летописца, придавшего произведению тот вид, в котором оно дошло до нас. Тем более что «Повесть временных лет» — это, несмотря на мелкие, частные противоречия, удивительно целостное, концептуально выдержанное творение, это достойный итог первого столетия существования русской литературы.

\* \* \*

В начальной, недатированной части «Повести временных лет» в качестве самостоятельных персонажей выступают отдельные племена или иные общности: дулебы и обры, поляне и хазары, поляне и новгородские славяне. Их можно обозначить как «групповые», или «коллективные», эпические персонажи.

Из легенды об апостоле Андрее видно, как далеко простирается соперничество Киева и Новгорода. Сложенная, вероятно, в более позднее время, легенда относит свое действие к временам, когда еще не было и самих этих городов. Нехитрый смысл ее — в стремлении возвысить киевлян (полян) за счет новгородцев (славян): на днепровских горах апостол прозрел величие будущего Киева, у новгородских же славян апостол не усмотрел ничего более интересного, чем привычку до полусмерти париться в банях. Однако вот что любопытно в литературном строе этой легенды: здесь с отчетливостью видно использование приема, получившего в литературоведении XX века название «остранения» и обычно связываемого с достаточно зрелыми литературами (Вольтер, Толстой, Джек

<sup>3</sup> Еремин И. П. Указ. соч., с. 9.

Лондон). В самом деле, ведь не славяницу, пусть и из полян, может показаться странным парение в банях; для этого потребовался взгляд со стороны, «иностранца», апостола из Рима. Апостол впервые видит баню и описывает ее так, как Толстой описывает оперную сцену глазами Наташи, впервые посетившей театр. Таким образом, использование приема «остранения» в русской литературе можно датировать: собственно отсчет следует начинать даже не со времени составления летописи, в нее этот сюжет пришел из фольклора, временная глубина которого вообще с трудом поддается точному измерению.

Следующие сюжеты с «групповыми» персонажами также относятся к догосударственной поре и связаны с борьбой отдельных славянских племен с внешними врагами. Собирая дань с множества других племен, соседствующих с ними, славянские племена сами становились легкой добычей при встречах с более организованными и могущественными противниками. Так, до летописцев дошло предание о тех жестокостях, которые чинили «обры» над славянским племенем дулебов. Причем, как это характерно для фольклорного предания, рисуется не вся совокупность отношений победителей и побежденных, а даются такие детали, которые яснее и нагляднее передают суть этих отношений. Езда на женщинах — какое унижение может быть горше! — сохранилась в памяти народа, этот факт стал символом того, как обры «примучили» дулебов.

Обры в предании наделяются характерными приметами эпических противников: «Быша бо обьре телом велици и умом горди». Большие физические размеры и гордыня — типичные черты противников в эпосе.<sup>4</sup> Но в отличие от эпоса в летописи расправа над врагами поручается богу: «...и бог потреби я, и помроша вси, и не остана ни един обьрин».<sup>5</sup> В этом для летописцев, видимо, был тот смысл, что славяне, так сказать, богоохраняемый народ, который бог оставил «на последние времена». Эта позднейшая концепция летописцев-христиан настойчиво вводится во многие эпизоды языческой истории Руси, она «подверстывает» их под определенную политическую и идеологическую систему.

Поляне, «мужи мудри и смыслени», в «Повести» центральное, самое праведное и культурное племя среди прочих славян. Иные племена «живяху звериньским образом», «не введуще закона божия», имеют обычаи, поощряющие плотские мерзости, к которым летописец испытывает величайшее презрение. Поляне же изображаются почти христианами. Они и становятся героями сюжета о «хазарской дани» — последнего события в недатированной части летописи.

Если подойти к этому летописному рассказу с требованиями, какие предъявляются к точному историческому свидетельству, видимо, можно заключить, что летописец нагнал, что предсказание хазарских старцев «си имуть имати дань на нас...» — чистая демагогия, можно едко заметить, что «для владеющих саблей мечи — железный лом», а можно всерьез порассуждать о том, что «сам факт выдачи мечей победившим хазарам похож на правду».<sup>6</sup> Между тем в данном случае за летописью

<sup>4</sup> Н. И. Костомаров связывает сюжет об обрах с общеэпическим сюжетом о борьбе героев с великанами. См.: *Костомаров Н. И. Собр. соч.* СПб., 1904, т. 13, с. 30—35.

<sup>5</sup> Повесть временных лет. М.; Л., 1950, т. 1, с. 14. (Далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

<sup>6</sup> *Гумилев Л. Н. Сказание о хазарской дани: (опыт критического комментария летописного сюжета).* — *Русская литература*, 1974, № 3, с. 164, 170. Л. Н. Гумилев стремится доказать, что сообщение летописи о том, что русские князья сам впоследствии взимали дань с хазар, ложно, что ни при Олеге, ни позже русские не владели Хазарией. Кроме предлагаемых далее чисто «филологических» возражений можно указать на ряд работ, где высказывается иная точка зрения: *Грушевский М. Киевская Русь.* СПб., 1911, т. 1, с. 278—280; *Сазаров А. Н. Дипломатия Святослава.* М., 1982, с. 99; *Solovien A. V. Domination byzantine ou russe au Nord de*

стоит фольклорное предание и, следовательно, здесь мы имеем дело не с протокольной хроникой текущих событий, а с нерасчлененным историко-художественным мышлением народа. Присмотримся ближе к ткани рассказа.

Хазары нападают на полян. Поляне в настоящий момент, видимо, не в силах оказать сопротивление захватчикам, и те получают дань: поляне «вдаша от дыма мечь». В этой-то фразе и скрывается неуловимая тайна художественности; в ней сконцентрирована вся идея рассказа; перевести ее на иной, не художественный язык весьма затруднительно, так как для раскрытия смысловых значений, заключенных в этих немногих словах, нам потребуется длительное описание с безусловной потерей художественности. Придется разъяснять, что поляне не боятся хазар, что торжество последних временное, что хазарам следует задуматься над тем, каковы их новые данники и т. д. Но все эти значения — загадка. Слушатель или читатель этого предания еще не знает разгадки, кроющейся в этой необычной дани, он заинтригован. Мудрость, смелость и хитрость полян еще сокрыты от него, они проявятся тогда, когда хазарские старцы объяснят своему князю смысл этой дани. Идея рассказа проста: поляне — сильный, мужественный народ, уверенный в своем конечном торжестве над притеснителями. Художественный же эффект его, пожалуй, в том и состоит, что сами поляне вслух этой мысли не высказывают. Они предлагают загадку, мечи — красноречивый символ их мужества, и прославить их вынуждены сами враги, раскрывая смысл этого символа.<sup>7</sup>

На подобном разгадывании загадок строятся многие ранние, фольклорные по своим истокам «новеллы».<sup>8</sup> В летописном сказании разгадка символа является одновременно и характерным новеллистическим *pointe*: «Мы ся доискахом оружием одиюю стороною, рекше саблями, а сих оружие боююду остро, рекше мечь». Реальная историческая перемена в многовековых русско-хазарских отношениях схвачена одной фразой — поэтической. Меч здесь не только реальный предмет, но и символ.

Сказание это существует в летописи не изолированно, оно стоит в ряду подобных: владели славянами обры, но Русь стоит, а от тех осталась лишь поговорка «погибоша аки обре»; владели славянами хазары, но теперь «володеють бо козары русьскии князи и до днешнего дне» (I, 17); были печенеги, но отрок-кожемяка «перей» их славу, — и теперь печенегов нет, а Русь все стоит. Изложив фольклорное предание, летописцы давали обычно в конце его свое, религиозное объяснение событий. Тем самым они выстраивали их в определенный ряд, пронизывали собственной концепцией «богоизбранности» русского народа. Эта христианизация фольклора, имеющая вид провиденциализма, но провиденциализма, так сказать, задним числом, по известному,<sup>9</sup> безусловно вносилась летописцами. Так складывалась идейно-художественная целостность высокого порядка — целостность средневековой концепции русской истории.

\* \* \*

Среди «индивидуальных» эпических героев хронологически выделяется особая группа, которую можно обозначить как «легендарные». В «Повесте временных лет» включены только минимальные, информа-

la Mer Noire à l'époque de Commenes? — Akten des XI Internationalen Byzantinisten-Kongresses, München, 1960, S. 569—580.

<sup>7</sup> О многослойном символическом значении меча у русских см.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 164.

<sup>8</sup> См.: Истоки русской беллетристики, с. 43.

<sup>9</sup> О предсказаниях «задним числом» писал в этой связи Д. С. Лихачев. См.: Исторические песни и предания X—первой половины XI века. — В кн.: Русское народное поэтическое творчество, т. 1. Очерки по истории русского народного поэтического творчества X—начала XVIII веков. М.; Л., 1953, с. 158 (далее: Очерки...).

ционные по своему литературному характеру сведения об этих зачинателях русской истории, но почти ничего не сказано о них как о личностях, очень мало известно и об их деяниях. Это, видимо, можно объяснить тем, что мать о них начинала угасать ко времени составления «Повести временных лет». Из этого следует, что в фольклоре не всегда рассказы о первопредках и зачинателях развиваются в эпические сказания, украшенные народной фантазией.

Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь — первые в «Повести временных лет» названные по именам персонажи собственно русской истории. Время жизни Кия не поддается точному определению,<sup>10</sup> но в любом случае предание о братьях, прежде чем попасть в летопись, достаточно долго просуществовало в устном бытовании. Поляне и вообще славяне до X века — это язычники времени распада родового строя, т. е. времени, когда в фольклоре самых разных народов происходит активное формирование таких жанров, как героический эпос и сказка, еще не оторвавшихся от мифической почвы.<sup>11</sup> Намек на мифическую сущность содержится в именах этих братьев: Кий — деревянный молот, палка; Щек — змий.<sup>12</sup> Но в изложении этого предания в летописи совершенно отсутствуют какие-либо мифические черты, хотя летописец прямо ссылается на устные источники своей информации о Кие. По «Повести», Кий княжил в роде своем, основал Киев, ходил в Царьград, византийский император одарил его, по дороге домой Кий попытался закрепиться на Дунае, выстроил городок Киевец, но, вытесненный «близ живущими», возвращается в Киев, где и умирает вместе со своими братьями и сестрой. Имена братьев дали названия местам их захоронения: Щековица и Хоривица. Вот и все. Никакой фантастики, никаких мифических переосмыслений.

Об Аскольде и Дире «Повесть» сообщает, что они были «боярами» Рюрика, отпросились у него в Царьград, но по пути сумели закрепиться в Киеве. Заимствуя затем описание их похода на Царьград из греческих источников (II, 246—247), летописец сохраняет и отрицательное отношение к «безбожной» Руси, напавшей на христиан-греков. В 882 году, по «Повести», они были убиты Олегом, начавшим создавать собственное государство. Факт их убийства не вызывает осуждения со стороны летописца, видимо склонного считать резоны Олега убедительными: «Вы неста князя, ни рода княжа. . .» (I, 20). Следовательно, они не по закону, не по рождению заняли княжеский стол. Однако убитых погребли, должно быть, с честью. На местах их захоронений впоследствии возникли церкви (I, 20), что косвенно указывает на возможное крещение Аскольда и Дира, во всяком случае, это свидетельствует о том, что о них осталась добрая память среди киевлян. Эпически спокойный тон летописца, не выражающего прямо своих симпатий или антипатий, говорит о том, что он просто принимает свершившиеся события как таковые, как имевшие некогда место и не подлежащие переоценке. Суть в том, что *это было*.

К легендарным персонажам можно отнести и Рюрика, фигура которого обрисована в летописи крайне скупо. Никаких особых деяний Рю-

<sup>10</sup> Б. А. Рыбаков (Древняя Русь: Сказания; Былины; Летопись. М., 1963, с. 30—35) и А. Н. Сахаров (Кий: легенда и реальность. — Вопросы истории, 1975, № 10, с. 139) датируют время Кия VI веком, но «Повесть» прямо связывает смерть Кия с упадком племени полян и их покорением хазарами (I, 16), а вслед за «хазарской данью» стоит первая дата: 6360 (852); о Кие и его братьях рассказывают Аскольду и Диру киевляне в 862 году (I, 18). Следовательно, в середине IX века память о братьях — еще свежее воспоминание.

<sup>11</sup> Мелегинский Е. М. Народный эпос. — В кн.: Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении; Роды и жанры литературы. М., 1964, с. 50—81.

<sup>12</sup> См.: Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 25. Соображения о культовом почитании братьев высказывались в научной литературе, но какой-либо развернутой аргументации не имеется.

рик не совершает, кроме разве того, что раздаст русские города своим мужам.

Он выступает вместе с двумя братьями, и это указывает на эпичность всей троицы, но и в фольклоре не все жанры обязательно обладали художественной природой.<sup>13</sup> Легенда о начале власти, государственности по самому своему назначению должна была иметь вид точного исторического свидетельства, и летописец явно достиг этого эффекта.<sup>14</sup>

Умирая, Рюрик передал княжение своему родственнику Олегу, поскольку его собственный сын Игорь «бе бо детеск вельми» (I, 19).

\* \* \*

Рассказы о «групповых» и «легендарных» персонажах умещаются по преимуществу в повествовательных рамках одного эпизода, одной «новеллы».<sup>15</sup> Жизнеописания князей, начиная с Олега, разнесены в летописи по разным годовым статьям, окружены материалом иного, не биографического характера. Поэтому реконструируемые далее «биографии» — это извлечения биографического материала из общего повествования. Без таких реконструкций трудно составить представление о специфике изображения человека в летописи.

В сведениях о князьях летописцы хотя бы отчасти могли опираться на письменные, документальные источники, разумеется, при широком привлечении и фольклора. Поэтому князей от Олега до Владимира Святославича назовем «эпико-историческими» героями, или персонажами.

Цельность, сюжетная завершенность повествований об их судьбах достигается разными способами: в одних случаях перед нами действительно единое идейно-сюжетное развитие, в других — как бы цикл отдельных эпизодов или новелл, скрепленных некоей доминантой личности; порой встречается сочетание этих двух способов.

Биографии Олега, Игоря и Святослава являют собой главным образом первый тип цельности — идейно-сюжетный. Если наложить их одну на другую, обнаружится некий инвариант. Удачливые князья, воители, непрерывно подчиняющие своей власти отдельные племена, расширяющие границы своего государства, вступающие в военные столкновения с иными странами, достигают пика в своих судьбах в так называемых греческих походах. Все они, по летописи, добиваются успеха в предпринятых, направленных против Византийской империи, походах с нее дань. После греческих походов все они вскоре погибают, и погибают не своей смертью. На первый взгляд, гибель каждого из них различна: Олега жалит змея, Игоря убивают древляне, Святослава — печенеги. Но есть в этих смертях и нечто общее: все они переоценили свои возможности, решили, что для них нет препятствий, и смерть наступает как наказание за непомерную гордыню.

Олег начинает свою деятельность как фигура местного, ограниченного масштаба. После смерти Рюрика он, по «Повести», получает нечто вроде регентства при его малолетнем сыне Игоре. Три года он, видимо, осваивается с полученной властью, укрепляет свои позиции в Новгороде и у подчинившихся варягам племенах, а затем организует энергичную экспансию по течению Днепра. Смоленск и Любеч, судя по летописи, не оказывают ему сопротивления, и об их покорении сообщается весьма

<sup>13</sup> См.: Пугилов Б. Н. Русский историко-песенный фольклор XIII—XVI веков. М.; Л., 1960, с. 40.

<sup>14</sup> Мы подразумеваем сторонников так называемой «норманской теории» происхождения русской государственности, полемика с которыми исчерпала себя, кажется, только в самое последнее время.

<sup>15</sup> Здесь и далее под «новеллой» имеем в виду только особый тип сюжетного построения, отличающийся динамичностью, остротой развития.

лаконично: «...прия град, и посади муж свои» (I, 20). Захвату же Киева посвящается относительно пространный и драматизированный новелла, в которой Олег, выдавая себя за купца, выманивает Аскольда и Дира из Киева и убивает их. Убийство это — само по себе имеющее вид вероломного злодеяния — здесь нимало не осуждается. Олег — представитель законной власти, тогда как Аскольд и Дир, по летописи, самозванцы. Но показательно, что Олег убивает их не в честном бою, не в поединке, а хитростью и обманом — черта, свидетельствующая о достаточной архаичности этого фольклорного сюжета и героя.<sup>16</sup>

После захвата Киева начинается общерусская деятельность Олега, о которой летопись рассказывает с явной симпатией: он объявляет Киев столицей («се буди мати градом русьским»), возводит города и устанавливает дани покоренным племенам (I, 20). При этом, если верить «Повести», он освобождал покорявшиеся племена от уплаты дани хазарам, заявляя: «Аз им противен, а вам не чему». Следовательно, Олег неминуемо должен был вступить в столкновение с хазарским каганатом.

Читатель летописи становится свидетелем необычайного взлета карьеры Олега — от местного князька до главы огромного государства, ведущего на международной арене независимую политику.

Следующий рассказ о деяниях Олега и созданном им государстве относится уже к 907 году. Но в течение опущенных «Повестью» 22 лет князь, видимо, не бездействовал. Во всяком случае, к 907 году Олег располагал достаточно мощными силами, чтобы предпринять военный поход на Византийскую империю. Под его началом выступило, по перечислению летописи, 14 племен.

По характеристике русского историка, «Олег в своем походе на Царьград носит на себе печать народнопесенного идеального богатыря, наводящего страх, берущего дани громадных размеров, добывающего мечом разные блага, того идеала, который дает себя знать как в остатках великорусского былинного эпоса, так и в малорусских колядках, сохраняющих и древние образы и древний пошиб поэтических приемов».<sup>17</sup> За эпической картиной военных действий следует документ — договор Олега с греками, но заканчивается описание похода эпизодом «о парусах», фольклорные истоки которого несомненны.<sup>18</sup>

Финал рассказа — возвращение Олега: «И приде Олег к Киеву, неся золото, и паволоки, и овощи, и вина, и всякое узорочье. И прозваша Олга — вещей: бяху бо людие погани и невеиглаши» (I, 25).

Итак, Олег в апофеозе своей славы. Он прибил щит к воротам столицы империи, «показуа победу»; в договорах с греками Олег именуется «великим князем руским», имеющим под своею державною рукою многих «светлых и великих князь» и «великих бояр»; он устанавливает мир с греками на вечные времена (I, 25—26).

Норманский конунг, находник, затем князь местного значения (даже не князь, а «регент» при князе) Олег становится главой огромного государства, фигурой мирового масштаба. Сперва славянские и прочие племена, затем хазары, наконец имперские греки — все отступают перед ним, все покоряются ему. Язычники почитают его «вещим», греки,

<sup>16</sup> См.: Мелегинский Е. М. Указ. соч., с. 53; Пропп В. Я. Русский героический эпос. М., 1958, с. 72, 78.

<sup>17</sup> Костомаров Н. И. Собр. соч., т. 13, с. 79—90.

<sup>18</sup> Не имея возможности привести подробный анализ этого эпизода, отметим лишь, что, хотя непосредственным объектом изображения здесь является происшествие с парусами, речь в этом рассказе на самом деле идет о вещах иных, идеологически не нейтральных — о превосходстве суровых словен над падкой на роскошь «русью». Рассказ этот является не просто фиксацией событий, но сюжетно организованным повествованием.

по летописи, увидели в нем «святого Дмитрея» (I, 24). Какова же будет развязка этой блистательной судьбы? Мы подходим к знаменитому эпизоду смерти «вещего Олега».

Обычно эпизод смерти Олега рассматривается изолированно, вне связи с его биографией. Между тем рассказ о смерти является блестящим художественным завершением всей жизни Олега, со всей его жизнью он должен быть и увязан.

На пятое лето по возвращении в Киев из греческого похода Олег триумфатор вспоминает о коне и предсказании: «И приспе осень, и помяну Олег конь свой...» (I, 29). Узнав, что конь умер, Олег «*посмеяся* и укори кудесника, река: „То ти неправо глаголють волъсви, но все то льжа есть...“» (I, 29—30). Кажется, не только люди, племена, государства и империи покоряются Олегу. Он преодолел свою судьбу: «конь умерл есть, а я жив». Олегу хочется окончательно убедиться в своей неуязвимости, увидеть останки существа, которое должно было принести ему смерть: «И прииде на место, идеже беша лежаще кости его голы и лоб гол, и сесе с коня, и *посмеяся* рече: «От сего ли лба смерть было взяти мне?». Здесь значимы, содержательны все детали. Не случайно дважды упоминается о презрительном смехе Олега — сперва над предсказанием, затем при виде костей. Смех — характеристика отрицательная и в фольклоре, и в средневековой литературе. Смех — признак гордыни, гордыни необоснованной. Именно в гордыне Олег «въступи ногою на лоб», ногою он попирает судьбу, которая якобы не властна над ним. Такая гордыня должна быть наказана: «и выникнувши змиа изо лба, и уклону в ногу. И с того разболесе и умре» (I, 30). Внезапно «выникнувшая» змея исполняет предсказание волхва. Рок опрокидывает очевидность и торжествует над гордостью.

Смысл эпизода смерти Олега, рассматриваемого изолированно, замыкается, как это видно, например, из трактовки Н. И. Костомарова,<sup>19</sup> на идее неизбежности осуществления предсказания, на идее судьбы, рока как такового. Но мы стремились показать, что биография Олега не просто сумма погодных записей, а целостная, сюжетно организованная постройка. Неудержимый взлет Олега от находника до грозы Византии приводит к росту гордыни, и это не может остаться безнаказанным. Такая смерть является следствием такой судьбы. Смерть как бы обратным светом освещает всю его прежнюю жизнь и дает ей новый, уже теперь сопряженный с определенной идеей смысл. Такое построение нельзя не признать сюжетным и тем самым относящимся к области собственно художественного творчества, хотя бы и вырастающего из реальной биографии реального человека.

Летописная судьба Игоря во многом напоминает судьбу Олега. После утверждения в Киеве ему также приходится вести борьбу с разными славянскими землями и прежде всего с древлянами, борьба с которыми как бы обрамляет всю его самостоятельную деятельность. Олег воевал с хазарами, Игорь — с печенегами. В сообщениях о князьях в «Повести временных лет» есть значительные перерывы: об Олеге летопись «молчит» 22 года, об Игоре — 21. Сразу после этих лакун читатель видит того и другого князя в роли предводителей походов на греков. Первый поход Игоря был неудачен, а испугавшись второго, греки предпочли откупиться. Оба князя заключают мирные договоры с Византией и как бы в новом статусе «победителей» Царьграда утверждаются в Киеве, имея мир со всеми странами и надеясь теперь отдохнуть от своих ратных трудов. Но судьба словно смеется над героями: смерть, пока неведомая, уже ожидает их. Решение обложить древлян

<sup>19</sup> Костомаров Н. И. Собр. соч., т. 13, с. 38.



дополнительной данью оказывается для Игоря столь же роковым, как для Олега желание посмотреть на кости кося. Одинаковые словесные конструкции, которыми начинаются рассказы о гибели князей, усиливают эту близость, переводя ее в тождество: «и приспе осень, и нача мыслити (Игорь, — А. Ш.) на древяны, хотя примыслити большюю дань» (ср.: «И приспе осень, и помяну Олег копь свой»). Как и Олег, Игорь переоценил свои силы, возомнил, что ему, устрашителю греков, можно сколько угодно обирать подвластные племена. Летописец явно считает действия Игоря несправедливыми и неразумными. Князь должен отечески заботиться о своих подданных; он вправе собирать с них дань, но не чрезмерную. Игорь же преступил разумные пределы и за это наказан. Однако любопытно, что повествование строится предельно объективно. Об отношении летописца можно судить только по репликам персонажей и из анализа событий: все как бы должно говорить само за себя. Действительно, сочувствия Игорю здесь нет: он «примышляше к первой дани», он «насиляше им». Ничто не противопоставлено принадлежащему древянам сравнению его с волком. Но в то же время нет и никакого торжества, никаких морализаторских сентенций (а их немало в летописи) по поводу гибели Игоря. Просто сообщается, что «древляне убиша Игоря и дружину его; бе бо их мало» (I, 40).

Летописец поведал печальную историю, и смысл ее, вероятно, в том, что не следует князю уподобляться волку в обращении со своими подданными, иначе и они могут не вынести и восстать против своего господина. Убийство же князя подданными, каковы бы ни были его причины, тоже не может вызвать одобрения летописца. Поэтому здесь нет ни осуждения древян, ни сочувствия Игорю. Князьям — современникам летописца, для которых и писалась «Повесть временных лет», здесь было над чем задуматься.

Так, подобно своему предшественнику, тоже переоценившему свои возможности, заканчивает свою жизнь второй русский великий князь — Игорь.

Сын Ольги князь Святослав в «Повести» — прежде всего блистательный, суровый и неутомимый воин. Символично для будущей биографии князя-воителя его первое деяние, отмеченное летописью: «... суну копьем Святослав на древяны, и копье лете сквозе уши коневи, и удари в ноги коневи, бе бо детеск. И рече Свенелд и Асмолд: „Князь уже почал; потягнете, дружина, по князе“. И победиша древяны» (I, 42).

Отмечалась художественная, изобразительная сторона этого эпизода.<sup>20</sup>

Если участие мальчика Святослава в бою против древян является прелюдией его воинской биографии, то укор летописца по поводу нежелания Святослава креститься как бы предопределяет его трагическую кончину: «Он же не послуша матере, творяше норovy поганьския, не ведый, аще кто матере не послушает, в беду впадает, яко же рече: „Аще кто отца ли матере не послушает, то смерть прииметь“» (I, 46). Народное предание о Святославе, со свойственными фольклору мотивами гибели или «беды» для тех, кто ослушается старших, совпало здесь с христианской морализацией летописца.

С 964 года начинается по «Летописи» самостоятельная деятельность Святослава. Под этим же годом приводится и замечательная, широкоизвестная характеристика его воинских доблестей и привычек. С этого момента Святослав открывает решительные военные действия. В течение 964—966 годов он разбивает хазар, завершая дело, начатое Олегом, побеждает ясов и касогов, обкладывает данью вятичей. С 967

<sup>20</sup> См.: Истоки русской беллетристики, с. 52.

года завоевательные походы Святослава нацеливаются на юг, за Дунай. Собственно Киевская Русь мало интересовала Святослава. Как суровый упрек ему звучат слова гонца из осажденного печенегами Киева: «Ты, княже, чужою земли ищещи и блюдеши, а своя ся охавив, малы бо нас не взяша печенежи, и мать твою и дети твои. Аще не поидещи, не обраниши нас, да паки ны возмуть. Аще ти не жаль очины своя, ни матери, стары суща, и детей своих» (I, 48).

Не ограничиваясь завоеванием Болгарии, Святослав, подобно своим предшественникам, предпринимает поход на греков.<sup>21</sup> Выразительна речь Святослава перед боем с превосходящими (по летописи в десять раз) силами греков, которая охотно цитируется и характеризуется в многочисленных работах. Побежденные греки испытывают Святослава богатыми подношениями, которые он велит убрать, даже не взглянув на них, и только когда греки преподнесли ему оружие, он оживился, и стало ясно грекам: «Лют се муж хочет быти, яко именья не брежет, а оружие емлет. Имися по дань» (I, 51).<sup>22</sup> Получив богатую дань и заключив договор с греками, Святослав решает вернуться на Русь, так как войско его сильно поредело в сражениях. Мудрый воевода Свенельд предупреждал Святослава о возможной печенежской засаде и предлагал ему обойти днепровские пороги на конях, но Святослав не прислушался к этому совету. Перед порогами, в Белобережье, ему пришлось зимовать, и зимовка эта была тяжелой. Весной 972 года, когда Святослав продолжил свой путь по реке, у порогов напал на него «Кюря, князь печенежский и убиша Святослава, и взяша главу его, и во лбе его съделаша чашю, оковавшие лобъ его, и пяху из него» (I, 53).

Святославу было в это время около 30 лет, но молодой князь успел приобрести такую славу, что победа над ним почиталась за особую честь. Чаша из головы врага — видимо, знак исключительного отношения к этому врагу.

Однако некролога великому воителю в «Повести временных лет» нет, и это, наверное, не случайно. Трагический итог Святослава был уже предсказан в самом начале повествования о нем: он не послушался матери, он не принял христианства и уже из-за одного этого в концепции данного повествования был обречен. Кроме того, он пренебрегал интересами Киева,<sup>23</sup> а это, пожалуй, с точки зрения летописца самый тяжкий грех князя.

Таким образом, история жизни Святослава, как она представлена в летописи, имеет отчетливые признаки целостного строения: его биография замкнута, трагический финал жизни прямо соотнесен с началом, предсказание, основанное на существующих этических нормах, — «кто отца ли матери не послушает, то смерть примет», тяготеет над всей его судьбой и разрешается трагической гибелью. Святослав явно повторяет судьбу своих предшественников.

И. П. Еремин считал, что «народно-эпический» стиль («плап») — особая «система повествования». В ней «положительный герой... неизменно у летописца приобретал „характер“ эпического богатыря».<sup>24</sup> Строго говоря, специфических черт «богатырства», известных нам по

<sup>21</sup> Новейшую интерпретацию исторических событий, связанных с русско-болгаро-византийскими отношениями, см.: Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. М., 1982.

<sup>22</sup> По мнению А. С. Орлова, «этот эпизод напоминает легенду об испытании Ахиллеса» (Орлов А. С. Героические темы древней русской литературы. М.; Л., 1945, с. 11).

<sup>23</sup> Любопытно, что в рассуждениях Святослава о преимуществах княжения в Переяславце (I, 48) Русь как бы оказывается одной из податных провинций его империи.

<sup>24</sup> Еремин И. П. Указ. соч., с. 59.

русскому эпосу, ни один из этих князей не имеет.<sup>25</sup> Здесь нет эпической гиперболизации,<sup>26</sup> в их деяниях нет ничего, превышающего реальные возможности человека, князя; нет поединков — основной формы богатырского подвига. Сомнителен и тезис о «положительности» этих героев — отношение к ним со стороны летописца явно неоднородное. Летописец не может не отдать должного объективным результатам их деятельности — созданию Древнерусского государства, его укреплению, расширению границ, но все князья нарушают какие-либо этические (и политические) нормы и платятся за это.

Но в чем же тогда состоит эпичность их изображения? Д. С. Лихачев справедливо указал на особую сращенность этих героев с поступками и событиями,<sup>27</sup> в чем и заключается эпический способ изображения. Илья Муромец — это подвиги, победы Ильи Муромца. Точно так же мы почти ничего не можем сказать об Олеге, Игоре и Святославе сверх тех поступков или событий, которые с ними связаны. И. П. Еремин отмечал, что в системе эпического стиля «рассказ, или соответствующий его фрагмент, приобрел характерную новеллистическую структуру: сводился обычно к одному или нескольким эффектным эпизодам, показанным крупным планом».<sup>28</sup> Указание на новеллистическую структуру подразумевает тем самым сюжетную организацию материала. Но мы могли убедиться, что не только отдельные фрагменты, но и биографии в целом сюжетно организованы, и, как это свойственно сюжетным организациям, они идеологически «заряжены». Все три биографии, три судьбы и, главное, смысл этих судеб имеют существенные черты общности: князья вознеслись в гордыне, переоценили свои возможности, пренебрегли наставлениями — и все погибли. Если попытаться дать наименования этим биографиям, то их можно назвать биографиями «рока», «судьбы», или, точнее, биографиями «наказания».

\* \* \*

Биографии Ольги и Владимира не отличаются сюжетной цельностью, несмотря на старания летописцев построить их по схеме «житий святых-язычников, просвещенных христианством».<sup>29</sup> Они распадаются на ряд самостоятельных «новелл», но цельность сохраняется и в этом случае: она достигается устойчивой художественной сущностью образа. Попытка придать этим «новеллам» общую композицию за счет контрастного противопоставления языческой части жизни и жизни после крещения имеет вторичный характер и не отличается выдержанностью: слишком уж настойчиво из-под новой христианской внешности преобразованных крещением героев «высовывается» их прежняя языческая натура.

Собственная история Ольги, начинающаяся с «мщений» древлянам, непосредственно вырастает из эпизода убийства Игоря древлянами. Это «сага» с единым сюжетом. После гибели мужа Ольге выпадает необычная роль «царьцы», вдовы и невесты одновременно. Родство известных эпизодов мщения Ольги древлянам со сказочным сюжетом о сватовстве к неприступной царевне, испытывающей женихов «трудными задачами», очевидно. Анализ вскрывает достаточное соответствие взаимоотношений Игоря, Ольги и древлянского князя Мала сказочной кол-

<sup>25</sup> Биографии Олега и Святослава И. П. Еремин относит к «единственным в „Повести“, последовательно выдержанным в эпическом плане» (там же).

<sup>26</sup> О «гиперболичности» говорит Д. С. Лихачев в кн.: *Человек в литературе Древней Руси*. М., 1970. с. 67.

<sup>27</sup> Там же, с. 64—65, 67.

<sup>28</sup> *Еремин И. П. Указ. соч.*, с. 60.

<sup>29</sup> Там же, с. 73.

лизии с треугольником из «старого царя», его дочери (или вдовы) и жениха.<sup>30</sup> С этой точки зрения, убийство Игоря может быть объяснено не только тем, что он насильник, но и тем, что он — «старый царь», на царство которого претендует древлянский князь. Мал действительно тотчас после убийства Игоря сватается к Ольге. Как и положено сказочной невесте, Ольга задает древлянам «трудные задачи». При этом «жених испытывается в овладении тайнами, специфическими для того родового объединения, в которое он будет принят через брак».<sup>31</sup> Как видим, и здесь летописный рассказ точно соответствует сказочным канонам: Ольга испытывает древлян в знании своих, полянских обычаев.

Но на этом соответствии со сказкой заканчиваются, и вдруг обнаруживается нечто, прямо ей противоположное, — антисказка. Сказочный герой всегда решает задачи царевны-невесты и достигает своих целей. Древлянские послы (они могут быть отождествлены со сказочными «помощниками героя» — жениха Мала) не способны решить ни одной из задач Ольги. Здесь можно усмотреть торжество нового, уже не сказочного сознания над архаическими представлениями древлян (см.: II, 296—297). Действительно, Мал ведет себя согласно нормам, отраженным сказкой. Убив «царя», он, по этим архаическим нормам, получает законное право на его дочь (=вдову) и его царство. Ольга, сведущая в этих обычаях, но уже свободная от них, решает сыграть на этом. Если для Мала его намерения исполнены серьезности, то для Ольги это именно игра.

В письменном воплощении этого фольклорного сюжета присутствуют такие оттенки, которые, на наш взгляд, следует отнести на счет «литературы», т. е. собственного творчества летописцев.

Д. С. Лихачев показал, как в трагическом для древлян-сватов диалоге с Ольгой она искусно использует особый язык свадебной обрядности, который всегда отличался непрямими значениями, намеками, иносказаниями, загадками, что и позволило ей обратиться свадебный обряд в похорошный.<sup>32</sup> Но игра чашанется еще раньше, она начинается еще до того, как древляне объявили ей о цели своего визита. Уже первая фраза Ольги, обращенная к ним, наполнена двойным смыслом. Этот второй смысл противоположен прямому значению слов. «Добри гостье придоша» (I, 40), — говорит Ольга, и мы понимаем, что ласковость, вкрадчивость ее слов в этой ситуации исполнена убийственной для древлян иронии. Ведь она обращается к убийцам своего мужа, и потому читатель слышит зловещные интонации этой «приветливой» фразы. Однако древляне ничего не замечают и простодушно отвечают: «Придохом, княгине» (I, 40).

Этим диалогом дается завязка сюжету. Читатель понимает, что слова Ольги непрямы, что не могла она искренне приветствовать убийц своего мужа, что их ждет неминуемая кара, но что до поры Ольга решила играть.

Послы излагают цель своего визита. Их рассуждения простодушны и откровенны: «Посла ны Деревьска земля, рекуци сице: мужа твоего убихом, бяше бо мужь твой аки волк восхищая и грабя, а наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю, да поиди за князь наш за Мал». Древляне — победители: убив князя, они имеют право на его землю, его имущество, его вдову. Какого-то иного порядка вещей, иной

<sup>30</sup> См.: Шайкин А. А. Княгиня Ольга (анализ художественной структуры летописных фрагментов). — В кн.: Анализ художественного произведения. Алма-Ата. 1979, с. 9—16.

<sup>31</sup> Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946, с. 277.

<sup>32</sup> См.: Лихачев Д. С. 1) Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947, с. 132—137; 2) Очерки..., т. 1, с. 163—167.

логикки они себе не представляют. Им недоступна игра словами, сказанное прямо обозначает решенное.

Слова Ольги отражают иной тип сознания. Здесь уже есть «византийская» изощренность (недаром Ольга впоследствии «переклюкала» византийского императора), слова имеют двойное значение, оттенки, их смысл может перемещаться с семантики на интонацию — здесь все притворство и зловещие загадки. Это недоступно простакам-древлянам. Ольга ласково говорит им: «Люба ми есть речь ваша, уже мне мужа своего не кресити; но хочю вы почтити наутрия пред людьми своимн...» (I, 41), и древляне не замечают никакого умысла. Игру княгини продолжают затем киевляне, смиренно-иронически соглашаясь с требованиями древлян: «„Нам неволя; князь паш убьен, и княгини паша хочет за ваш князь“; и понесоша я в лоды». То, что киевляне, подобно своей княгине, притворяются, несомненно — они этой почью копали яму, предназначенную для древлян. Ироническое отношение к древлянам усиливается изображением их горделивых поз в момент несения в ладьях. Перед концовкой разыгрывается еще один диалог, который можно считать постоянным новеллистическим *pointe*. Ольга, прищкнув к яме, в которую сбросили древлян, вопрошает: «„Добра ли вы честь?“ Они же реша: „Пуще ны Игоревы смерти“. И повеле насыпати я живы, и посыпаша я» (I, 41). Такова развязка, такова расплата древлян-сватов за их недогадливость.

Нет надобности подробно останавливаться на последующих мщениях Ольги — они аналогичны первому. Ольга так же играет на двойных значениях, которые не под силу разгадать древлянским сватам: второе посольство она сжигает в бане, затем, под предлогом тризны по убитому мужу, в третий раз расправляется с древлянами. Суммарно характеризуя эти эпизоды, Д. С. Лихачев пишет: «Несение в ладьях — первая загадка Ольги, она же и первый обрядовый момент похорон, баня для покойника — вторая загадка Ольги — второй момент похорон, тризна по покойнику — последняя загадка Ольги — последний момент похорон».<sup>33</sup>

Четвертая мечь Ольги — сожжение Искоростеня — выпадает из сказочного сюжета о сватовстве, но вполне увязывается с логикой образа и характера Ольги: она и здесь добивается своего хитростью. В сумме эти эпизоды составляют подлинное художественное произведение. Здесь нет прямых оценок, дидактических поучений, деклараций. Здесь даны характеры, разные уровни сознаний, и они приведены в столкновении. Автор по ходу повествования как бы вместе с читателем следит за тем, что из этого выйдет. Его симпатии, конечно, на стороне Ольги, ибо по отношению к древлянам он не скрывает своей иронии. Их гибель — справедливое возмездие за их злодеяние и гордость и за то, что они недогадливы.

Рассказ о том, как Ольга ходила «в Греки», представляет собой типичную средневековую новеллу, с сюжетом, построенным по образцу фольклорных повествований, но развитым и обработанным в ученой среде книжников-монахов. Любопытно, что и здесь Ольга оказывается в роли певесты и выигрывает «состязание» именно на знание обычаев, связанных с женитьбой.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. М.; Л., 1952, с. 46.

<sup>34</sup> И. П. Хрущов, связывая сватовство Мала и Константина, писал: «Оторванные от точной хронологии и витавшие в просторной области памяти такие предания переносились с почвы древлянских событий в Византию, и сватающийся царь заступил место Мала, жаждавшего брака с киевской вдовой. Старая тема получила тут новую форму, и хитромудрая княгиня новым оружием христианских обычаев победила своего воспреемника» (Хрущов И. П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях XI—XII столетия. Киев, 1878, с. 114).

Так как Ольга приняла христианство, на облик «мудрой деви» народных сказок или ловкой героини средневековых фэблии ложится отблеск святости, а в рассказ о ней вкрапливается высокий агиографический стиль (см.: I, 45, 49). Но по сути Ольга-христианка никак не противопоставлена Ольге-язычнице. Уже будучи христианкой, она дважды обманывает своего крестного отца, византийского императора. Этот новый христианский наряд вытеснил книжник-летописец, он набросил его на Ольгу, но под ним осталась все та же фольклорная «мудрая дева». Изменить сущность уже сложившегося образа оказалось невозможным.

Ольга — это хитрости Ольги. Про Владимира так не скажешь, его личность не может быть сведена к какому-либо одному качеству. Тем более что в его жизнеописании летописцу с большей степенью удалось осуществить композиционную схему жития и противопоставить Владимира-христианина Владимиру-язычнику. И все же этот популярный герой русского эпоса уже, видимо, ко времени составления «Повести временных лет» обрел в народной молве достаточную определенность характера, которую до конца нельзя было преодолеть никакими идеологическими заданиями.

Начало самостоятельной жизни Владимира вплоть до вокняжения в Киеве напоминает развитие сказочного образа. Младший из братьев, «низкий» по происхождению (сын ключницы Малуши), в наследство от отца получает то, от чего отказались старшие братья: Ярополк и Олег не желают повгородского княжества, и оно достается Владимиру (I, 49—50). Но сказка всегда обращает «низкое» в «высокое», и «низкий» герой добивается того, в чем был обделен: Владимир становится киевским князем и «самовластцем» всей Руси. Не обошлось и без женитьбы на «царевне», царевен даже слишком много: сперва это Рогнеда, которая, видимо, предназначалась Ярополку, затем вдова Ярополка «грекыня», а затем и иные.

Однако по своим подробностям борьба Владимира за Киев мало напоминает сказку, она ближе к так называемым «повестям о княжеских преступлениях» (Д. С. Лихачев). То, как Владимир расправляется с Ярополком, близко к убийству Бориса Святополком: здесь также есть мотив «предупреждения»; убийство осуществляют два наемных варяга, так же как и при повторном заклании Бориса (I, 91).

В жизнеописании Владимира до принятия христианства словно специально сгущаются черные краски. Узнав о гибели Олега в его междоусобье с Ярополком, он трусливо бежит из Новгорода и приводит на Русь варягов, насилует Рогнеду и предает казни ее родителей, злодейски убивает старшего брата и оскверняет его беременную жену. Его похотливости нет предела: у него несколько жен и 800 наложниц, но, не удовлетворяясь этим, он приводит «к себе мужески жены и девице растляя» (I, 57). В женолюбстве Владимир едва не превзошел Соломона. Но каким бы грешником ни был человек, путь к спасению для него не закрыт. Даже, напротив, чем он грешнее, тем поразительнее превращение, тем удивительнее величие и сила господня. Соломон «мудр же бе, а наконец погибе; се же бе неведомое, а наконец обрете спасенье. „Велий господь, и велья крепость его, и разуму его несть конца!“» (I, 57).<sup>35</sup>

Первым самостоятельным актом Владимира в роли великого князя стала религиозная реформа. Принятие христианства — центральное событие в «Повести временных лет». Повествование о нем распадается как бы на несколько «глав». В рассказе «об испытании вер» к язычнику Владимиру поочередно приходят «миссионеры»: мусульмане, «немцы от

<sup>35</sup> Аналогии с библейей приобщают русскую историю к сакральной и вечной. Но любопытно то, что современность, нынешние герои летописи могут превосходить библейских: Ольга «превосходит» эфиопскую царицу, Владимир — Соломона.

Рима», нудеп — и пытаются обратить Владимира в свою веру. Жизнь этих сенок-диспутов, троекратность повторения при неизменном торжестве Владимира, своеобразная градация (нарастающая решительность и категоричность отказов), разящая афористичность ответов Владимира — все это свидетельствует об обработке этих сюжетов в народно-поэтическом бытовании.

С четвертым послом-миссионером, греком, дело обстоит иначе. Предшествующие попытки обращения Владимира, видимо, должны были, по замыслу летописца, оттенить значительность последней. Владимира не легко склонить. Он моментально находит уязвимые места в любом «законе» и показывает его несостоятельность или неприемлемость для русских. Греческий философ начинает с дополнительного изобличения вероисповеданий, отвергнутых Владимиром, и князь с ним соглашается. Но и для грека у Владимира есть «коварный» вопрос: «Придоша ко мне жидове, глаголюще: яко немци и гръци веруютъ, его же мы расняхом». Но философ прямо отвечает: «Въ истину в того веруем...», и в ходе дальнейшей беседы, разъясняя Владимиру, «что ради сниде бог на землю, и страсть такову прия», грек кратко излагает ему содержание ветхого и нового завета. Рассказ философа произвел на Владимира большое впечатление, а когда грек показал ему картину («запону») с изображением ада и рая, «Володимер же вздохнув рече: „Добро сим о десную, горе же сим о шюю“». Грек предложил ему креститься, чтобы попасть к праведникам, но Владимир «положи на сердце своем, рек: „Пожду и еще мало“, хотя испытати о всех верах» (I, 74).

После того как послы Владимира провели «испытание вер», так сказать, на местах, он, кажется, окончательно склоняется к принятию христианства. Однако избранный Владимиром способ принятия новой религии оказался совершенно неожиданным.

Надо сказать, что здесь перед летописцами стояла сложная литературная и отчасти дипломатическая задача: обосновать правомерность выбора именно греческой христианской религии, всячески подчеркнуть ее благодать и превосходство над другими вероисповеданиями и в то же время не оставить грекам никакого повода считать себя благодетелями Руси. И задача эта была выполнена создателями «Повести временных лет» блестяще. Владимир не желает принимать новую веру в качестве дара или милости, он предпочитает завоевать ее, получить в качестве военного трофея, как привыкли поступать его воинственные предки, да и он сам. По «корсунской легенде» Владимир именно завоевывает новую веру, да еще и вместе с цесаревной, греки вынуждены крестить Владимира, откупаясь от угрозы похода русского князя на Царьград. По этому рассказу у греков действительно не остается никаких прав считать Русь благодетельствованной ими. Русь, в лице ее князя и бояр, *добровольно* выбрала новую веру и силой оружия добилась ее.

Так, подобно своей бабке, Владимир опять-таки «переключал» греков. Любопытно, что в качестве выкупа за невесту («вено») Владимир вернул грекам их же город Корсунь.

Преображенный крещением Владимир строит храмы, вводит книжное обучение, побеждает врагов, заботится о сирых и нищих. Бог не оставляет своим попечением новообращенного князя. В неравной схватке с печенегами Владимир вынужден был спасаться бегством. Он укрылся под мостом и, стоя там, обещал, если спасется, поставить церковь святого Преображения. И бог услышал Владимира — печенеги миновали мост. Так на конкретных и всем понятных примерах летописец стремится показать силу и благодать новой религии. Однако и в этой сцене из-под христианской внешности явно «высовывается» прежний, торгующийся с богом язычник.

Религиозную окраску под пером летописца приобретает и описание знаменитых пиров Владимира. Он устраивал их якобы потому, что, «любя словеса книжная», услышал однажды при чтении Евангелия: «Не скрывайте себе скровищь на земли, идеже тля тлится и татье подъякоповаютъ, но скрывайте себе скровище на небесех, идеже ни тля тлится, ни татье крадутъ» (I, 86).

Заканчивается жизнеописание Владимира посмертной похвалой, в которой он сравнивается с Константином, «иже крестився сам и люди своя»; с особенной настойчивостью говорится в посмертном слове о необходимости почитания Владимира, ибо «видя бы бог тцанье наше к нему, прославил бы и: нам бо достоить за нь бога молити, понеже темь бога познахом». Так оказывается, что почитание Владимира — это путь познания бога.

Итак, в жизнеописании Владимира отчетливо видно стремление летописца противопоставить языческую и христианскую половины жизни князя. В первой ощущается сгущение черных красок, во второй — светлых. Однако сквозит это позднейшее композиционно-идеологическое задание все время просвечивает облик языческого князя, трусоватого и мужественного, хитрого и щедрого, коварного и великодушного, причем черты эти не являются легко разделяемыми слоями. И. П. Еремин писал: «Человек у летописца всегда *однолинеен*, т. е. одновременно быть и „добрым“ и „злым“ не может».<sup>36</sup> В изображении же Владимира все его неоднозначные и противоречивые качества сливаются в сложный, но единый образ: самые пороки его оказываются как бы залогом его достоинств. Летописец с отвращением описывает женолюбие Владимира, но именно поэтому он и «обрете спасенье». Пирь Владимира настойчиво осмысляются как проявление христианской добродетели, хотя по сути они имеют языческий характер и связаны с языческими формами общения «короля» и «дружины».<sup>37</sup> Любовь к дружине была свойственна и такому принципиальному язычнику, каким был отец Владимира Святослав. Владимир постоянно как бы торгуется с богом: это видно в эпизодах взятия Корсуни, во время внезапной утраты им зрения перед крещением, в тот момент, когда он под мостом спасался от печенегов. Крещение Руси — главный и богоугодный подвиг Владимира, но в ходе его свершения проступают едва ли не все противоречивые черты его характера. Образ Владимира не поддается разложению на взаимоисключающие фрагменты, все его качества, взятые вместе, и образуют ту устойчивую доминанту его личности, которая, в свою очередь, придает цельность всем отдельным рассказам о его жизни и делах.

Если биографии Олега, Игоря, Святослава по своему конечному смыслу являются биографиями наказания, то биографии Ольги и Владимира должны воплощать собою идею спасения. Это видно хотя бы уже из того, как умирают эти герои: первые — язычники, и все они гибнут, смерть наступает их, когда они ее не ждут, а принявшие христианство Ольга и Владимир доживают до глубокой старости и умирают, что называется, своей смертью.

Черты общности эпических персонажей «Повести», разумеется, не ограничиваются этими прямыми аналогиями. «Эпический стиль», по верному наблюдению Д. С. Лихачева, «в изображении человека сказывается там, где события записываются по следам народного эпоса, там, где образ человека не создается в самой литературе, а только переносится в нее из фольклора».<sup>38</sup> Именно такой путь переноса уже сложившегося в фольк-

<sup>36</sup> Еремин И. П. Указ. соч., с. 91.

<sup>37</sup> О языческой, ритуально-магической сущности подобных пиров у скандинавов см.: Гуревич А. Я. 1) История и сага. М., 1972, с. 131; 2) «Круг земной» и история Норвегии. — В кн.: Снорри Стурлусон. Круг земной. М., 1980, с. 617—623.

<sup>38</sup> Лихачев Д. С. Человек в литературе древней Руси, с. 64.



лоре образа па страницы летописи и имел место в изображении первых князей русского государства. Под пером летописца-христианина фольклорные образы приобретали дополнительные штрихи, но принципиально изменить их природу было уже нельзя; никакие специальные идеологические задания не могли преодолеть те устойчивые черты, какие эти образы получили на стадии фольклорного бытования.

Общность эпических персонажей отнюдь не лишает их индивидуальных черт. Как нельзя спутать Добрыню с Ильей, а их обоих с Алешей, так нельзя спутать Олега, Игоря, Святослава, Владимира, тем более резко выраженной индивидуальностью отличается Ольга. Это прежде всего объясняется «связью эпических героев с их деяниями».<sup>39</sup> В деяниях проявляется и сущность, и индивидуальность каждого эпического героя или персонажа.

\* \* \*

Такой индивидуальностью обладают не только правители, Рюриковичи, но и «демократические» герои, рядовые люди, чем-либо отличившиеся в русской истории. Несколько таких персонажей группируются вокруг Ольги, она как бы излучает свою хитрость-мудрость, заражая ею своих подданных. Мы уже отмечали, как в эпизоде с древлянами киевляне подыгрывали своей княгине. Не менее успешно применяют хитрость ее подданные и в военной борьбе. К ним относится и юноша киевлянин, который, беспечно помахивая уздечкой, прошел сквозь стан печенегов и сообщил воеводе Претичу о бедственном положении киевлян,<sup>40</sup> и сам Претич, обманувший печенежского князя и обменявшийся с ним в знак дружбы оружием. К этому типу «хитрецов» примыкает и старец из известного эпизода о «белгородском киселе». Этот сюжет, хотя и не имеет строгих сказочных аналогов, построен тем не менее, по свидетельству Э. В. Померанцевой, на использовании «типично сказочных, фантастических образов и ситуаций, а также приемов композиции».<sup>41</sup> Сюжет этот, достаточно распространенный в фольклоре и письменности разных народов,<sup>42</sup> в его летописном варианте интересен в мировоззренческом плане. Здесь не утрачена еще связь с архаическими представлениями о непосредственной питательной силе земли (ср. сказочные кисельные реки с молочными берегами). Все строится на том, что печенеги действительно верят, что из земли можно черпать сыто и дежь. Но русские уже не верят в такие чудеса, они создают их сами для обмана невежественных печенегов, это рукотворные чудеса. Сказочные представления здесь обыграны, профанированы. Точно так же играет и Ольга, используя архаические представления древлян. И там, и здесь обнаруживается своеобразная мировоззренческая революция. Русские уже словно выросли из сказки и, хотя они еще хорошо помнят ее, сами в нее не верят. Это-то и создает почву для той игры, которая превращает сказку в повеллу. Герой с новым и свободным сознанием, играя на традиционных ценностях и представлениях, достигает своих целей. На этом во многом строится новеллистика эпохи Возрождения...

Черты героического и сказочного эпоса в нерасчлененном еще виде свойственны летописному рассказу о поединке юноши кожемяки с печенегом. Сказовые интонации порой придают ему характер воспоминаний очевидца: «Заутра приехаша печенежи и свой мужь приведоша, а у на-

<sup>39</sup> Там же, с. 65.

<sup>40</sup> Обращалось внимание на изобразительность этого эпизода, см.: Истоки русской беллетристики, с. 50.

<sup>41</sup> Померанцева Э. В. Судьба русской сказки. М., 1965, с. 25.

<sup>42</sup> См.: Соколова В. К. Русские исторические предания. М., 1970, с. 24—26; Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972, кн. 1, с. 16—17.

ших не бысть» (I, 84). Высокая композиционная организованность и стройность этого рассказа, сочетание эпического лаконизма с вниманием к конкретным деталям, выполняющим художественные функции,<sup>43</sup> делают этот рассказ выдающимся в литературном смысле. Он мог бы украсить любую «риторику» или «питику» как образец композиционного построения с экспозицией, завязкой, кульминацией, развязкой и даже с эпилогом. Тем более что объем его не превышает страницы печатного текста.

\* \* \*

Подведем некоторые итоги. В рассказах о дулебах и обрах, полянах и хазарах нет отдельных героев, здесь некоей единицей выступает все племя, обладающее чертами индивидуальности: обры «телом велици и умом горди», поляне «мужи мудри и смыслени»; в столкновениях они выступают как целостный, неразложимый коллектив. Поэтому племена эти мы предложили называть «групповыми», или «коллективными», эпическими персонажами. В преданиях народная память сохранила, видимо, наиболее сложные моменты из истории племенной, догосударственной Руси, а летописец придал им провиденциалистскую идею о конечном торжестве охраняемых богом славян над внешними врагами.

В сообщениях о «легендарных» персонажах мало поэтического. Вообще говоря, поражает трезвый взгляд летописцев, не включивших в свой текст почти никаких мифологических преданий, которые не могли не существовать в их время, время, когда язычество по существу еще было бытом, а христианство — тонкой пленкой на поверхности народной жизни.

Эпизоды, в которых действуют персонажи, названные «демократическими», по своему типу близки к тем, в которых выступают «групповые» эпические персонажи. Это всегда отдельные сюжетные построения, имеющие обычно новеллистический характер. По своим истокам они могут восходить к народному анекдоту (юноша киевлянин, прошедший сквозь печенежский стан; Претич, обманувший печенежского князя), сказке («белгородский кисель») или синкретическому преданию, совмещающему разные фольклорные жанры (отрок-кожемяка). Новеллы с демократическими героями отличаются совершенной художественной формой, изобразительностью и композиционной завершенностью.

Начиная с князя Олега летописцы переходят на историческую почву. Здесь они уже могут опереться на письменные документы, но сведения, почерпнутые в них, слишком скудны, и поневоле для создания картины сложения и роста государства летописцы вынуждены были обращаться к устной истории. Совмещение документальных и фольклорных сведений в биографиях князей, создававших Киевскую Русь, позволяет назвать их «эпико-историческими» героями.

В ходе анализа биографий летописных князей обнаружилось, что они представляют собою не механическую сумму погодных сведений, а являются художественно и идеологически организованными повествованиями. В этой связи уместно привести наблюдения Л. Я. Гинзбург, сделанные ею на совершенно ином материале, но имеющие, на наш взгляд, и общетеоретическое значение. По мысли исследовательницы, «в биографических конструкциях, и закрепленных письменно, и незакрепленных, потенциально присутствует эстетическое начало. Чтобы пробудить это начало, нужно лишь воспринять биографическую связь как выражение некоей жизненной темы, идеи; нужно, чтобы события, поступки, переживания мыслились как формы этой жизненной темы, от нес

<sup>43</sup> См.: Истоки русской беллетристики, с. 39.

неотделимые».<sup>44</sup> Действительно, мы можем видеть, что события и поступки в биографиях летописных князей существуют не изолированно, не «фрагментарно», как настаивал на этом И. П. Еремич, а являются всякий раз «выражением некоей жизненной темы, идеи». Целостность возникает тогда, когда собраны воедино все сведения о князе, когда биография прочитывается полностью и итог жизни заставляет вновь бросить взгляд на весь жизненный путь героя. Более того, в «Повести временных лет» биографии эпико-исторических героев связаны между собой не только хронологической последовательностью, здесь отчетливо ощутимо композиционное их сопряжение: биографии «наказания» и биографии «спасения» явно сопоставлены друг с другом и из этого сопоставления извлекаются определенные идеологические результаты.<sup>45</sup> Однако в то же время в этой совокупности биографий видны следы развертывания единого повествовательного ряда. Из одной точки — смерти Рюрика — начинаются летописные биографии Олега и Игоря. От имени Игоря Олег захватывает Киев. Убийство Игоря древлянами вызывает мщеница Ольги; Святослав послушался Ольгу, и это предопределяет его судьбу. Владимир наследует многие качества своих предшественников, но теснее он связан со своей бабкой Ольгой, на пример которой ссылаются бояре, склоняя Владимира к принятию христианства. Можно, кажется, предположить существование единой «саги» (или цикла преданий, песен) о первых русских князьях, которую летописцы расчленили, сообразуясь с погодным принципом, внесли в нее материалы, не имеющие к ней прямого отношения — летописцы создавали не историю князей, а историю того, «откуда русская земля стала есть», — по черты единства этой саги все же ощутимо присутствуют в летописи, и именно они способствуют впечатлению цельности рассказа о начальном этапе истории Киевского государства.<sup>46</sup>

Этим и определяется своеобразие всех «первых князей» в «Повести временных лет». Сюжеты об их судьбах и самые их образы первоначально сложились в «устоялись» в фольклоре и потому обрели большую сопротивляемость каким-либо попыткам внешних изменений. Но, не разрушив художественной природы образов первых русских князей, летописцы сумели придать их биографиям нужную идеологическую окраску: они стали нести вряд ли существовавшие в фольклоре с такой отчетливостью идеи «наказания» и «спасения», стали «учительными». Но при этом важно не упускать из виду, что «идеи» эти в большинстве случаев не декларируются, не заявляются прямо и открыто, а подсказываются развитием сюжета, деталями и подробностями изображенных событий, диалогами, репликами персонажей, т. е. средствами собственно художественными.

История вошла в летопись, получив предварительное оформление в народно-поэтической среде. Читателю в большом количестве случаев дана не голая информация о событиях, а представлены драматизированные сцены, сюжетные построения, в которых действуют живые люди с их особыми характерами, разными уровнями сознания, простотой одних и коварством других. Мы и сегодня способны живо сопереживать, соучаст-

<sup>44</sup> Гинзбург Л. Об историзме и о структурности. — В кн.: Гинзбург Л. О старом и новом. Л., 1982, с. 12—13.

<sup>45</sup> Л. Я. Гинзбург пишет: «...биография, как принцип организации действительности, вносит в свой материал ретроспективную преднамеренность, как бы замысел. Воспринимающие могли мыслить его как замысел бога или судьбы (fatum), но также как замысел безличный. Он возникает из исторического осознания данной жизни, из ее соотношенности с типологическими формами разных жизненных укладов» (там же, с. 13).

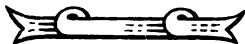
<sup>46</sup> О «генеалогии княжеского рода, этой саги о Рюриковичах, слагавшейся веками и записанной в княжеском окружении Изяслава» см.: Алешковский М. Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971, с. 94. См. также: Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 177—178.

воват в разворачивающихся событиях. При этом здесь порой невозможны однозначные оценки, однозначное отношение к действующим лицам. Например, восхищение хитростью Ольги не позволяет до конца преодолеть сочувствия к простакам-древлянам, симпатичным своей откровенностью и уверенностью в своей правоте. Сюжет этот амбивалентен.<sup>47</sup> Древнерусский автор, как и современный писатель, словно предлагает нам пережить события, самим разобраться в них и вынести свое решение. Этим-то литература и отличается от других форм человеческого сознания, так или иначе претендующих на однозначные и конечные решения. Литература судит жизнь в самом процессе ее воссоздания, в ее суде учитывается не только конечный итог деяния, его объективные последствия, а весь процесс жизни со всеми его оттенками и резонансами. И это качество в русской литературе появляется уже в самых ее истоках.

Не имеет принципиального значения вопрос о том, была ли эта художественность достоянием фольклора или авторов летописи. В отдельных случаях мы показывали границы, где кончается фольклорный источник и начинается его литературное переосмысление. Но важно уже и то, что художественность эта была не чужда древнерусским книжникам, они ее бережно сохраняли и развивали по-своему в письменном слове.

Справедливо говорят о синкретизме древней русской литературы, о том, что древнерусский писатель не выполнял и не мог выполнить чисто художественных заданий. Он прочно привязан к конкретным историческим фактам, к тому, что было. Писатель не ставил перед собой задачи описать правдоподобные, вероятные, но заведомо вымышленные события, характеры, обстоятельства и т. д. Однако, творя в рамках действительно бывшего, древнерусский писатель уже мог стремиться к живому и конкретному воссозданию действительности, к иллюзии живой жизни. А это не могло быть осуществлено без участия художественного вымысла. Поэтому на страницах летописи, повествования прежде всего исторического, имеющего практическое назначение, мы встречаемся с фактом рождения и слова художественного. Летопись — это не просто исторический документ, а очень часто — это художественная история, история, переходящая в литературу.

<sup>47</sup> Показательно, что это неоднозначное отношение проявляется даже в современных академических исследованиях. Сравните, например, резкое неприятие Ольги у Б. А. Рыбакова (Указ. соч., с. 180—181) и ее апологию у Д. С. Лихачева (Возникновение русской литературы, с. 43—46) и Б. Н. Путьлова (Указ. соч., с. 34).



# ПОЛЕМИКА

В. А. Ковалев

## О ПУТЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы периодизации литературного процесса, как известно, решаются разными исследователями на основе двух координат — исторической и литературной. Порою исследователи впадают в крайности, принимая одну из них и отрицая другую. Усиливается, однако, стремление диалектически сочетать изучение этих координат. Но при этом следует подчеркнуть, что основной, ведущей из них является историческая. Почему? Во-первых, потому, что история, социальная реальность есть более широкое, многообразное понятие и включает в себя, как часть, линию развития литературы, являющейся художественной летописью времени, эстетическим сознанием эпохи; во-вторых, потому, что литература решает свои творческие задачи не в отрыве от науки, общества и народа, а вместе с ними, в контактах с социальной действительностью, с действиями социальных классов, с существованием наций.

Литературная координата не сливается с исторической, сохраняет в ряде отношений самостоятельность. У литературы как общественного явления есть своя специфика — образный, предметный характер мышления, своя внутренняя структура, свои формы и закономерности как искусства слова, свои приливы и отливы, начала и концы.

Проблемы периодизации истории литературы решаются с учетом множества обстоятельств и исторического, и литературного развития, существования «остаточных» явлений в данную эпоху, с учетом некалендарной одновременности переломов и смен исторических и литературных эпох.

Эти проблемы отражают во всей специфике и полноте не только общесторические и общелитературные особенности, но и конкретно-историческую национальную специфику. Поэтому, например, периодизация социалистических литератур различных стран может в чем-то отличаться, не совпадать.

Вопросы периодизации социалистических литератур имеют неотложный характер, ибо периодизация связана с уточнением и разработкой таких важных проблем, как общая концепция литературного процесса, выделение в нем важнейших идейно-художественных тенденций, потоков и направлений, осознание качественных сдвигов в истории лите-

ратуры, решение коренных проблем взаимоотношения искусства и действительности, литературных традиций и новаторства.

Хочу напомнить читателям, что в статье, опубликованной в 1973 году,<sup>1</sup> я предложил новую, укрупненную периодизацию литературного процесса советской эпохи в соответствии со стадийным развитием советского общества.

Конкретно я предложил выделить следующие периоды: 1. Литература переходного периода от капитализма к социализму (от Октября до конца 30-х годов); 2. Литература периода развития страны на основах социализма (40—60-е годы); 3. Литература на этапе развитого социализма (с начала 70-х годов).<sup>2</sup> Некоторые традиционно выделяемые мелкие периоды (период революции и гражданской войны; 20-е годы; 30-е годы; годы Великой Отечественной войны) войдут в рамки основных крупных периодов.

Статья вызвала ряд положительных откликов. Одновременно предлагались и другие варианты периодизации. Развернулась дискуссия, которая продолжается и сейчас.

Одной из попыток подведения итогов этой дискуссии является статья А. В. Огнева «О периодизации русской советской литературы».<sup>3</sup> Автор статьи отвергает укрупненные схемы периодизации. По мнению А. Огнева, укрупненная периодизация «при всех своих несомненных преимуществах отнюдь не ликвидирует многие трудности в изучении литературы, более того, она создает дополнительные рывки и ухабы, которые могут вызвать серьезные негативные последствия» (с. 8). Он считает «верной» прежнюю, в основном неукрупненную периодизацию.

Чтобы не повторяться, я не стану воспроизводить свою аргументацию из статьи 1973 года, тем более что А. Ог-

<sup>1</sup> Русская литература, 1973, № 4, с. 21—34.

<sup>2</sup> Выражение «развитое социалистическое общество» встречается у Ленина (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 104).

<sup>3</sup> В кн.: Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. Калинин, 1985, с. 3—30.

пов ее детально по существу не рассматривает.

Схема периодизации, предлагаемая А. Огневим, такова: 1. Литература периода Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны (1917—1920); 2. Литература 20-х годов (1921—1929); 3. Литература 30-х годов (1930—1940); 4. Литература периода Великой Отечественной войны (1941—1945); 5. Литература послевоенного периода (1946—1952); 6. Литература 50—60 годов (1953—1970); 7. Современная литература (1971—1980-е годы).

Как видим, пункты 1—5 предложенной периодизации полностью повторяют дробную периодизацию, сложившуюся в конце 50-х—начале 60-х годов.

В основе этой периодизации нет единого принципа: то автор исходит из признаков «войны» и «мира», обособляя краткие периоды гражданской войны и Великой Отечественной войны; то он обращается к простейшей хронологической периодизации по десятилетиям (20-е годы, 30-е годы, послевоенный период); по мере приближения к современности у автора периоды возрастают до 15—18 лет (1953—1970; 1971—середина 80-х годов).

В своей статье 1973 года я предлагал историко-литературную периодизацию, основанную на исторических периодах становления и развития новой общественной формации, на выделении этапов существования первой фазы коммунистического общества — социализма.

А. Огнев склонен отвлекаться от логики исторического процесса. Оттого предлагаемая им периодизация выглядит мозаичной, разнородной, эмпирической.

Другим ее недостатком является стремление внести в периодизацию жесткое, скрупулезное обособление периодов (начало и конец каждого периода указывается с уточнением до одного года). А. Огнев стремится найти резкие границы между ними. Между тем исторические переходы совершаются постепенно, зачастую охватывая десятки лет.

Самп по себе указываемые А. Огневим временные отрезки требуют уточнений.

Начнем с первого пункта — периода революции и гражданской войны. Начальный момент его — социалистическая революция — датируется совершенно ясно и определено — октябрём 1917 года: Советская власть триумфально утвердилась в большинстве районов России в первые же месяцы. В начале 1918 года началась гражданская война, развернулись широкомасштабные военные действия между силами революции и контрреволюции, в том числе зарубежной (интервенты). Но когда этот период завершается? А. Огнев ставит дату — 1920 год. Но мы знаем, что военные действия продолжались и в 1921 году — против махонцев и других мелкобуржуазных и

националистических банд, а в дальневосточном регионе — и в 1922 году. Ввиду этого перестройка жизни общества на мирный лад растягивалась. Процесс реориентации народной жизни, социальной психологии на мирный лад вовсе не закончился в 1920 году.

Кроме того, следует напомнить, что первые годы Советской власти — это не только годы войны, но и одновременно годы укрепления органов новой власти, возрождения экономики, первых попыток создания кооперации в деревне, восстановительной работы в промышленности. Иначе говоря, происходили качественные изменения в обществе, которые получили свое развитие в дальнейшем — в 20—30-е годы. «Период гражданской войны» представляет собою часть более крупного, мирного стадийного переходного периода развития от капитализма к социализму, который датируется приблизительно так: 1917—конец 1930-х годов.

Так что резкое ограничение литературы начальных лет революции 1920 годом не вполне оправдано. Более обоснованным будет назвать этот период начальным моментом внутренне единого периода построения в стране основ бесклассового социалистического общества. Название «годы гражданской войны» обозначает событийную сторону, но не социальную сущность данного отрезка времени. Практически правильнее назвать литературу этих лет «литературой первых лет революции» (в рамках переходного периода).

Требуют уточнений в схеме А. Огнева также второй и третий периоды — «двадцатые» и «тридцатые» годы, — которые, как известно, вместе с первым периодом образуют переходный период от капитализма к социализму, «период построения основ социализма» (Новая редакция Программы КПСС, утвержденная на XXVII съезде КПСС). А. Огнев удовлетворяется элементарной «арифметической» периодизацией, которая не может быть признана научной. Отстаиваемые им названия удобны лишь для первоначальной, приблизительной ориентации в историческом и литературном процессе этой поры.

Нужна и более убедительная конкретная мотивировка обособления этих периодов.

Что такое «двадцатые» годы? По мнению большинства исследователей, они начинаются с введением нэпа, а заканчиваются, по мнению одних, в 1929 году, по мнению других — в 1930 году. Опять разногласия. И как раз потому, что идут совершенно «точных», резких границ между историческими периодами.

А «тридцатые» годы? Обычно предлагают начальной датой считать 1930 год (момент вступления страны в период социализма); что же касается завершающей даты, то предложенных несколько:

1937 год (принятие Конституции СССР), 1940-й (календарная дата), а то и июнь 1941 года (до начала Великой Отечественной войны).

Совершенно ясно, что в этом случае найти «точную» дату будет затруднительно. Наиболее практически удобным обозначением «тридцатых» годов будет: «литература 30-х годов (1930—конец 30-х годов)». Именно в предвоенные годы «в СССР было в основном построено социалистическое общество» (Новая редакция Программы КПСС, утвержденная на XXVII съезде КПСС).

Далее у А. Огнева следует самостоятельный период Великой Отечественной войны. Начало его датируется точно — июнем 1941 года. Это — оправданно.

Но тревожное предощущение большой войны возникло в нашем обществе уже в 1939 году, когда гитлеровская Германия развязала войну в Европе. Грозные предвоенные годы нашли отражение в мероприятиях советского правительства по повышению мобилизационной готовности страны, а также в социальной психологии.

Опасность нападения на СССР гитлеровской Германии становилась все более реальной. Об этом говорил сам ход событий 1939—1940 годов: нападение Германии на Польшу и подход ее войск вплотную к нашим границам; война с Финляндией.

Развитие советской литературы конца 30-х годов было поистине опережающим. Литература повернулась к военнопатриотической тематике.

Всего этого нельзя не учитывать...

Нужно еще добавить, что после Великой Победы в мае 1945 года Советская Армия продолжала в августе-сентябре того же года масштабные военные действия против японских империалистов.

Разумеется, перестройка общества, экономики, психологии людей на военный лад, подчинение всей деятельности партии и народа задаче разгрома фашистского агрессора сильно сказались на жизни и быте людей, но они не внесли коренных изменений в структуру советского общества, в его качественное состояние. Несмотря на гигантские масштабы войны, предельную остроту военных столкновений и потерь, продолжали оставаться неколебимым советское государство, советский образ жизни. Как только ценой колоссальных усилий была достигнута военная победа, Советский Союз, постепенно наращивая темпы, продолжил хозяйственное и культурное строительство, развернутое в предвоенные годы.

Конец 30-х годов и военные годы составляют лишь часть, этап более крупного, стадийного исторического периода развития страны на основах социализма — продвижения к периоду развитого социализма. В рамки этого крупного периода истории страны и должны вой-

ти, как очень важный этап, военные годы.

Что касается «послевоенного периода», то этот отрезок времени весьма растяжим. Но если даже иметь в виду лишь первые послевоенные годы, то и они могут определяться по-разному, например как вторая половина 40-х годов, когда завершилось послевоенное восстановление. А. Огнев предлагает «продлить» «послевоенный» период до 1952 года. Но какие для этого основания? Негативные явления культа личности не есть этап исторического движения страны. Закономерное движение общества по пути построения развитого социализма продолжалось и в 40-е, и в 50-е годы. Об этом свидетельствуют не только факты общественно-экономического, но и идеологического характера, в частности состояние художественной литературы.

Разве не в хронологических рамках до 1953 года литература сделала заметные шаги в своем развитии — усилился трезвый критический элемент, укрепилась смелость в постановке острых проблем советской жизни?

В 1952 году появились первые деревенские очерки В. Овечкина — событие в политической и культурной жизни страны. В том же году были серьезно раскрыткованы «теория бесконфликтности», идеализаторские тенденции в искусстве (литературе, театре, кино). В 1953 году завершен этапный для советской литературы большой роман Л. Леонова «Русский лес». (Автор настоящих строк, знакомый с творческой работой Леонова той поры, видел стопку законченной рукописи «Русского леса» в самом конце 1952 года).

Эти произведения во многом повлияли на весь литературный процесс 50—80-х годов. Стало быть, перелом в литературе назрел до 1953 года, на границе 40-х и 50-х годов.

Между тем А. Огнев стремится отнести начало перелома в литературе послевоенных лет чуть ли не к 1953—1956 годам. Какие же другие произведения такого же этапного значения, написанные в середине 50-х годов, мог бы он назвать? Уж не «Оттепель» ли И. Эренбурга (1954) или «Не хлебом единым» В. Дудинцева (1956)?..

Конечно, в эти годы подготавливались и вышли ряд значительных произведений (В. Кочетова, В. Тендрякова, Е. Дороша, Г. Икколеовой и др.), но они талантливо продолжили тенденции, выявившиеся уже у Леонова и Овечкина.

Нет оснований преувеличивать роль тех произведений, которые критика 50-х годов по справедливости назвала «критицистскими», т. е. преувеличенно и односторонне выражавшими критический пафос. Против «критицистских» тенденций в литературе и связанного с ними ослабления связей с жизненными реальностями были наделены известные речи М. Шолохова и В. Овечкина на

Втором съезде советских писателей (1954), памятное выступление Шолохова на XX съезде КПСС.

А как быть с первыми послевоенными годами (до начала 50-х годов)? Выделять их в особый период вряд ли возможно. Уже очень много в литературе второй половины 40-х годов переходящих признаков — отчасти завершающих процессы военных лет, отчасти начинающихся — еще робко и слабо — процессы 50-х годов. Переходный характер литературного процесса второй половины 40-х годов несомненен. Делать его ядром и основой самостоятельного периода невозможно.

Так что и с чисто фактической стороны отстаиваемая А. Огневом периодизация первых послевоенных лет требует уточнений.

Уточнений требует и периодизация литературы последующих десятилетий (50—80-е годы), предлагаемая А. Огневом. Последуем за его схемой. В пунктах шестом и седьмом А. Огнев предлагает разбить литературу целого тридцатипятилетия (1952—1985 годы) на два — довольно крупных — периода: литература 50—60-х годов (1953—1970) и современная литература (1971—1980-е годы).

Свое мнение относительно начальной даты шестого пункта я уже высказал: она не соответствует фактам истории литературы. Выделять же в единый самостоятельный период именно эти 20 лет нет оснований. Если уж выдерживать принятый А. Огневом принцип дробной периодизации, то следовало бы ввести периоды: «литература 50-х годов» и «литература 60-х годов». В каждом из них есть своя ощутимая специфика.

50-е годы — это годы создания, кроме «Русского леса» и «Районных будней», таких произведений, как «Судьба человека» (1956), вторая книга «Поднятой целины» (1959) М. Шолохова, вторая редакция романа «Вор» (1959) Л. Леонова. Их объединяет стремление существенно углубить анализ сложных, противоречивых явлений в современной жизни и в истории Советского Союза.

Что же касается 60-х годов, то в этом десятилетии можно усмотреть свою новизну и специфичность. В этом десятилетии зародилось и развивалось модное направление, позднее названное «деревенской прозой», которая глубоко исследовала связь национального духовно-нравственного наследия с формированием коммунистической нравственности. Набирала силу тенденция создания эпических художественных синтезов, получивших название «романов из истории советского общества»...

Но А. Огнев воздержался от выделения этих «мини-этапов». В данном случае он выступил, проявляя непоследовательность, как сторонник укрупненной периодизации.

Наконец, остановлю внимание на последнем пункте схемы А. Огнева — «Со-

временная литература (1971—1980-е годы)».

В своей статье 1973 года я склонен был, в соответствии с тогдашним мнением ряда историков (на одного из них я сослался), относить начальный этап периода развитого социализма к концу 60-х—началу 70-х годов. Между тем вступление в этот длительный и неравномерный процесс уже Третья программа КПСС (1961 год) отнесла к 60-м годам.

В Новой редакции Программы КПСС, утвержденной XXVII съездом партии, эта социально-историческая веха сохранена. Третий, продолжительный период в истории СССР — период развитого социализма — начинается, таким образом, в 60-е годы. В рамках этого периода, длительность которого сейчас определить невозможно (время покажет, когда обозначатся грани перехода развитого социализма в коммунизм!) и который является временем совершенствования социализма, ныне развивается Советский Союз.

Так что последние два с лишним десятилетия нужно рассматривать как единый период. Переход в следующую стадию — стадию коммунизма — произойдет в будущем и — постепенно.

Сложно обстоит вопрос с характеристикой литературы на современном этапе. Нынешний отрезок истории СССР, начиная с апрельского (1985 года) Пленума КПСС, имеет, как указал Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев в своем докладе на пленуме ЦК КПСС 15 октября 1985 года, переломный характер как во внутреннем, так и в международном плане. КПСС выдвинула и обосновала развернутую концепцию ускорения социально-экономического развития страны, интенсификации технического прогресса и на этой основе скорейшего достижения нового качественного состояния советского общества, решительного подъема экономики страны на новый уровень. Реализация этой грандиозной программы развития невозможна без переориентации общественного сознания, усиления роли человеческого фактора, вообще активизации работы трудящихся в области экономики и в культурном строительстве.

В международном плане современный момент ознаменовал новыми радикальными предложениями СССР по ускорению гонки вооружений, новыми инициативами КПСС, направленными на предотвращение губительной для человечества ядерной войны. Женевская встреча руководителей СССР и США на высшем уровне (ноябрь 1985 года) открыла некоторые перспективы разрядки международной напряженности. Результаты женевской встречи вызвали подъем движения в защиту мира во всех странах, по созданию нового климата в международных отношениях, основанного на



признании принципа мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами, на исключении войны как метода решения любых спорных проблем и противоречий между странами.

В Новой редакции Программы КПСС подчеркивается, что резкой грани между первой фазой коммунизма — социализмом — и второй, высшей стадией — собственно коммунистическим обществом — нет.

Резкую грань нельзя проводить, очевидно, и между отдельными, более мелкими этапами строительства социалистического общества. Датировка этих этапов имеет приблизительное значение. Тем более это необходимо учитывать при периодизации литературного процесса, в котором, во-первых, преобладают процессы эволюционные, во-вторых, внутрилитературные закономерности являются зачастую более протяженными, чем рамки отдельных общественно-политических и исторических этапов, в-третьих, творческие пути ведущих художников оказываются нередко «вне-этапными» и определяются в той или иной мере индивидуально-творческими факторами и закономерностями.

Не хотел бы я оставлять у читателей впечатление, что предлагаемая мной основа периодизации литературы советской эпохи является единственно верной. Она, естественно, может быть и оспорена, и уточнена.

В своей статье я опирался главным образом на факты истории русской советской литературы. Очевидно, что механически переносить предложенную мною структуру периодизации на все литературы народов СССР было бы неправильно. У каждой из национальных литератур есть своя специфика не только в содержании и характере образности, но и в темпах и характере движения по пути социалистического реализма.

Принцип периодизации истории литературы на основе исторического признака в общем признается А. Огневым, но когда он начинает его конкретизировать, выясняется, что признак этот понимается им несколько эмпирически, ибо не раскрывается внутреннее социально-политическое содержание периодов и этапов истории, их значение как звеньев единой цепи.

\* \* \*

Новая редакция Программы КПСС, в которой характеризуются и социалистическая революция 1917 года, и исторический путь Советского Союза как социалистической страны, и цели и идеалы советского общества, раскрывает динамику исторического процесса построения коммунизма в СССР, указывает на правление этого процесса и перспективы

будущего. Программа КПСС позволяет с большей точностью и широтой обосновать концепцию литературного процесса, его внутреннее единство, его важнейшие закономерности, его эволюцию. Вот почему важно перейти от простейшего хронологически-эмпирического построения истории советской литературы к внутренне содержательной периодизации на основе стадийного понимания исторического процесса. А такая периодизация не может быть неукрупненной. Периодизация должна давать представление об общей структуре литературного процесса, о происходящих в нем качественных изменениях, о его направленных, о движущих силах историко-литературного движения как явления общественного сознания эпохи.

При разработке проблем периодизации литературного процесса советской эпохи должны быть учтены все основные слагаемые этого процесса. К ним относятся в первую очередь специфика общественного развития общества, важнейшие решения коммунистической партии по вопросам литературы и искусства, принятые на съездах и пленумах ее Центрального Комитета; решения съездов Союза писателей СССР; преобладающие проблемно-тематические тенденции литературы; соотношение поэтических родов, жанров (публицистика, художественной прозы, поэзии и т. д.); творческая эволюция крупнейших творческих индивидуальностей... Все эти признаки и особенности литературного процесса вносят дополнительные оттенки в общую картину литературного движения эпохи.

До сих пор я рассматривал проблему периодизации истории советской литературы как проблему внутренне национальную. Однако в XX веке, когда много участились контакты между государствами и нациями, когда их существование и их история оказались тесно связанными с такими событиями мирового значения, как Октябрь и Великая Победа, нельзя не учитывать влияния мировых факторов.

К переломным событиям нужно также отнести и события 1985—1986 годов, связанные с определенным стратегическим курсом советской страны на ускорение социально-экономического развития, достижение нового качественного состояния советского общества, со стремлением СССР добиться коренного поворота в отношениях между двумя общественными системами, в определении судеб всех наций и человечества в целом, укреплении благоприятных перспектив существования жизни на Земле.

Три этих события (социалистическая революция в октябре 1917 года; Великая Победа в мае 1945 года; мероприятия и инициативы СССР в 1985—1986 годах) оказали и продолжают оказывать

огромное влияние на развитие всего мира.

На «кардиограмму» истории наций и истории отдельных государств накладываются «кардиограмма», «пульсация» общечеловеческого развития.

Первые два фактора оказали глубокое долговременное воздействие не только на Советский Союз, но и на все другие государства, на общее положение в мире. О силе и масштабах третьего события как фактора мировой истории можно судить до некоторой степени уже сейчас.

Национальная периодизация истории Советского Союза гармонически сочетается со всеми этническими мировыми событиями. Октябрь 1917 года — начало новой фазы всемирной истории. Великая Победа 1945 года явилась могучим стимулом и ускорителем прогрессивного исторического развития всего мира. События 1985—1986 годов открывают новые исторические перспективы существования человечества.

Сейчас необычайно расширяется диапазон литературы — «человековедения», по известному определению Горького. Литература становится, если позволено мне будет так выразиться, *человечествоведением* — так нераздельны в нашу эпоху судьбы личности, нации, человечества, планеты, так возросло сейчас значение глобальных, космических проблем, слитых с проблемами национально-государственными и нравственно-личностными.

Творческая работа современного писателя сейчас, так сказать, укрупнена, вынесена на арену, видную всему народу. Ответственность писателя перед нацией и человечеством намного усилилась, влияние литературы на общественное сознание стало особенно ощутимым. Повысилась в силу этого и роль и ответственность историков социалистической литературы, которые призваны сохранить память об истории литературы, правду о ее достижениях и ее уроках.

В данной статье естественной была бы некоторая конкретизация моих представлений о своеобразии и специфике каждого из намечаемых мною укрупненных периодов истории русской советской литературы. Но об этом я подробно сказал

в своей книге, к которой, чтобы не повторяться, и отсылаю читателя.<sup>4</sup>

Итоговое же практическое мое предложение по вопросу о периодизации истории русской советской литературы выглядит так: 1. Литература в переходный период от капитализма к социализму: 1917—конец 30-х годов; 2. Литература в период развития общества на основах социализма: 40—50-е годы; 3. Литература на этапе развитого социализма: 60—80-е годы; Заключение: Литература на современном этапе.

В зависимости от задач, которые ставят перед собою исследователи советской литературы или вузовские преподаватели, в практических целях могут быть выделены различные более мелкие периоды и этапы, объединенные теми или иными конкретными национально-историческими событиями, международными конфликтными состояниями (война), национальными и всемирными переломными моментами.

Допустимо в исследованиях и вузовских курсах советской литературы «стяжение» тематически и по своему пафосу близких произведений в рамках различных периодов и этапов: нужно учитывать, что в одних случаях произведение «опережает» литературный процесс и может быть рассмотрено в рамках последующего этапа (например, роман «Соть» Л. Леонова, написанный в 1928—1929 годах, весь принадлежит к этапу 30-х годов, начинается его), в других случаях произведения могут быть отнесены к предшествующему этапу (например, «Далеко от Москвы» В. Ажаева и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, появившиеся в печати в 1946 году, задуманы и отчасти написаны в период войны); при группировке ряд произведений второй половины 40-х годов вполне обоснованно могут рассматриваться в рубрике прозы военных лет.

Предлагаемыми размышлениями мне хотелось бы продолжить обсуждение одной из важнейших и долговременных теоретических проблем истории литературы Советского Союза.

<sup>4</sup> Ковалев В. А. Теоретические проблемы истории русской советской литературы. Л., 1984, с. 108—115.

Я. С. Дурьбе

## ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОМЫСЛОВ О СЫНЕ СОЛОМОНИИ САБУРОВОЙ И ОПРИЧЛИНЕ

Недавно вышедшая в свет книга А. Никитина «Точка зрения» имеет подзаголовок: «Документальная повесть». Определение это представляется несколько противоречивым. Несомненно,

что писатель имеет право, обращаясь к исторической теме, прибегать к художественному вымыслу. Однако между беллетристическим произведением и научным исследованием существует при-

дипальное различие, которое было осознано писателями и историками уже давно. Никто не смеет пенять Пушкину за то, что в «Капитанской дочке» вместо реально существовавшего офицера М. А. Шванвича, служившего Пугачеву, действуют выдуманные автором персонажи — Гринев и Швабрин. Для мало-мальски грамотного читателя Пушкина было ясно, что «Капитанская дочка» не «документальная», а настоящая повесть, где правомерен художественный вымысел, между тем как пушкинская «История Пугачевского бунта» («История Пугачева») — документальное исследование, где автор обосновывает свои высказывания источниками. Но это ясное различие, к сожалению, не всегда осознается не только читателями (нередко упрекающими писателей-беллетристов за вымысел), но и авторами, выступающими в роли историков-исследователей. Примером этого может служить и последняя работа А. Л. Никитина. Его очерк о брате и сопернике Ивана Грозного, включенный в книгу «Точка зрения» (наряду с двумя другими этюдами — о древней «Бьярмии» и «Слове о полку Игореве»), построен как научное исследование, и сам А. Никитин выступает здесь не как писатель-беллетрист, а как историк и литературовед, подробно аргументирующий высказанные положения, полемизирующий с оппонентами и ссылающийся на источники.<sup>1</sup> Как же он это делает?

Обратиться к истории развода Василия III с его первой женой Соломонией Сабуровой, женитьбе великого князя на Елене Глинской и рождению Ивана IV побудили А. Никитина находки и разыскания А. Д. Варганова и Г. Л. Григорьева. Уже давно в науке был известен рассказ германского посла Герберштейна о том, что после насильственного пострижения Соломони за бесплодие в Москве распространился слух, что Соломония родила в монастыре ребенка, названного Георгием.<sup>2</sup> В 1934 году директор Суздальского музея А. Д. Варганов разыскал в местном

Покровском монастыре погребение, находившееся рядом с могилой Соломони и сходное по орнаментации, но считавшееся могилой малолетней дочери царя Василия Шуйского, и обнаружил в нем не скелет, а кучу тряпья и остатки одежды, которую реставраторы определили как одежду мальчика 3—5 лет «высшего класса».<sup>3</sup>

Сопоставление известия Герберштейна и результаты вскрытия гробницы побудили А. Д. Варганова и Г. Л. Григорьева,<sup>4</sup> а вслед за ними и А. Л. Никитина предположить, что у Соломони действительно родился сын, которому были устроены ложные похороны.

Уже это предположение не представляется достаточно убедительным. Официальная версия о погребении в могиле дочери Василия Шуйского в начале XVII века подкрепляется источниками — двумя вкладками в ее память: блюда, которое должно было быть возложено «на гробу с кутьем», и надгробного покровца.<sup>5</sup> Но даже если погребение, обнаруженное рядом с могилой Соломони, относится к XVI веку, то не вернее ли предположить, что это ложное погребение было устроено для подтверждения слуха, пущенного противниками второго брака Василия III?

Но Г. Л. Григорьев и А. Л. Никитин не ограничились своим первым предположением. Версии о сыне Соломонии Георгий они дали дальнейшее весьма богатое развитие. Г. Л. Григорьев предположил, что Георгий не только остался жив, кем-то спрятанный, но сыграл важнейшую роль в истории XVI века: Георгий стал тайным претендентом на престол, для уничтожения которого Грозный и создал опричнину.<sup>6</sup> Эту же точку зрения на «опричный орден» и причины его создания принял и А. Л. Никитин.

На каких же источниках основываются эти утверждения? В сущности, ни на каких. У Ивана IV действительно был брат Георгий, родившийся у Елены через два года после старшего сына, но он был глухонемой, на престол никогда не претендовал и умер в 1563 году; был у царя и двоюродный брат, князь Владимир Андреевич Старецкий, которого Иван IV постоянно подозревал в измене и отравил в 1569 году. Но та-

<sup>1</sup> Никитин Андрей. Точка зрения: Документальная повесть. М., 1985, с. 4 (издательская аннотация). Далее ссылки на это издание даются в тексте. О других очерках, включенных в книгу «Точка зрения», см.: Лихачев Д. С. В защиту «Слова о полку Игореве». — Вопросы литературы, 1984, № 12; Робинсон М. А., Сазонова Л. И. Несостоявшееся открытие. — Русская литература, 1985, № 2; Дмитриев Л. А. Испытание «Словом». — Советская культура, 1985, 17 сент., с. 6; Джаксон Т. Н. Бьярмия, Древняя Русь и «Земля незнаемая». — В кн.: Скандинавский сборник. Таллин, 1979, т. 24, с. 133—138.

<sup>2</sup> Записки о Московии барона Герберштейна / Пер. И. Аноимова. СПб., 1866, с. 41—42.

<sup>3</sup> Видонова Е. С. Детская одежда начала XVI в. — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. Л., 1951, вып. 36, с. 68—75.

<sup>4</sup> Григорьев Г. Л. Некоторые вопросы политической борьбы в Московской Руси XVI в. Л., 1966, с. 1—27. (Машинопись. Хранится у автора статьи, первая глава рукописи написана Г. Л. Григорьевым совместно с А. Д. Варгановым).

<sup>5</sup> Там же, с. 135, прим. 14.

<sup>6</sup> Там же, с. 51—93.

инственного сына Соломонии Георгия, жившего и действовавшего во времена Ивана Грозного, ни один источник не знает. Правда, в сочинении пастора Одерборна, писавшего уже после смерти Ивана Грозного и никогда не бывавшего в России, упоминается об убийстве «Васильевичем» (Иваном Грозным) своего брата Георгия,<sup>7</sup> но подробности этого путаного рассказа побудили даже А. Л. Никитина признать, что Одерборн в данном случае пересказал известия о несчастном Владимире Андреевиче Старцком» (с. 394—395), лишь перепутав его имя.

Г. Л. Григорьев не опубликовал работы, посвященной сыну Соломонии. Признавая, что «известные сейчас источники не содержат и не могут содержать прямых указаний на существование претендента», он писал, что «в этом, прямо скажем, отчаянном положении остается лишь один выход: не пытаюсь пока делать окончательные выводы, собирать как можно больше материалов, которые могут иметь отношение к этому делу, учесть те противоречия в источниках, которые могут быть объяснены, если допустить существование претендента...»<sup>8</sup> Но А. Л. Никитин напечатал очерк о «Невидимке» XVI века уже

<sup>7</sup> [Oderborn P.] Wunderbare, Erschreckliche, Unerhörte Geschichte und wahrhafte Historien: nemlich, Des nechst gewesenen Grossfürsten in der Moschkaw Ioan Basilidis (auff ire sprach Iwan Basilowitz genant) Leben. In drey Bücher verfast und aus dem Latein verdeutschet, durch Heinrich Räteln zu Sagan, Görlitz, 1596. Подробный русский пересказ см.: *Полосин П. И.* Социально-политическая история России XVI—начала XVII в. М., 1963, с. 204. Кроме известия Одерборна, Г. Л. Григорьев привлекал еще рассказ о походе опричников на Новгород в 1569 году Я. Ульфельда (побывавшего в России в 1575 году) и путешественника XVII века Адама Олеария (*Григорьев Г. Л.* Указ. соч., с. 88—89, прим. 37 и 38), но ни тот, ни другой ни словом не упоминают сына Соломонии Георгия; Олеарий говорил лишь о «сводном брате» (Stiefbruder) Ивана IV, под которым естественнее всего подразумевался Владимир Андреевич. Прямо говорится о Владимире Андреевиче в памятниках XVII века — Новгородской III летописи и в Новгородском хронографе, и Г. Л. Григорьев связывал это известие с сыном Соломонии лишь потому, что гибель его датирована январем 7077 (1569) или 7078 (1570) года, хотя по другим источникам смерть Владимира относится к 9 октября 1569 года (Там же, с. 90—92). С тем, что известия новгородских памятников, Ульфельда и Олеария не относятся к сыну Соломонии, соглашается теперь и А. Никитин (с. 391—392).

<sup>8</sup> *Григорьев Г. Л.* Указ. соч., с. 36—37.

в 1971 году в журнале «Знание — сила». Сходную с соображениями Г. Л. Григорьева аргументацию он дополнил еще одним предположением — о том, что сам Иван Грозный был сыном не Василия III, а фаворита Елены Глинской И. Ф. Телепнева-Оболенского. О незаконнорожденности Ивана IV свидетельствовало, по его мнению, известие публициста XVI века И. Пересветова (изложенное в виде предсказания «философов и дохтуров», адресованного Ивану IV) о том, что на юного Ивана Васильевича придет «охула от всего царства... и будут его, государя, хулити, не ведаючи его царского прирочения...» — слова эти А. Л. Никитин толковал как указание на то, что Грозного считали незаконнорожденным.<sup>9</sup>

А. Л. Никитину на страницах того же журнала ответил А. А. Зимин. А. А. Зимин показал, что наблюдения Г. Л. Григорьева и автора очерка могут быть убедительно объяснены без догадок и домыслов о сыне Соломонии, незаконнорожденности Ивана IV и опричнине как «ордене», созданном для розыска таинственного «претендента». «Брак Василия Ивановича с Соломонией продолжался более 20 лет. Детей у них не было. И вдруг почти сразу после пострижения великой княгини Соломония рождает Василию III сына! Не правда ли, похоже на чудо?... Не проще ли объяснить слух о Георгии-Юрии тем, что его распустили политические противники великого князя?» Одерборн и другие иностранцы называют родича Ивана Грозного, убитого по его приказу, «братом», по «братом» царя называли его двоюродного брата Владимира многочисленными официальными источниками; поэтому естественнее всего предположить, что речь идет об убийстве Владимира, а не неведомого сына Соломонии. Разгром Твери во время похода на Новгород объяснялся не тем (как думал Г. Л. Григорьев и А. Л. Никитин), что там скрывался таинственный претендент, а тем что в тверском Отроче монастыре находился опальный митрополит Филипп, тогда же удушенный Малютой Скуратовым, и тем, что Старцкий удел Владимира входил в состав древней Тверской земли.<sup>10</sup>

В книге А. Л. Никитин упоминает о возражениях А. А. Зимина, но несколько странным образом. Он не цитирует своего оппонента, не разбирает большинства его аргументов (именование Владимира Андреевича «государевым братом», связь Владимира Андреевича и Филиппа с Тверью). Лишь на

<sup>9</sup> *Никитин Андрей.* «Невидимка» XVI века. — *Знание — сила*, 1971, № 6, с. 47—48; ср. № 7, с. 43—46.

<sup>10</sup> *Зимин А.* Существовал ли «Невидимка» XVI в.? — *Знание — сила*, 1971, № 8, с. 47—48.

замечание по поводу страшности рождения ребенка у Соломони после двадцатилетнего бесплодия он — отвечает, что «человеческий организм таит в себе столько неожиданностей, что можно допустить и „чудо“, ссылаясь на библейскую Сарру и догадывается, что «Соломони могло помочь какое-то наконец найденное средство, действовавшее на гормональную систему, стрессовое состояние...» (с. 325—326). Разбор аргументов А. А. Зимина А. Л. Никитин заменяет беллетризованным пересказом своих бесед с покойным ученым, — пересказом, создающим впечатление, что А. А. Зимин был раздражен, смущен и даже подавлен аргументацией А. Л. Никитина (см. с. 322, 325, 379). Но А. А. Зимин, как легко убедиться из дискуссион в журнале «Знание — сила», не только не пытался «уйти от спора», но убедительно провел его, сопроводив статью А. Никитина вводными замечаниями и ответной статьей. Он начал ее с указания на то, что «каждая наука имеет свою методикку, свои „правила игры“, которым подчиняется любое исследование. Никакому химику не придет в голову ставить опыты в грязной пробирке... Есть своя методика научного поиска и у историков. В этой увлекательной науке тоже не все дозволено... Нужно прежде всего определить, что можно и что нельзя в методике исторического поиска, что такое гипотеза и что такое домисел. Напомним читателю, что гипотеза — это наиболее вероятное из возможных объяснений, догадка — просто одно из возможных истолкований, а домисел — вероятное или обоснованное предположение... Но беда некоторых исследований состоит в том, что обыкновенные догадки представляются их авторами как научные гипотезы, а на этих догадках в свою очередь возводится многоэтажное здание новых допущений... Выдвигается предположение, сопровождающееся оговорками „может быть“, „не исключено“, „логично предположить“ и т. п. В дальнейшем на него опираются так, как будто оно уже научно доказано...»

Подводя итог своим возражениям, А. А. Зимин писал, что если версия о рождении у Соломони сына Георгия «представляет собой догадку, опирающуюся только на противоречивые слухи, ходившие среди современников», то предположение «о борьбе Ивана Грозного с этим Георгием в годы опричнины является историческим миражом».<sup>11</sup>

Что же нового добавил А. Л. Никитин в книге к прежним рассуждениям? Единственный новый источник, введенный им здесь, в высшей степени сомнителен. Это фрагмент из воспоминаний ростовского краеведа-самоучки XIX века А. Я. Артынова (1813—1896), собственно-

ручно написанных им в январе 1882 года и вскоре опубликованных.<sup>12</sup> Артынов утверждал, что отдаленный предок его дяди, жившего в XVIII веке (и записавшего в 1793 году эту историю), ценовальник Сидорка Амелфов Альтин, «находясь по своей должности в Большом Московском дворце и будучи не много на веселе, под выпивши, заблудился там, зашел в безлюдную часть дворца» и услышал «громкий разговор Грозного царя с Малютой Скуратовым (написано и зачеркнуто: «в соседнем с ним покое») о князе Юрье, сыне Соломаниды Сабуровой. Грозной (переправлено из «которого царя») призывает Малюту Скуратова найти (вписано: «князя Юрья») и избавить его от него. Малюта обещал царю исполнить это в точности. И после того разговора вышел в двери, перед которыми Сидорка едва стоял жив. Малюта увидел его остановился потом ушел опять к царю, после чего (переправлено из: «вышедши от него») заключил Сидорку в темницу и там на дыбе запытал его до смерти вместе с отцом его Амелфой...»<sup>13</sup>

Едва ли можно всерьез говорить об этом рассказе как об историческом источнике. Артынов, по убедительным наблюдениям Н. Н. Воронина, посвятившего ему особую статью, «не столько собирал местные сведения, сколько сочинял, его больше пленяло собственное творчество», искать в его сочинениях «новые зерна исторических сведений — труд неблагодарный, а скорее всего безнадежный».<sup>14</sup> Явные черты сочинительства обнаруживает и приведенный А. Никитиным рассказ. Пьяный ростовский подьячий запросто проникает в столичные покои Ивана Грозного, где обсуждаются секретнейшие дела; этого единственного свидетеля тут же ловят и уничтожают, уничтожают и его отца, захватившего «проведать сына», по исто-

<sup>12</sup> ГПБ. собр. Титова, № 1585. Дата написания: «1882 года января 20 дня» принадлежит самому А. Я. Артынову. Опубликовано в кн.: ЧОИДР, 1882, кн. 1 (январь—март), отд. 5 (отд. оттиск из ЧОИДР: Воспоминания крестьянина села Угодич Ярославской губернии Ростовского уезда Александра Артынова / С предисловием А. А. Титова. М., 1882).

<sup>13</sup> Там же, л. 7—7, об. (сохраняем своеобразное правописание оригинала); ср.: ЧОИДР, 1882, кн. 1, с. 12 (в изд. ЧОИДР — небольшие поправки). А. Л. Никитин не приводит ссылки ни на рукописный, ни на печатный текст и не указывает дату написания воспоминаний.

<sup>14</sup> Воронин Н. Н. «Сказание о Руси и о вѣчьемъ Олзѣ» в рукописях А. Я. Артынова: (К истории литературных подделок начала XIX в.). — Археографический ежегодник за 1974 г. М., 1975, с. 178, 187.

<sup>11</sup> Там же, с. 46, 48.

рии все же почему-то ставится известной и выходит на свет три века спустя!

Явная вымышленность всей истории доказывается и единственной ссылкой на письменные источники, приведенной А. Я. Артыновым: «Об Амелфе ростовцах (так!) поминает Грозный в своем синодике, присланном для поминовения (вписано: «по») убитым в Соловецкой монастырь. Это можно видеть в записке князя Курбского». Ссылку эту легко проверить. В синодике опальных, помещенном в приложение к изданию «Сказаний князя Курбского» Н. Устрялова, как и в самой «Истории» Курбского, никакого упоминания об Амелфе и Сидорке Альтине нет; нет его и в соловецкой списке Синодика.<sup>15</sup> Отсутствие этих имен в Синодике отмечает и А. Л. Никитин, ссылаясь на то, что в Синодике вообще перечислено крайне ограниченное число лиц, преимущественно связанных с «новгородским делом» (с. 400), но такое отсутствие означает не только, что у нас нет никаких источников для подтверждения рассказа Артынова, но и что ссылка, данная ростовским собирателем, ложна — она такое же «собственное творчество», как и весь рассказ.

Откуда Артынов взял известие о сыне Соломонии Юрии (Георгии)? Мы можем указать один явный и другой весьма вероятный источник сочинения Артынова. Первый — это «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, которой А. Я. Артынов пользовался и даже делал из нее выписки. — там приводится рассказ Герберштейна о Соломонии и слухах о рождении у нее сына Георгия.<sup>16</sup> Второй источник — историческая хроника Н. И. Костомарова «Кудеяр», напечатанная в 1875 году в журнале «Вестник Европы», за семь лет до написания воспоминаний Артынова. В «Кудеяре» — типичном приключенческом романе — обнаруживаются почти все элементы, которые вошли в рассказ Артынова. Сделав своим героем реальное историческое лицо, сына боярского Кудеяра Тишенкова, бежавшего к крымскому хану и подготовившего набег крымцев на Москву в 1571 году, Н. И. Костомаров приписал ему романтическую биографию: Кудеяр оказывается чудесно спасшимся сыном Соломонии Георгием, Иван Грозный с помощью Малюты Скуратова и Басманова пытается уничтожить Кудеяра и т. д.<sup>17</sup> Костома-

ров, очевидно, использовал существовавшие в XIX веке легенды о разбойнике Кудеяре, но ни в одной из дошедших до нас легенд нет версии о его происхождении от Соломонии, — очевидно, это вымысел Н. И. Костомарова.<sup>18</sup> Однако Артынова рассказ Костомарова вполне мог удовлетворить как источник.

Добавив ссылку на Артынова, А. Л. Никитин вновь возвращается в книге к двум прежним аргументам. Один из них высказывался уже Г. Л. Григорьевым: в своем завещании, написанном после отмены опричнины, царь каялся в том, что в своих грехах превзошел Каина. Каин убил своего брата Авеля: не намека ли это на убийство «законного государя» — сына Соломонии? (с. 395). А. Никитин ссылается также на слова Пересветова об «охуле» на Ивана IV как на доказательство незаконнорожденности царя (с. 332—334), не замечая, что вторая догадка противоречит первой: если Иван IV не был сыном Василия III, то загадочный Георгий не приходился ему братом — здесь не было, следовательно, «каинова убийства». Но оба аргумента не убедительны и сами по себе. В завещании Грозный сравнивал себя не только с Каином, но также и с другими библейскими персонажами, в частности с Рувимом, осквернившим ложе своего отца, сойдясь с его наложницей.<sup>19</sup> Стараясь буквально истолковать и это сравнение, но не решаясь все-таки приписать Ивану IV сожителство с умершими в годы его детства Соломонией или собственной матерью Еленой, А. Никитин предполагает, что Грозный «воспользовался женой» убитого им брата и соперника Георгия (с. 396). Но сожителство с женой брата — это уже не рувимов грех! Не проще ли предположить, что в обычной для него манере гиперболизированного церковного покая-

77; кн. 6, с. 503—505, 544—546 (сп. отдельное изд.: СПб., 1896). В статье о «Кудеяре» Н. И. Костомаров отмечал «беллетристическую форму» этого сочинения и заявлял, что при нарушении «внешней правды», он верно передал общую характеристику Ивана Грозного, не причисляя легенду о Кудеяре, сыне Соломонии, к числу исторических фактов (Киевский Телеграф, 1875, № 82, с. 2). О Кудеяре Тишенкове см.: ЦГАДА, ф. 123, Крымская Посольская книга, № 14, л. 25, об.—26. Ср.: *Зимин А. А.* Опричнина Ивана Грозного. М., 1964, с. 396, 405, 452.

<sup>18</sup> Записанные в XIX веке легенды о разбойнике Кудеяре см.: *Минх А. Н.* Легенды о Кудеяре в Саратовской губернии. — Саратовский листок, 1891, № 99. Ср.: *Краснодубровский С.* На высотах Кудеяра. Легенды о Кудеяре. — Саратовский листок, 1894, № 142.

<sup>19</sup> Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951, с. 524.

<sup>15</sup> Сказания князя Курбского. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Н. Устрялова. СПб., 1842, с. 413—434; с. 90—133. Ср.: БАН, Архангельск. собр., д. 392, л. 50—57, об.

<sup>16</sup> *Карамзин Н. М.* История государства Российского. СПб., 1819, т. 7, с. 138, прим. 281. Ср.: *Воронин Н. Н.* Указ. соч., с. 176.

<sup>17</sup> *Костомаров Н.* Кудеяр. — *Вестник Европы*, 1875, т. 3, (53), кн. 5, с. 68—70.

ния<sup>20</sup> Иван IV не стремился к точности уподоблений и под «каинным убийством» скорее всего имел в виду умертвление Владимира Старидкого (считая его, как в летописи, царским «братом»)? Что касается слов «философов и дохтуров» у Пересветова, будто Ивана будут хулить, «не ведаючи его царского приращения», то речь идет вовсе не о сомнениях в рождении Ивана IV от Василия III. В следующей же фразе «философы и дохтуры» обещают, что враги Ивана IV покаются, «увидевше такую мудрость царскую, от бога приращенную», и о мудрости, «приращенной от бога», говорит и далее. Более того, в своих сочинениях Пересветов сравнивает судьбу молодого Ивана IV с судьбой греческого царя Константина (Константина XI Палеолога) и пишет, что греки, сдавшие в XV веке Царьград туркам, ведали «приращение царское» царя Константина, от меча которого, если бы его не «укоротили» изменники, не могла бы устоять вся «подсолнечная» (вселенная).<sup>21</sup> Полагает ли А. Никитин, что речь и в этом случае шла о законнорожденности Константина XI? Речь идет вовсе не о законности рождения, а о «приращении от бога», «небесном знамении», предсказании судьбы (гороскопе) юного Ивана IV, которые Пересветов считал чрезвычайно благоприятными.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Характерно, например, сравнение себя с царем-идолопоклонником Манасией (Там же, с. 208).

<sup>21</sup> Сочинения И. Пересветова / Подготовил текст А. А. Зимин; Под ред. Д. С. Лихачева. М.; Л., 1956, с. 162, 171; ср. с. 167.

<sup>22</sup> См. об этом: там же, комментарий, с. 295. Замечу, кстати, что эти комментарии А. Л. Никитин приписывает А. А. Зимину. На самом деле их составлял автор настоящей статьи (в чем нетрудно убедиться, взглянув в оглавление книги). Впрочем, я далек от того, чтобы предъявлять по этому поводу какие-либо претензии А. Л. Никитину. С моими коллегами он обошелся куда суровее. Так, он совершенно игнорировал статью крупнейшего источниковеда С. Н. Валка (*Валк С. Н. Еще о Болтинском издании Правды Русской.* — ТОДРЛ, 1976, т. 30, с. 324—330), убедительно опровергнувшего построения самого А. Л. Никитина (*Никитин А. Л. Болтинское издание Правды Русской.* — Вопросы истории, 1973, № 11, с. 54—65), и вместо этого вновь повторил уже отвергнутые С. Н. Валком вельпые обвинения в «неприязни» последнего к Болтину и Татищеву (с. 174—176). О благополучно здравствующем и работающем И. П.

Не находя никаких заслуживающих доверия источников для подтверждения легенды о сыне Соломонии — тайном сопернике Ивана Грозного, — А. Л. Никитин вслед за Г. Л. Григорьевым обращается к общим теоретическим рассуждениям. Отмечая, что смысл и причины учреждения опричнины не получили однозначного объяснения в науке, оба автора полагали, что введение опричнины «было бы вполне логичным и объяснимым, если бы действительно нужно было бы бороться с тайным врагом, предъявляющим претензии на престол».<sup>23</sup> «Я мог смело утверждать, что во всей мировой истории вряд ли найдется второе такое явление, породившее столько споров, догадок и предположений, как опричнина», — пишет А. Никитин (с. 369). Сам же он считает, что Иван IV был «вне истории», «занимаясь своими, сугубо личными делами...» (с. 353). «Избавить Ивана IV от сына Соломонии, князя Юрия...» — в этом он (цитируя Артынова) видит «смысл опричного семплетия» (с. 400).

Трудно признать это объяснение более «логичным», чем множество других, выдвигавшихся историками. Если все дело в боязни тайного заговора, то Иван IV мог с меньшим основанием бояться своего двоюродного брата Владимира Андреевича, которого он в конце концов и убил, новгородской «измены», митрополита Филиппа, влиятельных бояр и еще многих других. История тиранни с древнейших времен до XX века дает бесчисленные примеры кровавых расправ, учиненных деспотами над еще ничем себя не проявившими, но предполагаемыми врагами-заговорщиками. Главная суть опричнины и подобных ей явлений не в психопатологических склонностях тирана, а в возможности их осуществления.

Но причины возникновения опричнины — тема, выходящая за пределы данной статьи. Мы хотели бы отметить лишь, что, оснатив свою книгу ссылками на источники, аргументами и полемикой, А. Л. Никитин тем самым претендовал на то, что он предлагает читателю историческое исследование. Но исследования не получилось — перед нами, по справедливому замечанию его критика, явный «научный мираж».

Шаскольском А. Л. Никитин сообщил, что его «смерть прошла как-то незаметно для науки» и что покойный, «к сожалению, никогда не блистал талантом» (с. 130). При таком обращении А. Л. Никитина с учеными, не удостоившимися его расположения, я могу только поблагодарить его за то, что он обошел меня вниманием.

<sup>23</sup> Григорьев Г. Л. Указ. соч., с. 62.

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

С. А. Кибальник

## ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ «АРЗАМАСА»

(ПОСЛАНИЕ А. Ф. ВОЕЙКОВА «ДАШКОВУ»  
И НЕИЗВЕСТНЫЙ СТИХОТВОРНЫЙ «ПОСТСКРИПТУМ» К НЕМУ В. А. ЖУКОВСКОГО)

Среди множества ярких сатирических произведений 1810-х годов, направленных против «Беседы любителей русского слова», посланию А. Ф. Воейкова «Дашкову» принадлежит особое место. Оно было одним из звеньев в цепи событий, приведших в конечном итоге к объединению группы связанных дружескими отношениями писателей-карамзинистов в литературное общество «Арзамас», и в то же время явилось своего рода первым воплощением замысла, который немного позднее реализовался в знаменитой сатире Воейкова «Дом сумасшедших».

Текст послания печатался уже неоднократно.<sup>1</sup> Однако, поскольку в основу публикации каждый раз клался какой-нибудь один список, не во всем исправный, а автограф стихотворения неизвестен, основной текст его до сих пор неопределен. Это делает необходимым сличение всех известных нам списков послания с целью установления дефинитивного текста произведения. При указании разночтений список ЦГАЛИ, ф. 195 (арх. Вяземских), оп. 1, № 1104 (выполнен рукой В. Ф. Вяземской с позднейшим обозначением автора под текстом рукой П. А. Вяземского: «Воейкова»), будем обозначать как С1; список ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 3, № 79, — как С2; список ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 5, № 11 (воспроизведенный в «Библиотеке поэта»), — как С3; список ЦГАЛИ, ф. 2567

(арх. Ю. Г. Оксмана), оп. 2, № 27 (выполнен рукой Н. И. Гнедича), — как С4 и список ГПБ, ф. 374 (арх. С. Н. Шубинского), оп. 2, № 172, — как С5. Приведем основной текст послания, выделенный на основании этих списков, с указанием в примечаниях существенных разночтений:

А. Ф. Воейков

### ДАШКОВУ<sup>2</sup>

Дашков! хранитель бодрый<sup>3</sup> вкуса,  
Присяжный враг худых стихов  
И невредимый средь искусства!  
Когда нелепый М«ерзля»ков  
Тебе давал свои уроки,  
До непонятности высоки,  
И юный вкус твой развращал.  
Ты, как спартаец бодрый<sup>4</sup> в поле,  
Против соблазнов устоял  
И вынес чистый вкус отголе. —  
Так<sup>5</sup> из сражения герой  
Выносит щит свой лучезарный...  
Хвала тебе! надзвезднопарный.  
Слова бессильны над тобой.  
И многотрудный опыт снова!  
Увы! на место М«ерзля»кова,  
От коего ты спас свой<sup>6</sup> вкус.  
М«ило»нов послан сатанюю,  
Ему мегера вместо муз,  
Ползет то червем, то змеєю;  
Под нож и лучший друг, и брат,  
Когда годится имя в строку,<sup>7</sup>  
И стыд певцам его талант,  
И блеск, и торжество пороку.  
Но скоро спрятал от него  
Ты сердце доброе, простое.  
Презренна неприязнь его,  
А дружество презренной втрое.  
Хвала! ты сердце на руке  
К нам вынес как торжествователь.  
Но туча реет вдалеке,  
Страшнейший мчится неприятель,

<sup>1</sup> Лонгинов М. Н. Карамзинисты и славянофилы: (1807—1817). — Современник, 1857, № 3, раздел «Библиография», с. 86—88. Публикация Лонгинова была воспроизведена затем В. Н. Орловым в кн.: Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы XIX века. М.; Л., 1931, т. 1, с. 57—60. По списку ЦГАЛИ (ф. 195 (архив Вяземских), оп. 5, № 11), в ряде случаев дающему не совсем точный текст, опубликовала послание Г. В. Ермакова-Битнер: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959, с. 312—314. (Библиотека поэта, большая серия). В качестве печального курьеза упомянем также недавнюю публикацию текста послания на страницах еженедельника «Литературная Россия» (1984, № 10, 2 марта, с. 8), где оно приписано Н. И. Гнедичу.

<sup>2</sup> В С1 имеется эпиграф: «Il faut férir enfin par une taille de Satyre» («Нужно, наконец, ударить острием Сатиры» — франц.).

<sup>3</sup> В С4 добрый.

<sup>4</sup> В С4 добрый.

<sup>5</sup> В С2 как.

<sup>6</sup> В С3 и С4 твой.

<sup>7</sup> В С2 Коль имя вставить можно в строку.



На твой рассудок ополчен:  
Его хитон хитро изшвен  
Фитами, семо и овамо,  
Колпак, как пси, стоящий прямо,  
Ковыка и ерок в десной  
И книга Кормчая в другой,<sup>8</sup>  
Как щит огромный Ахиллеса.  
Рыкнул, как некий дивий зверь  
Иль адский пес на Геркулеса:  
«В славянску ересь, чадцо,<sup>9</sup> верь  
Или умри пребеззаконный!»  
Слова, столь вежливы и скромны,  
Тебя подвигнули на смех,  
Смеяться над глупцом не грех  
И острая — приятна шутка.  
Ты бритвой светлого рассудка  
Обрил<sup>10</sup> раскольника за всех  
И, поразя в чело уroda,  
Воскликнул: «О друзья, свобода!  
Воскресни, Карамзин и вкус!»  
Но тщетно мы средь восхищений  
Ждем новых от тебя творений.  
Ты спишь... проснись, любимец муз!  
И грянь! твою за правду длани  
Сторжей ополчались<sup>11</sup> к брани,  
В опале зря святую Русь.  
Смотри, как просится Грузинцев  
В Виргилии из разночинцев  
И вопит: «Я певец Петров!»  
Хвостов Распна распинает,  
Князь Шаликов девиц пугает,  
Дразня аркадских пастухов;<sup>12</sup>  
Гряхтит под книжицею<sup>13</sup> Львов,  
На слог и на руку нечистый;  
Вот, ямбов защищая честь,  
Не зная, что гекзаметр есть,  
В филиппике многоречистой<sup>14</sup>  
Кашнист рассказывает нам,  
Что в музыке Горацій сам  
Не знал ни толку, ни размеру,  
Что ухо грубо у Гомера.  
Вот здесь Альзира слезы льет:  
Ее свирепый нрав Гусманов  
Не мучит так, как перевод,  
Который сделал Карабанов.  
Шихматов ждет себе венца  
За то, что публика страдала  
И, как задач,<sup>15</sup> разрешала  
Стих за стихом сего певца;  
Станевич пишет без конца,  
А пылкий Глинка без начала.  
Скажи, Дашков! чего ты ждешь,  
Зря лютую сию годину?  
И скоро ли перо возьмешь  
И саранчу сию смятешь,  
Как вихрь сметает паутину?

Послание Воейкова «Дашкову» обычно датируется 1810-м или 1811 годом.<sup>16</sup>

<sup>8</sup> В С3 и С4 в десной.

<sup>9</sup> В С3 и С4 чадцо.

<sup>10</sup> В С4 обрил.

<sup>11</sup> В С5 ополчаясь.

<sup>12</sup> В С5 пастушков.

<sup>13</sup> В С5 книжицею.

<sup>14</sup> В С2 многоречистый.

<sup>15</sup> В С4 задачу.

<sup>16</sup> Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в., с. 312—314. М. Н. Лонги-

В действительности оно было написано в 1814 году. Это подтверждается свидетельством адресата послания Д. В. Дашкова в его письме к П. А. Вяземскому от 25 июня 1814 года: «Не знаю, прислал ли вам друг наш Воейков новое свое послание к вашему покорному слуге. Правда, он начинает с меня и меня первого дурачит, но я прощаю от всего сердца за добрые батожья, которыми наказал он многих — к несчастью, не всех — клеветов Шаховского. Явление Славенофила бесподобно. Стихи очень хороши, а при том очень живо и верно изображают отличительные черты каждого лица. Если у вас нет сего послания, то я пришлю его к вам при первом удобном случае. Смех всего полезнее на свете и удивительно как помогает сварению желудка: счастлив, кто не лишен способности смеяться!»<sup>17</sup> Нетрудно убедиться в том, что речь здесь идет именно о вышеприведенном послании, в котором автор как раз «начинает» с Дашкова («Дашков! хранитель бодрый вкуса!..»), затем представляет «явление Славенофила», т. е. А. С. Шишкова («Но туча реет вдалеке — Страшнейший мчится неприятель...») и, наконец, наказывает многих писателей из круга «Беседы» «добрыми батожьями». Сведений о каком-либо другом послании А. Ф. Воейкова к Д. В. Дашкову нет. К тому же литературная ситуация, описанная в этом послании, как нельзя лучше соответствует той, которая сложилась к середине 1814 года.

Одному из учредителей созданного в 1815 году литературного общества «Арзамас» Д. В. Дашкову принадлежат первые литературно-критические выступления против А. С. Шишкова и его сторонников. В 1810 году, перед самым открытием официальных заседаний «Беседы», Дашков опубликовал критиче-

нов датировал послание «Дашкову» 1810-ми годами (Лонгинов М. Н. Указ. соч., с. 86—88), а В. Н. Орлов приводил его текст вообще без даты (в кн.: Эпиграмма и сатира, т. 1, с. 57—60).

<sup>17</sup> Русский архив, 1866, № 3, с. 496. Дашков пишет об осмеиваемых в сатире «шишковистах» как о «клеветрах Шаховского», так как его самого в это время занимает больше всего именно Шаховской, автор напущенной комедии «Новый Стерн» и «проп-компической поэмы» «Расхищенные шубы», направленных против карамзинистов, а также, согласно принятой среди будущих «арзамасцев» точке зрения, душитель таланта В. А. Озерова. Вскоре после этого Дашков открыто выступит против Шаховского в своем «Письме к новейшему Аристофану» («Сын отечества», 1815, ч. 25, № 42). Тем не менее «явление Славенофила» в послании Воейкова, очевидно, представляет не А. А. Шаховского, а А. С. Шишкова.

скую статью<sup>18</sup> на примечания А. С. Шишкова к его переводу двух статей Ж.-Ф. Лагарпа.<sup>19</sup> Шишков ответил на нее в «присовокуплении» к «Рассуждению о красноречии священного писания», резко отстаивая свои лингвистические принципы и в свою очередь упрекая Дашкова в забвении «языка веры».<sup>20</sup> В следующем 1811 году Дашков выпустил брошюру «О легчайшем способе возражать на критики», «после которой и разгорелась „война“ между шишковистами и карамзинистами».<sup>21</sup>

1811 год — год последнего полемического выступления Дашкова в печати, направленного против А. С. Шишкова и его сторонников. Стихи «Скажи, Дашков! чего ты ждешь...» указывают на то, что послание относится ко времени спустя несколько лет после выхода на шумевшей брошюры Дашкова.<sup>22</sup>

В письме Дашкова к Вяземскому о послании Воейкова совершенно отчетливо говорится как о литературной новости: очевидно, что сам адресат послания Дашков получил его совсем недавно. Отсюда следует предположить, что оно было написано весной 1814 года. Эту датировку подтверждает и позволяет определить с еще большей точностью то обстоятельство, что в послании Воейков сатирически изображает выступление В. В. Капниста против гекзаметра:

Вот, ямбов защищая честь,  
Не зная, что гекзаметр есть,  
В филиппике многоречистой  
Капнист рассказывает нам,

<sup>18</sup> Дашков Д. В. Рассмотрение перевода двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика. — Цветник, 1810, № 11, с. 256—303; № 12, с. 404—467.

<sup>19</sup> Шишков А. С. Перевод двух статей из Лагарпа. — В кн.: Записки, издаваемые Государственным адмиралтейским департаментом: СПб., 1809, ч. 2, с. 1—XVIII, 1—162.

<sup>20</sup> Шишков А. С. Рассуждение о красноречии священного писания. СПб., 1811, с. 93—94.

<sup>21</sup> Боровкова-Майкова М. С. Вводная статья к протоколам Арзамаса. — В кн.: Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933, с. 24.

<sup>22</sup> М. Н. Лонгинов замечал в связи с этим, что «кажется, Дашков не повторил уже такой грозной филиппики, как его брошюра» (Лонгинов М. Н. Указ. соч., с. 89), а В. И. Саитов полагал, что «как бы в ответ на... послание, укоряющее Дашкова за прекращение полемики против Шишкова и его последователей», Дашковым была написана рецензия на книгу Шишкова «Прибавление к разговорам о словесности, или Возражения против возражений, сделанных на сию книгу» (Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1885, т. 2, с. 401).

Что в музыке Гораций сам  
Не знал ни толку, ни размеру,  
Что ухо грубо у Гомера.

Между тем первое публичное выступление Капниста на эту тему состоялось 10 мая 1814 года. В этот день в «Беседе любителей русского слова» состоялось заседание, на котором были «читаны... письмо г. Капниста к г. Уварову о русском экзаметре и ответ г. Уварова».<sup>23</sup> Таким образом, промежуток, в который могло быть написано послание Воейкова, сужается до середины мая—начала июня 1814 года.<sup>24</sup>

Есть основания предполагать, что непосредственным импульсом к написанию послания А. Ф. Воейкову послужило письмо к нему В. А. Жуковского от 20 февраля 1814 года. «Не заводя партий, — писал Жуковский, — мы должны быть стеснены в маленький кружок, Вяземский, Батюшков, я, ты, Уваров, Плещеев, Тургенев должны быть под одним знаменем простоты и здравого вкуса. Забыл важного и весьма важного человека: Дашкова. Обними его за меня и по-братски. Министрами просвещенный в нашей республике пусть будут Карамзин и Дмитриев».<sup>25</sup> Если это действительно так, то призыв: «Воскреси, Карамзин и вкус!» является поэтическим оформлением мыслей, высказанных Жуковским в его письме (курсив мой, — С. К.).

Сопоставление с письмом Жуковского показывает, что послание Воейкова к Дашкову явилось непосредственным откликом его на идею создания «маленького кружка... под одним знаменем простоты и здравого вкуса». Реализацией этой идеи и стало образование в октябре 1815 года нового литературного общества. Послание Воейкова к Дашкову было, таким образом, одним из существенных звеньев в цепи событий, приведших в конечном итоге к возникновению «Арзамаса».

Послание к Д. В. Дашкову было написано незадолго до начала работы Воейкова осенью 1814 года над первой

<sup>23</sup> Сып отечества, 1814, № 21, Смесь, с. 125. Круг литературных явлений, названных в послании, уже сам по себе дает нижнюю дату создания послания — не ранее 1812 года. Как свежее явление упоминается в стихотворении поэта А. Н. Грузинцева «Петрида» (1812). Расшифровку других осмеиваемых в послании произведений и писателей см. в кн.: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в., с. 682—683.

<sup>24</sup> Предположение о том, что стихи о Капнисте являются позднейшей интерполяцией, приходится исключать, так как они имеются во всех известных нам списках послания.

<sup>25</sup> Русский архив, 1900, № 9, с. 26.

редакцией его знаменитой сатиры «Дом сумасшедших». «Литературный отдел I редакции (1814—1817), — справедливо отмечает Ю. М. Лотман, — позволяет говорить о выдержанной „арзамасской“ направленности сатиры».<sup>26</sup> Таким образом, послание «Дашкову», так же как и «Дом сумасшедших» в первой редакции направленное против «Беседы любителей русского слова» и литераторов круга А. С. Шишкова, представляет собой первую попытку воплощения замысла, впоследствии реализованного в «Доме сумасшедших». Не случайно послание содержит в себе существенные переключки с первой редакцией сатиры. Из «шишковистов» в «Доме сумасшедших» помещены примерно те же лица, что и в послании «Дашкову»: П. И. Шаликов, С. Н. Глинка, Д. И. Хвостов, А. С. Шишков, Е. И. Станевич, А. Н. Грузинцев. Сходны некоторые характеристики, хотя в «Доме сумасшедших» они в основном значительно расширены. Так, необыкновенно близка к изображению А. С. Шишкова в послании его же характеристика в «Доме сумасшедших» первой редакции:

Мажет золотом сусальным  
Пресловутую фпту,

И на мебели повсюду  
Коронованное ксп,  
Староверских книжиц груды  
И в окладе пк. и пси.<sup>27</sup>

Оригинальной новацией по сравнению с посланием стало в сатире то, что объектами сатирического изображения в ней являются уже не только «шишковисты», но и «карамзинисты», в том числе и сам Воейков. Однако идея подобной новации принадлежала не самому Воейкову, а опять-таки Жуковскому.

В одном из списков послания Воейкова «Дашкову» вслед за текстом послания помещен стихотворный «Постскриптум» к этому произведению. Список этот выполнен рукой В. Ф. Вяземской и входит в рукописную «Записную книжку» П. А. Вяземского за 1813—1823 годы (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1104).<sup>28</sup> Под

<sup>26</sup> Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 832. (Библиотека поэта, большая серия).

<sup>27</sup> Цит. по: Лотман Ю. М. Сатира Воейкова «Дом сумасшедших». — В кн.: Труды по русской и славянской филологии XXI: Литературоведение. Тарту, 1973, с. 8 (Учен. зап. Тартуск. ун-та; Вып. 306).

<sup>28</sup> Из цитированного выше письма Д. В. Дашкова П. А. Вяземскому ясно, что последний, вероятно, ознакомился с посланием по списку или непосредственно по автографу, присланному Дашковым. «Если у вас нет сего послания, то я пришлю его к вам при первом

текстом послания «Дашкову» стоит позднейшее обозначение автора рукой П. А. Вяземского: «Воейкова». Аналогичная помета под «Постскриптумом» такова: «Постскриптум Жуковского». Поскольку этот стихотворный текст до настоящего времени оставался неизвестным, приведем его здесь:

Мое postscriptum, брат Дашков!  
Нельзя ли усмирить певцов  
Твою прозою целебной.  
И заглянуть с твоим пером  
В Парнасский сумасшедший дом?  
Какой-то, слышу, дух враждебный  
Поэтов так перемутил,  
Что Феб, узнав, их заключил  
В бедлам. Теперь за нумерами  
Опутанные кандалами,  
Обритые, табак жуют,  
И все, как думные, поют.  
Смотри, о горе! вот в чулане  
Сидит наш друг, певец во стане,  
И горькую микстуру пьет  
И ей в бесовском иступленьи:  
«Хвала. Микстура» вопиет.  
Вот наш Воейков в заточенье,  
Наш стихотворец — готтенот  
За то, что силой русска слога  
Преобратил, забывши бога,  
Сады Делия в огород  
И на Вергилия грозил  
Напаст с гекзаметром врасплох!  
Три сотни б насчитать я мог!  
Но видишь сам, я очутился  
В конце страницы и письма!..  
Войди! Здесь стихотворцев тьма:  
В чулане каждый, с каждым лира!  
Что здесь услышишь, запиши,  
И будет добрая сатира —  
Мы посмеемся от души!

Вяземский во всех других случаях был точен в обозначении авторов произведений, записанных В. Ф. Вяземской и другими лицами в его рукописную «Записную книжку» (1813—1823). Поэтому нет оснований полагать, что его свидетельство о том, что «Постскриптум» принадлежит Жуковскому, неточно. К тому же авторство Жуковского подтверждает также и другое обстоятельство: стихотворный «Постскриптум» существенно переключается с посланием Жуковского «К Воейкову», написанным 21 декабря 1814 года. Изображение Жуковского и Воейкова в «парнасском сумасшедшем доме» явственно напоминает положение этих лиц во время «Аполлонова страшного суда», нарисованное в послании Жуковского «К Воейкову»:

Ах! покаемся, мой друг!  
Исповедь — пол-исправленья!

удобном случае», — писал Вяземскому Дашков. Список рукой В. Ф. Вяземской, таким образом, скорее всего восходит непосредственно к автографу или к списку, сделанному Дашковым с автографа.

Мы достойны этих мук!  
 Я за ведьм, за привиденья,  
 За чертей, за мертвецов;  
 Ты ж за то, что в переводе  
 Очутился из Садов  
 Под капустой в огороде!..<sup>29</sup>

Сатирическая характеристика Воейкова, данная через комический сниженную оценку его перевода «Садов» Ж. Деллиля, в обоих стихотворениях почти идентична.<sup>30</sup> Таким образом, можно утверждать с полной уверенностью, что «Постскриптум» представляет собой неизвестное до настоящего времени стихотворное произведение В. А. Жуковского.

Местоположение «Постскриптума» в «Записной книжке» Вяземского позволяет датировать его временем между маем — началом июня 1814 года (время создания послания Воейкова «Дашкову») и 6 октября 1814 года — этой датой обозначена одна из последующих записей в этой «Записной книжке»: стихотворение Жуковского «Скажите, милые сестрицы...»

Под «враждебным духом», перемутившим всех поэтов, подразумевается А. С. Шишков. «Певцом во стане» назван сам Жуковский, автор знаменитого автобиографического стихотворения «Певец во стане русских воинов» (1812), между прочим, печатавшегося с примечаниями Д. В. Дашкова.<sup>31</sup> В стихах «И на Вергилия грозился Напасть с гекзаметром врасплох!» имеются в виду замыслы гекзаметрических переводов из Верги-

лия, осуществленные Воейковым впоследствии. Выражение «силой русска слога» пародирует высокую «славянщину», сторонником которой был Шишков. «Поют, как думные» означает, разумеется, «как думные дьяки в церкви».

Идея сатирического самоосмеяния наряду с пародийным изображением своих литературных противников, едва ли не впервые реализованная в «Постскриптуме» Жуковского, открывала новые возможности для развития русской стихотворной сатиры. На смену суровому ригоризму традиционной сатиры, восходившей еще к Н. Буало, приходила сатира, полная самопроники и дружеских улюлю. Все это найдет свое наиболее полное выражение в протоколах «Арзамаса», выполненных в духе арзамасской «галматрии», а у самого Жуковского получит развитие уже в послании «К Воейкову» от 21 декабря 1814 года.

Новонайденное стихотворение Жуковского исключительно интересно также и в том отношении, что оно содержит в себе программу стихотворной сатиры на сюжет «парнасского сумасшедшего дома». Идея «парнасского сумасшедшего дома», постепенно складывавшаяся в среде будущих «арзамасцев»,<sup>32</sup> как тема стихотворной сатиры была впервые сформулирована именно Жуковским. «Постскриптум» которого стал, таким образом, своеобразным рецептом для Воейкова, перешедшего с его помощью от традиционной сатиры типа «Дашкову» к «Дому сумасшедших». Жуковский предлагал воспользоваться идеей «парнасского сумасшедшего дома» Дашкову, однако сделал это с присущей ему в таких случаях деловитостью и быстротой Воейков. Как известно, над первой редакцией «Дома сумасшедших» поэтирик начал работать еще в 1814 году. Судя по всему, это произошло вскоре после ознакомления Воейкова со стихотворным «Постскриптумом» Жуковского к его посланию «Дашкову».

<sup>32</sup> См.: Лотман Ю. М. Указ. соч., с. 5.

М. В. Разу́мовская

## К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ В «СТАНЦИОННОМ СМОТРИТЕЛЕ»

В 1978 году были опубликованы две работы, посвященные поискам литературных параллелей к «Станционному смотрителю» А. С. Пушкина. Автор одной из них, озаглавленной ответственно и многообещающе «„Станционный смотритель“ А. С. Пушкина: переключки и

реминисценции»,<sup>1</sup> находит эти переключки и реминисценции в двух произведениях, опубликованных на русском языке

<sup>1</sup> Лагунов В. «Станционный смотритель» А. С. Пушкина: переключки и реминисценции. — В кн.: Проблемы поэти-

ке в конце 1820-х годов: в повести В. Карлгофа «Станционный смотритель» («Славянин», 1827, № 7) и в романе Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (СПб., 1829); при этом делается оговорка, что речь идет не о влиянии названных писателей на Пушкина, а о сопоставлении идейно-художественных и текстуальных особенностей произведений, о «диалоге» Пушкина с писателями-современниками.<sup>2</sup> Автор второй из упомянутых работ, Д. М. Шарыпкин,<sup>3</sup> останавливается в ней, в частности, на обнаруженной им известной близости «Станционного смотрителя» к одной из «Нравоучительных повестей» Мармонтеля.

Выводы первой из указанных статей, приходится констатировать, трудно признать вполне убедительными: едва ли можно предполагать сознательный «диалог» автора «Станционного смотрителя» с В. Карлгофом или Ф. Булгариным. Выводы, итоги и перспективы работы Д. М. Шарыпкина мы попытаемся развить и расширить.

«Станционный смотритель», законченный Пушкиным в Болдине 14 сентября 1830 года,<sup>4</sup> вошел в «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» (1831), первое из его завершенных напечатанных произведений в прозе. «Повести Белкина» явились подлинной творческой лабораторией при создании Пушкиным новой русской прозы и русского романа, и поэтому уже с момента их появления получали самые разноречивые толкования как в литературной среде, так и у читателей, вплоть до полного непонимания (вспомним хотя бы отзыв В. Г. Белинского 1835 года). Пушкину ставили в упрек мнимое отсутствие самостоятельности сюжетов и характеров; излишнюю холодность или, напротив, излишнюю насмешливость повествования; сентиментальность; пародирование привычных романтических сюжетов и приемов; непонятность или даже ненужность образа рассказчика — Ивана Петровича Белкина.

На протяжении XIX—XX столетий, вплоть до наших дней, «Повести Белкина» и, в частности, «Станционный смотритель» вызывают к себе живейший

интерес, стремление постигнуть глубину их идейного содержания, разгадать их композиционную и стилистическую сложность, понять то новое, что внес Пушкин в развитие русской прозы.<sup>5</sup>

Среди таких, иногда — взаимоисключающих, иногда — дополняющих друг друга концепций можно встретить утверждения о том, что Пушкин использует привычные ситуации сентиментальной и романтической прозы; что такое использование — всего лишь пародия, полемический подход к уже привычным шаблонам (мотивам, ситуациям, образам);<sup>6</sup> что в «Повестях Белкина» заключена своего рода пародия и на самого Пушкина;<sup>7</sup> что обращение Пушкина к известным ситуациям, образам, мотивам не имеет пародийных целей, оно нужно автору для творческого сотрудничества с читателем и должно вызывать у него определенные ассоциации;<sup>8</sup> что готовые сюжетные шаблоны наполнялись Пушкиным новым смыслом, новым содержанием.<sup>9</sup>

Стараясь понять, с какой целью обращался Пушкин к «шаблонам» септи-

<sup>5</sup> Подробный обзор и анализ этих полемических по отношению друг к другу суждений см., например, в работах: *Любович Н.* «Повести Белкина» как полемический этап в развитии пушкинской прозы. — Новый мир, 1937, № 2, с. 260—274; *Гукасова А. Г.* 1) «Повести Белкина» А. С. Пушкина. М., 1949, с. 46—57; 2) Болдинский период в творчестве А. С. Пушкина. М., 1973, с. 178—180; *Сидяков Л. С.* Художественная проза А. С. Пушкина. Рига, 1973, с. 59—71; *Макогоненко Г. П.* Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830—1833). Л., 1974, с. 104—126; *Бочаров С. Г.* Поэтика Пушкина. М., 1974, с. 127—150. См. также вступительную статью и комментарии составителя В. Э. Вацура в кн.: *Пушкин А. С.* Повести Белкина. М., 1981, с. 23—24, 360—365.

<sup>6</sup> *Акутин Ю.* Родословная «Барышник-крестьянки». — Наука и жизнь. 1978, № 3, с. 87; см. также: *Белькинд В. С.* Еще раз о «загадке» И. П. Белкина. — В кн.: Проблемы пушкиноведения: Сб. научных трудов ЛГПИ. Л., 1975, с. 58.

<sup>7</sup> См.: *Боцяновский В. Ф.* К характеристике работы Пушкина над новым романом. — В кн.: *Sertum bibliologicum* в честь... проф. А. И. Маленна. Пб., 1922, с. 183—193.

<sup>8</sup> *Прокудин С. Б.* К вопросу о повествовательной структуре «Повестей Белкина». — В кн.: По законам жанра. Тамбов, 1975, вып. 1, с. 86, 88.

<sup>9</sup> *Белькинд В. С.* Традиции и новаторство в сюжетосложении «Повестей Белкина» А. С. Пушкина. — В кн.: Русская литература. Алма-Ата, 1976, вып. 6, с. 28. См. также: *Михайлова Н. П.* О структурных особенностях «Повестей Белкина». — В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1976, с. 74.

кн. Самарканд, 1978, т. 4, с. 23—33. (Тр. Самаркандск. ун-та им. Навои. Новая серия, вып. 361). Ср.: *Виноградов В. В.* Стиль Пушкина. М., 1941, с. 468; *Турбин В. Н.* Пушкин; Гоголь; Лермонтов. М., 1978, с. 69—72.

<sup>2</sup> *Лагутов В.* Указ. соч., с. 24, 32.

<sup>3</sup> *Шарыпкин Д. М.* Пушкин и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1978, т. 8, с. 107—136.

<sup>4</sup> По датировке Пушкина (см.: *Пушкин.* Полн. собр. соч.: В 16-ти т. [М.; Л.], 1938, т. 8, кн. 2, с. 1052). В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

ментально-романтической прозы, исследователи, однако, нечасто задаются вопросом о том, а что это были за образцы, вдохновлявшие автора «Повестей Белкина». Для «Станционного смотрителя», как упоминалось выше, в этом отношении назывались повесть Карлгофа и роман Булгарина,<sup>10</sup> для «Метели» — новелла А. Марлинского из цикла «Поездка в Ревель»,<sup>11</sup> для «Барышник-крестьянки» — повесть мадам Полины Монтолье «Урок любви», перевод которой публиковался в «Вестнике Европы» в 1820 году.<sup>12</sup> И поэтому достаточно загадочно звучит в одной из работ фраза о том, что «в качестве объектов пародии угадывались не только многие произведения сентиментально-романтической школы русской и зарубежной прозы, но и...»<sup>13</sup>

Наконец, в недавних работах Л. И. Вольперт и Д. М. Шарыпкина называются некоторые произведения французской литературы XVIII века, которые могли заинтересовать Пушкина в его поисках при создании новой, реалистической прозы. Так, Л. И. Вольперт пишет не только о сюжетном сходстве между «Барышней-крестьянкой» и комедией Марииво «Игра любви и случая» (1730), на что указывал еще П. А. Катенин,<sup>14</sup> а вслед за ним — В. В. Гиппиус,<sup>15</sup> но и анализирует высокое пси-

хологическое мастерство, родящее произведения Пушкина и Марииво.<sup>16</sup> В другой ее работе устанавливается сюжетная близость «Метели» и комедии Лашоссе «Ложная антипатия» (1733).<sup>17</sup> А Д. М. Шарыпкина, широко и разнообразно рассматривая в своих последних работах восприятие творчества Мармонтеля в России<sup>18</sup> приходит к выводу относительно близости «Станционного смотрителя» к повести Мармонтеля «Лоретта». Остановимся подробнее на аргументации Д. М. Шарыпкина.

Сопоставив мнения своих предшественников, писавших, что сюжет «Станционного смотрителя» — такой банальный, шаблонный, изношенный в литературном обиходе, «такой на все тоны перепетый, в тысячах вариаций на все лады переигранный, что говорить о заимствовании его одним писателем у другого, казалось бы, совершенно не приходится», Д. М. Шарыпкина резонно замечает: «Однако никто не привел в пример ни единого произведения на этот якобы „перепетый“ сюжет, близкий „Станционному смотрителю“». Для него ближе „Бедной Лизы“ Н. М. Карамзина ничего не находилось.<sup>19</sup> Справедливо указав, что может существовать некий

<sup>10</sup> Лагутов В. Указ. соч., с. 23—33; Турбин В. Н. Указ. соч., с. 69—72.

<sup>11</sup> Боцяновский В. Ф. Указ. соч., с. 189.

<sup>12</sup> См.: Сперанский М. Н. «Барышня-крестьянка» Пушкина и «Урок любви» г-жи Монтолье: (Библиографическая справка). — В кн.: Сборник Харьковск. историко-филологического общества, 1910, т. 19, с. 125—133; ср.: Акутин Ю. Указ. соч., с. 87.

<sup>13</sup> Белькинд В. С. Традиции и новаторство в сюжетосложении «Повестей Белкина» А. С. Пушкина, с. 28. Более осторожно об этом сказано еще в 1930 году в работе Б. В. Варнеке, где говорится о необходимости «хоть приблизительно» наметить источники каждой повести, указать образчики западной повести, к которым они восходят (Варнеке Б. В. Построение повестей Белкина. — В кн.: Пушкин и его современники. Л., 1930, вып. 38—39, с. 162).

<sup>14</sup> См.: Воспоминания П. А. Катенина о Пушкине. — Лит. наследство, т. 16—18, 1934, с. 642.

<sup>15</sup> См.: Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966, с. 24—27. В. В. Гиппиус упоминает также о сюжетной близости «Барышней-крестьянки» и комедии Вольтера «Право сеньера» (1762) и пишет, что «Станционный смотритель», например, не понятен без широкой историко-литературной перспективы, вне Бомарше, Лессинга, Шиллера, вне «Бедной Лизы» Карамзина (там же, с. 18, 7).

<sup>16</sup> Вольперт Л. И. Пушкин и Марииво. (К проблеме пушкинского психологизма). — В кн.: Сравнительное изучение литературы: Сборник статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л., 1976, с. 263—269.

<sup>17</sup> Вольперт Л. И. Пушкин и Лашоссе: (о сюжетном мотиве «Метели»). — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1975. Л., 1979, с. 119—121. Ср. также ее работы: 1) Пушкин и французская комедия XVIII в. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979, т. 9, с. 168—187; 2) Пушкин и психологическая традиция во французской литературе. Таллин, 1980, с. 125—165. Отметим также любопытное текстуальное совпадение между «Гробовщиком» и одной из глав «Посмертных записок Пиквикского клуба», на которое указал Ю. Д. Левин (см.: Левин Ю. Д. Об одной параллели к «Гробовщику». — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977, с. 136—139).

<sup>18</sup> См.: Шарыпкина Д. М. 1) «Пиковая дама» и повесть Мармонтеля «Огни». — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1974, с. 139—142; 2) Радищев и роман Мармонтеля «Велизарий». — В кн.: XVIII век: Сб. 12. Л., 1977, с. 166—182; 3) Пушкин и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля.

<sup>19</sup> Шарыпкина Д. М. Пушкин и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля. с. 128. (Ср., однако, отзыв В. В. Гиппиуса, приведенный выше, о близости «Станционного смотрителя» к традициям драмы Бомарше, Лессинга, Шиллера).

«гипотетический источник», сравнение с которым позволит нам глубже понять замысел Пушкина и новаторство его произведения, исследователь в качестве «основного литературного источника»<sup>20</sup> «Станционного смотрителя» предлагает повесть Мармонтеля «Лоретта» (1765), входящую в его известный сборник «Contes moraux».

Отметив как общее сюжетное сходство двух произведений (сворачивание молодым богатым дворянином деревенской девушки, которая бежит с ним в столицу, бросив старого отца; горе отца; его поиски и попытки вернуть домой свою беглянку), так и совпадение ряда более второстепенных деталей (черты сходства в характере девушек; нечто общее в поведении молодых повес; некоторые совпадения фабульных приемов; наконец, сходные развязки обеих повестей, печальные, но не мелодраматичные), и весьма убедительно показав, с другой стороны, все различие эмоционального тона и психологической глубины двух произведений, Д. М. Шарыпкин приходит к выводу, что повесть Мармонтеля (как и «Бедная Лиза» Карамзина) — звено в литературной традиции, увенчанной «Станционным смотрителем». Пушкин, по словам исследователя, «вдохнул... живую душу» в эту старую канву, «наполнил повесть приемами реальной русской жизни, поставил социальные и моральные проблемы российской действительности, создал национальные, исторически обусловленные характеры, и перед новым реалистическим произведением померк старый литературный источник».<sup>21</sup>

С этими замечаниями Д. М. Шарыпкина следует, по-видимому, вполне согласиться. С одним уточнением. Повесть Мармонтеля будет и не единственным, и не самым ранним из произведений, с которыми можно сопоставить «Станционного смотрителя», если рассматривать его с такой точки зрения.

Попробуем остановиться на некоторых других, более ранних звеньях в этой литературной традиции.

Одним из произведений такого рода является небольшая новелла аббата Прево. Впервые интересующую нас новеллу аббат Прево опубликовал в 1739 году под названием «История, недавно случившаяся» в своем журнале «Le Pour et Contre».<sup>22</sup> Вторично она была на-

печатана издателем Дюшеном. через год после смерти писателя, в первом томе изданного в 1764 году сборника, озаглавленного «Повести, приключения и удивительные факты... собранные г-ном аббатом Прево»<sup>23</sup> под названием «История одной деревенской девушки». Под тем же заглавием она опубликована и в 35-м томе собрания сочинений Прево в тридцати девяти томах, изданного Лебланом.<sup>24</sup> Во всех трех изданиях текст повести совпадает дословно, за исключением небольшого «Введения» (о нем — ниже), отсутствующего в изданиях 1764 и 1816 годов. На русский язык новелла эта под заглавием «Приключение одной молодой деревенской девушки» была переведена в 1798 году.<sup>25</sup> В предисловии от переводчика, которое отчасти повторяет «Предуведомление» французского издания 1764 года, сказано, в частности: «Собиратель сих повестей, анекдотов и пр. есть аббат Прево, сочинитель многих отличных романов, из коих переведены на наш язык „Маркиз“, „Клеветанд“ и „Настоятель Киллеринский“, которые приняты публикою очень хорошо и читаются охотно. Почему предполагается, что и сии мелкие творения оного автора приняты будут также благосклонно, а тем самым вознаграждается уже труд переводчика».<sup>26</sup>

ческие и моральные анекдоты» (см.: Sgard J. Le «Pour et Contre» de Prévost: Introduction, tables et index. Paris, 1969, p. 116).

<sup>23</sup> Contes, aventures et faits singuliers etc. Recueillis de M. l'abbé Prévost, t. 1—2. A Londres et à Paris, 1764, t. 1, p. 45—52.

<sup>24</sup> Aventure d'une jeune fille de la campagne. — In: L'abbé Prévost. Oeuvres choisies. Paris, 1816, t. 35, p. 33—39.

<sup>25</sup> Собрание трогательных повестей, любопытных анекдотов, примечательных историй и деяний и странных приключений, в пользу и удовольствие любителей приятного и занимательного чтения, изданное на французском языке аббатом Прево: В 3-х т./Перевод. М.: В Университетской типографии, у Ридгера и Клаудия, 1798, т. 1. с. 41—49.

<sup>26</sup> Там же, с. нenum. Упомянутые в этом предисловии романы Прево — это «Мемуары знатного человека, удалившегося от света» (один из самых популярных переводных романов в России XVIII века), выходившие на русском языке в переводе И. П. Елагина и В. И. Лукина трижды (в 1756—1765, 1780 и 1793-м годах; кроме того, в 1790 году отдельно вышла составляющая их 7-й том «История Кавалера де Грие и Маноны Леско»); «Английский философ, или История Кливленда» (русский перевод С. А. Порошина издавался в 1760—1767, 1785 и 1791—1792 годах) и «Киллеринский настоятель» (перевод В. Г. Рубана, 1765—1781 годы). Отметим осве-

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же, с. 136. См. также: Петрунина Н. Н. Две «петербургские повести» Пушкина. — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982, т. 10, с. 147.

<sup>22</sup> Le Pour et Contre: Ouvrage périodique d'un goût nouveaux, 1739, t. 17, № 239, p. 28—36. Жан Стар в своем указателе к журналу Прево помещает эту повесть в разделе «Наблюдения, анекдоты, новеллы», в подразделе «Истори-

Сопоставляя «Историю одной деревенской девушки» со «Станционным смотрителем», отметим прежде всего любопытный факт введения этой истории в общее повествование аббата Прево. Его журнал «Le Pour et Contre» (1733—1740, 40 томов) главной своей целью ставил пропаганду английской культуры на континенте. Он вмещал в себя материалы самого разнообразного свойства: тут сообщалось о политических событиях, об успехах философии, наук и литературы; мы можем прочесть в журнале о характере и нравах англичан; здесь много любопытных бытовых наблюдений; часто Прево украшал свой журнал небольшими беллетристическими произведениями, переводными или своими собственными. Их-то и называют издатели «Повестей, приключений и удивительных фактов» «жемчужинами, искусно рассеянными по драгоценной ткани».<sup>27</sup>

239-й номер 17-го тома «Le Pour et Contre» открывается сообщением о том, что аббат Прево получил от неизвестного лица неодобрительное письмо, в котором последний упрекает издателя «Le Pour et Contre» за слишком вольный перевод напечатанных в предшествующих номерах английских заметок о любви, испытываемой людьми пожилого возраста. Анонимный автор не только указывает ошибки в переводе, но и горячо защищает любовное чувство, которое может овладеть пожилыми людьми, утверждая, что любовь в пожилом возрасте несет в себе столько же совершенств и добродетелей, сколько заблуждений и безумств она может вызвать в юности. Чтобы доказать свою правоту, автор письма, кратко излагаемого в журнале, приводит несколько примеров, но Прево-издатель предупреждает читателей, что он печатает только один из них.<sup>28</sup> Далее следует интересующая нас «История, недавно случившаяся», а затем заключение аббата Прево: «Боязнь ввести читателей в скуку заставляет меня прервать это письмо. Я всегда опасаясь, говоря о морали, оказаться излишне навязчивым».<sup>29</sup>

Таким образом, мы встречаем у аббата Прево тройной рассказ в рассказе. Это — мнение самого издателя «Le Pour

et Contre», излагаемое им сердитое письмо неизвестного корреспондента и рассказанная этим последним история, имеющая обличье новеллы.

Трудно сказать, является ли весь этот эпизод мистификацией аббата Прево или мы имеем дело с реальным письмом и рассказанной в нем историей: в журнале «Le Pour et Contre» можно найти как подлинные письма читателей, так и стилизации под них, необходимые издателю в силу тех или иных причин. Во всяком случае, издатель «Повестей, приключений и удивительных фактов» (опубликованных, как говорилось выше, через год после смерти писателя), располагавший, возможно, какой-то информацией, в своем «Предупреждении» говорит: «Мы не ограничились, как поначалу намеревались, лишь произведениями, которые по стилю явно принадлежат аббату Прево, хотя он и не всегда выдумывал их сюжет; взяли мы и те из них, которые он перепечатывал или переводил из других авторов».<sup>30</sup> Отметим, однако, что «История одной деревенской девушки» не входит в помещенный тут список заимствованных или переводных новелл.

Важнее другое: Прево открыто следовал практике французских романистов его времени. Собственно, в своих больших романах он и явился одним из основоположников этой манеры. Основная форма нового романа, романа XVIII столетия, — это роман от первого лица, в виде мемуаров или писем. Обращение к подобной форме диктовалось стремлением авторов к достоверности, все отчетливее осознаваемой необходимостью приблизить роман к повседневной жизни, сделать его близким читателю и по проблематике, и по сюжету, и по характеру персонажей. Роман века Просвещения стремительно овладевал реальностью. Отталкиваясь от устаревших представлений о «романе» как о вымышленном, далеком от жизни повествовании, писатели XVIII века свои произведения редко именовали «романом», а выдавали их за правдивые документы, случайно попавшие к ним — всего лишь издателем публикуемых мемуаров или писем.<sup>31</sup> Читатель также принимал такого рода игру, лишь бы выдумка романистов согласовывалась с духом времени и отвечала жизненным реальностям. Скорее всего, и аббат Прево выдал свою правоучительную новеллу о совращении деревенской девушки за историю подлинную, услышанную им от конкретного, хотя и не названного лица, себя же представив всего лишь ее публикатором.

домленность неизвестного переводчика «Собрания трогательных повестей»: «Настоятель Килеринский, нравоучительная история...» выходил на русском языке не под именем аббата Прево, а под именем маркиза д'Аржана.

<sup>27</sup> *L'abbé Prévost. Contes, aventures et faits singuliers...*, t. 1, p. III—IV.

<sup>28</sup> *Le Pour et Contre*, t. 17, № 239, p. 25—27. (Эта обрамляющая история, как отмечалось выше, имеется только в журнале Прево; при перепечатках 1764 и 1816 годов она опущена). (

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 36.

<sup>30</sup> *L'abbé Prévost. Contes, aventures et faits singuliers...*, t. 1, p. IV.

<sup>31</sup> Подробнее об этом см. в нашей работе: Становление нового романа в XVIII Франции и зачет на роман 1730-х годов. Л., 1981, с. 38—57.



А теперь обратимся к «Повестям Белкина». Первая их публикация (1831) была озаглавлена: «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.». Таким образом, и Пушкин выступает здесь всего лишь как издатель. О мнимом авторе повестей — Иване Петровиче Белкине с готовностью, любовью и известной долей печали, хотя и несколько снисходительно, рассказывает владелец села Ненарадово (в предисловии «От издателя» — этой, как теперь принято говорить, «шестой повести Белкина»). Повести Белкина «большею частью справедливы и слышаны им от разных особ. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим...» (т. 8, с. 61). «Станционный смотритель» (как отмечено в предисловии «От издателя») рассказан был Ивану Петровичу титулярным советником А. Г. Н. Так сама архитектоника «Повестей Белкина» живо напоминает нам любимый прием аббата Прево и других романистов XVIII века; здесь тот же элемент «игры», и даже образ странствующего «в мелком чине» чиновника, вместо имени которого сообщаются одни инициалы (тоже любимый прием романистов XVIII века, долженствующий еще раз подчеркнуть достоверность, подлинность публикуемого документа), чем-то сродни образу анонимного автора письма в «Le Pour et Contre». При всей несоизмеримости масштабов и психологической глубины двух произведений можно все же провести определенную параллель между новаторской прозой Пушкина и небольшой историей, рассказанной Прево, прилегающей к новаторской традиции романа XVIII века. Объединяют их и стремление изображать типическое, обычное, отнюдь не исключительное; заимствование сюжетов из самой жизни, из обыкновенной, случайно услышанной истории; поиски слога, наиболее полно выражающего сущность мысли; желание установить более тесный, чем это было принято ранее, контакт с читателем путем замены обычной повествовательной манеры от третьего лица диалогом нескольких рассказчиков.

Однако, помимо указанного выше совпадения некоторых композиционных приемов, можно отметить и некоторые черты сюжетного сходства «Истории одной деревенской девушки» и «Станционного смотрителя».

По первому впечатлению, «Станционный смотритель» и история, рассказанная Прево, не имеют почти ничего общего. У Пушкина — чиновник А. Г. Н. в 1816 году, в мае,<sup>32</sup> проезжает в \*\*\*ской губернии по тракту, «ныне уничтоженному» (т. 8, с. 98), и в непогоду попа-

дает на станцию, где и знакомится со смотрителем и его дочерью Дуней. У Прево — в трех милях от Лондона находится поместье молодого лорда Амфила, известного своим легкомысленным поведением; там-то и живет один из его арендаторов (не названный по имени), человек порядочный и работающий, с дочерью Луизой.<sup>33</sup> Смотрителя Дуня — «маленькая кокетка», она сразу замечает впечатление, производимое ею на мужчин (т. 8, с. 99), и без всяких колебаний согласна на поцелуй (т. 8, с. 99). Луиза же слыла за одну из самых милых девушек округи; все уважал ее не только за красоту, но и за скромность (с. 34). Прево краток: его новелла занимает шесть страниц. Интрига у Прево укладывается всего в несколько дней: лорд Амфил соблазняет Луизу блестящей жизнью в столице; отец пытается воспрепятствовать бегству дочери и смело корит лорда за его постыдные намерения; лорд Амфил стыдится, оправдывается, но устоять не может и увозит Луизу в Лондон. Дальнейшие судьбы отца и дочери остаются неизвестными. Как видим, по сравнению с сюжетом «Станционного смотрителя» тут есть и некоторые отличия, и определенное сходство.

Отметим далее, что, помимо общности темы «блудной дочери» и конфликта сильных и малых мира сего, произведения Пушкина и Прево роднят многие, имеющие известное значение, детали и обстоятельства. Оба отца — и смотритель, и фермер — вдовы; всю свою радость они находят в дочерях: Вырин говорит о дочери с похвалой, «с видом довольного самолюбия», он не нахвалится ее разумностью и проворством (т. 8, с. 98); он не может на нее «наглядеться», «нарадоваться» (т. 8, с. 100). У Прево фермер «видел в своей единственной дочери все свое утешение» (с. 34); Луиза составляла всю отраду его жизни (с. 36). Обе девушки — не из робких. Дуня отвечала «безо всякой робости, как девушка, видевшая свет» (т. 8, с. 99); Луиза, которой «едва исполнилось семнадцать» (с. 34), при первой встрече с лордом, хотя и приняла его «с невинным смущением», но поразила «изяществом и вежливостью, коих он не ожидал от особы ее положения» (с. 35).

Оба соблазнителя прибегают к преднамеренной хитрости: Мисский скрывается больным; лорд Амфил при первом визите скрывает свое восхищение, делает вид, что навещает отца Луизы, в дальнейшем он с осторожностью говорит о своем чувстве, рисует полную

<sup>32</sup> Отметим эту точность датировки — один из необходимых элементов «игры» как у Пушкина, так и у Прево и других романистов XVIII века.

<sup>33</sup> Aventure d'une jeune fille de la campagne. — In: L'abbé Prévost. Oeuvres choisies. Paris, 1816, t. 35, p. 33. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

блеска и радостей жизни в Лондоне; ухаживания лорда, его ловкость, приятность речей и самой личности возобладали над простым и невинным сердцем Луизы (с. 35); ей казалось невозможным, чтобы его сердце не было в согласии с его речами (с. 36). Пушкин представляет читателю самому догадываться, какая борьба происходит в душе Дуни, но не скрывает, что и она, возможно, имеет дело с опытным соблазнителем.

И Дуня (т. 8, с. 102), и Луиза (с. 36) бегут из родительского дома добровольно. Схоже описаны нравственные муки отцов, почуввавших несчастье. Вырин: «Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне» (т. 8, с. 102); смотритель был «ни жив, ни мертв» (т. 8, с. 102); в «мучительном волнении ожидал он возвращения тройки» (т. 8, с. 102). Отец Луизы, не поверив ложным обещаниям лорда, провел вечер «в смертельном беспокойстве», сердце его «разрывалось от горя» (с. 38). И Минский, и лорд Амфил предлагают отцам подарки: Вырин в горе сначала не замечает сунутого ему за обшлаг денег, а потом в досаде бросает их оземь (т. 8, с. 103); отец Луизы с благодарным негодованием отказывается от подаренной ему фермы: он считает себя глубоко оскорбленным, он не продает честь дочери, его единственной мстью будет презрение (с. 38). Оба соблазнителя прибегают к одному и тому же аргументу. Минский в крайнем замешательстве говорит Вырину: «Что сделано, того не воротить... но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово... она отвылка от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось» (т. 8, с. 103). Лорд Амфил убеждает Луизу, что «отец... будет счастлив узнать, что его дочь не разлюбят никогда и будут всю жизнь обращаться с нею, как с королевой» (с. 37).

При объяснении с Выриным Минский в замешательстве «взглянул на него быстро, вспыхнул» (т. 8, с. 103); в разговоре с фермером лорд «выдал себя тем, что покраснел и потерялся» (с. 36). Старик Вырин ничего не знает о судьбе Дуни. «Вот уже третий год — заключил он, — как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молодых дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою.<sup>34</sup> Как поду-

машь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешить, да пожелаешь ей могилы...» (т. 8, с. 105). Повесть Прево заканчивается размышлениями, похожими на это горестное, пусть и не оправдавшееся впоследствии предчувствие: «За те шесть недель, что она провела с ним, не было таких удовольствий, которых бы он не дал ей возможности вкушать; но если судить по участи других девушек, которых он обманывал, это блаженство не должно долго продолжаться; ее судьба бросит ее в поток пороков, коими полон большой город, и предсказания ее отца с неизбежностью должны оправдаться» (с. 39).

Будь Пушкин знаком с «Историей одной деревенской девушки», он, возможно, обратил бы внимание не только на ее сюжет и образы, но и на психологические переживания и коварного соблазнителя, и его невинной жертвы, и несчастного отца, в которых воплотилась механистическая детерминистская философия XVIII столетия. Пушкин же почти не касается душевного состояния Дуни и Минского, но зато так рисует их судьбу, что читатель может домыслить то, чего не сказано, но что подразумевается.

В этой связи отметим, что правоучительная повесть Мармонтеля «Лоретта» значительно превышает по объему и «Станционную смотрителя», и «Историю одной деревенской девушки»: в издании, с которым мы работали,<sup>35</sup> она занимает семьдесят восемь страниц. Обилие деталей, подробных объяснений, пестрота и разнообразие ситуаций, некоторая искусственность построения сюжета, невыдержанность общего тона повествования, несколько навязчивая правоучительность (характерная, как это следует уже из их заглавия, для всех «Contes moraux») также отличают ее от предельно сжатых, но емких повестей Пушкина и аббата Прево. Напомним, наконец, что «Лоретта» лишена той сложности и изысканности композиционного построения, которые отличают повествования Пушкина и аббата Прево и о которых говорилось выше: как и другие повести из сборника Мармонтеля, это — обыкновенный рассказ от третьего лица.

Тем не менее многие черты, обнаруженные Д. М. Шарышкиным, могут роднить «Лоретту» со «Станционным смотрителем». Мы же укажем лишь на некоторые расхождения, не отмеченные исследователем. Лоретта, в отличие от

явившейся следствием петербургской полицейско-административной практики 1830—1840-х годов (см.: Алексеев М. П. Заметки на полях. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1973. Л., 1975. с. 90—94).

<sup>35</sup> Marmontel. Contes moraux. Paris: An 9 [1801], t. 3, p. 96—173.

<sup>34</sup> М. П. Алексеев дает интересный комментарий к этой бытовой картине,

Дуни, не «кокетка», «она не имела ни малейшего представления о соблазне и пороке; воспитана она была в духе целомудрия»;<sup>36</sup> у нее был «инстинкт невинности».<sup>37</sup> Вырин терзается неизвестностью о судьбе дочери; отец Лоретты предупрежден заранее о ее бегстве.<sup>38</sup> Отец Лоретты ничуть не похож на Вырина, нежно любящего дочь: обуйанный гордыней, преисполненный чувства чести, он ревнив лишь к репутации дочери и не задумывается о ее счастье; не из любви к ней, а только из боязни бесчестия он жестоко разлучает с нею графа де Люзи;<sup>39</sup> жесток он и по отношению к дочери, угрожает ей проклятием.<sup>40</sup>

В то же время, сравнивая повести Пушкина и аббата Прево, мы находим, что ни одного из указанных различий (за исключением кокетства главной героини) в них нет.

\* \* \*

Конечно, «История одной деревенской девушки» и «Лоретта» — не единственные произведения в истории западноевропейских литератур, примыкающие к традиции, которой мог следовать автор «Станционного смотрителя». Поиск других подобных аналогий, вероятно, представят определенный интерес и для истории русской литературы. Мы же отметим, что в качестве еще одного произведения, написанного в известной мере в этой традиции, можно назвать роман Оливера Голдсмита «Векфилдский священник» (1766, написан в 1762).

Дочь пастора Примроза — Оливия, которой исполнилось восемнадцать лет, «прекрасная, как Геба»,<sup>41</sup> но преисполненная кокетства (с. 80, 18, 33), становится жертвой молодого аристократа Торнхилла, искавшего в жизни лишь наслаждений и славившегося своей приверженностью к прекрасному полу (с. 18). Старик Примроз видит в его непринужденных манерах самонадеянность, он не поощряет дружбы дочери

с неровней (с. 27); он понимает, что лоск молодого человека — только внешний, но до поры до времени мирится с заблуждением дочери (с. 35—36). Старик Вырин, как помним, поддался обаянию Минского (т. 8, с. 101); пастор Примроз словно предчувствует беду, о которой бедный смотритель и не подозревает. Тайно покидая родительский дом, Оливия «очень сильно плакала и хотела вернуться», но ее стали уговаривать, и она села в карету (с. 84). Дуня также «во всю дорогу... плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте» (т. 8, с. 102). Пастор Примроз в отчаянии, но дочь свою не упрекает, она для него — «святая невинность», которую он вел по праведному пути. Проклинает он лишь соблазителя, коварного злодея, погубившего его «дитятко» (с. 85—86). Иногда он, подобно Вырину, желает ей смерти (с. 85), но и дом свой и сердце свое он готов открыть для бедной раскаявшейся грешницы, совершившей грех по неопытности (с. 86). С посохом и Библией в руках готов он разыскивать беглянку, где бы она ни скрывалась; и если он не в силах будет спасти ее от позора, по крайней мере он, как и Вырин, не хочет дать ей погрязнуть в грехе (с. 86). Заблудшую дочь пастор называет своим «бесценным сокровищем», он готов простить ей все (с. 115). Вырин также едет в столицу, чтобы привезти домой свою «заблудшую овечку», начинает поиски и хочет только одного: «... что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню... не погубите ж ее понапрасну» (т. 8, с. 103). Финал «Векфилдского священника», подобно финалу «Станционного смотрителя», лишен мелодраматизма: история Оливии, как, по-видимому, и история Дуни, кончается браком.

Оливер Голдсмит, как известно, принадлежал к тем писателям, кто черпал свое добро там, где находил. Особенно привлекала его французская литература. Так, К. Барбье, специально изучавший этот вопрос, пишет о близости его произведений к творчеству аббата Прево, особенно отмечая сходство между «Векфилдским священником» и «Манон Леско». На основании наблюдений Ричарда Черча, одного из своих предшественников, Барбье считает, что именно Голдсмит был, скорее всего, автором английского перевода «Манон Леско», опубликованного за несколько лет до выхода в свет «Векфилдского священника».<sup>42</sup>

Первый перевод «Векфилдского священника» на французский язык, принадлежащий перу мадам де Монтессон (Montesson), появился уже в 1767 го-

<sup>36</sup> Ibid., p. 104.

<sup>37</sup> Ibid., p. 111.

<sup>38</sup> Ibid., p. 126.

<sup>39</sup> Ibid., p. 129—139.

<sup>40</sup> Ibid., p. 145. Укажем и на такое различие. Отец Лоретты — сын разорившегося дворянина; утверждение Д. М. Шарыкина, что Самсон Вырин, подобно Евгению, герою «Медного всадника», «сродни истинным, „древним“ дворянам» (Шарыкин Д. М. Пушкин и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля, с. 134), не кажется нам вполне убедительным.

<sup>41</sup> Goldsmith O. The Vicar of Wakefield / Ed. by J.-H. Plumb. London, 1961, p. 11. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

<sup>42</sup> Barbiet C.-P. Goldsmith en France au XVIII<sup>e</sup> siècle: Les «Essays» et le «Vicar of Wakefield». — RLC, 1951, № 4, p. 385.

ду,<sup>43</sup> без указания имени автора. В журнале Мельхиора Гримма и Дидро «Correspondance littéraire»<sup>44</sup> в статье от 1 мая 1767 года, возможно, написанной Дидро, содержится похвальный отзыв о романе. В другом видном литературном журнале «Année littéraire» Эли Фрерона одиннадцать страниц посвящено отзыву о переводе романа Голдсмита.<sup>45</sup> Однако до 1780 года особого интереса к этому роману во Франции не наблюдалось, если не считать театральной переделки 1775 года, предпринятой М. де Маньявилем (Magnaville).<sup>46</sup> Но с 1780 года (после публикации французскими издателями Писсо и Барруа английского текста романа) его репутация во Франции начинает неудержимо расти. Барбье называет пять изданий «Векфилдского священника» на французском языке в разных переводах с 1781-го по 1789 год (в том числе в составе известной «Bibliothèque universelle des Romans») и говорит о существовании шести или семи французских переводов романа с 1781-го по 1803 год; кроме того, с 1780-го по 1803 год было восемь изданий английского текста романа во Франции.<sup>47</sup> Много раз, как по-английски, так и по-французски, переиздавался «Векфилдский священник» и в первые десятилетия XIX века (например, в 1818, 1818—1819, 1821, 1825, 1826, 1828, 1830, 1831-м годах).

Таким образом, и во времена Пушкина «Векфилдский священник» был достаточно популярной книгой, известность которой, по крайней мере, не уступала известности «Contes moraux» Мармонтеля и превосходила известность аббата Прево, всемирная слава к кому (и то первоначально всего лишь как к автору «Манон Леско») начнет приходить только с конца XIX века.

<sup>43</sup> Le Ministre de Wakefield, histoire supposée écrite par lui-même / Traduit de l'anglais. Londres; Paris, 1767, t. 1—2.

<sup>44</sup> Комплект этого журнала в издании 1829—1831 годов сохранился в составе библиотеки Пушкина (см.: *Модзалевский В. Л.* Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание. — В кн.: *Пушкин и его современники: Материалы и исследования.* СПб., 1910, вып. 9—10, с. 214).

<sup>45</sup> Année littéraire, 1767, t. 4, 17 juin, p. 97—108.

<sup>46</sup> Отметим также, что «Лоретта» Мармонтеля многократно подвергалась театральным переделкам в XVIII веке (об этом, в частности, см.: *Versini L.* *Laclos et la tradition.* Paris, 1968, p. 81—82).

<sup>47</sup> См.: *Barbier C.-P.* Op. cit., p. 389—399. См. также: *Lambert J. et Van Bragt K.* «The Vicar of Wakefield» en langue française: Traductions et reprints dans la littérature traduite. Leuven, 1980. Эту книгу нам, к сожалению, не удалось держать в руках.

Читали ли Оливер Голдсмит и Мармонтель маленькую новеллу аббата Прево? Напомним, что она печаталась в 1739 году в журнале «Le Pour et Contre», бывшем в 1760-е годы достаточно популярной литературной редкостью, и переиздавалась в 1764 году в сборнике мелких сочинений Прево; «Лоретта» впервые опубликована в 1765 году в составе нового, дополненного издания «Contes moraux»,<sup>48</sup> а «Векфилдский священник», написанный в 1762 году, был напечатан только в 1766 году.

Об интересе Голдсмита к творчеству Прево говорилось выше, хотя его знакомство с «Историей одной деревенской девушки» и требует, по-видимому, дополнительных доказательств, помимо некоторой общности сюжетов двух произведений, указанной нами. Отметим, однако, что перемичивая творческая натура Голдсмита не раз питалась литературными источниками со стороны. Так, другое его крупнейшее сочинение — роман-трактат «Гражданин мира, или Письма китайского философа» (1762) — написано во многом под влиянием и с использованием фактов, мыслей и отдельных композиционных приемов романа маркиза д'Аржана «Китайские письма» (1739—1740).

Что же касается Мармонтеля, то он, несомненно, должен был быть большим знатоком произведений аббата Прево. Исследователи не раз высказывали мнение о зависимости его творчества от творчества Прево.<sup>49</sup> Правда, имя аббата Прево не упомянуто Мармонтелем ни в «Мемуарах», ни в «Мемуарах отца в написание детям»,<sup>50</sup> где большое внимание уделено вопросам литературы и тем пи-

<sup>48</sup> Отдельные повести Мармонтеля первоначально печатались в «Mercure de France»; в 1761 году он объединил их в сборник «Contes moraux», который в течение 1760-х годов многократно переиздавался, в том числе и самим автором, с добавлением новых повестей. Только по данным каталогов ГПБ, БАН и Парижской Национальной библиотек (в каждой из них сохранились далеко не все издания «Contes moraux») мы считали пять изданий в 1761 году, три — в 1763 году, два — в 1765 году, три — в 1766 году, и т. д. Повесть «Лоретта» впервые появляется в издании с выходными данными: Paris, 1765 (цензурное разрешение — от 14 декабря 1764 года).

<sup>49</sup> См., например: *Etienne S.* Le Genre romanesque en France depuis l'apparition de «La Nouvelle Héloïse» jusqu'aux approches de la Révolution. Paris, 1922, p. 91—98, 135—180, 303—329.

<sup>50</sup> Mémoires de Marmontel / Publiés par Maurice Tourneux. Paris, 1891, t. 1—3; *Marmontel.* Mémoires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfants. Paris, 1804, t. 1—4.

сателям, кто оказал воздействие на формирование мировоззрения будущего автора «Велизария» и «Инков». Но это можно объяснить близостью Мармонтеля к кругу энциклопедистов, которые, в силу целого ряда причин, сдержанно относились к творчеству аббата Прево, хотя и не вступали в прямую полемику с ним.<sup>51</sup> Тем не менее сопоставление «Лоретты» и «Истории одной деревенской девушки» свидетельствует, как нам представляется, о хорошем знакомстве Мармонтеля с этой новеллой Прево (только что переизданной в собрании его мелких сочинений), которую он пересказал далеко не так лапидарно, приукрасив деталями, сюжетными отклонениями, нравственными рассуждениями, в духе утвердившегося во Франции чувствительного направления, придав ей завершенность, более или менее счастливый финал и моральную нравоучительность, которой ей, как ему, по-видимому, казалось, не хватало.

\* \* \*

Читал ли Пушкин новеллу Прево, повесть Мармонтеля, роман Голдсмита?

Наиболее просто как будто дело обстоит с повестью Мармонтеля: его творчество, несомненно, было хорошо известно Пушкину. Разыскания Д. М. Шарыпкина, посвященные теме «Пушкин и Мармонтель», еще раз подтвердили это, выявив всю тонкость и обдуманность упоминаний имени Мармонтеля в «Евгении Онегине».<sup>52</sup> Вполне убедительно и утверждение исследователя, что повесть «Лоретта» входила в круг произведений мировой литературы, о которых мог вспоминать Пушкин, приступая к работе над «Повестями Белкина».

Несколько сложнее судить об отношении Пушкина к творчеству аббата Прево и Оливера Голдсмита. Ни имен этих писателей, ни намеков на чтение их произведений у Пушкина не обнаружено. Книг их в его библиотеке также не сохранилось.<sup>53</sup> Трудно, однако, на одних этих основаниях утверждать, что Пушкин не был знаком с их творчеством. Скорее, дело обстоит наоборот.

В пользу такого предположения свидетельствует как проведенное нами сравнение «Станционного смотрителя» с их произведениями, так и достаточно большая известность этих писателей в первой трети XIX века, хотя, повторяем, всемирная слава «Манон Леско» и ее создателя была еще впереди.<sup>54</sup> Существуют, бесспорно, какие-то нити, связывающие «Историю одной деревенской девушки» с «Манон Леско». Во всяком случае, публикуя в 1739 году свою маленькую новеллу, повествующую о горестной судьбе наивной девушки, гибнущей в безнравственном мире соблазнов большого города, Прево, вероятно, снова и снова задумывался над этим своим романом (опубликован в 1731 году). — Одним из наиболее пострадавших из его произведений. Возможно, задумывался над этим романом и создатель «Станционного смотрителя». Наконец, отметим, что именно во французском переводе аббата Прево читал Пушкин в Михайловском в 1824 году «Клариссу Гарлоу» Ричардсона, книгу из библиотеки Тригорского, а следы этого чтения отразились позднее, как установил Ю. М. Лотман, в «Романе в письмах».<sup>55</sup> Точно так же едва ли прошел Пушкин и мимо романа Голдсмита, который, по словам Теккерея, «проник в каждый замок и каждую хижину по всей Европе».<sup>56</sup>

Параллели, подобные проведенным нами, между прозой зрелого Пушкина и прозой эпохи Просвещения<sup>57</sup> могут, ду-

<sup>54</sup> Роман Голдсмита переводился на русский язык: Вакефильдский священник, история. Аглинское соч. г. Гольдсмита / Пер. с фр. Николай Страхов. М., 1786. О русских переводах «Лоретты» подробно пишет Д. М. Шарыпкин; русский перевод новеллы Прево упомянут выше. В отличие от Д. М. Шарыпкина мы, однако, не склонны считать, что эти довольно случайные русские переводы могли иметь значение для Пушкина.

<sup>55</sup> См.: *Модзалевский В. Л.* Поездка в село Тригорское. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1903, вып. 1, с. 26—27; *Лотман Ю. М.* Три заметки к пушкинским текстам. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977, с. 88—89.

<sup>56</sup> Цит. по: *Кагарлицкий Ю. И.* Предисловие. — В кн.: Гольдсмит О. Векфильдский священник. М., 1959, с. 6. Напомним также, что «Векфильдский священник» перепечатывался в составе многотомной «Bibliothèque universelle des Romans», издания, сохранившегося в библиотеке А. С. Пушкина (см.: *Модзалевский В. Л.* Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание, с. 171). Сохранился в ней и тот том этого издания (февраль 1783 года), где перепечатан роман аббата Прево «История одной современной гречанки».

<sup>57</sup> Об этом говорится также в нашей работе: К вопросу о литературных ана-

<sup>51</sup> Однако Вольтер, например, высоко ценил его произведения и очень дорожил отзывами о себе на страницах журнала «Le Pour et Contre».

<sup>52</sup> См.: *Шарыпкин Д. М.* Пушкин и «Нравоучительные рассказы» Мармонтеля, с. 107—127. См. также: *Сиповский В. В.* Очерки из истории русского романа. СПб., 1909, т. 1, вып. 1, с. 406—413, 494—497; СПб., 1910, т. 1, вып. 2, с. 67—78, 332—344, 542—546.

<sup>53</sup> См.: *Модзалевский В. Л.* Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание; *Модзалевский Л.* Библиотека Пушкина: Новые материалы. — В кн.: Лит. наследство, т. 16—18, с. 985—1024.

мается, способствовать пониманию того принципиально нового отношения к стилю и к роману, которое переживал и хотел воплотить Пушкин в 1830-е годы, уточнить наши представления о его восприятии французского романа XVIII столетия и, шире, европейского романа века Просвещения; но это выходит за рамки настоящей работы.

Что же касается темы данной статьи, то из всего сказанного выше допустимо, по-видимому, сделать такой вывод.

Некоторые совпадения сюжета «Станционного зрителя» с сюжетами новеллы аббата Прево и романа Оливера Голдсмита, а также некоторое сходство

логиях «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Русская литература, 1981, № 1, с. 167—169.

характеров действующих лиц и мотивов их поступков могут быть, конечно, и совершенно случайными, как случайными могут быть и соответствующие совпадения между «Станционным зрителем» и «Лореттой» Мармонтеля, указанные Д. М. Шарыпкиным. Могут, а скорее, и должны найтись и другие подобные параллели. И главное не в том, прибегал ли Пушкин, работая над повестью, к одному из этих произведений, или сразу к нескольким, или не прибегал ни к одному. Но исследование «Станционного зрителя», как и всех «Повестей Белкина», в указанном направлении ставит повесть Пушкина в рамки определенной литературной традиции, что, в свою очередь, должно помочь понять в полной мере ее оригинальность, глубину, своеобразие и новаторство.

Т. И. Краснобородько, Л. П. Лобанова

## НА ПУТИ К «СОВРЕМЕННОМУ» \*

### 1

11 апреля 1836 года вышел первый том литературного журнала «Современник», издаваемого Александром Пушкиным». Это был собственный журнал, мысль о котором Пушкин лелеял более 10 лет, горячо обсуждал ее со своими литературными единомышленниками и настойчиво добивался осуществления своего журнального замысла. Долгим оказался путь Пушкина к своему журналу. Не раз, бывало, дело казалось почти решенным, но... «Журнал нам, как клад, не дается... — писал П. А. Вяземский В. А. Жуковскому в декабре 1832 года, когда стало ясно, что намерение Пушкина издавать газету «Дневник», столь близкое к осуществлению, оставлено. — И мы опять без журнала».<sup>1</sup>

Приведенное свидетельство важно для нас прежде всего потому, что принадлежит П. А. Вяземскому: именно он в разное время окажется самым заинтересованным собеседником Пушкина в обсуждении его журнальных планов.

Сама идея журнала относилась еще к арзамасским временам, но ощущение острой потребности в нем возникло у Пушкина и Вяземского позднее. О собственном журнале они начинают говорить постоянно с середины 1820-х годов. вовлекают в обсуждение А. А. Бестужева, К. Ф. Рыльева, П. А. Катеннина.

Прислушаемся к этому разговору.

7 июня 1824 года, Пушкин — Вяземскому:

«То, что ты говоришь насчет журнала, давно уже бродит у меня в голове».<sup>2</sup>

19 февраля 1825 года, Пушкин — Вяземскому:

«Прочие журналы все получаю — и более чем когда-нибудь чувствую необходимость какой-нибудь *Edimboorg review*» (с. 144—145).

10 августа 1825 года, Пушкин — Вяземскому:

«Когда-то мы возьмемся за журнал! мочи нет хочется...» (с. 205).

18 ноября 1825 года, Вяземский — Бестужеву:

«Мне сказывали, что вы свой альманах обращаете в журнал, и я порадовался. Кто о чем, а я все время бреду о хорошем журнале».<sup>3</sup>

30 ноября 1825 года, Пушкин — Бестужеву:

«Ты едешь в Москву; поговори там с Вяземским об журнале; он сам чувствует в нем необходимость — а дело было бы чудно-хорошо» (с. 244).

Первая половина февраля 1826 года. Пушкин — Катеннину:

<sup>2</sup> Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.] 1937, т. 13, с. 96. Далее ссылки на это издание — в тексте, без указания данного тома.

<sup>3</sup> Русская старина, 1889, № 2, с. 321.

\* Разделы 1 и 3 написаны Т. И. Краснобородько, раздел 2 — Л. П. Лобановой.

<sup>1</sup> Русский архив, 1900, кн. 1, № 3, с. 365.

«Вместо альманаха не затеять ли нам журнала в роде Edinburg Review? Голос истинной критики необходим у нас...» (с. 261).

27 мая 1826 года, Пушкин — Вяземскому:

«Пора бы нам отослать и Булгарина, и Благонамеренного, и Полевого, друга нашего. Теперь не до того, а ей богу, когда-нибудь примусь за журнал. Жаль мне, что с Катениным ты никак не ладишь. А для журнала — он находка» (с. 279).

Итак, все участники разговора сходятся на одном: журнал необходим. Он должен объединить разрозненные силы, стать литературной, эстетической, общественной трибуной для «аристокраций пишущих талантов», формирующих литературный вкус и общественное мнение. Журнал должен положить конец альманахам, которые в руках предпринимчивых «альманашников» стали не литературным, а коммерческим предприятием. Вот почему слух о журнальных планах издателей «Полярной звезды» так по душе Пушкину и Вяземскому. В этом они их союзники.

Пушкин даже размышляет о форме будущего издания. Ни один из русских журналов его не устраивает. Мысль его обращается к английским «Обозрениям». «Edinburg Review» и «Quarterly Review», основанные в самом начале XIX века, являлись лучшими английскими журналами. Среди их сотрудников — Вальтер Скотт, виднейшие английские писатели, журналисты, государственные деятели. Это были «квартильщики», состоявшие только из критических разборов и рецензий на книги и другие издания. Вскоре «Обозрения» приобрели общеевропейскую известность и влияние и, по общему мнению, были признаны высшей критической инстанцией своей эпохи.

О журнале подобного типа размышляет в это время Пушкин. Его волнует состояние русской критики. В конце мая — начале июня 1825 года он пишет Бестужеву письмо с подробным разбором его статьи «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов». Пушкин горячо спорит с тезисом Бестужева «У нас есть критика, а нет литературы»: «Где же ты это нашёл? именно критики у нас и недостает... Мы не имеем ни единого комментария, ни единой критической книги... Что же ты называешь критикой?» (с. 177—178).

Только журнал, по мнению Пушкина, может «забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление» (с. 261—262). Поэтому он и приглашает к разговору о критическом журнале писателей, достойных создать национальную критику — Вяземского, Бестужева, Катенина.

Итак, журнал необходим, но возможен ли он сейчас, в 1824—1825 годах? Нет. И все они хорошо понимают, что

это пока только разговоры о журнале. Вяземский — в Москве, Пушкин — в Михайловской ссылке, Бестужев и Рылеев — в Петербурге, Катенин, высланный из столицы в 1822 году, — в своем костромском имении. «... Мы все прокляты и рассеяны по лицу земли — между нами сношения затруднительны, пет единогодушья; золотое *кстаги* поминутно от нас выскользает... Ничего легче б не было, если б мы были вместе и печатали бы завтра, что решили бы за ужином вчера... Нет, душа моя Асмодей, — заключает Пушкин, — отложим попечение, далеко кулику до Петрова дня — а еще дале бабушке до Юрьева дня» (с. 96—97).

«Давно бродит в голове», «мочи нет хочется», «все время брежу о хорошем журнале», «дело было бы чудно-хорошо»... Это тоска по настоящему журналу, обостреннейшая потребность в нем — и трезвое сознание, что нет возможности для осуществления планов. А в первое время после декабрьских событий и «не до того».

Осенью 1826 года Пушкин и Вяземский, наконец, вместе, в Москве. Вот она, столь желанная возможность: журнал, о котором они недавно только говорили, можно осуществлять. Но Вяземский «закабалил» себя «Московскому телеграфу», вдохновителем которого он был в 1825 году, и в эту «кабалу», по его собственному признанию, «втесся и вьелся... всеми помыслениями и всем телом».<sup>4</sup> А Пушкин все свои надежды связывает с «Московским вестником», который должен выходить с 1827 года под редакцией М. П. Погодина, и рассматривает статью «хозяином» нового журнала.

Жуковский сетует, что Вяземский и Пушкин «розно», и советует им «выступить на сцену» вдвоем, в одном журнале.<sup>5</sup> Впрочем, эта мысль мучает и их самих. «Я ничего не говорил тебе о твоем решительном намерении соединиться с Полевым, а ей богу — грустно. Итак никогда порядочные литераторы вместе у нас ничего не произведут! всё в одиночку... — пишет Пушкин Вяземскому в ноябре 1826 года. — Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно» (с. 304). «... Конечно, досадно, что мы не соединены с Пушкиным и Баратынским, — признается Жуковскому Вяземский. — Да с Пушкиным никак не сговоришься...»<sup>6</sup>

Они рядом, но в разных журналах, и разговор об общем издании не получается. Не «сговориться»...

<sup>4</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1878, т. 1, с. XLVIII.

<sup>5</sup> См.: Лит. наследство, 1952, т. 58, с. 59.

<sup>6</sup> Там же, с. 64.

Однако ни журнал Погодина, ни журнал Полевого не стали органами писателей пушкинского круга. Завладеть «Московским вестником» Пушкину не удалось. Расстроились и отношения Вяземского с Полевым, он охладел к «Московскому телеграфу», и к концу 1827 года стало ясно, что из журнала он уйдет. Но Вяземский рожден для журнальной работы, ему «другой стези... на действительные пет, кроме литературной или даже журнальной».<sup>7</sup> Он еще не расстался с «Московским телеграфом», а мысль о новом журнале уже не дает ему покоя. В ноябре 1827 года у Вяземского почти готов его план, и он энергично принимается за осуществление этого замысла.

8 ноября, Жуковскому:

«Радуюсь, что мой „Современник“ пришел тебе на вкус; но жалею, что мои современники мне не под стать. Кому же, как не тебе, быть главою такого предприятия? По крайней мере, Пушкину. Мне, пожалуй, и откажут в позволении издавать журнал. Вас посоветятся...»<sup>8</sup>

12 ноября, А. И. Тургеневу:

«Я хотел бы, кроме журнала, издавать „Современник“ по третьим года, соединяющий качества „Quarterly Review“ и „Annuaire historique“. Я пустил это предложение в Петербург к Жуковскому, Пушкину, Дашкову. Не знаю, что будет...»<sup>9</sup>

22 ноября, Пушкину:

«Что наш *Современник* пойдет ли со временем?» (с. 348).

30 ноября, Жуковскому:

«На будущий год не хочу более постоянно участвовать в Телеграфе, а если Современник и не пойдет в ход, так стану по временам выпускать книжки со всякою всячиною. Журнальная работа хороша при другой цензуре, а теперь нет возможности».<sup>10</sup>

Кажется, на этот раз замысел Вяземского может осуществиться. У будущего журнала уже есть название; определены его периодичность («квартальник») и форма (это должно быть издание типа известных нам критических «Обзрений» и французских исторических ежегодников). Вяземский уговаривает Жуковского, который в последнее время целиком посвятил себя педагогической деятельности, вернуться в литературу. В переписке с Пушкиным «Современник» назван уже «нашим».

В январе 1828 года Вяземский собирается приехать в Петербург и в деталях обсудить новое издание. Заметим, однако, что в ноябрьских письмах 1827 года звучат нотки сомнения в успехе предприятия: страшит цензура; есть и другие опасения, о чем Вяземский говорит А. И. Тургеневу, почти не скрывая раздражения: «Но вряд пойдет дело па лад: у нас, в цехе авторском, или деятельные дураки, или бездейственные умники».<sup>11</sup>

Предчувствие не обмануло Вяземского. В 1828 году «Современник» действительно «не пошел». Этот год вообще оказался сложным и для Пушкина, и для Вяземского. С 1827 года тянулось следствие по поводу стихотворения Пушкина «Андре Шенье». В начале апреля оба, и Пушкин, и Вяземский, подавали прошение о назначении в действующую армию, на театр русско-турецких военных действий. Обоим было отказано.

Летом 1828 года началось следствие по делу о поэме Пушкина «Гаврииллада», в это же время в III отделение стали поступать доносы на Вяземского. Его обвиняли «в развратной жизни, недостойной образованного человека», и в намерении издавать в Москве «под чужим именем» политическую газету «Утренний листок».<sup>12</sup> Вяземский вынужден был оправдываться письменно перед московским генерал-губернатором кн. Д. В. Голицыным, Бенкендорфом, Николаем I.

В начале 1829 года Вяземский в Москве, он заканчивает «Мую исповедь» и вместе с письмом отправляет ее через Жуковского Николаю I.

В феврале он уже в Мещерском — саратовском имении П. А. Кологривова, отчима жены Вяземского. «... Опять в деревне с своими, опять с планами постоянных занятий и опять с тайным предчувствием, что планы останутся планами».<sup>13</sup> Идея своего журнала не покидает Вяземского, он продолжает ее вынашивать и будоражить ею своих друзей.

23 февраля 1829 года, Пушкину:

«Пиши сюда, не давай нищим, не давай стихов альманашикам, а пиши к нам бедным заключенным... Мы хотели... с Баратынским издать к маю нечто альманашное, периодическое. Ведь и ты пойдешь с нами» (т. 14, с. 40).

<sup>11</sup> Остафьевский архив, т. 3, с. 166.

<sup>12</sup> Подробно об этом см.: Вяземский П. А. Записные книжки: 1813—1848. М., 1963, с. 308—330; Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. 3-е изд. Л., 1925, с. 80—93.

<sup>13</sup> Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским: 1814—1833 годы. Пг., 1921, т. 1, с. 75 (Архив братьев Тургеневых, вып. 6).

<sup>7</sup> Русский архив, 1884, кн. 2, № 4, с. 405.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1889, т. 3, с. 166.

<sup>10</sup> Русский архив, 1900, кн. 1, № 2, с. 194.



1 марта, А. П. Тургеневу:

«Нужды нет, что я уже не участвую в журнале, давай мне материалов; тем более, что мы хотим с Баратынским издать род литературных современных записок, или трудов наших, не в виде журнала, не в виде альманаха, а так, как бог приведет. Что напишется у нас в три, четыре месяца, соберем и тиснем».<sup>14</sup>

18 марта—1 апреля, Баратынский — Вяземскому:

«Я не отказываюсь от мысли что-нибудь выдать вместе с Вами: у меня набралось несколько стихотворных пьес, есть кое-что и в прозе. Пишите со своей стороны, а ежели бог даст в мае увидимся, то и увидим, какое сделать употребление из наших матерьялов».<sup>15</sup>

Как видим, от замысла, о котором пишет Вяземский Пушкину, Баратынскому, А. Тургеневу, тянутся нити к неосуществленному в 1828 году «Современнику»: не альманах, не журнал, «род литературных современных записок», выходящих через три-четыре месяца, — «нечто периодическое».

Несмотря на обрушившиеся неприятности, Вяземский еще до отъезда в Мещерское успел предварительно переговорить о будущем издании с Баратынским, который должен стать одним из ближайших его помощников в осуществлении этого замысла.

## 2

Но теперь, в начале 1829 года, Вяземский и Баратынский, находясь на подозрении у правительства, не могли рассчитывать на разрешение быть издателями журнала. Да и жизнь складывалась таким образом, что о конкретном воплощении этой идеи, казалось, нечего было и думать. Поэтому до сих пор считалось, что 1828—1829 годы — «глухое» время, когда Вяземский, только пишет о журнале, но ничего не предпринимает для его осуществления. Эта точка зрения была принята в течение многих лет, и ее неизменно придерживались при изучении творческой биографии Вяземского и истории журналистики того времени.

Но действительно ли бездействовал Вяземский? Здесь нам нужно обратить особое внимание на статью Ю. Г. Оксмана «„Современник“ (Неизданный журнал В. В. Измайлова). (По неопубликованным материалам)».<sup>16</sup> Начало «Дела о дозволении» этого журнала помечено 9 августа 1829 года.

Сразу возникает вопрос: имеет ли журнал какое-нибудь отношение к за-

мыслу Вяземского? Ю. Г. Оксман категорически отрицал всякую связь между самим заголовком — «Современник» — и будущим одноименным органом Пушкина. Тем самым «Современник» Измайлова исключался не только из предыстории пушкинского издания, но и из журнальных замыслов Вяземского.

Попробуем все же разобраться, действительно ли случайно журнал Измайлова был назван именно таким образом.

Существует письмо, написанное Ф. Н. Глинкой и адресованное В. В. Измайлову, где Глинка сообщал: «... С чувством принимаю участие в известии о новом издании, которое Вы предпринимаете с такими почтенными сотрудниками — [кн. П. А.] Вяземским и любезным Баратынским...»<sup>17</sup> Из письма же выясняется, что издание, о котором идет речь, — журнал. Таким образом, в уже привычный ряд: Вяземский — Баратынский — издание журнала включается новое имя — В. В. Измайлов. Когда же это произошло? Глинкою проставлены число и месяц написания письма — 10 декабря, но не указан год. В. Э. Вацуро в книге об истории создания альманаха «Северные цветы» датирует его 1826 годом.<sup>18</sup> Но это неверно. Дело в том, что в конце письма есть фраза, не имеющая на первый взгляд отношения к нашему сюжету: «Поздравляю Вас с получением паки ценсорства».<sup>19</sup> Измайлов начал служить в Московском цензурном комитете в качестве цензора с осени 1827 года. В апреле 1828 года Комитет был реорганизован, прежние цензоры должны были быть уволены. Но Измайлов был вновь («паки») утвержден в своей должности 3 октября того же года, и с этим-то новым утверждением и поздравлял его Глинка в письме от 10 декабря.

Итак, письмо относится к 1828 году. Теперь мы имеем серьезные основания предположить, что, несмотря на очень трудный период в жизни, Вяземский все же пытается спасти свой замысел. В это время у него возникает план: пригласить в качестве издателя третье, постороннее лицо, а самому быть настоящим хозяином журнала. Этим третьим лицом становится В. В. Измайлов.

Как видно из письма Глинки, к осени переговоры о журнале были на стадии окончательного решения, так как Измайлов (в несохранившемся письме от 17 октября) уже предлагает Глинке участие и тот соглашается.

То, что Вяземский остановил свой выбор именно на Измайлове, не было случайностью. Поэт, переводчик, знаток

<sup>17</sup> Московское обозрение, 1877, т. 2, № 16, с. 423—424.

<sup>18</sup> Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига—Пушкина. М., 1978, с. 102, 262.

<sup>19</sup> Московское обозрение, 1877, т. 2, № 16, с. 424.

<sup>14</sup> Там же, с. 76.

<sup>15</sup> Лит. наследство, т. 58, с. 88.

<sup>16</sup> Современник, 1925, кн. 1, с. 298—303.

латинского, греческого и европейских языков, Измайлов пробовал свои силы на разных поприщах. В 1814 году он издавал и редактировал журнал «Вестник Европы», на страницах которого впервые опубликовал стихи лицейстов Пушкина, А. А. Дельвига, А. Д. Илличевского и продолжал их печатать в следующем, 1815 году в своем альманахе «Российский Музеум». В 1820 году он издал шеститомное собрание своих «Переводов в прозе» и на несколько лет ушел со сцены. К литературной деятельности Измайлов вновь вернулся в 1826 году. Он стал собирать материалы для своего нового альманаха «Литературный Музеум», вышедшего в 1827 году. Готовя альманах, Измайлов обратился с просьбой к Вяземскому принять участие в нем; тот с готовностью откликнулся.

Сотрудничество с Измайловым в «Литературном Музеуме», видимо, и привело Вяземского к окончательному решению пригласить этого опытного литератора в качестве издателя журнала. К тому же разрешение на журнал мог получить человек, политически нейтральный и «благонамеренный», каким и был Измайлов. Кроме того, как мы уже говорили, с осени 1827 года он состоял на службе в Московском цензурном комитете в должности цензора, что могло существенно облегчить получение разрешения на журнал.

Но было еще одно важное обстоятельство, сыгравшее решающую роль при выборе Вяземского: он очень высоко ценил профессиональную порядочность и добросовестность Измайлова. Уже после его смерти Вяземский писал об этом И. И. Дмитриеву: «При нынешнем упадке нравственном нашего литералитета, должно выставить в пример и в притыжение имена литераторов честных, добросовестных и чистых. Покойник принадлежал к сему числу... из жизни его научись уважать занятия литературные и облагораживать свои способности».<sup>20</sup> Поэтому в век литературной и журнальной коммерции имя Измайлова для Вяземского и его единомышленников было символическим.

О дальнейших событиях мы узнаем еще из одного письма Ф. Н. Глинки к В. В. Измайлову: «Между прочим я узнал и о причине, по которой отложено издание *нового журнала*. Вы правы: без кн. Вяземского нельзя пускаться на предприятие отважное».<sup>21</sup>

Если допустить, что письмо в самом деле написано в 1827 году, то неясно, о каком журнале идет речь; ведь в течение всего 1827 года Измайлов усиленно готовил второй выпуск «Литературного Музеума» на 1828 год. Кроме того,

в начале 1827 года Вяземский был прочно связан с «Московским телеграфом» и не имел никаких намерений что-либо издавать совместно с Измайловым. Эти рассуждения общего характера подтверждаются конкретными фактами, заключенными в самом письме. Глинка пишет, что он прочел «Станцию» Вяземского в альманахе «Подснежник», который вышел 4 апреля 1829 года. Далее Глинка упоминает о своей статье, отданной Измайловым в журнал «Галатея», который стал издаваться с 1829 года.

Следовательно, это письмо Глинки написано не в 1827 году, а в 1829-м. «Отважным предприятием» могло быть только издание журнала, о котором шла речь в первом письме Глинки (от 10 декабря 1828 года). Оно откладывалось, и причиной тому было отсутствие Вяземского. С февраля 1829 года Вяземский находился в далеком Мещерском. Он не мог принять непосредственного участия в издании журнала, и Измайлов был в нерешительности. Он был стар и болен (ему осталось всего около двух лет жизни); тяжелая служба в Цензурном комитете — единственный источник существования его и его семьи. Он не надеялся на свои силы, боялся взять на себя многотрудные хлопоты, связанные с работой издателя.

Но Вяземский не оставляет намерения осуществить свой план. Мы узнаем об этом из его неопубликованного письма к Измайлову, написанного в середине лета 1829 года: «Милостивый государь Владимир Васильевич. Приношу Вам чувствительную благодарность за приятное и обязательное письмо Ваше от 3-го июня. Лестный отзыв Ваш о моей *Станции* имеет в глазах моих уважительную цену. Прошу также, при случае, передать Ф. Н. Глинке мой сердечный поклон и сказать ему, что дорожю его добрым мнением о моих стихах. Поздно отвечаю Вам на Ваше письмо, потому что оно не застало меня дома и получил я его недавно, по возвращении своем... Скажите, ради бога, кто издает за Рапча Галатею? Воля Ваша, не могу уважать его в этой площадной, лакейской брани. Наши журналы походят на привилегированное публичное место, куда можно сходить для сквернословной брани. Признаюсь, жалею о Вас в исполнении цензорской должности: Вам нельзя разнимать ругателей, а каково же быть в обязанности освящать их бесчестия своим именем. Напрасно не доверяете Вы себе для предприятия журнального. Соберитесь с духом и примитесь за дело. Я готов со стороны помогать Вам: по известным Вам причинам, не могу пока иметь непосредственное участие, но охотно буду доставлять Вам стихи и прозу. Баратынский также не откажется быть внощиком. Публика брюхом требует журналов: доказательство тому, что Галатея, Дамский журнал имеют подписчиков. После подобных

<sup>20</sup> Русский архив, 1868, № 4—5, с. 611.

<sup>21</sup> Московское обозрение, 1877, т. 2, № 16, с. 419.

примеров можно без излишнего самолюбия приняться за это дело. В октябре надеюсь приехать в Москву и тогда поговорим, или правильнее, возобновим наши переговоры о сем предмете, а пока советую Вам подвигаться...»<sup>22</sup>

Вяземский настойчиво убеждает Измайлова «собраться с духом и приняться за дело». При этом он обещает самое активное участие и поддержку и со своей стороны, и со стороны Баратынского. Лишенный возможности самому быть издателем, Вяземский упорно ищет окольные пути осуществления своего замысла.

Теперь мы должны вновь обратиться к документам, опубликованным Ю. Г. Оксманом, и вспомнить, что 9 августа 1829 года Измайлов подал прошение в Главное управление цензуры разрешить ему издавать двухнедельный журнал «Современник» с 1830 года. Сейчас, когда нам известно, что именно это предприятие обсуждал Измайлов с Глинкой и Вяземским, мы можем с уверенностью говорить, что намечавшийся журнал и был попыткой осуществления проекта Вяземского, возникшего в 1827—1828 годах, а следовательно, и важнейшим этапом предьстории пушкинского «Современника». Ю. Г. Оксман отрицал эту связь только потому, что не обратил внимания на неточность датировки писем Ф. Н. Глинки и не знал неопубликованного письма Вяземского.

Что же касается названия «Современник», то оно, конечно же, не случайно совпало с названием пушкинского журнала. Оно принадлежало Вяземскому: нет сомнения, что Вяземский подарил его Измайлову, а потом, через несколько лет, Пушкину. Он вспоминал потом, что Пушкин не был им доволен и Вяземскому пришлось настаивать. Пушкин согласился.

Как же сложилась судьба «Современника» Измайлова?

29 августа 1829 года Измайлов получил ответ на свое прошение. Министр народного просвещения К. Ливен в полуофициальной форме указал Измайлову на несовместимость возлагаемых на цензора обязанностей с работой по изданию журнала.

В уставе о цензуре не было пункта, запрещающего членам Цензурного комитета самим быть издателями. Но Ливен хотел, вероятно, избежать возможности злоупотребления служебным положением в этой чрезвычайно двусмысленной

ситуации: издатель — он же цензор. Это могло привести к конфликту внутри Комитета. Тем более, что конфликты уже были.

Мы имеем в виду эпизод с напумевшим «делом М. Т. Каченовского и Н. А. Полевого», относящийся к концу 1828 года. Профессор Московского университета, редактор журнала «Вестник Европы» Каченовский подал жалобу на цензора С. Н. Глинку, пропустившего в печать критическое выступление Полевого на сочинения Каченовского. Жалоба специально разбиралась, большинство членов Комитета решило дело в пользу последнего. Измайлов возстал против этого решения, высказав свое особое мнение в защиту свободной литературной критики: «... честь личная не одно с достоинством литературным, и нанесенное кому-либо неудовольствие как автору или издателю не имеет ничего общего с оскорблением человека как гражданина или как чиновника, а если из критики можно вывести безвыгодное заключение о талантах или учености осуждаемого писателя, это не касается до цензора; не его дело смотреть на следствия критики и на ученую степень разбираемого сочинителя. Иначе нельзя будет пропустить ни одной критической статьи против литераторов, занимающих государственные места...»<sup>23</sup> Министр народного просвещения поддержал мнение Измайлова. Как известно, этот эпизод прозвучал глубоко впечатлительное на современников и нашел отражение в «Отрывках из литературных летописей» Пушкина.

Памятуя об этой истории, Ливен в ответ на прошение Измайлова издавать «Современник» предложил ему выбор: либо оставить службу в Цензурном комитете, либо отказаться от намерения издавать журнал.

Дальнейшая судьба журнала зависела теперь от того решения, которое примет Измайлов. Он размышлял больше недели и 10 сентября 1829 года отправил ответное письмо Ливену. С глубоким чувством собственного достоинства ветеран российской словесности изложил цели, которые он хотел преследовать в этом издании: «... мне казалось, что удостоверный доверенности правительства и верного поручения стоять как бы на страже человеческой мысли, я мог бы скорей другого заслужить честь и право руководствовать мнениями, давать умам направление в качестве журналиста...»<sup>24</sup>

В этом же письме Измайлов вынужден был признать Ливену, что журнал еще и надежда на материальную поддержку «для обеспечения жизни», для которого недостаточно одного жалования

<sup>22</sup> ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 260, л. 1. Автограф без даты. Письмо является ответом на письмо В. В. Измайлова от 3 июня 1829 года, опубликованное в «Литературном наследстве» (т. 58, с. 90—91). Кроме того, в письме упоминается журнал «Галатея», начавший выходить с 1829 года. На этих основаниях мы относим письмо к середине лета 1829 года.

<sup>23</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1889, т. 2, с. 273.

<sup>24</sup> Современник, 1925, кн. 1, с. 300.

цензора. «Но когда ваша светлость вместе с Главным управлением цензуры, — продолжал он, — не одобряет моего предприятия, то я отказываюсь от него решительно и прошу Вас, милостивый государь, не представлять дела на высочайшее усмотрение, когда от сего представления может зависеть, как говорится, ваша светлость, продолжение моей службы в занимаемом ныне звании. Для меня дорого и важно сохранить место — единственный способ существования».<sup>25</sup>

Мы можем лишь воображать себе, как принял Вяземский известие о том, что журнал не состоится. Уже был найден издатель, было близко официальное разрешение, составлен план, найдены сотрудники — те самые, которые искали объединения с 1824 года.

### 3

А в декабре 1829 года уже было известно, что А. А. Дельвиг и О. М. Сомов со следующего года станут издавать в Петербурге «Литературную газету». С 1825 года они выпускали альманах «Северные цветы», к этому времени вышло уже пять книжечек альманаха, каждая из которых становилась «годовым праздником» в литературе. Определенный постоянный круг авторов. Все они, естественно, становятся участниками нового издания. Но одно дело — альманах, новогодний «подарок любительницам и любителям русской словесности», который появляется раз в год. Другое дело — газета, которая выходит через пять дней и дает возможность включиться в «движение журнальной литературы». И сейчас, в 1830 году, эта возможность впервые оказывается в руках писателей пушкинского круга. Поэтому Пушкин и Вяземский, оставив свои планы, с головой уходят в «Литературную газету», и на первых порах она даже выходит под их непосредственной редакцией. Нет номера, где не появились бы критические и полемические статьи Пушкина и Вяземского. Они больно задевают, жалят и сердят литературных врагов. Начинается настоящая журнальная война. Газете навязывают полемику о «литературной аристократии», в которой против печатного органа писателей пушкинского круга сплоченно выступают «Северная пчела», «Сын Отечества», «Московский телеграф», «Вестник Европы», «Галатея». Вскоре становится ясно, что «Литературная газета» не сможет составить сильной оппозиции изданиям «торгового направления». Неравны силы — она одна против многих. Но неравны и средства, а это важнее. Пушкин набрасывает черновик письма Бенкендорфу: «...литературная торговля находится в руках издателей» Сев.серной» Пче-

лы — и критика, как и политика, сделана их монополией. От сего терпят вещественный ущерб все литераторы, которые не находятся в приятельских сношениях с издателями» Сев.серной» Пчелы — ибо ни одно из их произведений не имеет успеха и не продается. Для восстановления равновесия в литературе нам необходим журнал, коего средства могли бы равняться средств.ам» Сев.серной» Пчелы. В сем то отношении осмеливаю просить о разрешении печатать политические заграничные новости в журнале, издаваемом б.кароном Д.дельвигом — или мною» (т. 14, с. 254). Но письмо Пушкин так и не заканчивает, оно остается лежать без движения.

26 апреля 1830 года Вяземский пишет Пушкину: «Надобно бы нам затеять что-нибудь литературное впрок... На Литературную газету надежды мало. Дельвиг ленив и ничего не пишет... В мае приеду на несколько времени в Москву: тогда переговорим» (т. 14, с. 80). И Пушкин не медлит с ответом, отвечает сразу же, 2 мая: «Приезжай, мой милый... мы поговорим об газете или альманахе. Дельвиг в самом деле ленив, однако ж его Газета хороша, ты много оживил ее. Поддерживай ее, покамест нет у нас другой. Стыдно будет уступить поле Булгарину. Дело в том, что чисто-литературной газеты у нас быть не может, должно принять в союзницы или Моду или Политику» (т. 14, с. 87).

Они продолжают думать о судьбе «Литературной газеты», пытаются найти пути, чтобы оживить и поднять ее, но уже почти по инерции. Интерес к изданию Дельвига у Пушкина и особенно у Вяземского постепенно пропадает. Уже в этих письмах исподволь вновь начинает пульсировать оставленная на время мысль о журнале.

В ряд неосуществленных журнальных намерений Пушкина, предшествовавших изданию «Современника», мы можем включить еще одно. О нем идет речь в записке Баратынского Вяземскому, опубликованной еще в 1902 году в историческом сборнике «Старина и новизна» и оставленной исследователями без внимания. Вот текст этой записки: «Отвечаю наскоро на письмо ваше, ибо люди ваши сей час сдут. С Пушкиным еще не успел поговорить о письме, по думаю, что он будет согласен. Мы думали было издавать журнал здесь в Москве. Эпиграмма удивительно хороша. Я не знаю лучше, не знаю обиднее. Завтра же порадою ею Пушкина и у него вместе с ним буду подробно отвечать вам. Преданный вам душевно. Е. Баратынский».<sup>26</sup> Даты на автографе нет, и Н. П. Барсуков, опубликовавший эту

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Старина и новизна. СПб., 1902, кн. 5, с. 45.

записку, осторожно предположил, что она относится к 1827 году. Но о каких событиях и предположениях, относящихся к этому времени, пишет Баратынский — на этот счет публикатор не дал никаких пояснений. Несколько наскоро написанных Баратынским строк как оторвавшееся от цепи маленькое звено. Утрачены главные звенья, которые оно соединяло: нам неизвестны письмо Вяземского и «подробный» ответ Баратынского и Пушкина (если он был). А без них содержание записки на первый взгляд не поддается осмыслению. Так документ, содержащий важный факт (ведь речь идет о неизвестном нам памерении Пушкина издавать в Москве журнал!), остался в тени.

Попробуем все-таки расшифровать эту записку.

Что нам известно из нее? Пушкин и Баратынский — в Москве, Вяземский — в отъезде. Письмо его, наверное, очень важно, если Баратынский сразу же торопится сообщить о его получении. Кроме того, Вяземский присылает какую-то эпиграмму, которой Баратынский восхищен и убежден, что она порадует и Пушкина, — значит, адресат эпиграммы — общий враг Вяземского, Баратынского и Пушкина. И самое важное для нас: Пушкин и Баратынский думали издавать журнал.

Даже такой информации вполне достаточно, чтобы отклонить предположительную дату первой публикации. Всего этого не могло быть ни в первой половине 1827 года, когда Пушкин не потерял еще веры в «Московский вестник», а Вяземский по-прежнему деятельно сотрудничал в журнале Полевого; ни в конце года, когда, во-первых, Вяземский уже выдвинул проект «Современника», а во-вторых, все они были врозь: Вяземский — в Москве, Пушкин — в Петербурге, Баратынский — в деревне.

Когда же написана записка?

Перелистаем записные книжки Вяземского. Нередко они довольно подробно отражают ежедневные занятия их владельца. Размышления о прочитанном, записи творческого характера перебиваются деловыми и лаконичными. В их числе и отметки об отправленных письмах. Вот запись, сделанная 11 декабря 1830 года: «С Окуловым посылаю письма к Карам. <звоним>, Булгакову, Мухан. <ову>, Барат. <ынскому> с эпиграммою». <sup>27</sup> Эта деловая запись сейчас для нас очень много значит. Попробуем восстановить ситуацию конца 1830 года.

Вяземский находится в Остафьеве, подмосковном своем имении, а Пушкин и Баратынский — в Москве, в которой совсем недавно сняли холерные карантин. Это был год страшной, первой в России холеры. Баратынский все это

грозное время пробыл в Москве. «запершись в своем доме». <sup>28</sup> Вяземский, оказавшись в невольном заточении в Остафьеве, увлеченно работал над биографическим трудом о Фонвизине. Пушкина холера застала в нижегородском имении, и это была его первая болдинская осень.

5 декабря, прорвавшись через холерные карантин, он приезжает в Москву. В первые же дни Пушкин видится с Баратынским и читает ему написанные в деревенском уединении VIII и IX главы «Евгения Онегина», «Домик в Коломне», маленькие трагедии и «целую папку прозы». <sup>29</sup> От «Повестей Белкина» Баратынский «ржет и бьется» (т. 14, с. 133). Сразу же начинается оживленная переписка между Москвой и Остафьевом. Дважды, 16—17 декабря 1830 года и 4 января 1831 года, «уже при последних издыханиях холеры», <sup>30</sup> Пушкин сам приезжал в подмосковную к Вяземскому. Грозные осенние месяцы этого года оказались для обоих порою неимоверного творческого напряжения. Теперь же, когда, по словам Вяземского, «времена холеры и слез миновались», нужно было думать и о будущем. Написанное необходимо печатать. 9 декабря Пушкин делился своими планами с Плетневым: главы «Онегина», «Домик в Коломне» и «Повести Белкина» Пушкин предполагает напечатать отдельно, причем «повесть, писанную октавами», и «5 повестей в прозе» — Апопуме. Но остаются маленькие трагедии, около 30 стихотворений... И есть еще «пропасть полемических статей!» Это материал для журнала. И ему скорее пужно дать ход. Но где? Возможно, Пушкин вез эти статьи для «Литературной газеты», и они действительно могли бы оживить ее. Но в Москве он узнал о беде, обрушившейся на Дельвига: газета запрещена Николаем I за напечатание четверостишия Казимира Делавиня о французской революции 1830 года. О «Московском вестнике» Погодина не могло быть речи: он едва дотягивал последний год своего существования, «съезжались» в 1829 году до нескольких книжек-сборников. С болезненной остротой должен был ощутить сейчас Пушкин отсутствие периодического издания, своего или близкого по духу! И именно тогда они могли говорить об этом с Баратынским: «Мы думали было издавать журнал здесь в Москве. Теперь мы знаем, что слова эти написаны в декабре 1830 года». <sup>31</sup>

<sup>28</sup> См.: Московский пушкинист. М., 1930, вып. 2, с. 59.

<sup>29</sup> Там же, с. 60.

<sup>30</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 1, с. LI.

<sup>31</sup> Можно предположить, что Вяземский прислал Баратынскому эпиграмму на Булгарина «Фиглярин — вот поляк примерный...». Полтора месяца спустя он сообщил ее Плетневу, не открывая

<sup>27</sup> Вяземский П. А. Записные книжки, с. 207.

Итак, это еще одна попытка Пушкина прийти к своему журналу. Нам о ней почти ничего не известно. И она не осуществилась, как не осуществились в первой половине 1830-х годов многие журнальные намерения пушкинского круга писателей.

Осенью 1831 года И. В. Киреевский получил разрешение издавать в Москве журнал «Европеец». «...Ваши друзья должны смотреть на мой журнал как на им принадлежащий...» (т. 14, с. 238), — писал он Пушкину. С искренней готовностью откликнулись на приглашение участвовать в журнале Пушкин, Жуковский, Вяземский, Баратынский, В. Ф. Одоевский, А. И. Тургенев, Сомов. «Европеец» должен был стать печатной трибуной писателей пушкинского круга. По первым двум номерам Пушкин предсказывал журналу долголетие. Но издание Киреевского ожидала трагическая судьба. Третьего номера подписчики не получили: «Европеец» был запрещен Николаем I. Оправдалось тайное предчувствие Баратынского, что и это журнальное намерение может стать «одним из тысяч наших планов, которые остались — планам!»<sup>32</sup> Собственный горький опыт прежних лет делал Баратынского суеверным.

В 1832 году Пушкину разрешили издавать с 1833 года политическую и литературную газету «Дневник», однако

своего авторства (письмо от 31 января 1831 года): «Вот эпиграмма, которая ходит по Москве. Не знаю чья она, но чья бы ни была, она хороша, потому что дает пощечину кому подобает» (Изв. ОРЯС имп. Академии наук, 1897, т. 2, кн. 1, с. 95). Собственные слова Вяземского совпадают с оценкой, которую дает эпиграмме Баратынский: «Эпиграмма удивительно хороша. Я не знаю лучше, не знаю обиднее». См. также письмо Вяземского А. Я. Булгакову от 5 декабря 1830 года с резкой оценкой позиции Булгарина, занятой в «Северной пчеле» в связи с польским восстанием, вспыхнувшим в ноябре 1830 года (*Вяземский П. А. Записные книжки*, с. 329). В это же время (5 декабря 1830 года—20 января 1831 года) Пушкин знакомится в рукописи и с эпиграммой Баратынского на Булгарина «Поверьте мне, Фиглярин-моралист...» (*Овчинникова С. Т. Пушкин в Москве. М., 1984*, с. 88—89). Вместе с эпиграммой Пушкина «Не то беда, Авдей Флюгарин...» она была напечатана в альманахе М. А. Максимовича «Денница» на 1831 год (цензурное разрешение 20 января 1831 года).

<sup>32</sup> *Баратынский Е. А. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951*, с. 501.

«позволение как-то попрязапуталось или поограничилось» — газета не состоялась.<sup>33</sup>

Но отказаться от идеи, которая вынашивалась годами, было невозможно. Особенно сейчас, когда потребность в собственном периодическом органе с каждым днем становилась сильнее. О замыслах 1830-х годов, к сожалению, известно очень немного: журнал, политическая газета с литературным приложением «Летописец», построенным по типу английских квартальных «Обозрений», альманах... Они продолжают говорить о будущем издании в письмах. Одоевский — Пушкину, 28 сентября 1833 года:

«Скажите, любезнейший Александр Сергеевич: что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: первый — *гостиную*, второй — *чердак*; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — *погреб*... Рудый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: *Тройчатка*, или *Альманах в три этажа*...» (т. 15, с. 84).

Одоевский — Пушкину, апрель 1835 года:

«Заглавие Летописца может быть такое: „Современный Летописец Политики, Наук и Литературы, содержащий в себе обозрение достопримечательнейших происшествий в России и других государствах Европы, по всем отраслям политической, ученой и эстетической деятельности с начала 3-го (последнего) десятилетия 19-го века“» (т. 16, с. 28).

Пушкин — Плетневу, около 11 октября 1835 года:

«Ты требуешь имени для альманаха: назовем его Арион или Орион; я люблю имена, не имеющие смысла; шуточкам привязаться не к чему... Ты дурно делаешь, что становишься нерешителем. Я всегда находил, что всё тобою придуманное мне удавалось» (т. 16, с. 56).

31 декабря 1835 года Пушкин отправил Бенкендорфу письмо, в котором просил разрешения издать в 1836 году «4 тома статей чисто литературных (как то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; на подобие английских трехмесячных Reviews» (т. 16, с. 69).

14 января 1836 года высочайшее разрешение на издание журнала было дано. Отныне начиналась история пушкинского «Современника».

<sup>33</sup> Об этом см.: *Пиксанов Н. К. Несостоявшаяся газета Пушкина «Дневник»: 1831—1832. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1907*, вып. 5, с. 30—74.

Г. М. Дейч

## АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПУШКИНЕ

Документальные материалы А. С. Пушкина и о нем сосредоточены главным образом в двух архивохранилищах: Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом) в Ленинграде (ф. № 244, 5000 ед. хранения) и Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве (ф. № 384, 263 ед. хранения). Материалы этих двух хранилищ хорошо известны и широко используются специалистами.

Есть, однако, множество документов о Пушкине в десятках центральных и местных архивов нашей страны, которые не только не опубликованы до сих пор, но даже не известны специалистам. Значительная их часть хранится в архивах тех мест, где поэту приходилось бывать: Пскове, Одессе, Кишиневе и ряде других. Здесь пойдет речь о пушкинских материалах Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде (ЦГИА СССР), где хранятся документы верховной власти и центральных учреждений царской России с XVIII века до 1917 года.

Поиски документальных материалов о Пушкине в этом архиве велись еще до революции. В 1936 году в № 4 (41) журнала «Архивное дело» была опубликована статья известного архивиста М. И. Ахуна «Материалы об А. С. Пушкине в ленинградских архивах», в которой автор приводил данные из восьми фондов.

В 1956 году вышел путеводитель по ЦГИАЛ (так тогда назывался ЦГИА СССР), где указывалось пятнадцать фондов, в которых есть материалы о Пушкине.

В 1960-м и 1966 году ЦГИА СССР издал два выпуска библиографического указателя «Документы ЦГИА СССР в Ленинграде в работах советских исследователей: 1917—1957», где материалы Пушкинианы указаны в двадцати с лишним фондах.

Помимо опубликованных данных имеется в ЦГИА СССР специальный каталог, в котором Пушкиниана отражена уже более чем в сорока фондах.

Таким образом, в ЦГИА СССР непрерывно выявляются новые материалы о Пушкине, и данные каталога не окончательны.

Документы, хранящиеся в архиве, частично отложились при жизни поэта, частично посмертно. По содержанию их можно условно разделить на три группы: биографические, цензурные и об увековечивании памяти поэта. Далее мы будем говорить главным образом о прижизненных материалах первой группы.

Выявленные к настоящему времени документы этой группы касаются родословной поэта, имущественных и хозяйственных дел, его службы, творческой деятельности, преследования его правительством, ссылки на юг и в Михайловское, дуэли, смерти, похорон, назначения пенсии семье, опеки над детьми и некоторых других вопросов. Из дел этой группы следует в первую очередь выделить те, которые полностью посвящены А. С. Пушкину. Так, в фонде Первого департамента Сената хранится дело «О допущении камер-юнкера Пушкина в Сенатский архив для прочтения дела о пугачевском бунте», в котором имеются следующие документы: отношение министра юстиции Д. В. Дашкова обер-прокурору Лобанову-Ростовскому от 5 февраля 1835 года, в котором он сообщает, что 2 февраля начальник III Отделения Собственной его императорского величества канцелярии и шеф жандармов А. Х. Бенкендорф довели до его сведения разрешение Николая I А. С. Пушкину заниматься в сенатском архиве изучением материалов о восстании Пугачева и делать необходимые выписки. В деле имеется также предписание Лобанова-Ростовского руководству архива от 8 февраля о допущении Пушкина к работе в архиве.<sup>1</sup>

В фонде 469 (Придворная е. и. в. контора) хранится дело о «О допущении известного сочинителя Александра Пушкина рассмотреть хранящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера».<sup>2</sup>

Ряд дел посвящен другим лицам, но упоминание в заголовках имени поэта показывает, что они имеют отношение и к Пушкину. В фонде Департамента духовных и гражданских дел Государственного Совета хранится дело под названием «О кандидате словесных наук Андрее Леопольдове, сужденном за имени возмутительных стихов сочинения 10-го класса Пушкина под названием Андрей Шенье и учинение на них надписи 14-е декабря 1825 года».<sup>3</sup> И хотя все дело посвящено А. Леопольдову, оно имеет прямое отношение и к Пушкину. В этом деле есть пометка, из которой следует, что такое же дело должно храниться в 5-м департаменте I Отделения Сената. Напомним, что по поводу этого дела А. С. Пушкину пришлось писать специальное объяснение правительству.

<sup>1</sup> См.: ЦГИА СССР, ф. 1341, оп. 266, 1835 г., д. 45, л. 2.

<sup>2</sup> Там же, ф. 469, оп. 8, 1832 г., д. 124.

<sup>3</sup> Там же, ф. 1151, оп. Гос. совета, т. 1, 1828 г., д. 220.

Иногда в заголовке дела фигурирует имя кого-либо из родных поэта, и совершенно ясно, что такие дела представляют интерес для биографии самого Александра Сергеевича. В виде примера укажем на хранящееся в фонде Департамента герольдии Сената дело под названием: «О выдаче свидетельства на дворянство 5-го класса Пушкину сыну Льву».<sup>4</sup>

К сожалению, большинство документальных материалов о Пушкине хранятся в делах, где имя его не упоминается в заголовках, что, конечно, затрудняет их поиск. Обнаружение документов в подобных общих делах иногда происходит случайно. Так, разбирая в конце Великой Отечественной войны материалы фонда Канцелярии по управлению Бессарабской областью, научная сотрудница архива Р. Ю. Мацкина обнаружила интересный отзыв о Пушкине генерала И. Н. Изова (1821 год). Отзыв этот был опубликован в № 3—4 журнала «Звезда» за 1945 год.

Значительно больше документов о Пушкине было (и, без сомнения, будет) найдено в результате целенаправленного и обоснованного их поиска. Глубокое знание мельчайших деталей жизни и творчества поэта, его связей с отдельными лицами и правительственными учреждениями часто помогает найти такие документы. Вот один лишь пример. В материалах Департамента полиции исполнительной Министерства внутренних дел хранится дело о коллежском ассессоре Убри, который обвинялся в критическом отзыве о правительстве во время своего выступления в 1832 году на дворянских выборах Витебской губернии. Николай I потребовал строжайше расследовать это дело. Во время следствия кто-то высказал предположение о том, что на умонастроение Убри мог оказать влияние учившийся с ним в Царскосельском лицее А. С. Пушкин. Поэту грозили очередные неприятности и преследования правительства. Только в апреле 1833 года министр внутренних дел Д. Н. Блудов убедил, наконец, царя, что Пушкин не имеет отношения к делу Убри.<sup>5</sup> Совершенно очевидно, что найти в этом деле сведения о Пушкине можно было, только зная, кто такой Убри и какое он имел отношение к поэту.

Особо следует сказать о Пушкинчине в личных фондах ЦГИА СССР. В этом архиве хранятся несколько сот личных архивов (фондов) государственных деятелей, ученых, писателей и других лиц. Долгое время было известно всего несколько таких фондов, в которых имеются материалы о Пушкине (Н. Ф. Бо-

качева, М. М. Сперанского и некоторых других). Затем были обнаружены документы, касающиеся Пушкина, в нескольких новых фондах, например в фонде генерал-лейтенанта А. И. Философова — два письма на французском языке писателя и редактора газеты «Тифлисские ведомости» П. С. Санковского. Отрывки из этих писем были опубликованы в 1952 году в 58-м томе «Литературного наследства» со ссылкой на ЦГИАЛ. Опубликованы и новые материалы о Пушкине из личных фондов М. П. Погодина, Аксаковых.

Учитывая, что в ЦГИА СССР хранятся личные фонды многих знакомых Пушкина (Васильчиковых, Вильгорских, Волконских, Всеволожских и многих других), не исключена возможность новых находок. Надо иметь в виду некоторую специфику материалов о Пушкине в личных фондах: они редко характеризуют служебную и общественную деятельность, но представляют большую ценность для характеристики его отношений с самими фондообразователями и другими лицами. Для иллюстрации этой мысли укажем, что в личном фонде кишиневского знакомого поэта И. П. Липранди имеются материалы для характеристики отношений Пушкина и Ф. Ф. Орлова.<sup>6</sup>

Подавляющая масса документов о Пушкине сохранилась в ЦГИА в подлиннике, но встречается и копия. Так, в 1915 году по просьбе известного историка литературы академика Нестора Александровича Котляревского из архива в Академии наук было передано подлинное дело 1828 года о расследовании жалобы крепостных крестьян на штабс-капитана В. Митькова, «развращающего их чтением „Гаврииллады“», и о допросе по этому делу А. С. Пушкина. В архиве сохранилась лишь копия этого дела.<sup>7</sup>

При исследовании уже известных и частично опубликованных документов ЦГИА СССР о Пушкине бросается в глаза почти полное отсутствие среди них материалов о служебной деятельности поэта в Коллегии иностранных дел, где он числился на службе с 1817-го по 1837 год (с перерывом в 1824—1831 годах). Между тем в ЦГИА СССР имеется большой фонд Первого департамента Сената, который ведал делами о назначении и увольнении чиновников Коллегии иностранных дел. Было логично искать документы о службе Пушкина именно в материалах этого фонда. В 1978 году было обнаружено дело, которое мы ниже публикуем.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Там же, ф. 1343, оп. 27, 1823 г., д. 7680.

<sup>5</sup> См. там же, ф. 1286, оп. 5, 1832 г., д. 753.

<sup>6</sup> Там же, ф. 673, оп. 1, д. 308, л. 32.

<sup>7</sup> Там же, ф. 1409, оп. 2, 1828 г., д. 5200.

<sup>8</sup> Там же, ф. 1341, оп. 32, д. 3926, л. 1—3.



## Дело по высочайшему повелению

О принятии в службу отставного коллежского секретаря Александра Пушкина тем же чином и об определении его в ведомство сей коллегии

№ 154 1831 года декабря 9-го дня

Далее идет «Опись бумагам, в деле заключающимся»: «Копия с доношения госуд. коллегии иностранных дел 3 декабря 1831 года», «Копия с высочайшего указа 14 ноября 1831 г.», «Журнальная выписка 9 декабря 1831 г.».

5 декабря 1831. Копия.  
В Правительствующий Сенат  
Из государственной коллегии  
иностраннных дел

### ДОНОШЕНИЕ

Коллегия иностранных дел препровождает при сем, для сведения Правительствующего сената, копию с высочайшего именного указа, объявленного ей г-м вице-канцлером в 14-й день минувшего ноября, о принятии в службу отставного коллежского секретаря Александра Пушкина тем же чином и об определении его в ведомство сей коллегии. Подлинное подписали сенатор Павел Дивов. Секретарь Котов.

С подлинным верно. Повытчик  
Подлинное с прилож. обратно в Общ.  
Соб. взял Мельников

Декабря 3 дня 1831 года

Слуш.: В Общем Сената собрании  
7 декабря 1831 года  
в I Департаменте 9

Копия с копии

Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять в службу тем же чином и определить его в Государственную коллегию иностранных дел.

(подп.) Граф Нессельроде

В Москве  
ноября 14 дня 1831 года

На копии написано верно Секретарь Котов

С копиею сличил повытчик

1831 года декабря 9 дня в журнале  
Правительствующего сената 1-го департа-  
мента записано

### СЛУШАЛИ

Доношение Государственной коллегии иностранных дел с приложением копии с высочайшего повеления о принятии отставного коллежского секретаря Александра Пушкина в службу в государственную коллегию иностранных дел.

10 Русская литература, № 3, 1986

ПРИКАЗАЛИ: Сие высочайшее повеление принять к сведению, о чем записать в журнале, а в экспедицию дать с сей статьи копию. Подлинный за подписанием правительствующего Сената. Губернский секретарь

С подлинным читал губернский секретарь

Сам факт вторичного зачисления А. С. Пушкина на службу в Коллегию иностранных дел в 1831 году давно известен из публикаций документов III Отделения с. е. и. в. канцелярии и Министрства иностранных дел. Значение приведенного дела ЦГИА СССР, помимо всего прочего, состоит в том, что оно дает возможность установить точные даты оформления соответствующих документов в Сенате.

Есть и другие факты, важные для пушкиноведения, которые можно дополнить, изучая документы, хранящиеся в фондах ЦГИА СССР. Например, официальные бумаги об отпуске денег на погребение Пушкина, назначении пенсии семье и установлении опеки над детьми давно опубликованы,<sup>9</sup> но в фонде с. е. и. в. канцелярии среди 30.000 единиц хранения есть дело, привлекающее пристальное внимание исследователей. На обложке написано: «Письмо Н. Н. Пушкиной от 1 февраля 1837 г. о назначении опеки над детьми; переписка собств. е. и. в. канцелярии с Министром» Финансов» об отпуске В. А. Жуковскому 10.000 руб. на погребение А. С. Пушкина». Всего в деле числится 4 листа, из которых первый представляет собой старую обложку дела со следующим заголовком: «Всепоподданнейшее прошение вдовы камер-юнкера А. С. Пушкина Наталии Николаевны Пушкиной о назначении опеки над детьми, об отпуске действительному <статскому> <советнику> Жуковскому 10 т. р. на погребение поэта и собственноручно исправленной его величеством ошибки о семействе Пушкина, вкравшейся в проект указа о пенсии семейству покойного. 1837 г.».

Сохранилось три документа, каждый из которых имеет двойную нумерацию — одну повую, карандашом, и вторую старую, чернилами: письмо Н. Н. Пушкиной, л. 2—2, об. (л. 188—188, об.), отношение Министерства финансов от

<sup>9</sup> См.: Дело III Отделения с. е. и. в. канцелярии о дозволении сочинителю Пушкину въезжать в столицу, тут же об издаваемых им сочинениях и переписке с ним по разным предметам. Изд. «Всемирного вестника», 1905; Пушкин: Документы Государственного и С.-Петербургского Главного архивов Министерства иностранных дел, относящиеся к службе его в 1831—1837 гг. / Издал Н. А. Гастфрейнд. СПб., 1900.

1 февраля 1837 года — л. 3 (л. 187) и письмо министра финансов — л. 4 (л. 189). Вот их текст.<sup>10</sup>

## 1

Всемиловитвейший Государь

У меня нет слов, чтобы сказать то, что я чувствую. В моем положении вы для меня видимый Ангел хранитель, посланник Божий. Да наградит вас Бог, одаривший вас достойными его милосердия.

Принимая на коленях ваши благотворения, осмеливаюсь просить вас, Государь, еще об одном необходимом для меня покровительстве. Благоволите назначить опеку бедным моим сиротам. Я бы желала, чтобы опекунами их были со мною граф Строганов, граф Вельгорский и Василий Андреевич Жуковский. Оставляю это на разрешение Вашего императорского величества.

Целую отеческую вашу руку, вся жизнь моя будет молитвою за вас, за Государыню, другого моего Ангела, и за ваших детей, в которых Всевышний посылает вам все радости, вас достойные.

Вашего императорского величества верноподданная

Наталья Пушкина

1-го февраля 1837 года.

## 2

Д-т Гос. казначейства, часть распределительная.

1 февраля 1837 г., № 476

Об отпуске 10 т. р. на погребение камер-юнкера Пушкина

Его Превосходительству А. С. Танееву, № 215.

Министр финансов, свидетельствуя совершенное почтение его превосходительству Александру Сергеевичу, имеет честь уведомить, что вследствие высочайшей воли, сообщенной ему от 31 прошедшего Генваря, № 194, об отпуске действительному статскому советнику Жуковскому на погребение умершего сочинителя камер-юнкера Пушкина десяти тысяч рублей предписано Главному казначейству доставить ныне же

Директор (Дмитрий Княжевич)

## 3

Милостивейший государь мой  
Александр Сергеевич

При поднесении мною к высочайшему подписанию проекта указа о назначении пенсии семейству покойного ка-

мер-юнкера Пушкина государь император изволил приметить, что при объявлении мне вашим превосходительством повеления о сем последовала ошибка, и вместо двух дочерей показана была одна, а вместо двух сыновей три сына; почему его величество и исправил проект указа собственноручно. Считаю нужным известить об этом Вас, милостивый государь мой, с совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашего превосходительства покорнейший слуга

Гр. Канкрип

№ 617. 11 февраля

Его превосходительству А. С. Танееву, № 260.

Наличие в деле двух разных заголовков и двойной нумерации листов дает основание предположить, что оно было первоначально сформировано в 1837 году и состояло не менее чем из 189 листов. Было ли тогда все дело посвящено Пушкину, этого мы пока сказать не можем. В настоящем его виде дело было сформировано, по-видимому, в 1937 году. Об этом говорит печать на обложке: «Архив внутренней политики, культуры и быта» и надпись чернилами: «Обозначенные четыре листа в личности. 1-го февраля 1937 года». Вполне возможно, что формирование дела было связано со столетием со дня гибели Пушкина.

На письме Н. Н. Пушкиной сохранилась надпись карандашом, вероятно Николая I, следующего содержания: «Не знаю наверное, нужно ли мое разрешение на составление опеки особым указом или иначе, прошу вас вывести меня из недоумения, и в случае нужды в указе прошу велеть оный изготовить и мне прислать». На письме есть еще две пометы — «№ 216» и надпись: «Докладная записка министра юстиции, возвращена к нему 2-го февраля. № 221».

Укажем прежде всего, что в рукописном отделе Пушкинского Дома хранится отпуск этого письма, написанного рукой В. А. Жуковского, но, разумеется, без карандашной надписи царя. Из письма Натальи Николаевны видно, что она просила назначить опекунами Строганова, Виельгорского и Жуковского. Между тем 11 февраля 1837 года по указу Николая I из С.-Петербургской дворцовой опеки вдове двора его императорского величества камер-юнкерше Наталье Николаевне Пушкиной было послано высочайшее повеление «О учреждении опекунства над именем и малолетними детьми ее». В указе опекунами назначались Строганов, Виельгорский, Жуковский и камер-юнкер надворный советник Наркиз Иванович Тарасенко-Отрешков.

Назначение вопреки воле Н. Н. Пушкиной весьма сомнительной фигуры Тарасенко-Отрешкова привело позже к се-

<sup>10</sup> ЦГИА СССР, ф. 1409, оп. 2, д. 6091, л. 2—2, об., 3, 4.

рьезному конфликту между нпми. Известно, что после выхода замуж Натальи Николаевны за Ланского ей удалось отстранить от дел опеки Тарасенко-Отрепкова.<sup>11</sup>

Из надписи на этом же письме видно, что по вопросу о назначении опекунов была, видимо, докладная записка министра юстиции (им был тогда Д. В. Дашков), которому она была возвращена 2 февраля за № 221. Если она сохранилась, то искать ее следует в фонде Министерства юстиции (ЦГИА СССР, ф. 1405).

Из надписей на отношении Министерства финансов об отпуске 10.000 р. В. А. Жуковскому на погребение Пушкина следует, что какие-то материалы по этому делу должны были отложиться в документах Департамента Государственного казначейства Министерства финансов (ЦГИА СССР, ф. 565).

Публикуемое письмо министра финансов Е. Ф. Канкриня управляющему I Отделением с. е. и. в. канцелярии А. С. Танееву от 11 февраля 1837 года свидетельствует, что проект указа Николая I о назначении пенсии семье А. С. Пушкина был подготовлен, видимо, А. С. Танеевым. В деле № 6091 мы не нашли ни проекта, ни самого указа царя. Оригинал этого указа сохранился и обнаружен в фонде Департамента Государ-

ственного казначейства Министерства финансов.<sup>12</sup>

Господину министру финансов

Семейству камер-юнкера Пушкина, известного своими литературными трудами, повелеваю переводить, со дня смерти его, следующие пенсии: вдове, до замужества, по пяти тысяч рублей, двум дочерям, до замужества, по тысяче пятисот рублей каждой, и двум сыновьям, до вступления в службу, на воспитание, каждому по тысяче пятисот рублей в год из Государственного казначейства.

С.-Петербург, 12 февраля 1837 г.

Николай

Думается, что приведенные нами архивные материалы окажутся полезными при подготовке биографической хроники А. С. Пушкина, необходимость в которой давно назрела. Первым шагом в этом направлении, как нам представляется, мог бы служить специальный каталог документов о поэте, находящихся в архивохранилищах СССР. Возможность подобного издания доказали сотрудники государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и ЦГИА СССР, издавшие в 1982 году аннотированный каталог 1403 документов, относящихся к великому писателю и хранящихся в пятидесяти с лишним архивах нашей страны.

<sup>11</sup> См.: *Магусевич В.* Муза чтения. М., 1985, с. 10—11.

<sup>12</sup> ЦГИА СССР, ф. 565, оп. 14, 1837 г., д. 26, л. 42.

В. Г. Березина

## В. Г. БЕЛИНСКИЙ И «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Белинский хорошо знал «Слово о полку Игореве», неоднократно обращал к нему на всем протяжении своей критико-публицистической деятельности, начиная с «Литературных мечтаний» и вплоть до сотрудничества в «Современнике». Он серьезно исследовал «Слово», был в курсе споров, которые велся вокруг него, внимательно изучал переводы этого памятника древней Руси и даже сам решил его перевести.

К сожалению, в специальной литературе, посвященной «Слову о полку Игореве», к суждениям Белинского не обращаются. А они представляют существенный интерес не только для исследователей Белинского, но и для изучающих «Слово о полку Игореве».

У Белинского нет отдельной статьи о «Слове». Наиболее подробные, обстоятельные высказывания критика о «Слове» и его собственный перевод «Слова

(точнее, изложение-перевод) вмонтированы в третью статью о народной поэзии, напечатанную в № 11 «Отечественных записок» за 1841 год.

Проследим основные линии суждений Белинского о «Слове о полку Игореве», содержащиеся в этой статье.

Конечно, многое из того, что находил Белинский в «Слове», для нас теперь естественно и привычно, но тогда было ново и часто полемически заострено.

В заслугу Белинскому следует поставить то, что, явно полемизируя со «скептиками», он настоятельно защищал подлинность и оригинальность «Слова о полку Игореве».<sup>1</sup> Для Белинского «Слово» —

<sup>1</sup> «Скептики» (представители скептической школы в историографии) М. Т. Каченовский, О. И. Сенковский, И. И. Давыдов и др. оспаривали древнее про-

это «древнейший памятник русской народной поэзии в эпическом роде», в основе которого лежат подлинные исторические события XII века, и написано оно современником этих событий. «Слово о полку Игореве» — «это произведение явно современное воспетому в нем событию и носит на себе отпечаток поэтического и человеческого духа Южной Руси, еще не знавшей варварского ярма татарщины»,<sup>2</sup> — настаивает критик.

Однако Белинский еще не смог постичь во всей глубине патриотическую идею, организующую повествовательный материал «Слова»: необходимость единения удельных князей и их дружин для успешной борьбы с кочевниками. Он считал «Слово о полку Игореве» произведением «историческо-поэтическим», но скорее по теме и отражению некоторых сторон жизни и нравов Южной Руси XII—XIII веков, а не по духу, не по идее. «В „Слове о полку Игоревом“ нет никакой глубокой идеи, — заявлял критик. — Это больше ничего, — простое и наивное повествование о том, как князь Игорь с удалым братом Всеволодом пошел с своею дружиною подрасться с половцами, сперва разбил их, а потом сам был разбит наголову, попался в плен, из которого, наконец, ему удалось ускользнуть. Беспредельные обращения к междоусобиям князей, или намеки на них, также составляют содержание и, сверх того, исторический фон поэмы» (с. 344—345).

В недооценке Белинским идейного содержания «Слова о полку Игореве» нашли конкретное преломление еще не до конца преодоленные критиком идеалистические воззрения на русскую народную («естественную») поэзию как не выражающую и не могущую выразить «общее содержание жизни народа», поскольку сама Киевская Русь, считал критик, вследствие своей географической и политической изолированности еще не воплотила определенной идеи в мп-

исхождение «Слова о полку Игореве», отнесли его создание к XVI или даже XVIII веку. На страницах тех же «Отечественных записок» высказывались мнения в поддержку «скептиков». Например, М. Н. Катков за полтора года до публикации третьей статьи Белинского о народной поэзии писал о «Слове» в статье об «Истории древней русской словесности» М. Максимовича: «Что хотите говорить, его никак нельзя принять за действительный и достоверный памятник! Одно только трудно придумать, кто мог решиться на подделку и написать такую нелепицу без всякой цели, без всякой *agtière pensée*» («Отечественные записки», 1840, № 4, отд. 5, с. 71).

<sup>2</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954, т. 5, с. 332—333. Далее ссылки на этот том даются в тексте.

ровой исторический процесс: это произойдет позже.

Но, как часто бывало у Белинского, живое, непосредственное восприятие прекрасного брало верх над логическими построениями. Сказалось это и на понимании Белинским «Слова о полку Игореве». Несмотря на отягощенность, скованность рамками идеалистической (гегелевской) философии, Белинский, как человек с тонким, высокоразвитым эстетическим вкусом, как критик-художник, сумел оценить поэтическое достоинство древнего памятника, а также высказать ряд суждений и наблюдений, сохранивших свое значение и ныне.

Хотя Белинский как будто оставил в стороне патриотическую идею «Слова о полку Игореве» — призыв к единению, — однако он уже приближался к ее пониманию. Подтверждением тому может служить особое выделение Белинским образа киевского князя Святослава и его «Золотого слова». Критик пишет: «Святослав является не как действующее лицо, но голосом истории, выразителем политического состояния Руси: за ним явно скрывается сам поэт» (с. 348). Последние слова весьма примечательны: они позволяют заключить, что Белинский посмотрел на «Слово» как на лирико-публицистическое произведение, одухотворенное мыслями и чувствами автора.

\* \* \*

Многие современники Белинского не только умаляли художественную сторону «Слова о полку Игореве», но и вообще ее не признавали. Так, М. Н. Катков, определив «Слово» как «нелепицу», писал о нем в уже цитированной статье об «Истории древней русской словесности» М. Максимовича: «Такая уродливость в языке, такая дикая à la Марлинский вычурность и витпеватость в сравнениях и изобретениях, такая натянутость, такая надутость, такая бессвязница — ни одного слова живого! Сколько мест, не имеющих никакого отношения ни к предыдущему, ни к последующему! Сколько выражений совершенно бессмысленных, над которыми ужасно трудились объяснители и объясняли так, что хоть кого заставили бы расхохотаться!»<sup>3</sup>

Белинский не мог допустить, чтобы подобное неверное и даже оскорбительное мнение о «Слове» закрепилось в сознании читателей «Отечественных записок», поэтому он счел нужным изложить свое мнение, прямо противоположное катковскому. Он высоко оценил поэтичность «Слова», раскрыл его художественные достоинства. «Прекрасный благоухающий цветок славянской народной

<sup>3</sup> Отечественные записки, 1840. № 4, отд. 5, с. 71.

поэзии, достойный внимания, памяти и уважения» (с. 333), «примечательное произведение народной поэзии древней Руси», которое «отличается неподдельными поэтическими красотоми» (с. 344), «благородством тона и языка» (с. 333) — так характеризовал Белинский «Слово о полку Игореве».

Конечно, в древнем памятнике некоторые места подчас темны, но это потому (разъясняет критик), что они «относятся к таким современным обстоятельствам, которые вовсе непонятны для нас» (с. 333). Встречаются в «Слове» и искажения текста «до бессмыслицы», пропуски. Но в этом, подчеркивает Белинский, повинен не автор, а писец (переписчик): «...неопровержимым доказательством этого служат поэтические красоты в подробностях и интерес целого повествования поэмы» (с. 333—334). Критик старается дать понять читателям «Отечественных записок», что некоторые неисправности текста «Слова о полку Игореве» — это явление вторичное, их не было в оригинале памятника, и поэтому они никак не снижают его художественной ценности: «...все темноты и бессмыслицы мы приписываем не „Слову“, а рукописи и ее писцу, ибо неестественно допустить бессмыслицы в пьесе, отличающейся смыслом в целом и поэтическими красотоми в частности» (с. 336).

Отметим интересную деталь. По сложившейся к тому времени традиции Белинский относит «Слово о полку Игореве» к устной народной поэзии, предшествовавшей «памятникам русской письменности», и объединяет его в одну группу с «русскими песнями эпического и лирического содержания» (см. план задуманного им «Теоретического и критического курса русской литературы» — с. 8). И все же иногда ощущаются колебания Белинского в определении природы этого памятника. Обычно произведение народной поэзии воспринимается как анонимное, точнее, безличное; оно бытует в устной передаче, зачастую даже в нескольких вариантах. «Слово», напротив, вариантов не имеет, сохранилось в списке, причем точно неизвестно, когда впервые было записано, может быть, даже одновременно с его созданием, но древние списки до нас не дошли. К тому же содержание «Слова», в отличие от других памятников народной поэзии, не вымышленное, а реально-историческое. «Кроме „Слова о полку Игоревом“, — напоминает Белинский, — из народных произведений у нас нет ни одной поэмы, которая не вошла бы на себе сказочного характера» (с. 354—355). Но самое главное — в «Слове» отчетливо выражен образ автора, т. е. в связи со «Словом» уже можно говорить о факте личного авторства, о самой личности творца, который почти зримо присутствует в произведении, организует его, придает ему лирическую

тональность. Белинский это почувствовал и понял.

И поэтому не случайно Белинский специально останавливается на личности автора «Слова о полку Игореве» как личности творческой. Он восторженно отзывался о художественной одаренности, литературных способностях автора, об его умении искусно использовать поэтику устного народного творчества. Особенно восхищал Белинского созданный автором «Слова» образ Ярославны. «Плач Ярославны, — пишет критик, — дышит глубоким чувством, высказывается в образах, сколько простодушных, столько и грациозных, благородных и поэтических» (с. 348).

По мнению Белинского, «Слово о полку Игореве» и его «даровитый автор» позволяют судить о высоком уровне художественной культуры древней Руси. Критик напоминает, что до творца «Слова о полку Игореве» жил на Руси певец Боян, «соловей старого времени». Его творчество («песни») также подтверждает высокий культурный уровень наших далеких предков. Белинский увидел в Бояне реальное лицо — «пмя собственное, принадлежавшее одному лицу, вероятно, жившему во времена язычества или вскоре по его падении» (с. 337), имя русского поэта, предшественника автора «Слова», обращения которого к Бояну исполнены «энтузиазма и благородных поэтических образов» (с. 337). Боян и автор «Слова» — две различные творческие индивидуальности, и очень жаль, пишет критик, что «время и невежество истребили песни Бояна» (с. 337).

Белинский высказал мнение, которое теперь считается общепризнанным в нашей науке, что культура древней Руси была интересной и богатой, но мы недостаточно знаем о ней потому, что памятники этой культуры погибли вследствие разных обстоятельств. Он писал: «„Слово о полку Игореве“ дошло до нас в единственном списке, и то искаженным местами до бессмыслицы. А кто поручится, что древняя Русь не имела и других поэм вроде „Слова о полку Игореве“, которых не сохранила для нас письменность?» (с. 635). И еще: «„Слово о полку Игоревом“ — этот прекрасный памятник уже полуязыческой поэзии, дошло до нас в единственном и притом искаженном списке. Сколько же памятников народной поэзии погибло совсем!» (с. 623).

\* \* \*

Белинский серьезно интересовался переводами «Слова о полку Игореве», внимательно, глубоко их анализировал в критически оценивал. Он различал переводы точные и свободные, разного рода переделки, переложения, а также произведения, сочиненные, как мы сказали бы теперь, «по мотивам» «Слова».

Важно подчеркнуть: критик довольно подробно изложил и свои собственные соображения по вопросам теории и методики перевода древнего памятника.

У Белинского была своя позиция в отношении перевода «Слова о полку Игореве». Прежде всего бросается в глаза постоянное, настойчивое неприятие стихотворных переводов и переложений «Слова». Здесь он решительно расходился с современными ему критиками и рецензентами. Не касаясь того, в какой мере справедливо это мнение Белинского, отметим, что оно, очевидно, вытекало из переводческой практики того времени, когда переводчики «Слова» (особенно поэты) часто «просто пересочиняли его и свои собственные, весьма неинтересные изделия выдавали за простодушную и поэтическую повесть старых времен» (с. 344). Во второй редакции третьей статьи о народной поэзии (1842) Белинский писал: «„Слово о полку Игоревом“ несколько раз было переводимо прозою, и были, кажется, две попытки (гг. Вельтмана и Деларю) перевести его стихами или мерною, ритмическою прозою. Но попытки последнего рода должны считаться совершенно излишними: „Слово“ может быть прекрасно только в его первобытном и наивном виде, без всяких других изменений и поправок, кроме подновления слишком устаревших слов и оборотов» (с. 755).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> В связи с данным утверждением Белинского, которое обычно выпадает из поля зрения исследователей, следует, на наш взгляд, пересмотреть вопрос о принадлежности (даже условной) Белинскому двух неподписанных рецензий на «Песнь об ополчении Игоря, сына Святославова, внука Олегова. Переложение Михаила Деларю» (Одесса, 1839), одна из которых была напечатана в «Отечественных записках» (1840, № 1, отд. 6, с. 11—12), другая — в «Литературной газете» (1840, 24 янв., № 17, с. 157—158). Обе рецензии не включены в основной корпус академического издания полного собрания сочинений В. Г. Белинского, но отнесены в раздел «Dubia» (1959, т. 13, с. 51—52; примечания: с. 308—310). С нашей точки зрения, весомым аргументом в пользу полного отведения авторства Белинского является диаметрально противоположность мнений Белинского и авторов (или автора) данных двух рецензий о переводе Деларю и вообще о поэтических переводах «Слова».

Подчеркнув свое полное безразличие к вопросу о «достоверности», «древности и великорусском происхождении этой поэмы», автор рецензии в «Отечественных записках», в отличие от Белинского, восторженно отозвался о стремлении переводчика древнего памятника «переложить его в нынешние, звучные, гладкие

Рассмотрим еще один отзыв Белинского о стихотворном переводе «Слова о полку Игореве» и в этой связи его взгляды на методику перевода древнего памятника.

В конце 1846 года вышел из печати стихотворный перевод Д. И. Минаева «Слова о полку Игореве». Белинский, анализируя в обозрении «Взгляд на русскую литературу 1846 года» («Современник», 1847, № 1) стихотворные публикации истекшего года, упомянул и о переводе Минаева. Как показал критик, читатели получили не столько перевод в собственном смысле слова, сколько историческую поэму по мотивам «Слова о полку Игореве», «передланного г. Минаевым на поэму во вкусе не древности, не старины, а того недавнего времени, когда была мода на поэмы». «Это, в сущности, не больше, как распространение или разжижение довольно бойкими стихами довольно короткого и сжатого „Слова о полку Игоревом...“ — продолжает критик. — Мы назвали стихи г. Минаева бойкими; прибавим к этому, что они еще столько же фразисты, сколько и восторженны, и что в них больше риторики, нежели поэзии».

Одновременно Белинский высказывает свою заветную мысль — как, по его представлениям, нужно переводить «Слово». Он пишет: «Мы рады будем, если попытка г. Минаева понравится публике; но что до нас собственно касается, то нам так нравится „Слово о полку Игореве“ в его настоящем виде, что мы не можем без неприятного чувства смот-

гекзаметры». Деларю, считает рецензент, «как поэт исполнил свое дело с совершенным успехом: его гекзаметры... — истинный подарок для читателей». В газетной рецензии, также в отличие от Белинского, подчеркивается важность и необходимость поэтических переводов «Слова о полку Игореве»: «Нельзя не поблагодарить от души наших поэтов, которые с такой любовью записываются этим драгоценным памятником старины. Их поэтическое чувство иногда может уяснить дело более, нежели холодная критика ученого, чему доказательством служат настоящие переложения г. Деларю, который «переложил „Песнь об ополчении Игоря“ звучными, прекрасными гекзаметрами, которые чрезвычайно хорошо подходят к характеру этой песни».

Белинский, как мы видели, придерживался совсем иного мнения. Следовательно, связывать с именем Белинского обе рецензии на переложение Деларю «Слова о полку Игореве» оснований нет. А поскольку даже предположительное авторство Белинского отпадает, их нельзя помещать в «Dubia» его собрания сочинений.

<sup>5</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч. 1956, т. 10, с. 34.

реть на его переделки. Нам кажется, что его не нужно ни изменять, ни переводить, ни перелаживать, но довольно заменить в нем слишком обветшалые и непонятные слова более новыми и понятными, хотя и взятыми из народного же языка.<sup>6</sup>

Как можно заметить, Белинский был против перевода «Слова» в современном значении термина «перевод». Он — за изложение, максимально близкое к оригиналу и сохраняющее его поэтичность. Именно так «перевел» «Слово о полку Игореве» сам Белинский.

\* \* \*

Теперь рассмотрим, хотя бы в общих чертах, вопрос о Белинском как текстологе и «переводчике» «Слова».

Белинский проделал серьезную, кропотливую работу над текстом «Слова о полку Игореве». Он отобрал и процитировал около двадцати мест древнерусского текста памятника, которые в то время считались «темными» (непонятными и труднопереводимыми). Он сопоставил два перевода этих мест — по изданию 1800 года<sup>7</sup> и по книге А. С. Шишкова,<sup>8</sup> определил, какой перевод, с его

точки зрения, ближе к оригиналу,<sup>9</sup> сделал ряд попутных замечаний (подчас проищеского порядка), чаще касающихся перевода Шишкова, «переделавшего „Слово“ в риторическую поэму» (с. 334). Так, приведя к тексту оригинала «Спала князю умь похоти, и жалость ему знамение заступы, искусити Дону великаго» перевод издания 1800 года: «Пришло князю на мысль пренебречь худое предвещание и изведать счастья на Дону великом», Белинский не счел нужным цитировать перевод Шишкова и только сообщил читателям: «Шишков совершенно изменил это место, переделав его в высокопарную шумиху слов и фраз». К фразе «Солнце ему тьмою путь заступаше» Белинский дал перевод 1800 года: «Солнце своим затмением преграждает путь его» и перевод Шишкова: «помрачась, мешало ему идти». Последний он оценивает отрицательно, используя прием проищеской похвалы: «Если так переводить, то конечно нет на свете бессмыслицы, которой бы нельзя было перевести и ясно и красноречиво...» (с. 335; многоточие в конце фразы несет дополнительную ироническую нагрузку).

Хотя Белинский не был ученым-текстологом, не обладал профессиональными знаниями в области исторической поэтики, палеографии, истории языка и даже истории древней Руси, он высказал несколько существенных замечаний и предложений по переводу «Слова». В некоторых случаях его сомнения разрешались, догадки подтвердились последующими исследователями. Этот вопрос может стать предметом специального рассмотрения.

Желая ближе познакомить читателей с «поэтическим достоинством» древнего памятника, а также дать им возможность убедиться в справедливости своих высоких оценок его, Белинский излагает содержание «Слова», причем делает это поэтически, как критик-художник, придерживаясь выражений самого «Слова», стараясь «удержать колорит и тон подлинника» (с. 344).

Белинский был непревзойденным мастером пересказа содержания истинно художественного произведения, держась выражений подлинника и выписыва-

<sup>6</sup> Полной противоположностью мнению Белинского являются восторженные оценки минаевского перевода «Слова» другими рецензентами, которые сходятся в том, что перевод лучше, художественнее оригинала. В «Сыне отечества», например, говорилось: «Не оттого хороши стихи г. Минаева, не оттого прекрасны его образы, что он почерпнул их из „Слова“, но оттого кажется нам хорошо самое „Слово“, что г. Минаев украсил его своим свободным вдохновением», «самые образы и обороты перевода несравненно выше подлинника» (1847, № 2, отд. 6, с. 30). Вся рецензия «Библиотеки для чтения» (1846, № 12, отд. 6, с. 28—32) — сплошь цитаты из рецензируемого произведения. В конце рецензии — несколько хвалебных фраз и вывод: «Такой перевод стоит оригинального создания, потому что грубое и темное „Слово о полку Игореве“ теперь в первый раз является в умной и достойной поэтической форме» (с. 32).

<sup>7</sup> Иропческая песнь о походе на половцев удельного князя Новгород-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия, с переложением на употребляемое ныне наречие. СПб., 1800.

<sup>8</sup> Шишков А. С. Собр. соч. и переводов. СПб., ч. 7, 1826. Здесь содержался текст и перевод (точнее, переложение) «Слова о полку Игореве» Шишковым (с. 1—34), примечания и объяснения переводчика (с. 35—124). Этот труд Шишкова имелся в личной библиотеке Белинского. На многих страницах книги с перепечатанным древнерусским

текстом видны его подчеркивания, отчеркивания и пометы (см.: Лит. наследство, 1948, т. 55, с. 511—512). Отмеченные Белинским места текста вошли в число отобранных им как нуждающихся в более точном переводе и объяснении.

<sup>9</sup> В поле зрения Белинского был также прозаический, но разбитый на двенадцать «песен» перевод «Слова» И. П. Сахаровым (в кн.: Сказания русского народа. СПб., 1841, т. 1, кн. 4). Один раз Белинский сослался на этот перевод (с. 335).

вая места».<sup>10</sup> Он настолько глубоко проникнул в ткань произведения, постигал его художественные особенности, образность, стиль и язык, что писал как бы «в ключе» самого автора. «Художественная анатомия данного произведения»<sup>11</sup> — так назвал П. В. Анненков эту способность Белинского. Вспомним беспримерный по глубине и тонкости пересказ «Ревизора» Гоголя, «Героя нашего времени» Лермонтова, «Гамлета» Шекспира. Думается, что критиком-художником Белинский выступил и при изложении-переводе им «Слова о полку Игореве» осенью 1841 года в третьей статье о народной поэзии.

За полтора года до данной работы Белинский Катков заявлял в «Отечественных записках», что если бы «изложить содержание этого „Слова“ и сделать из него выписки, тогда бы обнаружилось все безобразие этого несчастного произведения».<sup>12</sup> Оспаривая эту мысль Каткова, Белинский изложил содержание «Слова», сопроводил свое изложение выписками и переводом — и тем помог читателям «Отечественных записок» увидеть в древнем памятнике истинную поэзию, «красоты поэтические». Из-под пера Белинского вышел увлекательно написанный полуперевод-полуизложение «Слова о полку Игореве», поразительно близкий к тексту оригинала, даже и сейчас читаемый с большим интересом.

Иногда он точно, без всяких перемен, цитирует текст подлинника, дополняя его своими пояснениями, заменяя «слишком обветшалые и непоэтичные слова более новыми и понятными, хотя и взятыми из народного же языка».<sup>13</sup> В ряде случаев Белинский, в отличие от перевода 1800 года, оставлял отдельные слова, выражения и грамматические формы подлинника — для сохранения аромата древности. Что не поддавалось точному переводу из-за несправности текста, Белинский пропускал или сокращал, но всегда пересказывал содержание пропущенного и приводил соответствующие мотивировки своих пропусков, защищая оригинал. Например: «Очевидно, что весь этот отрывок, по повелю сокращенный нами, по причине искажения текста, в первоначальном подлиннике полон высоких красот поэзии» (с. 338).

Хорошо понимая, что «Слово о полку Игореве» «отличается благородством тона и языка» (с. 333), Белинский стремился сохранить этот «тон». Так, критик процитировал текст оригинала: «Игорь спит, Игорь бдит» и перевод из-

дания 1800 года: «Игорь лежит, Игорь не спит» (с. 336; курсив В. Г. Белинского, — В. Б.). Этот перевод не удовлетворил Белинского ни по содержанию, ни по форме. Желая приблизить перевод к оригиналу и, очевидно, полагая, что слово «бдит» потеряло свою поэтическую окраску для людей 1840-х годов, Белинский перевел так: «Игорь и спит и не спит», т. е. перевел более точно по смыслу и, кроме того, придал фразе своеобразную мелодичность, напевность.

Приведем небольшой отрывок из перевода Белинского: «Погасла заря вечерняя: Игорь и спит и не спит, Игорь мыслию поля мерит от великого Дона до малого Донца. Конь готов с полуночи; Овлур свистнул за рекою, чтоб князь догадался. Уже нет там князя Игоря. Застонала земля, зашумела трава, всколебались вежи половецкие; а Игорь-князь горностаем бросился к тростнику и гоголем на воду; вскочил на борзого коня, и соскочил с него босым волком...» (с. 342). Для сравнения процитируем перевод этого места «Слова» по изданию 1800 года (с. 40–41): «Погасла заря вечерняя; Игорь лежит, Игорь не спит, Игорь мысленно измеряет поля от великого Дона<sup>15</sup> до малого Донца. К полуночи приготовлен конь. Овлур свистнул за рекою, чтоб князь догадался. Князю Игорю там не быть.<sup>16</sup> Застонала земля, зашумела трава, двинулись заставы половецкие,<sup>17</sup> а Игорь-князь горностаем побегал<sup>18</sup> к тростнику и белым гоголем пустился по воде. Он помчался на борзом коне и скочив с него босым волком...»

Таким образом, простое сопоставление двух переводов одного небольшого отрывка из «Слова о полку Игореве» свидетельствует о стремлении Белинского к максимальной точности и художественной выразительности.

<sup>14</sup> При воспроизведении текста оригинала Белинский выделяет курсивом те слова и словосочетания, смысл которых ему оставался неясным, по которым по его верному предположению, выражали пока неразгаданную образность, например: «синего вина, с трудом мешанного» (с. 339).

<sup>15</sup> У Белинского здесь — точное воспроизведение подлинника: «Игорь мыслию поля мерит от великого Дона».

<sup>16</sup> Перевод Белинского: «Уже нет там князя Игоря» — более точно и понятно.

<sup>17</sup> Белинский лучше почувствовал образность текста оригинала: «вежи ся половецкия подвизошася» и перевел: «всколебались вежи половецкие» (т. е. половцы пробудились). В настоящее время перевод Д. С. Лихачева: «вежи половецкие задвигались» (половцы заметили бегство Игоря). См.: «Слово о полку Игореве». М.; Л., 1950, с. 99.

<sup>18</sup> Перевод Белинского: «брослся» — ближе к тексту оригинала («поскочил»).

<sup>10</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., 1954, т. 4, с. 212.

<sup>11</sup> Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 182.

<sup>12</sup> Отечественные записки, 1840, № 4, отд. 5, с. 71.

<sup>13</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 10, с. 34.



Закапчивая свою работу над «Словом», которую сам не совсем точно называл «переводом», Белинский писал: «Мы хотели было ограничиться только изложением содержания „Слова о полку Игореве“, и, чтобы некоторым образом заставить его говорить за себя, хотели только местами выписывать характеристические выражения и самые оригинальные образы; но против нашей воли до того увлеклись его красотами, что, вместо голого содержания, представили читателям полный по возможности перевод. Думаем, что читатели не посетуют на нас за это» (с. 343).

Критик сообщает, что он занялся истолкованием, изложением и переводом «Слова» не только для своего удовольствия (хотя и это было), а прежде всего в интересах читающей публики, которая «слышит о нем самые противоречащие мнения», а проверить их не может, потому что существующие переводы «не дают о нем верного понятия» (с. 343—344).

Далее Белинский раскрывает методику своего перевода «Слова»: «Мы... исключили из нашего перевода все сомнительное и темное в тексте, заменив такие места собственными замечаниями, необходимыми для связи разор-

ванных частей поэмы, а в переводе старались удержать колорит и тон подлинника, а для этого или просто выписывали текст, подновляя только грамматические формы, или между новыми словами и оборотами удерживали самые характеристические слова и обороты подлинника» (с. 344). «И потому, — с полным основанием утверждает Белинский, — наш перевод дает самое близкое понятие о „Слове“». (По тому времени это было действительно так). Кроме того, замечает Белинский, «наш перевод... дает читателю возможность поверить наше мнение об этом замечательном произведении народной поэзии древней Руси» (с. 344).

Следовательно, и в работе над «Словом о полку Игореве» Белинский предстает как журналист и критик-демократ, для которого забота о читателе была главной целью всей его деятельности.

И еще один вывод можно сделать. Белинский, несмотря на почти полоторавекую отдаленность от нас, в немалой степени является нашим союзником в понимании «Слова о полку Игореве» и его эпохи, высоко оценившим художественную ценность этого замечательного памятника словесного искусства.

Б. В. Мельгунов

## НЕКРАСОВ, ПАНАЕВ — НОВЫЙ ПОЭТ

(К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛЬНОЙ МАСКИ)

Стихи и фельетоны *Нового поэта* на протяжении девяти лет (1847—1855) были острейшим сатирическим оружием некрасовского «Современника». Под этой маской, как известно, выступали И. П. Панаев и Н. А. Некрасов — не только как авторы (соавторы) фельетонов, но и как рецензенты.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> См.: Ямпольский И. Литературная деятельность И. П. Панаева. — В кн.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. [М.], 1950, с. V—LV; Бухштаб Б. Я. Некрасов в стихах «Нового поэта». — Некрасовский сборник. М.; Л., 1956, вып. 2, с. 434—444. Маской и фельетоном персонажем *Нового поэта* пользовались иногда и другие постоянные сотрудники «Современника»: А. В. Дружинин, В. П. Гаевский, М. Н. Лонгинов, возможно даже Белинский. В последние годы жизни Панаева, когда с приходом в журнал Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова фельетоны *Нового поэта* утратили сатирически-пародийный характер, в их составлении иногда участвовали и другие авторы, в частности П. М. Ковалевский.

Какова доля Некрасова в «литературном наследии» *Нового поэта*? Этот вопрос — один из сложнейших в некрасовской текстологии — с особой остротой встает сегодня, когда готовится и печатается академическое Полное собрание сочинений и писем Некрасова. Ни Панаев, ни Некрасов не оставили на этот счет никаких указаний.

Принято считать, что автором подавляющего большинства фельетонов, написанных от имени *Нового поэта*, был Панаев. Некрасову же, по этой общепринятой версии, принадлежат некоторые стихотворные фрагменты — в основном те, которые сам поэт впоследствии включал в собрания своих стихотворений или принадлежность которых Некрасову подтверждается случайно сохранившимися автографами.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Среди этих стихотворений: «В один трактир они оба ходили прилежно» (1847), «Мое разочарование» (1851), «Беседа журналиста с подписчиком» (1851) и др.

Однако никаких убедительных аргументов в пользу указанной версии до сих пор не найдено. Наиболее авторитетное, хотя и недостаточно развернутое свидетельство об авторах статей *Нового поэта* оставил С. И. Пономарев. Этот псевдоним, по его словам, — «собирательное имя, под коим писали Панаев, Некрасов, В. Гаевский и другие».<sup>3</sup>

В упомянутой выше статье И. Г. Ямпольского — наиболее обстоятельной работе о Панаеве — обоснование принадлежности фельетонов *Нового поэта* Панаеву предельно лаконично: «От имени Нового поэта Панаев с первого же номера „Современника“ за 1847 год в течение многих лет печатал свои пародии, а затем обозрения русской журналистики и петербургской жизни».<sup>4</sup>

В атрибутивном примечании об авторах статей *Нового поэта* В. Э. Бограда в его справочнике о некрасовском «Современнике» читаем: «Широко известно, что под этим псевдонимом в журнале очень часто выступал И. И. Панаев». И далее, приведя цитированные нами строки И. Г. Ямпольского и указание Б. Я. Бухштаба на эпизодическое участие в стихах *Нового поэта* других авторов, исследователь приводит дополнительные данные о коллективном характере публикаций *Нового поэта*: «В письме к В. П. Гаевскому от 28 января 1854 г., ссылаясь на № 35 „Сына отечества“ 1821 г., С. И. Пономарев писал: „Лужницкий старец был псевдоним собирательный, нечто вроде „Нового поэта“, к величайшему сожалению замолкнувшего“. . . Таким образом, мы видим, что и современниками псевдоним „Новый поэт“ воспринимался как псевдоним коллективный. Следовательно, не все, что подписано „Новым поэтом“ и приписывается Панаеву, в действительности принадлежит ему. Здесь вполне вероятны поправки, которые могут быть внесены в дальнейшей исследовательской работе».<sup>5</sup>

Можно ли считать, что участие Некрасова в фельетонах *Нового поэта* ограничилось стихотворными иллюстрациями панаевского текста? Как вообще происходил процесс соединения прозаического фельетона со стихотворениями: Некрасов прочитывал рукопись пового фельетона Панаева и либо вставлял в него неиспользованные фрагменты своих старых стихотворений, либо набрасывал тут же новые стихи, иллюстрирующие или перемежающие прозаические фрагменты? Но ведь Панаев и сам был довольно бойким стихотворцем

и мог легко обходиться без помощи Некрасова.

К настоящему времени выявлен один случай, когда фельетон *Нового поэта* целиком был написан Некрасовым: М. М. Гин приписал Некрасову (на основании малоубедительного «свидетельства» П. А. Плетнева) часть фельетона (о смерти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя) «Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской журналистики. Апрель 1852».<sup>7</sup> В ряде других фельетонов 1847—1855 годов, как уже говорилось, отмечено стихотворное участие Некрасова.

Несомненно, что подавляющее большинство будущих атрибутивных поправок исследователей журнальной деятельности Некрасова будет касаться более значительного вклада Некрасова в создание этих фельетонов.

Напомним также, что такие стихотворения *Нового поэта*, как «Они молчали оба...», «Ревность», «С цветком в руке...», напечатанные впервые еще в альманахе «Первое апреля» (1846), приписываются разными исследователями то Панаеву, то Некрасову. (Ниже мы будем обращаться к этому вопросу). И это обстоятельство требует учитывать вероятность творческого союза Некрасова и Панаева в создании маски *Нового поэта* еще в досовременниковский период.

В настоящей работе не ставится задача пересмотреть атрибуции фельетонов *Нового поэта* в «Современнике». Основной целью этой статьи является выяснение методологически важных вопросов для разрешения следующих проблем:

1. Какова роль Некрасова в создании журнальной маски *Нового поэта*?

2. Каковы основные «приметы», по которым можно было бы определить участие Некрасова в публикациях и фельетонах *Нового поэта*?

3. Как осуществлялось разделение труда и сотрудничество Некрасова и Панаева в их коллективных статьях под маской *Нового поэта*?

Для этого рассмотрим еще не освещенную в литературе историю личных

<sup>6</sup> Крошкин А. Ф. Неизвестный фельетон Н. А. Некрасова «Теория бильярдной игры» и Новый поэт. — Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз., 1957, т. 16, вып. 1, с. 60—66. В. Дернава без какой-либо мотивировки приписала Некрасову «Заметки и размышления Нового поэта по поводу русского фельетона» из октябрьской книжки «Современника» 1852 года. (Некрасовский сборник. Пг., 1918, с. 213. См. также: Лит. наследство, 1949, т. 53—54, с. 451). В. Э. Боград отвел эту атрибуцию как безосновательную (Боград В. Э. Указ. соч., с. 513).

<sup>7</sup> Гин М. От факта к образу и сюжету: О поэзии Н. А. Некрасова. М., 1971, с. 173—175, 288.

<sup>3</sup> Некрасов Н. А. Стихотворения. СПб., 1879, т. 4, с. XXIV. Ср.: Пыпин А. Н. Н. А. Некрасов. СПб., 1905, с. 216.

<sup>4</sup> Ямпольский И. Указ. соч., с. XXII.

<sup>5</sup> Боград В. Журнал «Современник» 1847—1866: Указатель содержания. М., 1959, с. 478.

и творческих отношений двух писателей до их объединения в редакцию «Современника» и, параллельно, историю «лепки» сатирической фельетонной маски Нового поэта.

Вспоминая о своей работе в журнале А. А. Краевского, Панаев писал: «В начале 40-х годов к числу сотрудников «Отечественных записок» присоединился Некрасов; некоторые его рецензии обратили на него внимание Белинского, и он познакомился с ним. До этого Некрасов имел прямые сношения с г. Краевским. Я в первый раз встретил Некрасова в половине 30-х годов у одного моего приятеля. Некрасову было тогда лет 17, он только что издал небольшую книжечку своих стихотворений под заглавием „Мечты и звуки“, которую он впоследствии скупал и истреблял. Мы возобновили знакомство с ним через семь лет».<sup>8</sup>

Разумеется, Панаев ошибается, относя начало знакомства с Некрасовым к «половине 30-х годов», но упоминание о сборнике «Мечты и звуки», вышедшем в начале 1840 года, позволяет уточнить время этой встречи. Судя по воспоминаниям М. А. Гамазова — родственника Панаева (его и имеет в виду Панаев-мемуарист), эта встреча произошла еще в 1839 году на квартире Гамазова.

«Я познакомился с этим последним (Некрасовым, — Б. М.) у отставного майора Фермора, отца моих товарищей по Главному инженерному училищу. Он был рекомендован в этот дом из только что покинутой им провинции и привез с собою в рукописи роман, которым намеревался дебютировать на литературном поприще. Узнав от меня, что я интересуюсь литературой, и имею некоторые связи в кружке писателей, он просил меня сблизить его с ним. Я его свел у себя с Панаевым».<sup>9</sup>

В этой связи особый интерес приобретает давно отмеченная К. И. Чуковским преемственная связь стихотворения юного Некрасова «Тот не поэт» (1839) со стихотворением Панаева «Лжепоэту» (1838).<sup>10</sup>

Однако если в вопросе о личном знакомстве мы можем только доверяться мемуаристам, то факт сотрудничества Некрасова, Панаева и Белинского в одном печатном органе устанавливается довольно легко. В 1840 году они печатались в «Литературной газете»: Некрасов — как поэт и театральный критик,<sup>11</sup>

Белинский — как критик,<sup>12</sup> Панаев — как публицист. В январе—марте 1840 года Панаев напечатал (за подписью «Ив. Панаев») серию очерков («Портрет № 1», «Портрет № 2», «Портрет № 3», «Портрет № 4») под общим заглавием «Портретная галерея»,<sup>13</sup> которые следует, по видимому, относить к первым опытам «физиологического очерка» в русской литературе. Герои этих произведений — чиновник, «подающий надежды», «светский человек» (граф Гиацинт Иванович), господин, «живущий сердцем», дама «среднего класса петербургского общества». В авторском примечании к началу серии Панаев писал: «Под этим названием автор намеревается напечатать несколько очерков. Он достиг своей цели, если успел уловить хотя некоторые характеристические черты современного общества».<sup>14</sup>

«Галерея» включает сатирические портреты Ф. В. Булгарина, Н. А. Полевого, О. И. Сенковского. Есть основания полагать, что эта работа была задумана и осуществлена под влиянием Белинского. В одном из своих фельетонов под рубрикой «Журналистика» критик «уведомлял» читателей «Литературной газеты», что «у г-на Панаева написано еще несколько новых портретов, которые, вместе с напечатанными уже в „Литературной газете“ и обратившими на себя самое лестное внимание публики, составят особую, довольно большую книжку. Талантливый автор, — общал далее Белинский, — намерен издать ее в скором времени, украсив прелестными гравюрами, которые уже составляют известными художниками и из которых некоторые будут иллюминированы».<sup>15</sup>

Замысел Панаева, анонсированный Белинским, не был осуществлен. В номерах 7 и 8 «Литературной газеты» 1841 года были напечатаны еще один очерк под названием «Эскизы. Из портретной галереи Ив. Панаева», которым и закончился этот цикл. Однако в несколько иной форме идея «галереи» была воплощена в знаменитой «не-повести» Панаева «Тля» (1843).

Прервалось ли действительно знакомство Панаева с Некрасовым и был ли перерыв столь продолжительным? Если и прервалось, то совсем ненадолго. Во всяком случае, в конце 1842 года Нек-

ние «Александринский театр» («Литературная газета», 1840, № 7, 79, 84).

<sup>12</sup> Рецензии на альманах «Утренняя заря», на журнал «Репертуар русского театра», на роман Лермонтова «Герой нашего времени», на «Римские элегии» Гете, фельетон «Журналистика» (там же, № 1, 17, 42, 43).

<sup>13</sup> Там же, № 5, 12, 16, 19.

<sup>14</sup> Там же, № 5, 17 янв., стлб. 97.

<sup>15</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954, т. 4, с. 183.

<sup>8</sup> Панаев И. И. Литературные воспоминания, с. 248.

<sup>9</sup> Исторический вестник, 1889, № 4, с. 255—256.

<sup>10</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотв. М.; Л., 1928, с. 557. Ср.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т. Л., 1981, т. 1, с. 661.

<sup>11</sup> Стихотворения «Дни благословенные», «Баба Яга», театральное обзоре-

расов уже бывал в доме Панаевых.<sup>16</sup> К этому времени оба писателя независимо друг от друга и каждый по-своему уже создали «портретную галерею» сатирических персонажей, которые можно считать эскизами будущей коллективной маски *Нового поэта*.

Гротескно-сатирический тип поэта-эпигона и графомана, предопределивший основные черты и формы литературного бытования журнального персонажа *Нового поэта*, был создан молодым Некрасовым еще в 1840 году. Мы имеем в виду его рассказ «Без вести пропавший пиита», напечатанный в сентябрьской книжке «Пантеона» под псевдонимом Н. А. Перепельского. Необыкновенная плодовитость «пииты» — Ивана Ивановича Грибовникова, «колоссальные» размеры его «творений», простодушное честолюбие и комическая выпренность — все эти черты позднее были унаследованы *Новым поэтом*. Вот авторская аннотация трагедии, которую Грибовников читает в отрывках Науму Авраамовичу:

«„Федотыч“, трагедия в 5 действиях, в 16 картинах, заимствованная из прозаической пиимы Василия Кирилловича Третьяковского „Езда на Остров Любви“ и написанная размером Виргиллиевой „Энеиды“, в стихах, с присовокуплением некоторых новооткрытых идей самого автора Ивана Ивановича Грибовникова, с принадлежащим к ней прологом и интермедией. В числе 8783 стихов сочинил Иван Иванович Грибовников».<sup>17</sup>

Столь же «эффектно» аннотируются драматические «творения» *Нового поэта* «Лирик Петров...» («Отечественные записки», 1843, № 4), «Доминико Фети» («Современник», 1847, № 2), «Апрония» («Современник», 1854, № 7), печатавшиеся, разумеется, тоже лишь в «отрывках».

Сатирический образ Грибовникова с самого начала был задуман Некрасовым как постоянный персонаж его журнальных выступлений. «Если, — писал автор «Без вести пропавшего пииты», — отрывки, приведенные здесь из различных сочинений Ивана Ивановича, будут признаны не лишенными достоинства, то я за долг поставлю себе короче познакомиться публику с талантом Ивана Ивановича и по временам стану печатать в журналах плоды светлых вдохновений, тайных упоений, диких приключений, бед и огорчений и проч. Ивана Ивановича: их у меня достанет на девять томов!»<sup>18</sup> А в «редакционном» примечании к этим словам, принадлежащем, несомненно, самому Некрасову, содержа-

лось обещание «с удовольствием и впредь помещать» опыты Грибовникова.

И действительно, «без вести пропавший» после рокового свидания с Наумом Авраамовичем Грибовников, которого повествователь тщательно разыскивал в течение *четырнадцати лет*, объявился через месяц после публикации рассказа. В октябрьской книжке «Пантеона» 1840 года было помещено некрасовское пародийное стихотворение «К ней!!!!» с подписью «Иван Грибовников» и «редакционным» примечанием: «Помещаем это оригинальное стихотворение для того только, чтоб утешить друга нашего Н. А. Перепельского: Грибовников, без вести пропавший пиита, отыскался!»<sup>19</sup>

Имя Грибовникова упоминается и в водевиле Некрасова «Утро в редакции» (1841).<sup>20</sup> Внедрению и укреплению в читательском сознании журнальной маски «пииты» — Грибовникова — способствовал (возможно, не без помощи самого Некрасова) и сотрудник поэта по «Отечественным запискам» П. Н. Кудрявцев, который писал в одной из своих рецензий: «И сколько у нас таких усердных стихокропателей! Уверюем вас, мы знаем одного пииту из школы Хераскова и Сумарокова, который не задумался перевести стихами а la Третьяковский целую „Энеиду“ и потом написал свою собственную подражательную поэму: истратил на это примерно около пяти лет...»<sup>21</sup>

К 1841 году (а не к 1843-му, как это принято считать) относится рождение пародийной маски *Нового поэта*. Приведем текст обнаруженной нами в одном из номеров «Литературной газеты» 1841 года анонимной заметки, которую и следует, очевидно, считать первой публикацией *Нового поэта*.

## НОВЫЙ ПОЭТ

Давно ли еще у нас на Руси набиралась книги людьми решительно безграмотными? Мужичок с бородой, бывало, стоит у кассы, следит машинально за каждой буквой в рукописи и механически подбирает литеру к литере. А спросите его, что он такое набирает? — Он отвечает: „Оригинал“. — А что в оригинале? — „Не знаю-с, это не про нас писано“. — А теперь? Редкий наборщик не грамотей; этого мало: многие из них знают несколько языков, а некоторые даже сами пишут и сами же набирают статьи свои в журналах. Вот, например на днях один из наборщиков „Литературной газеты“ принес нам стихи своего сочинения с просьбою просмотреть их. Но мы помещаем здесь стихи наборщи-

<sup>16</sup> Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 97.

<sup>17</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., 1983, т. 7, с. 53.

<sup>18</sup> Там же, с. 69.

<sup>19</sup> Пантеон, 1840, № 10, с. 37—38.

<sup>20</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., 1983, т. 6, с. 65.

<sup>21</sup> Отечественные записки, 1841, № 2, отд. 6, с. 39.



ний Н. Ступина» (СПб., 1842). Обе они помещены в № 7 «Литературной газеты» 1842 года.

Вторая из этих рецензий — стихотворная пародия на вирши Ступина, включающая и пародируемые отрывки из «Пяти стихотворений».

Рецензия же на сборник «Русский патриот» представляет собою прообраз сатирических отзывов на бездарные стихи, помещавшихся Некрасовым и Панаевым в «Современнике». Включенная в рецензию стихотворная пародия Некрасова «Привет русскому патриоту» предваряется характерным для будущего *Нового поэта* пронзительно-восторженным вступлением:

«Я... проникнут к нему (к автору «патриоту», — Б. М.) каким-то невольным уважением и в припадке горячей признательности готов сам сочинить ему привет, только боюсь неудачи... Пойдите... по жилам моим пробегает какой-то лихорадочный огонь... в голове вертятся какие-то идеи, которых я средо не видывал... Что это?... уж не вдохновение ли? Так точно, должно быть — вдохновение... Да, да... точно, вдохновение... уж позвольте, позвольте... перо, скорее перо!»<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 12-ти т. М., 1950, т. 9, с. 41. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте. Ср. аналогичный фрагмент из «Письма Нового поэта к издателям „Современника“», помещенного в «Современных заметках» декабрьской клички журнала за 1847 год. На сей раз поэтическое вдохновение «душит» *Нового поэта* (автор этого «Письма», вероятнее всего, сам Некрасов) после прочтения «Выбранных мест из переписки с друзьями», где Гоголь, в частности, защищал от критических нападок знаменитое его лирическое отступление из одиннадцатой главы «Мертвых душ» «Русь! Русь! вижу тебя из моего чудного прекрасного далека...»:

«Милостивые государи, я вполне и глубоко убежден в моем призвании и пишу вследствие „личной потребности внутреннего очищения“; может быть, я сделал еще немного, но я знаю, что могу сделать... Несколько уже громадных, требующих обширной „эрудиции“... произведений замыслено мною, из них многие в скором времени приведены будут в исполнение. Вдохновение душит меня, исполинские, колоссальные образы встают передо мною...»

В груди моей и буря и смятенье,  
Святым восторгом вечно движим я,  
Внимает мне Россия с умиленьем...  
Чего же, Русь, ты хочешь от меня?  
Зачем с таким невиданным волненьем  
Не сводишь ты с меня своих очей?...  
О Русь, о Русь! с немим благоговеньем  
Чего же ждешь ты от моих речей?..

К началу 1843 года относится творческое объединение Панаева и Некрасова в борьбе с антидемократическим лагерем и ложноромантическими тенденциями в русской литературе.

В февральской книжке «Отечественных записок» 1843 года была напечатана «не-повесть» Панаева «Тля», имевшая большой резонанс в критике. Это сатирическое произведение, памфлет, направленный, главным образом, против реакционного крыла русской журналистики, бездарных драматургов, продажных беспринципных писак, издателей и литературных промышленников. В сатирических портретах «Тли» легко угадываются Ф. В. Булгарин, В. С. Межевич, Н. В. Кукольник, Л. В. Брант и некоторые другие деятели реакционной печати 1840-х годов. Все или почти все прототипы «не-повести» Панаева раскрыты в обстоятельной статье И. Г. Ямпольского «Из истории литературной борьбы начала 1840-х годов («Петербургский фельетонист» и «Литературная тля» И. И. Панаева)».

Дополнительного внимания заслуживает, на наш взгляд, центральный персонаж «Тли» Николаша Гребешков в его отношениях со своим патроном, «издателем какой-то газеты». В образе издателя, как справедливо указал И. Г. Ямпольский, выведен редактор «Литературной газеты» и «Пантеона» Ф. А. Кони. Гребешков, пишет И. Г. Ямпольский, — «образ собирательный, не имеющий одного прототипа».<sup>27</sup> Вместе с тем исследователь обнаруживает в нем некоторые черты, сближающие Гребешкова с Межевичем и самим Панаевым.

Гребешков — образ действительно собирательный. Однако в истории взаимоотношений героя с «издателем какой-то газеты», в их конфликте отразилась, по видимому, реальная история взаимоотношений юного Некрасова с Ф. А. Кони. Так же как и Некрасов, Гребешков — автор эпигонского сборника стихов, водевилей, куплетист и бойкий рецензент, один из основных сотрудников «какой-то газеты» («Литературной газеты» Ф. А. Кони). Примечательный интерес молодого Некрасова к творчеству Жорж Санд, на который указывает И. И. Панаев в своих мемуарах,<sup>28</sup> также соотно-

Иль чувствуешь, что слово „вдохновенье“  
В устах моих, пылающих огнем,  
Есть „личная потребность очищенья“  
И потому такая сила в нем!»

(«Современник»,  
1847, № 11, отд. IV, с. 187)

Тот же прием — в рецензии Некрасова на альманах «Новоселье» (1846).

<sup>27</sup> Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. 1954, вып. 20, с. 157.

<sup>28</sup> Панаев И. И. Указ. соч., с. 248.

сится с интересом к творчеству этой писательницы героя «Гли». Причем оба они — и Некрасов в воспоминаниях И. И. Панаева, и Гребешков в его памфлете — знают о Жорж Санд лишь понаслышке и по немногим переводам. Отношения Гребешкова с издателем какой-то газеты, книгопродавцем, дружба и сотрудничество с актерами и вообще его литературная карьера в гораздо большей степени соответствуют обстоятельствам жизни юного Некрасова, чем Межевича и Панаева.

Именно ко времени, описанному в памфлете Панаева, относится начало постоянного сотрудничества Некрасова в «Отечественных записках» (первая публикация его в этом журнале — рассказ «Опытная женщина» — состоялась, как известно, еще в 1841 году). «Г-н Некрасов, — указывали Белинский, Панаев и Некрасов в своем «Объяснении по нелитературному делу» 1846 года, — принимал участие в „Библиографической хронике“, и вообще статей г-на Некрасова, не подписанных его именем в „Отечественных записках“, несравненно больше, чем подписанных» (12, 34).

На сегодняшний день выявлены всего три публикации Некрасова в журнале Краевского 1843 года: две рецензии на отдельные выпуски «Очерков русских нравов...» Ф. В. Булгарина (№ 3, 5) и отклик на сборник В. А. Соллогуба «На сон грядущий» (№ 7). У нас есть основания предполагать, что постоянное сотрудничество Некрасова в «Отечественных записках» началось с первого номера журнала 1843 года и непосредственно связано с появлением фельетонной маски *Нового поэта* в этом журнале.

Как уже говорилось выше, возникновение псевдонима *Новый поэт* обычно связывается с двумя публикациями в «Отечественных записках» 1843 года. В январской книжке журнала появились две стихотворные пародии «К чудной деве» и «К друзьям». А в апрельском его номере опубликованы «отрывки» из «драматической повести» «Лирик Петров, или Поэт и люди», стихотворные пародии «Наполеон» и «К азиатке».

Возможно, что эти публикации *Нового поэта* — коллективные. Первая из них представляет собой некую мистифицированную хронику литературных новостей, присланных в редакцию «Отечественных записок» «неизвестно кем».<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Приводим краткую «редакционную» заметку, которой предваряются три главы (I, II, III) «заметок»:

«В редакцию „Отечественных записок“ доставлено неизвестно кем несколько чрезвычайно любопытных литературных новостей и известий. Не ругаясь за их достоверность, мы тем с меньшим удовольствием даем им место и теперь, и на будущее время (ибо нам обещано продолжение таких статей в постоян-

В трех главках этой хронике «неизвестно кто» «спешит обрадовать любителей всего высокого и прекрасного» сведениями о деятельности нескольких литераторов (имена не называются) разной степени известности: о *Новом*, еще никому не известном поэте, о молодом, но уже известном драматурге, о «другом русском писателе из знаменитых» и о некоем представителе вновь просыпающейся романтической поэзии.

Новое поэтическое дарование представлено читателям следующим образом: «Скоро на горизонте русской литературы (благословен 1843 год) взойдет величаво новая блестящая звезда, появится новый могучий поэтический талант, в стихах которого сила и светская щеголеватость, яркость и радужность, внешняя художественность формы и кокетливость выражения — доведены до изумительного совершенства. Он, по нашему мнению, может быть достойным соперником того русского поэта, который по справедливости оценен уже образованною публикою и поставлен глубокими и просвещенными критиками в число наших литературных знаменитостей первой величины. Но пусть о таланте нового поэта (имя которого мы не откроем, покуда он не пожелает этого сам) судят сами читатели по прилагаемому у сего стихам, которые горят и блещут как алмазы».<sup>30</sup>

Далее следует стихотворение «К чудной деве» («Красоты ее мятежной...») и обещание «со временем» ознакомить читателей с другими стихами «юного поэта». Принадлежность этой пародии на Бенедиктова Панаеву не вызывает сомнения.

Следующая главка (II) возрождает в читательском сознании тип литератора (речь идет, по-видимому, о Н. В. Кукольник), подобный Грибовникову, и принадлежит, по всей вероятности, автору «Без вести пропавшего пииты». Приводим ее текст:

«Говорят, что деятельность наших писателей жалка и ничтожна в сравнении с французскими и германскими писателями. Справедливо ли это? Мы наверно знаем, например, что один молодой русский сочинитель, не более как год назад сидевший еще на школьной скамье, а теперь уже пользующийся в литературе достаточною известностью, — написал для сцены 12 оригинальных драм, из которых, говорят, в особенности одна — „Рюрик и Синеус“ — отличается глубоким знанием того времени и вообще красотами первостепенными... Он же перевел 15 драматических пьес с разных языков и, кроме

ном отделе «Смеси» «Отечественных записок» под рубрикою «Литературные и журнальные заметки»)). — *Отечественные записки*, 1843, № 1, отд. III, с. 53.

<sup>30</sup> Там же.

того, произвел до сотни лирических стихотворений.

Также из верных источников известно, что другой русский писатель из *знаменитых*, беспрестанно печатающий свои романы и повести, готовится теперь к печатанию три романа в 6 частях каждый, 37 повестей (30 итальянских и 7 русских) и замыслил 21 драматическую фантазию. Перед таким плодовитым русским сочинителем не только французские и германские писатели, но сам Лопе де Вега преклонил бы колени.<sup>31</sup>

Гиперболическая плодовитость обоих персонажей этой главки, «тематика» их творчества и жанровая всеядность, «стремительный взлет» юного драматурга и переводчика — все это наводит на мысль о логическом развитии литературного бытования сатирического образа «пшты».

Второе из помещенных в анализируемой публикации пародийных стихотворений составляет вместе с юмористическим предисловием к нему третью (III) главку публикации. Приводим полный ее текст:

«Романтическая поэзия не совсем умерла на Руси — она только заснула было с большого поэтического разгула, а теперь просыпается и — новый Эпименид, — не зная, что писалось и читалось на Руси во время ее сна, снова запела свои удалые и хмельные песни. Вот одна из них:

#### К ДРУЗЬЯМ

Где вы, товарищи? Куда занес вас рок?  
Вы помните ль, как мы, хмельной отвагой полны,  
Собравшись в дружески-отчаянный кружок,  
Шумели, будто бы в речном разливе волны?  
Тех дней не воротить! Всему своя пора!..  
Они исчезли, как светлое виденье...  
Блажен, кто пьянствовал от ночи до утра,  
Из бочек черпая любовь и вдохновение!  
Блажен, стократ блажен!.. Встречая  
Новый год,  
В мечте я прошлые года переживаю,  
Беспечные года возвышенных забот,  
И издаലെка к вам, товарищи, зываю!  
Примите дружески-бурсацкий мой привет,  
Порыв души моей студенческой и чистый,  
Студенческой, друзья (хотя мне сорок лет)!  
За ваше здравие и счастье ваш поэт  
Пьет херес бархатный и чудно-маслянистый!»<sup>32</sup>

Думается, что автономность двух пародий в публикации не случайна и указывает

на их принадлежность разным пародистам. «К друзьям» — пародия на Н. М. Языкова, в творчестве которого, как справедливо указывает Э. М. Шнейдерман, комментировавший это стихотворение, «значительное место занимали студенческие мотивы, тема дружеских пирушек».<sup>33</sup> Необходимо уточнить не только атрибуцию Э. М. Шнейдермана, но и сам объект пародии. «К друзьям» — пародия на «Прощальную песню» (1829) Языкова, опубликованную впервые с именем автора в его «Стихотворениях» (СПб., 1833).<sup>34</sup>

Среди стихотворений *Нового поэта* нам известны две пародии на Языкова: «К друзьям» и «Прогресс». Обе они как идейно-тематически, так и стилистически органично сочетаются с *некрасовскими* пародиями на Языкова «Послание к соседу» (1844) и «Послание к другу (из-за границы)» (1845), к которым мы еще будем обращаться. «К друзьям» следует, по-видимому, считать первым опытом Некрасова в его пародировании поэзии Языкова.

Вообще пародии Некрасова и Панаева, кроме прочих индивидуальных особенностей их, имеют одно важнейшее различие, которое необходимо учитывать в спорных случаях атрибуции. «Пародии» Панаева — это чаще всего весьма слабые *имитации*,<sup>35</sup> иронические подражания тому или иному автору «гладных и звучных» посредственных стихотворений, которые, как говорил Панаев, «после Пушкина и Лермонтова» писать «немудрено».<sup>36</sup> Типично панаевскими можно считать такие стихотворения *Нового поэта*, как «Густолиственных клеов алле...», «К азиатке», «К чудной деве», «Когда палиций жар сменяется прохладой...». Иногда они не более пародийны, чем, скажем, юношеские подражания Некрасова Бенедиктову. Пародии Некрасова (в том числе и самые ранние — такие, как упоминавшийся выше «Привет русскому патриоту») несравненно более остры и определены, в них мастерски обыгрываются слабые, смешные стороны пародируемых стихов, конкретные неудачные строки. Главная же особенность Некрасова-пародиста (и этим он резко отличается от Панаева) заключается в его «пристрастности». Он пародирует не любые *слабые стихи*, а произведения идейно чуждых или враждеб-

<sup>33</sup> Поэты 1840—1850-х годов. Л., 1972. с. 513. Стихотворение «К друзьям» атрибутировано здесь И. И. Панаеву.

<sup>34</sup> См.: Языков Н. М. Полн. собр. стихотв. Л., 1964, с. 273—274.

<sup>35</sup> См.: Гинабург Лидия. Бенедиктов. — В кн.: Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1939, с. XV и далее.

<sup>36</sup> Современник, 1851, № 1, отд. 6, с. 80. Ср.: Там же, № 4, отд. 6, с. 224; Собрание стихотворений Нового поэта. СПб., 1855, с. IX.

<sup>31</sup> Там же, с. 53—54.

<sup>32</sup> Там же, с. 54.



ных ему авторов. Типично некрасовские пародии — «Послание к другу (из-за границы)», «Ревность», «Мое разочарование». Большая часть стихотворений Некрасова — *Нового поэта* не являются пародиями («О вы, герои биллиарда...», «Беседа журналиста с подписчиком», «Взирает он на жизнь...» и др.). Однако все они носят остро сатирический, полемический характер.

«К друзьям» — типично некрасовская пародия. В пользу авторства Некрасова говорит и характерное для него юмористическое предисловие к этому стихотворению, по содержанию (мотив прощания романтической поэзии), интонации и способу включения стихов в текст фельетона перекликающемуся с его фельетонным стихотворением 1856 года «Послание к поэту-старожилу» (9, 251). Этот же мотив звучит и в атрибутированном Некрасову<sup>37</sup> фельетоне «Петербургская хроника», помещенном в № 96 «Русского инвалида» за 1844 год, в котором говорится о четвертом выпуске альманаха «Молодик», «опровергающем» опасения поклонников романтической поэзии: «Как давно кричат у нас: „поэзия спит, поэзия умерла, нет больше поэзии!“, а между тем ничуть не бывало: поэзия просто-запросто только на минуточку притаилась, спряталась... теперь она, наконец, решилась показаться снова на свет божий и вот показала».<sup>38</sup>

В связи с первыми произведениями *Нового поэта* следует обратить внимание еще на одно важное обстоятельство. Участником «Литературных и журнальных заметок», включающих рассмотренную публикацию, был В. Г. Белинский. заметки которого обрамляют пародийные сюжеты Панаева и Некрасова.

Следующие пародии появились в апрельской книжке «Отечественных записок» 1843 года<sup>39</sup> под тою же рубрикой «Литературные и журнальные заметки». Как и в первом номере журнала, участником фельетона был Белинский, который, между прочим, был вынужден разъяснять притворившемуся непонятливым Булгарину, что «смешная пародия на пьяно-студентские стихи» («К друзьям») — не лирическое стихотворение.<sup>40</sup>

В состав фельетона помимо заметок Белинского входят «два отрывка» из «драматической повести» «Лирик Пет-

ров, или Поэт и люди» с юмористическим вступлением, заметка о готовящейся к печати книге «Картины современной русской литературы», две стихотворные пародии («Наполеон» и «К азиатке») со вступительной заметкой к ним.

Автором стихотворных пародий назван «юный поэт, которого превосходное стихотворение „К чудной деве“ помещено в 1-й книжке „Отечественных записок“».<sup>41</sup>

«Внепродолжительное времени, — пишет автор драматической мистификации, — появится в свет драматическая повесть в трех действиях и в шести отделениях под заглавием „Лирик Петров, или Поэт и люди“». Мы имели случай прочесть эту драму (вероятно, по скромности названную драматическою повестью) в рукописи и были приятно изумлены и восхищены ею. Поздравляем заранее обожателей *высоко чувствительного и прекрасного* с новым блестящим драматическим талантом, который при первом вступлении на драматическое поприще, вероятно, должен будет занять почетное место между знаменитыми нашими драматургами г. Полевым и Ободовским — ибо творец „Петрова“ совмещает в себе, по нашему мнению, глубокое познание сердца человеческого — отличительное качество г. Полевого, как драматурга, с патетическим жаром г. Ободовского...»<sup>42</sup>

Как установлено И. Г. Ямпольским, «Лирик Петров» является пародией на «драматическую повесть» Н. А. Полевого «Ломоносов, или Жизнь и поэзия», высмеянную Белинским в предыдущем номере журнала.<sup>43</sup>

В «драматической повести» использованы подлинные стихи известного придворного поэта XVIII века В. П. Петрова (1736—1789) и отдельные факты его биографии.

Примечательно, что именно в это время о поэзии XVIII века, в частности о поэзии и тех же особенностях биографии и творчества Петрова, размышлял Некрасов, работавший над романом «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (1843—1848).<sup>44</sup> И это совпадение представляется нам неслучайным. Если же учесть, что Панаев до этого времени не печатал (и, по-видимому, не писал) оригинальных драматических произведений,<sup>45</sup> а Некрасов уже был автором дюжины водевилей и пьес (оригинальных

<sup>37</sup> Булгарин Б. Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966, с. 65.

<sup>38</sup> Русский инвалид, 1844, № 96, 30 апреля, с. 383.

<sup>39</sup> Укажем, кстати, что в работе И. Г. Ямпольского о Панаеве обе публикации ошибочно отнесены к апрельскому номеру «Отечественных записок» (Ямпольский И. Г. Указ. соч., с. XXI, XXII).

<sup>40</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 7, с. 43.

<sup>41</sup> Отечественные записки, 1843, № 4, отд. 8, с. 129.

<sup>42</sup> Там же, с. 122.

<sup>43</sup> Ямпольский И. Г. Указ. соч., с. XXII.

<sup>44</sup> См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 7, с. 348, 512; ср.: Там же, т. 8, с. 113, 122.

<sup>45</sup> Исключение составляет малоудачный перевод Панаева «Отелло» Шекспира (СПб., 1836).

и переводных, написанных самостоятельно и в соавторстве — совсем как у «творца» («Петрова...»), то вопрос об авторской принадлежности драматической пародии «Лирик Петров» уже нельзя решать без упоминания имени Некрасова.

Образ «пшты» — графомана Петрова, витийствующего по любому поводу, сродни Ивану Ивановичу Грибовникову из рассказа Некрасова «Без вести пропавший пшты». А включенные в этот рассказ *отрывки* из трагедии «Федотыч» и поэмы «Иоанн и Стефанида» (первые опыты Некрасова в области драматической пародии) могут быть использованы для доказательства принадлежности «Петрова...» Некрасову.<sup>46</sup>

Укажем также на ироническое упоминание о Петрове в фельетоне Некрасова «Письмо \*\*\*ского помещика...», напечатанном в № 15 «Литературной газеты» за 1844 год: «Учитель нам говорил: „Сумароков — великий драматург, Херасков — великий баснописец“, ну там и другие, Петров...» (5, 434).

Наше предположение об участии Некрасова в «Литературных и журнальных заметках» апрельского номера «Отечественных записок» 1843 года подтверждается и анализом библиографической заметки, входящей в состав этого фельетона. Приводим ее текст:

«Один из наших литераторов (имя его мы еще не можем сообщить читателям) собирается издать „Картины современной русской литературы“, которые могут служить продолжением не-повести „Тля“, напечатанной во 2-й книжке „Отечественных записок“ нынешнего года. „Картины современной русской литературы“ будут украшены прекрасными политипажными рисунками. В этих картинах есть сцены чрезвычайно забавные и очень верно и метко схваченные с натуры».<sup>47</sup>

Ясно, что речь идет не о следующем произведении Панаева, «не-повесть» которого «Тля» была напечатана с его подписью, а о книге другого автора, развивающего панаевскую тему. Заметка, очевидно, принадлежит Некрасову, и речь в ней идет о работе писателя над романом «Жизнь и приключения Тихона Тростникова», которая, как известно, затянулась на долгие годы, и это обещание не было выполнено. Впоследствии Некрасов неоднократно повторял (12, 115)<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Ср. мой комментарий к рассказу «Без вести пропавший пшты» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 7, с. 545).

<sup>47</sup> Отечественные записки, 1843, № 4, отд. 8, с. 129.

<sup>48</sup> См. также: Финский вестник, 1846, т. 7, раздел «От редакции» и опубликованный Р. Б. Заборовой текст объявления «Об издании „Современника“ в 1847 году». — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1968, т. 27, вып. 2, с. 153.

свое обещание, но так и не сумел завершить это произведение. Однако некоторые его части были напечатаны в виде отдельных произведений: «Необыкновенный завтрак» («Отечественные записки», 1845, № 11); «Очерки литературной жизни» («Финский вестник», 1845, № 2) и «Петербургские углы» (в «Физиологии Петербурга», СПб., 1845). Первые два из названных произведений действительно представляют собою сатирические «картины современной русской литературы», родственные не только тематически, но и по стилю «не-повести» Панаева. Присутствуя к характеристике своих героев, автор «Очерков литературной жизни» писал: «Кто-то из писателей очень метко охарактеризовал известный разряд петербургской пишущей братии названием „тля“».

Господин Хлыстов... именно принадлежал к этой „тле“. Что касается до его приятелей, то они также были, по значению, не более как подобная Владимиру Иванычу тля...».<sup>49</sup>

В проанализированном нами анонсе «Картин современной русской литературы» можно, думается, усматривать и первоначальный замысел будущего альманаха Некрасова «Физиология Петербурга» (1845). Его развитие — от физиологии Петербурга *литературного до общественной, многосторонней физиологии столицы*. Новая модификация этого замысла относится к маю 1844 года: в одном из фельетонов, печатавшихся Некрасовым в «Русском инвалиде» под рубрикой «Петербургская хроника», автор затрагивал тему «литературных кумушек» (имелась в виду прежде всего булгаринская «Северная пчела») — «любопытного физиологического явления», которое он оставлял «для будущего составителя физиологии русской журналистики».<sup>50</sup>

Четыре из пяти пародий (исключение составляет стихотворение «Наполеон»), напечатанных Панаевым и Некрасовым под разными масками в январской и апрельской книжках «Отечественных записок» 1843 года, позднее вошли в «Собрание стихотворений Нового поэта» (СПб., 1855). Все пять пародий включены в посмертное «Первое Полное собрание сочинений И. И. Панаева» (СПб., 1889, т. 6), составленное П. А. Ефремовым. Однако тогда, в 1843 году, маской *Нового поэта* пользовался только Панаев — автор пародий на Бедендикова («К чудной деве»), «Наполеон», «К азиатке»). Пародия на Языкова («К друзьям»)

<sup>49</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 7, с. 355.

<sup>50</sup> Русский инвалид, 1844, № 112, 21 мая, с. 445. Атрибуцию Некрасову см.: Царькова Т. С. Фельетоны и рецензии Некрасова в газетах 1844 года: (Новые атрибуции). — В кн.: Н. А. Некрасов и его время. Калининград, 1975, вып. 2, с. 61.

и «драматическая повесть» «Лирик Петров...», принадлежащие, по всей вероятности, Некрасову, печатались от имени других «неизвестных» авторов.

Публикации пародий Панаева и Некрасова в «Отечественных записках» 1843 года оборвались на второй статье, еще не определив физиономию коллективной журнальной маски *Нового поэта*. Однако важно еще раз подчеркнуть: в указанных публикациях 1843 года состоялось объединение сатирических талантов Некрасова и Панаева, развивавшихся до этого времени самостоятельно, хотя и в одном направлении. «Разделение труда» двух авторов; как видим, осуществлялось главным образом на уровне самостоятельных, но близких по замыслу, стилю<sup>51</sup> и тону главок-сюжетов. Не исключена, впрочем, и более сложная форма соавторства Некрасова и Панаева в пределах отдельных главок. Так, «редакционное» введение к первой подборке пародий в «Отечественных записках» создавалось, очевидно, обоими участниками публикации; возможно, что кроме Некрасова в работе над второй (II) главкой принял участие и Панаев.

Написав несколько пародий на Бенедиктова, Панаев, по-видимому, надолго утратил интерес к этому жанру. 1843—1845 годы — один из наиболее ярких и плодотворных периодов Панаева-беллетриста. Некоторые из его повестей, печатавшихся в это время в «Отечественных записках», получили одобрительную оценку в фельетонах Некрасова.<sup>52</sup> Иначе дело обстоит с Некрасовым. В течение 1843—1845 годов он сменил целый ряд фельетонных масок, а его фельетоны этой поры насыщены стихотворениями-пародиями. Так, одновременно с публикациями *Нового поэта* создавалось большое сатирическое обозрение в стихах «Говорун. (Записки петербургского жителя А. Ф. Белопяткина)». В «редакционном» послесловии к одному из фельетонов «Хроники петербургского жителя», печатавшихся в «Литературной газете» 1844 года под маской И. А. Пружинина, Некрасов не забывает оповестить о новых творениях драматургов-

эпигонов. «Говорят, гг. Ободовский и Цолевой, — иронически замечает он в конце первого фельетона этого цикла, — написали по новому „драматическому представлению“. По старому обычаю, мы сберегли эту десертную повесть к концу, и ею заключим нынешний фельетон...» (5, 618—619).

Прерванные в 1843 году сатирические картины современной литературы и пародии были возобновлены в «Литературной газете» 1844 года, издававшейся, как и «Отечественные записки», А. А. Краевским. В течение февраля—июня здесь появилась «летописная» серия фельетонов под рубрикой «Падающие звезды. (Метеорологические наблюдения над русскою литературою)». И название, и некоторые фельетонные приемы этой рубрики возникли, вероятно, также не без влияния «Литературной летописи» О. И. Сенковского — *Барона Брамбеуса*, не раз предпринимавшего «космические» путешествия в своих рецензиях и фельетонах.<sup>53</sup>

Вступительная заметка к первому фельетону этой серии перекладывается своим зачином, тоном, содержанием с «Литературными и журнальными заметками» Панаева и Некрасова в «Отечественных записках» 1843 года, в частности с цитированной выше второй главкой «заметок» из январской книжки журнала:

«Часто приходится слышать жалобы на бедность русской литературы хорошими произведениями и замечательными талантами. Но если рассмотреть дело ближе, право, у нас не так мало великих писателей и великих произведений, как вошло в обыкновение думать. Осмеливаемся сказать, что у нас есть даже глубокое философы и философия».<sup>54</sup>

Далее автор иронически говорит о «гениальных проблесках» в современной русской литературе, которые способны заметить только все читающие журналисты.

«Мы беремся следить за всем, — писал автор, — что будет открыто нового в мире грамматики, логики, литературы и философии. Но, имея в виду единственно доказать, что русская литература не так бедна, как думаем, мы не намерены входить в подробности, чем та или дру-

<sup>51</sup> Ср., например, цитированные выше иронические характеристики неразборчивых критиков и читателей в панаевском и некрасовском сюжетах: «любители всего высокого и прекрасного» и «обожатели высокочувствительного и прекрасного».

<sup>52</sup> См., например, отзывы в фельетонах «Петербургская хроника» («Русский инвалид», 1844, № 6, 9 янв., с. 21) и «Журнальные заметки» (там же, 1845, № 18, 24 янв., с. 70), атрибутированных Некрасову (*Булшгаб Б. Я.* Библиографические разыскания по русской литературе XIX века, с. 64, 71—75), о повестях Панаева «Барыня», «Утро на Невском проспекте», «Маменькин сынок».

<sup>53</sup> См., например, рецензию Сенковского на второй «том» «Статеек в стихах, без картинок», изданный Некрасовым, в которой *Брамбеус* совершает «космическое» путешествие с некрасовским героем Белопяткиным («Библиотека для чтения», 1843, № 7, отд. 6, с. 3). Первый «том» «Статеек в стихах...» *Брамбеус* сравнил с кометой (там же, № 3, отд. 6, с. 43. Ср.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 1, с. 402, 682).

<sup>54</sup> Литературная газета, 1844, № 8, 24 февр., с. 155—156.

гая новость особенно замечательна: наше дело будет тут чисто летописное. С летописною точностью будем мы обозначать время и место появления той или другой падающей звезды, предоставляя своим читателям решить, к какому роду звезд принадлежит она и что знаменует». <sup>55</sup>

Формально соблюдая обязательство быть «чистыми летописцами», авторы (или один автор?) фельетонов весьма остроумно и изобретательно вскрывали смешные стороны журнальных публикаций и книг. Высмеивались «Маяк», утверждающий, что «русским приходится всю Европу во всех науках перечислять заново»; <sup>56</sup> критик «Сына отечества», с идиотской дотошностью «разбирающий» стихотворение Лермонтова «Тамара» (№ 12 от 23 марта); журнал «Москвитянин» и альманах «Молодик», «замечательные сильною любовью к высокому и прекрасному», в статьях которых «много глубоких и прекрасных истин» — особенно в статье Хомякова об опере Глинки «Жизнь за царя» (курсив мой, — Б. М.); <sup>57</sup> книжка «Фантастическое описание кабинета действительного статского советника Д...ва» (№ 24 от 22 июня).

Последний фельетон серии «Падающие звезды» посвящен публикации послания Н. М. Языкова «М. П. Погодину» в № 6 «Москвитянина» 1844 года. Перепечатанное «от первой капли до последней» стихотворение Языкова — «стакан стихов», «бесхмельный и непьяный», который автор подносит товарищу студенческих пирушек, — снабжено юмористическим комментарием. Вторая правка этого фельетона, занимающая правый столбец страницы, посвящена как бы «другому» сюжету. В ответ на многочисленные просьбы подписчиков печатать стихи фельетонист помещает присланное «из провинции» стихотворение «Послание к соседу». Расположенное симметрично с языковским посланием, это стихотворение является пародией на него. В качестве опорных стихов использованы те самые строки, которые в послании Языкова фельетонист выделил курсивом. <sup>58</sup>

Текст этой стихотворной пародии уже давно атрибутирован К. И. Чуковским Некрасову. <sup>59</sup>

Предположение о принадлежности Некрасову всего фельетона впервые высказано в трехтомном издании «Библиотеки поэта». <sup>60</sup> Внимательное знакомство с фельетоном не оставляет сомнений в том, что весь он написан одним автором — Некрасовым.

Не является ли Некрасов автором и других фельетонов в рубрике «Падающие звезды»? Исследователям творчества поэта не следует исключать и такую возможность.

Фельетоны — «письма» (с пародийными стихами и без них), «присланные из провинции», — излюбленная форма некрасовских выступлений в «Литературной газете» 1844—1845 годов. Журнальная маска разбитного хроникера Белопяткина сменяется, как уже говорилось выше, другой маской — «петербургского жителя» И. А. Пружинина. Этот фельетонный персонаж, «случайно» попавший на страницы газеты, постепенно превращается в ее «постоянного сотрудника». Комическая развязность, простодушная вера Пружинина в свои литературные способности, быстро растущие честолюбие и апломб — все это можно рассматривать как новые эскизные наброски для будущего образа *Нового поэта*.

Как и *Новый поэт*, И. А. Пружинин — «любимец публики», сотрудничества которого «боится» лишиться «Литературная газета», его «записки» насыщены письмами приятелей и пародиями на творения бездарных стихотворцев. <sup>61</sup>

Прообраз фельетонов *Нового поэта* мы видим и в приписываемой Некрасову заметке «Замечательное стихотворение», напечатанной в № 8 «Литературной газеты» от 1 марта 1845 года. Она посвящена публикации в «Финском вестнике» произведения В. Г. Бенедиктова «Лестный отказ», остроумно высмеивает вычурность, «литературность» этих стихов. «У нас также есть „Отказ“. — сообщает автор заметки, — сочиненный одним молодым человеком, подающим большие надежды, который мы скоро представим читателям» (5, 587).

Стихотворение «молодого человека, подающего большие надежды» (ср. характеристику юного поэта в январской книжке «Отечественных записок» 1843 года), в «Литературной газете» не по-

<sup>55</sup> Там же, с. 156.

<sup>56</sup> Там же.

<sup>57</sup> Там же, № 22, 8 июня, с. 386. Курсивом мы выделили формулу, уже встречавшуюся во вступительной заметке к первой публикации *Нового поэта* в «Отечественных записках».

<sup>58</sup> Там же, № 24, 22 июня, с. 416—417.

<sup>59</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотв. М.; Л., 1927, с. 417, 525. См. также: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 1, с. 436, 694, где в комментарии приведен текст стихотворения Языкова.

<sup>60</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотв. Л., 1967, т. 1, с. 670. (Библиотека поэта, большая серия).

<sup>61</sup> См., например, пародии «Крапива, драгоценная трава», «Устрицы, харч благословенный», «Артишоки, вот харч благословенный» в фельетонах «Письмо \*\*\*ского помещика о пользе чтения книг, о вредности бараньих бурдюков с кашей и о русской литературе»: «Петербургские дачи и окрестности» (1): «О лекциях доктора Пуфа вообще и об артишоках в особенности» (5, 444, 447-494).

явилось. Однако в вышеприведенном вскоре некрасовском альманахе «Первое апреля» была помещена его пародия на Беведиктова «Ревность» с подписью «Владимир Буруноков».

Вспоминная об издательской деятельности Некрасова этой поры, Панаев писал: «Некрасов пустился... в издание разных мелких литературных сборников, которые постоянно приносили ему небольшой барыш...»<sup>62</sup> Вероятно, мемуарист имеет в виду «Первое апреля». Пренебрежительное замечание Панаева дало основание Б. Я. Бухштабу высказаться отрицательно о возможности участия в этом альманахе Панаева, который был в эту пору «в зените своей славы»: «Трудно предположить, чтобы он сам был сотрудником этого издания».<sup>63</sup>

Есть, однако, данные, заставляющие нас поставить под сомнение вывод Б. Я. Бухштаба. Прежде всего следует констатировать, что в «Первом апреле» помещен цикл эпиграмм и стихотворных пародий с «панаевским» заглавием «Портретная галерея». Был ли Некрасов единственным автором этого цикла, как это принято считать? Напомним, что в «Портретную галерею» «Первого апреля» входят: «Он у нас осьмое чудо», «Ходит он меланхолически...», «Стихотворение, заимствованное из Шиллера и Гете» и «Ростовщик». Два первых — сатирические портреты Ф. В. Булгарина и К. С. Милановского, и принадлежность их перу Некрасова в настоящее время уже не может вызывать сомнения. Третий «портрет» — эпиграмма на автора сборника «Стихотворения, заимствованные из Гете и Шиллера» (СПб., 1845) А. Н. Струговщикова в форме пародии на одно из стихотворений этой книги «Фантазия Клары». Принадлежность этой пародии Некрасову в настоящее время остается по меньшей мере спорной.<sup>64</sup> И другим возможным автором ее может быть именно Панаев, — автор идеп «Портретной галереи».

Это предположение тем более основательно, что есть и другие данные о сотрудничестве Панаева в «Первом апреле». Два стихотворения, впервые напечатанные в этом альманахе, впоследствии вошли в «Собрание стихотворений Нового поэта» и «Первое полное собрание сочинений И. И. Панаева»: «Ревность» и «Они молчали оба...». Приписанные Б. Я. Бухштабом Некрасову,<sup>65</sup> они были включены в трехтомное «Полное собрание стихотворений» Некрасова большой серией «Библиотеки поэта» в раздел

«Стихотворения, приписываемые Некрасову». «Ревность» входит в отдел «Dibia» академического издания.<sup>66</sup> Что же касается стихотворения «Они молчали оба» из коллективного фарса «Как опасно предаваться честолюбивым снам», то автор настоящей статьи, комментировавший этот фарс в академическом издании, высказал предположение о принадлежности указанного стихотворения Панаеву,<sup>67</sup> которого, таким образом, не следует исключать из числа авторов фарса (Некрасов, Достоевский, Григорович, Панаев).

П. А. Ефремов какое-то время считал принадлежащими Панаеву еще два стихотворения из «Первого апреля»: «И скучно и грустно», «С цветком в руке, бледна и одинока».<sup>68</sup> Второе, по атрибуции Б. Я. Бухштаба, включалось в раздел «Стихотворения, приписываемые Некрасову» упоминавшегося выше трехтомного издания «Библиотеки поэта», но в академическом издании со ссылкой на указание Ефремова было внесено А. М. Гаркави в список «Стихотворений 1838—1855 годов, включавшихся в собрание сочинений Некрасова ошибочно или без достаточной аргументации».<sup>69</sup> Однако и аргументацию А. М. Гаркави нельзя считать основательной. Дело в том, что Ефремов в конечном счете изменил свою точку зрения и не включил оба эти стихотворения в «Первое Полное собрание сочинений» Панаева.

Укажем, кстати, еще на один факт, не привлекавший внимания исследователей этой проблемы. В мартовской книжке «Современника» 1850 года была помещена прощески-пародийная рецензия на драму М. Корсини «Доверчивые женщины», героиня которой объясняется таким языком: «Только раз встретить его взгляд, увидеть в действительности его абрис, а потом страдать безропотно и безнадежно».

«Милая дева! — восклицает рецензент после цитации этих строк. — Эти два еще не напечатанных стихотворения Нового поэта как будто написаны тобой...»<sup>70</sup> Далее следуют стихотворения «Я знал ее. Она была печальна» и помещенное ранее в «Первом апреле» «С цветком в руке...». По наличию в рецензии стихов *Нового поэта* В. Э. Боград предположительно приписал эту рецен-

<sup>66</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 1, с. 446, 698—699.

<sup>67</sup> Там же, т. 7, с. 616.

<sup>68</sup> См. принадлежавший П. А. Ефремову экземпляр «Первого апреля» с атрибутивными пометами в соответствующих местах, хранящийся в библиотеке ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом).

<sup>69</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 1, с. 708.

<sup>70</sup> Современник, 1850, № 3, отд. 5, с. 69.

<sup>62</sup> Панаев И. И. Указ. соч., с. 248.

<sup>63</sup> Бухштаб Б. Я. Некрасов в стихах «Нового поэта», с. 438.

<sup>64</sup> См. Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т., т. 1, с. 699—700.

<sup>65</sup> Бухштаб Б. Я. Некрасов в стихах «Нового поэта», с. 437—438.

зию Панаеву.<sup>71</sup> Учитывая чрезвычайно редкое обращение Панаева к жанру рецензий и то обстоятельство, что Некрасов пользовался маской *Нового поэта* или выступал от его имени в собственных рецензиях и статьях,<sup>72</sup> указанная рецензия вместе со стихотворными пародиями,<sup>73</sup> вероятно, принадлежит Некрасову.

Укажем еще одно обстоятельство, подтверждающее созвучность творчества Панаева начала 1846 года с материалами «Первого апреля». В февральской книжке «Отечественных записок» 1846 года (за два месяца до выхода альманаха) была помещена миниатюра Панаева «Литературный заяц» — сатирический портрет Л. В. Бранта. Напечатанная в составе «Литературных и журнальных заметок»,<sup>74</sup> эта миниатюра предшествовала помещенной здесь же статье Белинского «Новый критикаш», также «посвященной» Бранту.

Специального внимания заслуживает еще одна сатирическая миниатюра Некрасова, помещенная в «Первом апреле». — «Пощечина». Она завершается, как известно, стихотворением «Пощечина людей позорит...», еще в 1844 году исключенным цензурой из водевиля Некрасова «Петербургский ростовщик». Прием, с помощью которого Некрасов вводит это стихотворение, типичен для тех рецензий и статей «Современника», где *Новый поэт* участвует в качестве журнального персонажа: «...нашелся какой-то сердитый и мрачный чудаки, вздумавший однажды уверять, что счастье, пришедшее к человеку в форме пощечины, — постыдное счастье... Слушай, мне пришли в неопisanное волнение, и один господин, очень почтенный и благонамеренный паружности, выступил вперед, поспешил предложить свое мнение. Мало-помалу он так увлекся важностью вопроса и истинностью своего убеждения, что вдруг почувствовал прилив вдохновения и, несмотря на то, что прежде никогда не писал стихов, импровизировал следующие прекрасные стихи...» (5, 552).

Таким же способом, в частности, вводится в текст коллективной рецензии «Современника» на «Московский литературный и ученый сборник...» 1847 года *Новый поэт*, к которому «поч-

тительно» обращается автор (прием *Барона Брамбеуса*) с просьбой разрешить журнальный спор:

«Господин *Новый поэт* выступил несколько шагов вперед, стал в приличную позицию, подумал минуту и начал так:

Что мой месяц-дружок...» и т. д.<sup>75</sup>

Указанное соответствие является, на наш взгляд, еще одним аргументом в пользу принадлежности этой рецензии Некрасову.

Участие Панаева в некрасовских «Физиологии Петербурга» (очерк «Петербургский фельетонист») и «Петербургском сборнике» (очерк «Парижские увеселения») хорошо известно и не требует подробного рассмотрения. Еще на один факт коллективного поэтического творчества Некрасова и Панаева в довременниковский период указал М. М. Стасюлевич. «Некрасов, Панаев и др.», по его свидетельству, участвовали в работе над сатирическим «Посланием Белинского к Достоевскому» (1846).<sup>76</sup>

Изучение личных и творческих отношений Некрасова и Панаева в 1839—1846 годах, их роли в создании фельетонной маски *Нового поэта* позволяет сделать следующие выводы:

1. Открытие *пародийной* маски *Нового поэта* принадлежит Панаеву и относится к 1841 году. Очерки Панаева первой половины 1840-х годов («Портретная галерея», «Литературная тля», «Петербургский фельетонист») предопределили основное направление сатирической деятельности *Нового поэта* в «Современнике».

2. Рождение *фельетонного персонажа Нового поэта* было подготовлено многожанровой журнальной деятельностью Некрасова-сатирика в 1840—1846 годах. В художественном творчестве, рецензиях и фельетонах Некрасова этой поры, направленных против реакционной и эпигонской литературы, графоманов, бездарных писателей и драматургов, синтезировались в гротескной форме наиболее общие черты литераторов этого типа, ставшие затем основными в образе *Нового поэта*; выработывались поэтика, стиль будущих фельетонов (в этой области Некрасов испытал некоторое влияние О. И. Сепковского — *Барона Брамбеуса*).

3. Органическое слияние идейно близких сатириков в серии «Литературных и журнальных заметок» (1843) и альманахе «Первое апреля» (1846) осуществилось под благотворным влиянием их общего идейного руководителя В. Г. Белинского.

<sup>71</sup> *Боград В.* Журнал «Современник» 1847—1866, с. 142, 502.

<sup>72</sup> См., например, рецензию Некрасова 1851 года на сборник Н. В. Сушкова «Раут» (9, 229) и его «Современные заметки» 1847 года (9, 555).

<sup>73</sup> Обе пародии не включались в «Собрание стихотворений Нового поэта» 1855 года и «Первое полное собрание сочинений» И. И. Панаева.

<sup>74</sup> *Отечественные записки*, 1846, № 2, отд. 8, с. 124—126.

<sup>75</sup> *Современник*, 1847, № 6, отд. 3, с. 136.

<sup>76</sup> *Вестник Европы*, 1880, № 5, с. 413

\* \* \*

Строго говоря, первые коллективные публикации Панаева и Некрасова еще не были фельетонами в той их форме, которую приобрели «Письма...» и «Заметки и размышления...» *Нового поэта* в «Современнике». По существу «Литературные и журнальные заметки» Некрасова и Панаева в «Отечественных записках» 1843 года были мистифицированными публикациями стихотворных пародий.

Такого же рода публикациями следует считать и три статьи *Нового поэта* в № 1, 2, 4 «Современника» 1847 года. Первая из них, включающая шесть стихотворных пародий<sup>77</sup> на Бенедиктова, Кукольника, Языкова, на многочисленные стихи «в испанском роде» и «под Гейне», содержит декларативную часть с автохарактеристикой *Нового поэта*. Внимательное знакомство с этой статьей убеждает, что Некрасов участвовал как в работе над ее декларативной частью, где дан «портрет» *Нового поэта* и изложены его «литературные взгляды», так и в создании стихотворных пародий. У *Нового поэта* много «любимых» авторов:

«Сколько их! От Бенедиктова, Языкова, Хомякова, Ростопчиной до Падерной и Шарша — все они приводили меня в восторг», — восклицает *Новый поэт*.

«Мне казалось, что я не могу ни так чувствовать, как Бенедиктов, ни так пить и предаваться разгулу, как Языков, и, подавленный их величием, я падал перед ними во прах... Все же я человек, думал я в неуместной и непростительной гордости, — я любил, страдал, кутил, порывы мщенья и несправедливости, злобы и ревности набегали не раз и на мою душу...»<sup>78</sup>

Наиболее яркое — не только в художественно-сатирическом, но и в общественно-политическом плане — стихотворение в составе этой публикации безусловно — пародия на Н. М. Языкова «Прогресс»:

В былые наши дни, в дни юности задорной,  
В дни забубенные бурсацких смут и бурь  
Любили мы, друзья, один напиток вздорный.

Одно шипучее!.. Но эта блажь и дурь  
Давным-давно прошла. Остановившись,  
ныне

На жизнь взираем мы смиренно и умно,  
И уважительны к ее мы благостыне  
Лишь чувствуя одно солидное вино!  
Лета уносят все, в права вступает мера,  
Не бражничаем мы от утра до утра,  
И развивает нас портвейн и мадера...

<sup>77</sup> Приводим названия этих стихотворений: «Могила», «Серенада», «Прогресс», «К\*\*\*», «Requiem», «Она стояла у окна».

<sup>78</sup> Современник, 1847, № 1, отд. 4, с. 65, 66.

И, может быть, близка желанная пора,  
Когда, вняв истине и жажде благородной,  
Свое славянское достоинство создав,  
Ковшамн будем пить напиток свой на-  
родный, —  
Простое пенное, чистейшее, без трав!<sup>79</sup>

В качестве формальной основы для этой пародии *Новый поэт* использовал стихотворение Языкова «Малага».<sup>80</sup>

Напечатанное впервые в «Современнике» (1841, т. 24), оно вошло в сборник «56 стихотворений Н. М. Языкова» (М., 1844), разрешенный цензурой к печати 13 сентября 1844 года. Сборник (а вместе с ним и вышедший одновременно сборник стихотворений А. С. Хомякова) получил резко отрицательную оценку В. Г. Беллинского. В статье «Русская литература в 1844 году», напечатанной в январской книжке «Отечественных записок» 1845 года, критик писал:

«Рассказывая в удачных стихотворениях более всего о своих попойках.

<sup>79</sup> Там же, с. 68.

<sup>80</sup> Приводим весь текст этого стихотворения:

В мои былые дни, в дни юности счастливой

Вино шипучее я пил,  
И вкус, и блеск его, и хмель его  
игривый.

Друзья, немало я хвалил;  
Сверкало золотом, кипело пеной белой  
Нас развивавшее питье,  
Воспламенялось и кипело  
Воображение мое;

Надежды и мечты, свободные, живые  
Летали весело, легко,

И запосиллся, прекрасно-молодые,  
Они далеко, высоко!

Шум, песни, крик и звон в прелестный  
гул сливались.

Студентский пир порядком шел,  
И чаши об пол разбивались  
Разгульный теша производ!

Остепеняют нас и учат нас заметно  
Лета и бремя бытия:

Так ныне буйный хмель струи золото-  
цветной

Не веселит меня, друзья,  
Ни кипяток ее, ни блеск ее мгновенный;

Так ныне мне уже милей  
Напиток смиренный и бесценный,  
Вино густое, как елей,

И черное, как смоль, как очи девы  
горной,

И мягкосладкое, как мед;  
Милей мне тихий пир и разговор  
неспорный,

Речей и мыслей плавный ход;  
Милей почтительно ласкаемая чаша,  
Чем песни, крик и звон, и шум.

Друзья, странна мне юность наша:  
У ней все было наобум!

(Цит. по: Языков Н. М. Полн. собр. стихотв. М.; Л., 1964, с. 357—358)

г. Языков нередко рассуждал в них и о том, что пора уже ему охмелиться и приняться за дело. Это благое намерение, или, лучше, эта охота говорить в стихах об этом благом намерении, сделалась новым источником для его вдохновения, обратилась у него в истищую манию и от частого повторения превратилась в общее риторическое место. Обещания эти продолжают до сих пор; все давно знают, что наш поэт давно уже охмелился; публика узнала даже (из его же стихов), что он давно уже не может ничего пить, кроме рейнвейна и малаги; но дела до сих пор от него не видно.<sup>81</sup>

Примечательно, что Некрасов считал необходимым присоединиться к критике Белинского в одном из своих фельетонов под рубрикой «Журнальные отметки». «Она (статья Белинского, — Б. М.) очень верно оценивает достоинство стихотворений г. г. Языкова и Хомякова, которыми досель у нас любовались и которых хвалили безотчетно».<sup>82</sup>

Согласные действия Белинского и Некрасова были вызваны, разумеется, не только слабостью стихов Языкова и Хомякова, помещенных в их последних сборниках. Дело в том, что именно в это время (конец 1844-го — начало 1845 года) Языков написал ряд стихотворных памфлетов («К не нашим», «Константину Аксакову», «К Чаадаеву», «Землетрясение»), направленных против «западнического» крыла русских писателей и общественных деятелей, к которому в это время относился не только Белинский, но и сам Некрасов.

Названные стихи Языкова не предназначались для печати, но были широко известны в списках. 17 декабря 1844 года А. И. Герцен записал в дневнике: «Языков написал какие-то ругательные стихи на Чаадаева, Грановского и Герцена!.. Я не читал этого произведения славянофильских наущений Хомякова и оскорбленного самолюбия поэта, некогда нравившегося, теперь выжившего из ума, отсталого... Признаюсь, мне хотелось бы прочесть для того, чтоб убедиться еще в одной черте этой котери: я почти уверен, что тут есть невольный доносец».<sup>83</sup>

Вскоре Герцену удалось получить списки этих стихотворений, и он тотчас отправил их в Петербург Белинскому, который, очевидно, ознакомил с памфлетами Языкова Некрасова. «Спасибо тебе за стихи Языкова», — писал Белинский

Герцену 26 января 1845 года. — Жаль, что ты не вполне их прислал. Пришли и пасквиль. Калайдович, доставитель этого письма... покажет вам пародию Некрасова на Языкова». Во 1-х, распространите ее, а во 2-х, пошлите для напечатания в „Москвитянин“. Теперь Некрасов добирается до Хомякова».<sup>84</sup>

Известно, что в письме Белинского идет речь о стихотворении Некрасова «Послание к другу». Эта пародия с характерным подзаголовком «Из-за границы» (намек на отрицательное отношение славянофилов к «нерусскому» Петербургу — «пышной блуднице») едко высмеивает квасной патриотизм и доносительный характер стихов Языкова.

«Послание к другу. (Из-за границы)» было помещено Некрасовым в «Литературной газете» (1845, № 5 от 1 февраля) за подписью «Н. Стуקותин». Первые 20 строк этого стихотворения с положительным «отзывом» о пародии были перепечатаны Некрасовым в одном из его фельетонов под рубрикой «Журнальные отметки».<sup>85</sup>

Думается, что изложенные факты являются достаточным основанием для атрибуции Некрасову и приведенной выше пародии на Языкова «Прогресс». Умудренный жизнью бражник — герой пародии констатирует «прогресс» в прейскуранте «развивающих» его вин. Однако основное сатирическое жало пародии (как, в скрытой форме, и в цитированных строках статьи Белинского) направлено против Языкова, бывшего «певца свободы», деградировавшего, по мнению «западников», до политических доносов.

Участие Некрасова — соавтора Панаева по прежним публикациям *Нового поэта* — в статье, открывающей постоянную рубрику «Современника» было естественно и необходимо. В рассматриваемый период статьи Панаева, одного из руководителей и активных публицистов «Современника», не всегда удовлетворяли Белинского и Некрасова. Редакторская помощь Некрасова и его непосредственное авторское участие в этих статьях имела целью наполнить их более глубоким и острым общественным содержанием. В письме к И. С. Тургеневу от 1 (13) марта 1847 года, ссылаясь на разговор с Некрасовым, Белинский писал, что, «составляя для „Смеси“ известия о литературных новостях во Франции, Панаев не умел от себя прибавить суждения, ни слова, ни переменить фразы, и если что по этой части

<sup>81</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 8, с. 459.

<sup>82</sup> Русский инвалид, 1845, № 18, 24 января, с. 70. Атрибуцию этого фельетона Некрасову см.: *Бухштаб В. Я.* Библиографические разыскания по русской литературе XIX века, с. 71—75.

<sup>83</sup> Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954, т. 2, с. 396—397.

<sup>84</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 12, с. 250.

<sup>85</sup> Русский инвалид, 1845, 11 февраля, № 33, с. 130. Атрибуцию фельетона Некрасову см.: *Бухштаб В. Я.* Библиографические разыскания по русской литературе XIX века, с. 71—73.



сделал, то почти под диктовку Некрасова»<sup>86</sup>

Если же говорить о конкретных «следах» участия Некрасова в составлении цитированной декларации под заглавием «Новый поэт», следует указать прежде всего на переключку в описании угрызений самолюбия *Нового поэта* с размышлениями поклонника Бенедиктова И. А. Пружинина в некрасовской «Хронике петербургского жителя» (1844). Безуспешные попытки Пружинина писать «высоким слогом» заканчиваются его сокрушенным признанием:

«Не рожден я ни к чему высокому, и Матрена Ивановна не рождена тоже; мы даже роста с ней низкого... Досадовал, крепко досадовал прежде... Отчего, думаю, один верзило такой ходит, задрав нос, и смотреть на тебя не хочет... а хочешь ты на него взглянуть, голову подними... а другой дрянь дрянью, не различишь от земли... даже самому гадко!.. Ведь такой же, думаешь, человек... И, бывало, так даже ропщешь на несправедливость судьбы...» (5, 411).

Обратим внимание также и на логическую связь приводившихся нами строк декларации *Нового поэта* с пародиями Некрасова на Языкова и его пародией на Бенедиктова «Ревность».

Характерно, что имена третьестепенных поэтов-эпигонов, упомянутые в цитированной «декларации» в аналогичном контексте, встречаются в позднейших критических выступлениях Некрасова. Шутливо пеняя *Новому поэту* (в рецензии на «Дамский альбом» 1854 года) — «неумолимому гонителю поэзии» 1840-х годов, Некрасов писал:

«Милостивые государи! сознаюсь: я сам принадлежал к числу маленьких поэтов того счастливого времени, и сознаюсь, что они были, за исключением Баратынского, Языкова, Подолнского, действительно, маленькие...» (9, 238).

В помещенном там же «плаче» «Мне жаль, что нет теперь поэтов» Некрасов «скорбит»,

Что нету госпожи Надерной,  
У коей был талант примерный

(9, 239; курсив мой, — Б. М.)

В другой его рецензии 1855 года помещено известное стихотворение «Послание к поэту-старожилу», где высказываются «надежда», что

... может быть проснется Шарш  
И отзовется Печенегов!..

(9, 251; курсив мой, — Б. М.)

Можно, таким образом, констатировать, что уже первые публикации *Нового поэта* в «Современнике» требуют к себе пристального внимания некрасоведов. А если учесть, что начало фельетонам *Нового поэта* (в той их форме, в которой потом печатались его «Письма...», «Заметки и размышления...» и рецензии) было положено Некрасовым<sup>87</sup> — соавтором Панаева в первых публикациях под этой маской — выводы должны быть еще более широкими:

4. Все фельетоны *Нового поэта* в «Современнике» требуют к себе особого внимания некрасоведов;

5. Наличие некрасовских стихов в составе фельетона *Нового поэта* — признак участия Некрасова в работе над всем фельетоном.

6. Некрасов был единоличным автором некоторых фельетонов *Нового поэта* («Теория бильярдной игры...», очевидно, случай не исключительный); автором отдельных главок-сюжетов фельетонов (в частности, тех сюжетов, которые включают его стихи); автором или соавтором Панаева в фельетонах *Нового поэта*, имеющих «стратегическое» значение для их журнала.

Приняв эти положения в качестве рабочей гипотезы, мы сможем более плодотворно изучать «литературное наследие» *Нового поэта* и творчество создателей этой журнальной маски.

<sup>87</sup> Имеется в виду упоминавшаяся в начале статьи фельетон «„Теория бильярдной игры“ и Новый поэт» («Современник», 1846, № 11), атрибутированный А. Ф. Крошкиным Некрасову.

<sup>86</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 12, с. 346.

М. Г. К и т а й н и к

## «ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ»

(ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ Ф. В. ГЛАДКОВА)

В самом конце 1955 года я послал Gladkovу свою книгу «Д. Н. Мамин-Сибиряк и народное творчество», изданную в Свердловске. Ф. В. Gladkov с неизменной любовью относился к народному

языку и поэзии, и интерес к Мамину-Сибиряку был у него обостренным. Федор Васильевич посвятил ему несколько статей, считал его одним из своих литературных учителей. С именем Мамина-

Сибиряка Гладков связывал освоение русской литературной темы рабочего класса. Примечательны такие слова из статьи Гладкова о Мамине-Сибиряке: «Его неудержимо влекла к себе живая жизнь и трудовое движение... Воля к труду, тоска по труду, как свободному проявлению всех человеческих даров, — главный мотив его произведений о рабочих людях».

Когда Гладков получил мою книгу, он был тяжело болен, однако отправил мне 16 марта 1956 года небольшое, в одну страничку письмо, в котором говорил об актуальности изучения литературно-фольклорных связей, ибо «русская литература развивалась под большим влиянием народного творчества и многим обязана ему». Гладков обещал при первой возможности написать об этом подробнее. Обещанное письмо пришло довольно скоро. Раздумья о народном творчестве и его влиянии на литературу в значительной мере основаны здесь на фактах личного опыта Гладкова. Он рисует впечатляющую картину своего детства и отрочества, когда ему повезло полностью слиться с «чудесной стихией» народного языка и поэзии, — картину, таящую мысль о непреходящем значении этих источников национальной культуры для современности. Письмо затрагивает и другие вопросы, волновавшие Гладкова в последние годы жизни. Писатель полемизирует с критиками, которые упрощенно трактуют характер его взаимоотношений с Горьким, осуждает ошибочные тенденции в литературоведении, языкознании, фольклористике и массовой культуре первых послевоенных десятилетий. Письмо высвечивает образ человека, умевшего и на склоне лет отстаивать свои убеждения с былой неумолимой страстью.

Москва, 27-IV-56<sup>1</sup>

Уважаемый Михаил Григорьевич,

прошу извинить меня за запоздалый ответ на Ваше хорошее письмо, но благодарность за подарок никогда не тускнеет. Причина медлительности — в моем недуге: и сердце и астма, которые расходились год назад и вывели меня из строя. Как-никак, а мне уже стукнуло 73 года, хотя некоторые наши критики считают, что у меня «заметел рост» и что я (только я, заметьте) не изменяю «традициям Горького» (читайте: неуклонно подражаю ему!). Эта глупейшая чепуха создана еще в РАППе, чтобы не допустить мысли о самобытности Федора Гладкова. Но есть, по совести говоря, у меня свой голос, свое отношение к миру, свое восприятие человеческих судеб. Не думаю, чтобы меня можно было смешать с кем-нибудь из советских писателей... Неужели «Цемент»

или «Энергию» можно характеризовать, как эпигонство и подражательство Горькому? Конечно, нет. А мои автобиографические повести ничего общего и по духу и по пластике с горьковскими автобиографическими книгами не имеют; другой мир, другое отношение к действительности и люди другие — с другими мыслями и стремлениями.

Не будем больше говорить об этом. Мой единственный учитель и воспитатель — это сама жизнь и мой народ, в гущу которого я жил с детства до средних лет.

Теперь относительно фольклора. Надо помнить, что русский народ, жизнелюбец и труженик, очень любил и любит поиграть словами и любит их крылатостью. Речистые люди всегда говорят складно и сами наслаждаются мелодикой речи. Эта складность проявляется еще в детстве (дети любят говорить рифмованными фразами). А раб! Помню готовых пословиц и поговорок, русский человек сам экспромтом (по «наитию») создает крылатые слова и фразы.

Я с самого раннего детства жил в мире этой словесной красоты. Экономия речи, удивительная объемность и творческая яркость синонима, мудрое раздумье и жизнерадостный юмор всегда пленяли меня и воспитывали во мне глубокую любовь к родному, богатейшему, прекраснейшему в мире русскому языку. И мне очень досадно, что наши языковеды, с одной стороны, равнодушны к порче и к извращениям языка, а с другой — непрактически узаконивают неслепые слова и обороты речи (довзвев *над*, *пара* минут, *дней* и т. д.), рекомендуя в своих словарях неправильные (антинародные) ударения (*дёнгами*, *озорничать*, в *реку* и т. п.).

Но в то же время некоторые наши фольклористы и литературоведы выдают и отстаивают лженародных сказителей, сочиняющих очень скверные стихи и малограмотные вирши партизан, выдавая их за народное творчество.

Когда я приступил к созданию автобиографической эпопеи, мне было сначала как-то страшно погружаться в чудесную стихию народного словомудрия и речевого златоцвета. Но оказалось, что эта стихия — моя природа, моя душа художника. Я не только и не столько пользовался записанными пословицами и поговорками, сколько в памяти моей открылись и зазвучали живые слова. Живая ткань речи людей, с которыми я прожил детство и юность.

Теперь язык народа исчезает, если не совсем исчез. Газета, реклама, резолюции вытеснили заветные слова языка народа. Пошлейшие частушки, которые сочиняются и местными стихотворцами, и столичными поэтами, доминируют над песенками совсем изуродовали эстетические потребности молодежи. Забыты изумительные по красоте и величю песни старины (а она в песнях

<sup>1</sup> Письмо приводится с сокращениями.

вечно молода), а за русские песни (народные) по невежеству выдаются такие перлы, как лакейские и шуточные студенческие.

Ваша книга о Мамине-Сибиряке достойна всяческого внимания. Вы первый широко и глубоко поставили вопрос о народности творчества Мамина-Сибиряка. Не будь у него такого богатого фольклорного материала, он не смог бы познать и оживотворить душу уральских тружеников...

Может быть, я написал Вам не то, что интересует Вас, но я сейчас не в силах писать даже простые письма: очень болел и потерял работоспособность. Вы, вероятно, заметили, что у меня и почерк изменился. Мне нужно работать над четвертым томом автобиографической повести, а я не могу даже на короткое время сидеть за столом.

Всего Вам доброго.

Ваш Федор Гладков.

Т. В. Павлова

## «ВЕРА, ИЛИ НИГИЛИСТЫ» — «РУССКАЯ» ДРАМА ОСКАРА УАЙЛЬДА

В первые десятилетия XX века Оскар Уайльд (1854—1900) был в России одним из самых популярных западноевропейских писателей, новейшие достижения английской литературы связывались прежде всего с его именем. Тема «Оскар Уайльд и Россия», помимо богатой истории восприятия творчества английского писателя в русской литературной и читательской среде, имеет еще один немаловажный аспект — образ России в представлении Уайльда. Знаменательно, что Уайльд, завоевавший в России громкую посмертную славу, сам высоко отзывался о произведениях русской литературы, о ее нравственном пафосе, проявлял интерес к современной российской действительности. Столь же знаменательно, что для первого своего крупного литературного произведения Уайльд избрал русский сюжет — эпизод из истории борьбы революционеров-«нигилистов» с правительственным произволом.

Драма «Вера, или Нигилисты» («Vera; or the Nihilists», 1880) не принесла автору известности. Стараясь заинтересовать театральный мир своей пьесой, Уайльд разослал ряд экземпляров ее, напечатанных на личные средства, нескольким известным английским и американским актрисам.<sup>1</sup> Попытка поставить «Веру» в Англии не удалась, хотя

драма была принята театром Адельфи. Однако за три недели до премьеры, назначенной на 17 декабря 1881 года, репетиции были прекращены. Руководители театра, очевидно, испугались скандального эффекта, который могла бы вызвать постановка пьесы о русских революционерах в связи со сложившимися в Англии политическими настроениями: царь Александр II был убит 1 марта 1881 года, а новая русская императрица состояла в родстве с принцем Уэльским. Несколько иначе объясняла отказ от постановки «Веры» в Англии американская пресса, хотя на первый план выдвигались также политические мотивы: «Социалистические симпатии, выраженные в ней (в драме, — Т. П.), оскорбительны для посла русского царя», — сообщалось в «The New York Times» 26 декабря 1881 года.<sup>2</sup> Сам же Уайльд — видимо, из опасения, что пьесу не

Едва ли правомерно называть «Веру» «популярной» пьесой Уайльда (*Троицкий Н. А.* Царизм под судом прогрессивной общественности: 1866—1895 гг. М., 1979, с. 269) или приспешей известности ее автору (*Тарагуа Е. А.* Этель Лилиан Войнич: Судьба писателя и судьба книги. М., 1964, с. 75). С другой стороны, неправ и Л. М. Аришштейн, указывая, что «Вера» впервые увидела свет лишь после смерти автора, в начале XX века (*Аришштейн Л. М.* Русская тема в «Демократических сонетах» Уильяма Россетти. — В кн.: Россия и Запад: Из истории литературных отношений. Л., 1973, с. 77).

<sup>2</sup> *Decorative Art in America: A Lecture by Oscar Wilde; Together with Lectures, Reviews and Interviews/Ed. by Richard Butler Glaenzer. New York, 1906, p. 195.*

<sup>1</sup> На сегодняшний день известно всего три экземпляра этого издания драмы; второе издание, дополненное прологом и содержащее некоторые изменения в тексте, вышло в США в 1882 году. См.: *The Letters of Oscar Wilde/Ed. by Rupert Hart-Davis. London, 1962, p. 70, 103—104.* О последующих изданиях драмы см.: *Mason Stuart. Bibliography of Oscar Wilde. London, 1914, p. 462, 495, 501, 551.*

удастся поставить и в Соединенных Штатах, — в беседе с американским корреспондентом умолчал об истинных причинах запрещения драмы, объяснив свое желание видеть ее на американской сцене лишь отсутствием достаточно талантливых актеров у себя на родине.<sup>3</sup> Премьера состоялась 20 августа 1883 года в Нью-Йорке, в Union Square Theatre. Принятая критикой весьма прохладно, «Вера» шла в театре всего неделю, несмотря на попытки исполнительницы главной роли воспрепятствовать снятию постановки и ее публичное заявление о «возмущении» со стороны некоторых «выдающихся граждан» Нью-Йорка, вызванное резко отрицательным отношением критиков к пьесе.<sup>4</sup>

«Вера» лишь дважды издавалась на русском языке, не была включена ни в одно из Собраний сочинений Уайльда, выходящих в России, и фактически осталась за пределами внимания читателей и критиков. Первый перевод, вышедший в 1909 году,<sup>5</sup> был сокращенным: второе действие — сцена Тайного совета, где появляется царь, полупомешанный, обуреваемый ужасом перед «нигилистами», опущено переводчиком, скорее всего по цензурным условиям, сокращены и смягчены некоторые реплики «нигилистов», явно по тем же соображениям. Невниманье к пьесе английского писателя, творчество которого в 1900-е годы в России приобретало все большую популярность, можно объяснить как несовершенством самой драмы, не сравнимой с прославленными произведениями Уайльда, так и низким качеством перевода. Но основная причина, думается, заключается в условности образа России и приемов изображения русских революционеров. На фоне широкого общественного подъема, вызванного революцией 1905—1907 годов, уайльдовская трактовка освободительного движения как романтического тираниборчества должна была представлять пассивной и весьма далекой от реального соотношения социальных сил. Любопытно, однако, что «Вера» увидела свет на русском языке всего лишь год спустя после ее опубликования в Полном собрании сочинений Уайльда, выходящем в Лондоне под редакцией Роберта Росса. Второй перевод «Веры», выполненный

С. Гринбергом,<sup>6</sup> полный, и весьма точный, также не обратил на себя особого внимания, хотя переводчик, признавая «художественные шероховатости» драмы, считал «Веру» произведением, в целом характерным для Уайльда — автора «Идеального мужа» и «Веера леди Уиндермир». Позднее о «Вере» писал А. А. Аникст, увидевший в драме свидетельство присущих Уайльду уже в самом начале его творческого пути бунтарских настроений.<sup>7</sup> Однако, рассматривая первую пьесу писателя исключительно как литературный курьез, исследователь, на наш взгляд, недооценил ее историко-литературное значение и прошел мимо существенных особенностей в воссоздании образа России и в представлениях о ее государственном строе, отличающих этот драматургический опыт Уайльда. Обращение начинающего английского литератора к русской тематике, притом к самым злободневным событиям русской жизни, — факт немаловажный и заслуживающий самого серьезного отношения. До настоящего времени, однако, «Вера» в этом аспекте специально не изучалась.

Как известно, сложные, прощипывающие в 30—50-е годы XIX века взаимной антипатией отношения между Англией и Россией в последующие два десятилетия постепенно меняются.<sup>8</sup> Деятельность Герцена, поселившегося в 1849 году в Лондоне, интерес демократическим настроенной части англичан к возрастающему революционному движению в России, проникновение революционно-демократических и народнических идей в английскую печать, переводы произведений русских писателей, получавшие все более широкое распространение в Англии с середины 1860-х годов, — все это факторы, способствовавшие формированию у англичан конкретных и вполне достоверных представлений о России. Антирусским, шовинистическим настроениям, особенно остро проявившимся во время Крымской войны, в 1870-е годы уже отчетливо противостояло принципиально иное отношение. «... К этому времени, — отмечает современный исследователь, — демократиче-

<sup>3</sup> Уайльд Оскар. Вера, или Нигилисты: Драма в четырех действиях с прологом / Перевод С. Гринберга. Берлин: «Петрополис», 1925.

<sup>4</sup> Аникст А. Оскар Уайльд и его драматургия. — В кн.: Уайльд Оскар. Пьесы. М., 1960, с. 7.

<sup>5</sup> О взаимоотношениях Англии и России в середине XIX века см.: Ерофеев Н. А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских: 1825—1853 гг. М., 1982, с. 247—303; Павлова Н. В. Русская революционная эмиграция и развитие русско-английских общественных связей в 80—90-е годы XIX века. — Учен. зап. Курск. пед. ин-та. 1967, вып. 43, с. 81—113.

<sup>3</sup> Wilde Oscar. Interviews and Recollections / Ed. by E. H. Mikhail. New York, 1979, vol. 1, p. 37.

<sup>4</sup> Wilde Oscar. The Critical Heritage / Ed. by Karl Beckson. New York, 1970, p. 55.

<sup>5</sup> Уайльд Оскар. Нигилисты: Пьеса из русской жизни в 3-х действиях с прологом. Действие происходит в Москве в 1800 г. / Перевод с англ. Н. Соловьева. М.: «Проблема», 1909.

ские силы Англии настолько окрепли, что стало возможным и широкое антивоенное течение, и переключка с революционно-демократическим движением в России».<sup>9</sup>

Укреплению демократических сил в Англии в определенной степени содействовало проникновение сведений о росте русского революционного движения, главным образом — о волне политических судебных процессов в 1860-е — начале 1880-х годов. Герцен распространял материалы о суде над Н. Г. Чернышевским, предоставляя их, в частности, в лондонские газеты. Покушение Каракозова в апреле 1866 года на Александра II не получило большого резонанса в западной печати (которая, однако, отмечала огромное количество арестов в связи с этой акцией), но уже первый процесс 1870-х годов по делу «нечаевцев» нашел широкий отклик в Европе. Предвзятое, настороженное отношение к русским «нигилистам», которое еще имело место в некоторых кругах западноевропейской общественности, было окончательно преодолено последующими политическими процессами («50-ти», «193-х» и, главным образом, Веры Засулич).<sup>10</sup>

Ведущие газеты Европы направляли своих корреспондентов в Россию с тем, чтобы получать информацию о борьбе царского правительства с революционерами из первых рук. «„Times“ и „Daily News“ выслали в Петербург специальных корреспондентов для наблюдения за „постепенным развитием революционного движения в России“... Эти корреспонденты уже успели натолковать своим читателям о мерах „репрессии“, вследствие коих революционеры и совершают-де свои убийства», — писал на страницах «Московских ведомостей» М. Н. Катков.<sup>11</sup> Он с раздражением отмечал в подавляющем большинстве случаев сочувственный по отношению к «нигилистическим разговорам» тон статей, появлявшихся в Англии. Оперативность, с которой известия из Петербурга попадали в Лондон, лидер российского консерватизма не столько объяснял быстрой работой телеграфа, сколько отписал за счет информации, поступающей из самого Лондона — «главной квартиры наших революционеров».<sup>12</sup>

«Нигилисты», как чаще всего называли за границей русских революционеров, замещавая этот броский термин из «Отцов и детей» И. С. Тургенева (переведенных на английский язык Е. Скай-

лером в 1867 году),<sup>13</sup> приобретали все большие симпатии в Западной Европе. Романы Тургенева воспринимались во второй половине XIX века в Англии и в других странах не только как выдающиеся художественные произведения, но и как социальные документы эпохи; к ним обращались за получением информации о России. Образ юной самотверженной девушки, носительницы революционных убеждений, воплощенный в тургеневской Марianne, героине романа «Новь», который принес Тургеневу в Европе славу одного из первых романистов современности,<sup>14</sup> в 1878 году

<sup>13</sup> Подробнее см.: *Алексеев М.* К истории слова «нигилизм». — В кн.: Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского / Под ред. академика В. Н. Перетца. Л., 1928, с. 413—417; *Козьмин Б. П.* Два слова о слове «нигилизм». — Изв. АН СССР, Отд. литературы и яз., 1951, т. X, вып. 4, с. 378—385. О заимствовании слова «нигилисты» из «Отцов и детей» писал П. Д. Боборыкин в статье, посвященной анализу русского нигилизма как прогрессивного философского направления и политического и социального движения, охватившего в 60-е годы широкие слои русской молодежи. Эта статья, опубликованная в «The Fortnightly Review» в 1868 году, явилась для англичан одним из первых источников информации о русском революционном движении. (См.: *Boborikin Peter.* Nihilism in Russia. — The Fortnightly Review, 1868, № XX, 1 August, p. 117—138). На неверное понимание слова «нигилизм» в Западной Европе указывал П. А. Кропоткин: «... в печати, например, постоянно смешивают его с терроризмом и упорно называют нигилизмом то революционное движение, которое вспыхнуло в России к концу царствования Александра II и закончилось трагической его смертью... Смешивать нигилизм с терроризмом все равно что смешать философское движение... с политическим движением...» (*Кропоткин П. А.* Записки революционера. М., 1966, с. 267).

<sup>14</sup> О росте популярности Тургенева в Англии см.: *Gettman R. A.* Turgenev in England and America. The University of Illinois Press. Urbana, 1944; *Phelps G.* The Russian Novel in English Fiction. London, 1956, p. 42—137. Дж. Фелпс отмечает, что именно злободневная публицистичность романа «Новь», вышедшего на английском языке в 1877 году, когда интерес к политической борьбе в России возрос из-за ареста большой группы агитаторов, привлекла к этому произведению широкое внимание. Роман был прочтен в свете политических событий, развернувшихся в России (*Ibid.*, p. 47). О стремлении английских читателей видеть в романах Тургенева, и особенно в «Нови», главным образом изложение социально-исторических фактов пишет

<sup>9</sup> *Аринштейн Л. М.* Указ. соч., с. 72.

<sup>10</sup> Об откликах зарубежной печати на политические процессы 1870-х годов в России см.: *Троицкий Н. А.* Указ. соч., с. 242—245.

<sup>11</sup> *Катков М. Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей»: 1879 год. М., 1898, с. 163.

<sup>12</sup> Там же, с. 170.

оброя выразительную аналогию в действительности: процесс Веры Засулич стал для европейской общественности главной политической сенсацией дня, на которую бурно реагировала печать. «Суд над этой милой застенчивой девушкой семнадцати лет возбудил самый живой интерес по всей Европе», — замечает исследователь, приводя убедительные подтверждения этому из статей, помещенных в английской периодике.<sup>15</sup>

Новый тип героя — революционера-одиночки, готового на самопожертвование ради свободы, смело вступающего в борьбу с самодержавием, проникает в западноевропейскую литературу.<sup>16</sup> Широком интересом мировой общественности к русскому революционному движению и в значительной степени воздействием романов Тургенева объясняется появление с конца 1870-х годов целого ряда художественных произведений, героями которых становятся русские «нигилисты». Как правило, эти сочинения не отличались глубоким пониманием смысла исторических событий, интерес в них сводился к «замысловатой интриге...», характеры лиц оставались непонятыми и изображались с самой превратной стороны.<sup>17</sup> Во Франции появились, например, романы «Нигилист Иван» («Ivan le Nihiliste») и «Русские девы» («Les Vierges Russes»).<sup>18</sup> в Италии была издана пьеса Антонио Дженерале «Вера Засулич». В 1884 году известный французский драматург Викторьен Сарду написал пьесу «Федора», сюжет которой также заимствован из политических процессов над русскими революционерами и навеян, в частности, делом Веры Засулич.

Юношеская драма Оскара Уайльда «Вера, или Нигилисты» закономерно примыкает к этому ряду; имя, данное автором главной героине, несомненно, должно было вызывать ассоциации с Верой Засулич.<sup>19</sup> Интерес в Англии к

политическим событиям в далекой России для Уайльда мог дополнительно стимулироваться тем, что в конце 1870-х годов он был тесно связан с кружком молодежи, концентрировавшимся вокруг Джона Рескина, в который входили художники и литераторы, исповедовавшие идеи, близкие к социализму. Антипархические и республиканские настроения молодого Уайльда, которые он, «вероятно, частично унаследовал благодаря своему ирландскому происхождению и Сперанзе, его байронической матери, а частично — из чтения»,<sup>20</sup> отчетливо проявились и в некоторых его юношеских стихотворениях («Ave Imperatrix», «Мильтону» («To Milton»), «Quantum Mutata», «Theoretikos»). В интервью, опубликованном в августе 1883 года в «The World» во время поездки Уайльда в Америку на премьеру «Веры», писатель заявляет о том, что в своей драме он «попытался изобразить страсть к свободе» (the passion for liberty). Для этой цели он выбрал «самое яркое выражение свободы, русский нигилизм, который сродни анархизму старой Франции». «Жизнь при хорошем правительстве редко драматична; жизнь при плохом правительстве всегда такова», — добавляет Уайльд.<sup>21</sup>

Деяствие «Веры» разворачивается в 1800 году в Москве, где группа заговорщиков во главе с юной «нигилисткой» Верой Сабуровой готовится совершить террористический акт — убийство монарха-тирана, под гнетом которого изнемогает страна. Один из членов тайного общества — наследник престола царевич Алексей. Другие заговорщики не знают об этом, так как он выдает себя за студента-медика. В результате успешного покушения на царя Ивана на трон восходит молодой наследник, который немедленно приступает к осуществлению реформ, удаляет от двора министров-министров, возвращает из Сибири политических заключенных и намеревается учредить в России подлинное народовластие. «Нигилисты» вызывают недоверие к планам нового самодержца; к тому же Алексей, не являвшийся на очередное собрание заговорщиков, навлекает на себя подозрение в предательстве. «Нигилисты» выносят ему смертный приговор, который по жребию должна привести в исполнение Вера, любящая Алексея. В последней сцене пьесы Вера приходит во дворец к Алексею, но прозает книжалою себя вместо него. Самоубийство вызвано невозможностью для героини принять из

и Д. Брюстер (*Brewster Dorothy. East-West Passage: A Study in Literary Relationships. London, 1954, p. 138—139*).

<sup>15</sup> *Geltmann R. A. Op. cit., p. 85.*

<sup>16</sup> См.: *Арунштейн Л. М. Указ. соч., с. 73.*

<sup>17</sup> *Ашкинази М. О. Тургенев и террористы. — Мпнувшие годы, 1908, № 8, с. 40.*

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Мнение о том, что Уайльд вдохновлялся при создании своей героини образом Софьи Перовской, участвовавшей в организации царевубийства 1 марта 1881 года (*Тайц И. Ф. Героический характер в романтических драмах О. Уайльда 80-х гг. — В кн.: Проблема характера в зарубежной литературе конца XIX и начала XX века (Науч. тр. Свердловск. пед. ин-та, сб. 218, 1974, с. 14)*), опровергается данными, зафиксированными в письмах Уайльда и сви-

детельствующими о том, что «Вера» была написана между 1878-м (дело Веры Засулич) и 1880 годом (*The Letters of Oscar Wilde, p. 70—71*).

<sup>20</sup> *Roditi E. Oscar Wilde. Norfolk, Connecticut, 1947, p. 16.*

<sup>21</sup> *Wilde Oscar. Interviews and Recollections, p. 115.*

рук любящего ее монарха корону и тем самым предать свои идеалы; кроме того, оно является жертвенным актом спасения любимого ценой собственной гибели: под окнами дворца «нигилисты» ожидают, чтобы Вера бросила вниз кинжал — знак того, что задуманная кара свершилась. Спасая любимого, Вера убеждена, что она спасает и Россию, нуждающуюся именно в таком гуманном и справедливом самодержце, каким обещает стать Алексей.

Даже столь схематическое изложение сюжета пьесы убеждает в справедливости тех немногочисленных отзывов зарубежных критиков, в которых юношеская драма Уайльда порицалась как незрелая, подражательная, избилующая мелодраматическими эффектами. Провозглашенное Уайльдом стремление изобразить драматические события на «реалистическом фоне», которым является «современная Россия», и снабдить пьесу «как можно большим количеством фактов, с тем чтобы создать впечатление реальности» происходящего на сцене, также не оправдало себя.<sup>22</sup> В особенности много ошибок и нелепостей обнаружит в пьесе русский читатель. Недостаточность подлинных знаний о российском бытовом укладе Уайльд пытается компенсировать расхожими клише: необъятные снежные просторы, медведи, шатающиеся «за гумпом», постоянный двор, хозяин которого — «отец Петр», и прочие приметы «национального» колорита, — все это говорит само за себя. И тем не менее «Вера» вызывает несомненный интерес как своеобразное отражение в сознании писателя образа России и сведений о ее революционном движении, о русской истории и государственности.

Данные переписки Уайльда и другие материалы, характеризующие его жизненный и творческий путь, не позволяют точно реконструировать свод тех источников, которые были использованы писателем в работе над пьесой. То суммарное, обобщенное представление о российском государственном и общественном устройстве, которое передано в пьесе, могло основываться на книгах, специально посвященных России, на переводах русской литературы, на сведениях, почерпнутых из периодической печати, на устных свидетельствах, на своеобразной «легенде» о России, бытовавшей в английской среде. Один из наиболее вероятных источников — книга о России маркиза де Кюстина (Marquise de Custine. *La Russie en 1839* (1843)), написанная под впечатлением от поездки по стране в 1839 году и получившая всеевропейскую известность. Краткое пребывание в России не позволило французскому путешественнику глубоко понять и осмыслить русскую жизнь, многие его заключения по-

спешны и поверхностны, иногда ошибочны. Но в книге ярко передано общее впечатление о царизме: в изображении автора это — режим, зпждающийся на лжи, шпиономании, страхе, который внушает монарху и от которого она сама содрогается, на лицемерии и интригах в правящем аппарате. Такая же атмосфера царит в пьесе Уайльда при дворе царя Ивана. Полупомешанный царь и его придворные, расчетливые интриганы и циники, одержимы ужасом перед «нигилистами», которых физически уничтожают или ссылают в Сибирь, но которые неистребимы и продолжают убивать одного за другим губернаторов в Архангельске. Кюстин видел причины политических беспорядков в России отчасти в несправедливости и жестокости правительства: «Там, где нет законной свободы, всегда есть свобода беззакония. Отвергая право, вы вызываете правонарушение, а отказывая в справедливости, вы открываете двери преступлению».<sup>23</sup> Аналогичным образом объясняет происхождение «нигилизма» и Уайльд. Убеждая царя пойти на уступки народу, его герой царица Алексей говорит: «...они просили вас о хлебе, вы дали им камень. Они стремились к свободе, вы отвечали им пагайкой. Вы сами посеяли семена революции...»<sup>24</sup> В другом месте драмы один из «нигилистов», призывая признать необходимость террора, восклицает: «Они говорили с нами мечом, и мечом мы ответим...»<sup>24</sup> Уайльд объясняет и оправдывает террор со стороны революционеров правительственным произволом; как известно, об этом же писалось в передовой русской публицистике 1860—1870-х годов.

В книге Кюстина, в частности, идет речь об убийстве двух русских монархов — Петра III и Павла I. Возможно, что и в пьесе Уайльда действие не случайно отнесено к рубежу XVIII—XIX веков: помимо временной дистанции, которую предполагал наметить автор между историческим прошлым и современностью, «нигилизмом» в его животрепещущей актуальности, в этой хронологической прикреплённости действия могла усматриваться прямая аналогия с обстоятельствами убийства Павла I в 1801 году. В пьесе Уайльда Алексей участвует в заговоре против отца, слабого, безвольного монарха, паходящегося под влиянием коварного министра князя Павла: эта ситуация опять же имеет историческую параллель — причастность Александра I к заговору против Павла I. Видимо, Уайльду была известна также история взаи-

<sup>23</sup> Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930, с. 220.

<sup>24</sup> Уайльд Оскар. Вера, или Нигилисты / Перевод С. Гринберга, с. 64. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

<sup>22</sup> Ibid., p. 115.

моотношений Петра I и его сына царевича Алексея; в связи с этим весьма вероятно, что имя наследника престола в «Вере» было выбрано писателем не случайно.<sup>25</sup> О том, что Уайльд достаточно ясно представлял конфликтный, и даже враждебный, характер взаимоотношений между российскими монархами прошлого и их преемниками, имеются и прямые свидетельства в пьесе. Царь Иван, решая судьбу ненавистного ему наследника, колеблется и вспоминает реальные исторические аналогии: «Сослать ли его? Или?.. Император Павел так поступил. Императрица Екатерина... так поступила. Почему же и мне не поступить так?» (с. 61). Царь держит сына под замком, приказывает ему присутствовать на казни бунтовщиков, хочет избавиться от наследника каким угодно способом. Сходным образом описывает отношения Петра I и его сына в одном из своих «Воображаемых разговоров» английский писатель первой половины XIX века У. С. Лендор.

Явно были известны Уайльду и подлинные имена российских вельмож и государственных деятелей; в «Вере» один из военачальников фигурирует под фамилией Котемкин (измененное Потемкин), другое действующее лицо — граф Рувалов (Шувалов). Сознательно или неосознанно, но Уайльд в данном случае следует приему Льва Толстого, который в «Войне и мире», называя своих вымышленных героев Болконскими и Друбецкими, вызывал у читателей прямые ассоциации с подлинными княжескими фамилиями Волконских и Друбецких.

Социальный состав группы заговорщиков в пьесе чрезвычайно пестр: Вера — дочь хозяйна постоянного двора, т. е. мещанка, Михаил — крестьянин, есть и представитель либеральной интеллигенции — профессор Марфа, Алексей же, как мы уже сказали, выдает себя за студента-медика, чтобы не вызвать подозрений у «нигилистов». Среди недовольных деспотическим режимом, подчеркивает Уайльд, — представители всех слоев населения России.

Хотя язык «нигилистов» Уайльда отличается напыщенностью и риторич-

ностью<sup>26</sup> и образы их весьма далеки от психологического и бытового правдоподобия, эмоциональный пафос, их объединяющий, действительно был во многом присущ реальным прототипам героев пьесы. Перед нами люди, исполненные духовного максимализма, фанатически преданные делу освобождения народа от тирана-самодержца, готовые на смерть ради свободы, безгранично верящие в торжество грядущей революции: «Прошедшее принадлежало тирану, и он оскорбил его; будущее же — наше, и мы сделаем его святым» (с. 28). «Когда-нибудь из большого и страждущего лона этой несчастной страны восстанет, точно кровавый ребенок, революция, которая сразит вас... — говорит Алексей своему отцу-самодержцу. — Звезда свободы уже взошла, и я слышу, как вдалеке могучая волна народопроявления разбивается об эти проклятые берега» (с. 65, 66). Сознание необходимости принести себя в жертву ради свободы звучит и в словах Веры: «Ведь все мы обречены на раннюю смерть, и должны будем страданием услышать все добро, что мы делаем... Слишком многие из нас погибли на плахе и на баррикадах; наступил их черед сделаться жертвами» (с. 33, 34). В клятве, которой скрепляют свой союз «нигилисты», — призыв к жестокому террору по отношению к самодержавию: «...почию тайно поражат кинжалом, сыпать яд в стакан, восстанавливать отца против сына, мужа против жены; без страха, без надежды, без будущего, страдать, уничтожать, мстить» (с. 25). Такие намерения уайльдовских «нигилистов» созвучны некоторым положениям, выдвигавшимся наиболее крайними, идеологически незрелыми, революционными группировками в России, программа которых вызывала аргументированную критику со стороны подлинных революционеров, в том числе Герцена и Чернышевского. В частности, в прокламации «Молодая Россия», распространявшейся в России в 1862 году, содержались сходные призывы к «кровавой и неумолимой революции», которая прольет реки крови и потребует многих жертв: «...бей императорскую партию! не жалей... бей на площадях... бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!.. прагов следует

<sup>25</sup> Ср. высказывания в пьесе о взаимоотношениях монарха и наследника престола, вполне соответствующие ситуации между Петром I и Алексеем, предшествовавшей гибели царевича в тюремном застенке: «Что делает этот кровавый деспот кроме того, что мучает своего единственного сына? Видел ли кто-нибудь из вас наследника?.. Говорят, будто он любит народ; «Его отец держит его взаперти во дворце — со дня его возвращения из-за границы в прошлом году» (с. 26); «...царевичу было запрещено выходить из дворца, и он жил вдали от света» (с. 46).

<sup>26</sup> Ср. характеристику «Веры» и «Герцогини Падуанской», другой юношеской драмы Уайльда: «Они сконструированы из сюжета и книжной риторики...; их действующие лица кажутся выставленными друг против друга, как фигуры, украшающие каминную полку, которые... меняют свои неподвижные позы с неожиданной, почти гротесковой внезапностью автоматов, послушных желанию кукловода» (*Rediti E. Op. cit.*, p. 42).



истреблять всеми способами», и т. д.<sup>27</sup> Маловероятно, чтобы Уайльд был непосредственно знаком именно с этим документом, однако экстремистский пафос крайне левой фракции в русском революционном движении был уловлен — или угадан? — им достаточно чутко.

Верно обозначены писателем и некоторые конкретные обстоятельства и формы оппозиционной деятельности. Так, Уайльд знал о существовании подпольных типографий в России (брата Веры, Дмитрия Сабурова, отправляют в рудники за то, что его «застигли печатавшим газету» — с. 21), о распространении прокламаций (князь Павел, царский временщик, заявляет: «Я постоянно нахожу в своем доме самые страшные воззвания так называемого эзеквютивного комитета» — с. 50), о сочувствии польскому освободительному движению со стороны русских революционных демократов (Вера восклицает: «Несчастная Польша. Орлы России выклевали ее сердце. Мы не должны забывать наших тамошних братьев» — с. 37); знал он и о том разочаровании, которое постигло народников, надеявшихся на активную и широкую поддержку крестьян (Вера признается: «...эти скучные крестьяне весьма мало интересуются нашими воззваниями и еще меньше нашим мученичеством» — с. 36).

Безусловно, Уайльду были знакомы романы Тургенева, пользовавшиеся в Англии широкой популярностью. В июне 1879 года, через полгода после окончания Уайльдом Оксфордского университета, Тургеневу была присвоена в Оксфорде степень почетного доктора.<sup>28</sup> Имеется немало свидетельств того, что в Англии конца 1870-х годов существовал своеобразный культ Тургенева, и отношение к русскому писателю представляло собой как бы своеобразный тест, посредством которого читающая публика проверяла степень образованности друг друга. Всеобщий интерес к Тургеневу не мог миновать молодого Уайльда, чья глубокая и разносторонняя образованность и начитанность хорошо известны. Не только воздействие образа тургеневской женщины — «нигилистки» на создание образа Веры сказались в драме, — в ней есть почти до-

словная цитата из «Отцов и детей». Базаров в IX главе романа заявляет: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».<sup>29</sup> В «Манифесте», составленном уайльдовскими заговорщиками, говорится: «Природа не храм, а мастерская: мы требуем права трудиться» (с. 73).

Разногласия, существовавшие среди русских революционеров-народников и отразившиеся в романе Тургенева «Новь», в частности полемика между П. Н. Ткачевым, выступавшим за немедленное восстание, и П. Л. Лавровым, придерживавшимся менее радикальных методов революционной борьбы,<sup>30</sup> в определенной мере преломились и в «Вере», где идет речь о «пере и чернилах» и о решительных действиях в революции. Выразителем бакунистско-ткачевской линии в освободительном движении выступает в драме Уайльда Михаил — «нигилист», призывающий к самым бескомпромиссным мерам, считающий террор единственно возможным способом борьбы с правительством; именно Михаил убивает царя. Другой «нигилист», профессор Марфа, стоит на более умеренных позициях, он — сторонник реформ. К нему присоединяется в финале пьесы и Вера, убежденная в том, что новый справедливый царь, способный осуществить народное представительство, для России лучше, чем республиканская форма правления: «Народ еще не созрел для республики» (с. 80).

Подчеркнем еще раз, что у нас нет бесспорных доказательств знакомства Уайльда с теми или иными книгами и статьями, посвященными русскому революционному движению и русской истории, например со знаменитой книгой Герцена «О развитии революционных идей в России», изданной в Лондоне по-французски в 1853-м и 1858 годах и получившей на Западе широкую известность. Феноменальная память Уайльда позволяла ему запомнить и отобразить в своем творчестве те факты, детали и суждения, которые он узнавал из случайных источников или просто от собеседников. Чувство горячего сопереживания революционной борьбе русских «нигилистов» и ненависти к царскому деспотизму пронизывает драму. Однако Уайльд отнюдь не пытался воплощать эти настроения в формах реалистического повествования, требующего правдоподобия всех образов и обстоятельств, конкретно-исторической определенности и «заземленности» действия. С одной стороны, он хорошо понимал, что не в

<sup>27</sup> См.: Политические процессы 60-х гг. / Под ред. Б. П. Козьмина. М.—Пг., 1923, с. 261, 269; *Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г.* Чернышевский или Нечаев? М., 1976, с. 154—159. См. также статью Герцена «Молодая и старая Россия» (*Герцен А. И.* Собр. соч. в 30-ти т. М., 1959, т. 16, с. 199—205).

<sup>28</sup> Подробнее см.: *Симмонс Д. С. Г.* Тургенев и Оксфорд. — В кн.: Русско-европейские литературные связи: Сб. статей к 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексева. М.—Л., 1966, с. 392—398.

<sup>29</sup> *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. в 12-ти т. М., 1981, т. 7, с. 43.

<sup>30</sup> См.: *Буданова Н. Ф.* Тургенев и Лавров в 70-е годы («Непериодическое обозрение» «Вперед!» как источник «Нови»). — В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 88—109.

состоянии, будучи все же поверхностно знаком с объектом своего изображения, дать убедительную и во всех деталях достоверную картину русской жизни; с другой стороны, — принципиально был склонен тогда совсем к иным формам творческого самовыражения. Не берясь изображать подлинную Россию в «нигилистическую» эпоху 60—70-х годов, Уайльд предпочитает воссоздать обобщенно-романтизированный образ страны: в пьесе одновременно сосуществуют повеишие «нигилисты» (сорой прибегающие на своих заговорщических собраниях к масонским формулам и эмблематике)<sup>31</sup> и персонажи, более характерные для эпохи дворцовых переворотов XVIII века; события хронологически прикреплены к 1800 году, однако некоторые реалии относятся к пореформенной России (в прологе пьесы жандармский полковник говорит крестьянам: «Вы, мужики, очень обогатили с тех пор, как перестали быть рабами» — с. 22).

Экзотичность (для западноевропейского читателя) фона, героика поступков, динамика политических событий — все это давало возможность молодому драматургу, как ему казалось, создать «великую пьесу». В ней Уайльд стремился выразить, по его признанию в письме к исполнительнице роли Веры американской актрисе Мари Прескотт (июль 1883 года), «титанический призыв... к свободе, который в современной Европе угрожает тронам и правительствам от Испании до России, от северных до южных морей». Но исторические события должны были стать лишь «пылающим фоном», на котором воображаемые персонажи живут и любят. «Это пьеса не о политике, а о страсти», — подчеркивал Уайльд в том же письме.<sup>32</sup> Намерение создать драму страстей, разворачивающуюся в горниле бурной политической жизни, пьесу с отчетливо выраженной трансорборской направленностью, ориентировало Уайльда на аналогичные образцы романтической и предромантической драматургии конца XVIII—начала XIX века. В сходной тональности выдержана и вторая юношеская драма Уайльда, «Герцогиня Падуанская» («The Duchess of Padua», 1883), действие которой разворачивается в столь же условной и романтизированной Италии второй половины XVI века.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Стилизацией под масонские ритуалы являются в пьесе, в частности, паролы на сходке «нигилистов» (пропуск: «Per cruce[m] ad lucem»; ответ: «Per sanguinem ad libertatem» — с. 24).

<sup>32</sup> *Decorative Art in America*, p. 34.

<sup>33</sup> См.: *Тайц И. Ф.* Указ. соч., с. 11—27; *Боборыкина Т. А.* Трагедии О. Уайльда: (К проблеме связи творчества О. Уайльда с романтической традицией). — В кн.: *Проблемы жанра лите-*

Песамостоятельность, подражательность «Веры» и «Герцогини Падуанской» отмечали все критики и исследователи, затрагивавшие ранний период творчества Уайльда. Э. Родайти, например, считает, что произведение, написанное Уайльдом в начале творческого пути, включая поэзию и первые две драмы, является «скорее продуктом образования, нежели личного опыта».<sup>34</sup> В имитации чужой манеры упрекает Уайльда-драматурга и другой критик и драматург рубежа веков Джон Хенкин.<sup>35</sup> Неуверенность начинающего автора в своих силах сказалась и в его готовности исправлять и изменять текст «Веры» по совету актеров и режиссеров, к которым Уайльд обращался, стараясь заинтересовать их своим произведением.<sup>36</sup> В одном из писем к своему антрепренеру (март 1882 года) Уайльд отмечал: «Единственная причина того, что пьеса получилась хорошей пьесой для исполнения (acting play), заключается в том, что я принял все советы от актеров, которые сумел получить».<sup>37</sup> Самолюбие, однако, не позволило Уайльду публично признаться в том, в чем он признавался в частной переписке, и в беседе с газетным репортером он заявил, что никаких изменений в текст пьесы не намерен вносить ни по чьему совету, так как это приведет к «искажению шедевра».<sup>38</sup>

Одним из образов для подражания была для Уайльда драматургия Гюго.<sup>39</sup> Непосредственное воздействие Гюго на свое творчество Уайльд всегда отрицал, однако, говоря о драматургах новейшего времени, которые его интересовали, он называл лишь двоих — Гюго и Метерлинка.<sup>40</sup> Пьесы, являющиеся, по мнению Уайльда, лучшими произведениями драматургии XIX века, — «Ченчи» Шелли и «Аталанта в Калидоне» Суинберна.<sup>41</sup> Эти высказывания относятся к более поздней поре, чем время написания «Веры», но они указывают на то, что и зрелый Уайльд оказывал предпоче-

ратур стран Западной Европы и США: (XIX—первая половина XX вв.). Т. 1983, с. 3—22.

<sup>34</sup> *Roditi E.* Op. cit., p. 17.

<sup>35</sup> *Wilde Oscar.* The Critical Heritage. p. 283—284.

<sup>36</sup> См.: *The Letters of Oscar Wilde.* p. 71, 103—104.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 104.

<sup>38</sup> *Wilde Oscar.* Interviews and Recollections, p. 426.

<sup>39</sup> В сентябре 1882 года Уайльд пишет Мэри Андерсон — американской актрисе, для которой предназначалась «Герцогиня Падуанская», что эта драма принесет ей славу великой трагической актрисы, а ему даст славу Гюго (*The Letters of Oscar Wilde*, p. 125).

<sup>40</sup> *Wilde Oscar.* Interviews and Recollections, p. 249.

<sup>41</sup> *Decorative Art in America*, p. 129.

ние романтической драме или драме, nasledующей романтические традиции. Условный и ограниченный историзм, щедро компенсированный художественным вымыслом и «местным колоритом», склонность к мелодраматическим эффектам, типично романтическая аффектация в обрисовке характеров, стремление к декоративности — все эти черты театра Гюго отличают и раннюю драматургию Уайльда. И тем не менее условность, приближенность исторического фона в «Вере», оправданные сами по себе, будучи прямым следствием использования романтических принципов драматургии, не оправдывали, разумеется, частных лягусов и небрежностей. А таких небрежностей и анахронизмов, вызывающих комический эффект, в пьесе немало, и если на некоторые из них в свое время обратил бы внимание прежде всего русский читатель (например, Зимний дворец находится в Москве), то другие должны были вызвать недоумение и у соотечественников драматурга: в 1800 году князь Павел сетует, что с исчезновением Бонапарта во Франции испортились *côtellettes à l'impériale* (с. 49); в другом месте пьесы новый царь, отстранив бывших министров от их должностей, советует им воспользоваться *первым же поездом* на Париж и покинуть Россию (с. 93).

В сюжетной основе пьесы лежит типично романтический конфликт между героями — носителями высоких общественных идеалов и благородных нравственных принципов («нигилистами») — и темными силами, сконцентрированными вокруг тирана-самодержца, миром жестокости и лицемерия. При этом главный выразитель романтических идеалов в драме царевич Алексей обрисован Уайльдом весьма схематично и лишен психологической и эмоциональной рельефности, в то время как его антагонист царский министр князь Павел Мараловский является, пожалуй, единственным персонажем в пьесе, характер которого не лишен индивидуальных черт, а речевая партитура, полная остроумных, хотя и циничных, сентенций (уже отчасти в духе позднейших парадоксов и афоризмов Уайльда, рассыпанных в «Портрете Дориана Грея» и «светских» комедиях), способствует тому, что этот «инфернальный» герой из условного злодея превращается в живую фигуру.

В целом же «Веру» отличает преувеличенная патетика, выпренность речей персонажей, гипертрофированность чувств. В одном из отзывов на постановку «Веры» даже отмечалось, что нигилисты «говорят, как лунатики, произносят абсурдные клятвы... То, что пропозносит один, другой непременно повторяет... Словоохотливость этих нигилистов... подобна постоянному журчанию

ручья — только менее музыкальна».<sup>42</sup> Отказ от житейского правдоподобия (например, брат Веры «нигилист» Дмитрий по дороге на каторгу с группой других осужденных попадает в дом отца и остается поначалу неизвестным им), исключительность драматических ситуаций также связывают пьесу Уайльда с романтической традицией. Драматург справедливо упрекали в избытке мелодраматических эффектов, в стремлении ужаснуть читателя.<sup>43</sup> Царь, охваченный страхом перед неуловимыми заговорщиками, мечтает о мучительных пытках, которым он подвергнет Веру, когда та будет поймана: «...я сам разорву ее на кусочки, я буду пытаться ее до тех пор, пока ее бледное тело не начнет скручиваться и извиваться, как бумага в огне» (с. 58). На публичной казни «нигилистов» присутствует несчастная мать одного из приговоренных к смерти. Такое форсированное нагнетание драматических коллизий и эффектов, долженствующих потрясти читателя и зрителя, также имеет в орбите художественных пристрастий Уайльда свою генеалогию, восходя к аналогичным особенностям английской драматургии елизаветинской эпохи.

Главная героиня «Нигилистов» — натура сильная, цельная, носительница больших и противоречивых страстей. Ее преданность делу безгранична, и поэтому сознание возрастающей «запретной» любви к Алексею становится для нее трагедией. Нравственный ригоризм героини драмы находит себе аналогию опять же в тех жизненных заповедях, которым следовали многие русские революционеры второй половины XIX века. Вера не может изменить дагной брату и самой себе клятве не любить, отказаться от личных чувств и полностью посвятить свою жизнь борьбе за свободу народа, однако и побороть в себе любовь она тоже оказывается неспособной. Сознание своей нравственной вины, слабости заставляет Веру страдать и приводит к трагической развязке, приобретающей значение психической жертвы. Мотив жертвенной любви весьма характерен для романтической драматургии (он является основным, например, в драме Гюго «Короли забавляются»). Искушение любовью приходится испытать и другой знаменитой героине, отрекающейся от личного счастья во имя высшего, мессианского идеала освобождения родины от захват-

<sup>42</sup> Wilde Oscar. The Critical Heritage, p. 56 (рецензия без подписи).

<sup>43</sup> См. рецензию (без подписи) на постановку «Веры», опубликованную в «New York Daily Tribune» 21 августа 1883 года (в кн.: Wilde Oscar. The Critical Heritage, p. 57), рецензию Артура Саймона на Полное собрание сочинений Уайльда 1908 года издания (Ibid., p. 295).

чиков, героине; во многом являющейся прообразом уайльдовской Веры, — Иоанне д'Арк из «романтической трагедии» Шиллера «Орлеанская Дева».

При сопоставлении драмы Уайльда с шиллеровской трагедией обращает на себя внимание в первую очередь сходство узловых сюжетных коллизий: шиллеровская Иоанна не может, пораженная внезапной любовью к иноземцу Лионелло, сразить его занесенным над ним мечом — Вера с кинжалом в руке у постели Алексея не находит в себе сил нанести карающий удар. Свою ниспосланную свыше миссию освободительницы родины Иоанна связывает с отречением от личного счастья, от собственной женской природы. Вера столь же неукошительно стремится следовать завету брата, за которого поклялась мстить: «Подавить все личное, что во мне есть. Не любить, не быть любимой, не жениться, не выйти замуж, пока не наступит конец» (с. 23). Главный пафос обеих драм — самоотверженное служение идеалам свободы. Обе героини — «жрицы свободы» (с. 34) — осознают свою избранность, обреченность на гибель, считают предначертанным свыше путь, по которому они идут и с которого невозможно сойти. Король — спаситель народа в «Орлеанской Деве» и царь-освободитель в «Вере» возводятся на престол юными девами, которые приносят за них в жертву собственные жизни. Для врагов и Иоанна и Вера — исчадие ада. Иоанна — «страшилище, создание сатаны», «призрак адский» (действие II, явление VIII, перев. В. А. Жуковского); царь называет Веру «дьяволицей революции», это определение повторяется в пьесе: «Она вовсе не женщина, она дьяволица» (с. 57, 42). «Орлеанская Дева» — одна из самых прославленных пьес Шиллера — могла служить Уайльду и наглядным примером того, что писатель имеет право создавать «романтическое» произведение на историческую тему, пренебрегая ради собственной художественной идеи хронологией изображаемых событий и даже верностью их реальному ходу: шиллеровская Иоанна гибнет, как известно, не на костре, а в бою, со знаменем в руках, во главе французского войска, побеждающего завоевателей.

Уайльд принимал непосредственное участие в оформлении спектакля. «Все декорации и костюмы я создал сам. Корона, которая фигурирует в одном из актов, является копией короны, использовавшейся при коронации Александра III», — сообщал он корреспонденту «The World» 12 августа 1883 года по приезде в США.<sup>44</sup> Уайльд стремился к тому, чтобы «нигилисты» выглядели не «оперными заговорщиками», а «совре-

менными» и «реальными» лицами, а для этого, в частности, считал необходимым, чтобы конспиративная квартира, где происходили их тайные совещания, представляла собой пустое чердачное помещение.<sup>45</sup> И тем не менее все эти попытки создать эффект внешнего правдоподобия действия были обречены на неудачу при соприкосновении с условно-романтической фактурой пьесы. «Нигилисты» предстают перед зрителем в масках, «председатель» собрания «нигилистов» — в ярко-красной маске, у двери стоит страж «в желтом с обнаженным мечом» (с. 24). Все аксессуары потаенных сходок «нигилистов» соответствуют скорее исторической «костюмной» драме, чем пьесе, отражающей реальный ход современных событий. Справедливо замечание о том, что Россия в пьесе Уайльда в действительности «походила на Испанию времен Торквемады, а „нигилисты“ — на шиллеровских заговорщиков».<sup>46</sup> Ранние трагические пьесы Шиллера — «Разбойники», «республиканская трагедия» «Заговор Флесско в Генуе», «Дон Карлос» с его пафосом воспитания гуманного монарха — несомненно также оставили свой след в «Вере», изобилующей разнообразными влияниями и заимствованиями.<sup>47</sup> Как ни парадоксально, но Уайльд был в известном отношении исторически прав, обрисовывая своих «нигилистов» в тональности шиллеровской трагедии периода Sturm und Drang или романтической драмы на исторические темы Гюго, Байрона и Шелли. Ориентируясь на эту литературную традицию, английский писатель верно улавливал не реально-бытовые обстоятельства, а психологические и эмоциональные основы мышления и поведения известной части русских революционеров — в первую очередь тех, кто сочетал незрелость социально-политической мысли с максималистским разрушительным пафосом. Именно таких деятелей освободительного движения имел в виду Герцен, когда упрекал молодых русских

<sup>45</sup> The Letters of Oscar Wilde, p. 104.

<sup>46</sup> Троицкий Н. А. Указ. соч., с. 269.

<sup>47</sup> Небезосновательная параллель между «Верой» и драматической поэмой Шиллера «Дон Карлос» была проведена критиком и журналистом И. В. Шкловским (Дионео), постоянно писавшим на английские темы в русской периодике. В пьесе Уайльда та же, что и у Шиллера, трагическая коллизия между правящим тираном — отцом и либеральным преемником — сыном. Циничному временщику князю Павлу Мараловскому соответствует у Шиллера герцог Альба. Имеются также известные аналогии и между политическими поворотами событий и любовной интригой в обеих драмах (Дионео. В поисках за смыслом жизни. — Русское богатство, 1908, № 7, отд. II, с. 99—101).

<sup>44</sup> Decorative Art in America, p. 34; Wilde Oscar. Interviews and Recollections, p. 115.

революционеров, стоявших на крайне «левых» позициях, в неуместности рядиться в шиллеровских заговорщиков. Полемизируя с авторами экстремистской прокламации «Молодая Россия», Герцен писал: «Не сердитесь же и вы, когда мы... скажем, что ваш костюм Карла Мора и Гракха Бабефа на русской площади не только стар, но сбивается на маскарадное платье... Действительно, в „Молодой России“ столько же Шиллера, сколько Бабефа».<sup>48</sup>

Интерес Уайльда к России не иссякал и в более поздние годы, будучи в значительной степени связанным с его симпатиями к идеям социализма. В 1894 году, став уже зрелым и широко известным писателем, он скажет о себе: «Мы все в большей или меньшей степени сегодня являемся социалистами... Я полагаю, что являю собою нечто большее, чем социалист... я что-то вроде анархиста, я думаю; но, конечно, политика динамита очень абсурдна».<sup>49</sup> В контексте этого высказывания закономерно постоянное внимание Уайльда к русским «нигилистам», с которыми после написания «Веры» ему удалось лично познакомиться и к которым он всегда относился с неизменной симпатией. Свое восторженное отношение к П. А. Кропоткину Уайльд выразил в «Тюремной исповеди» («De Profundis», 1897): «Две самых совершенных человеческих жизни, которые встретились на моем пути, были жизнь Верлена и жизнь князя Кропоткина: оба они провели в тюрьме долгие годы; и первый — единственный христианский поэт после Данте, а второй — человек, несущий в душе того прекрасного белоснежного Христа, который как будто грядет к нам из России».<sup>50</sup> Знакомство с такими выдающи-

ми русскими революционерами, как Кропоткин и С. М. Степняк-Кравчинский, несомненно оказывало влияние на личность и мировоззрение Уайльда. Опосредованное воздействие Степняка, с которым был близко дружен Б. Шоу, возможно, сказалось и в том, что Уайльд в 1891 году написал статью «Душа человека при социализме»; именно социалистические выступления Шоу, согласно свидетельству друга и душеприказчика Уайльда Р. Росса, подвигли Уайльда обратиться к этой теме.<sup>51</sup> Уайльд принадлежал к числу тех видных деятелей литературы и искусства, которые бывали в доме у Степняка, в 1884 году посетившегося в Лондоне, слушали его публичные лекции.<sup>52</sup> Меньше чем за год пребывания в Лондоне Степняк, по словам Кропоткина, уже «становился центром, оказывавшим влияние на английскую интеллектуальную жизнь... Сергей взялся знакомить англичан с русской жизнью и русской действительностью вообще».<sup>53</sup> Несомненно, что личные контакты Уайльда с одним из вождей русской революционной эмиграции должны были углубить представления английского писателя о России, помочь ему создать для себя более отчетливый образ русского «нигилиста», который в пору написания драмы «Вера» мог сложиться в его сознании только в самых общих эмоционально-психологических чертах.

<sup>51</sup> Shaw B. My Memories of Oscar Wilde. — In: Harris Frank. Oscar Wilde: His Life and Confessions. New York, 1930, p. 389.

<sup>52</sup> См.: Тарагуа Е. А. Этель Лилиан Войнич: Судьба писателя и судьба книги, с. 75. О личных встречах Уайльда со Степняком свидетельствует также письмо Степняка жене от 19 апреля 1894 года: «От Бернарда Шоу получил box «ложу», от Osc. Wilde приглашение к обеду» (цит. по: Тарагуа Е. С. М. Степняк-Кравчинский — революционер и писатель. М., 1973, с. 445).

<sup>53</sup> Воспоминания П. А. Кропоткина. — В кн.: Степняк-Кравчинский С. М. Собр. соч. СПб., 1907, ч. 1, с. XIX, XXI.

О. В. Миллер

## К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРНЫХ РЕМИНИСЦЕНЦИЯХ В БАЛЛАДЕ ЛЕРМОНТОВА «ТРИ ПАЛЬМЫ»

Вопрос об источнике литературной реминисценции в зрелых произведениях Лермонтова имеет особо важное значение. За реминисценцией часто скрывается внутренняя полемика его с другим автором, возражение, иногда ироническая аллюзия, переосмысление

темы. Поэтому выявление этого источника (или источников, так как их, конечно, может быть и несколько) позволяет проследить ход мысли поэта, глубже проникнуть в замысел его произведения.

Вопросу о литературных ассоциациях

в балладе «Три пальмы» в лермонтоведческой литературе уделялось немало внимания. Чаще всего это стихотворение сопоставлялось с отрывком IX из пушкинских «Подражаний Корану» («И путник усталый на бога роптал...»). Впервые сравнительный анализ этих стихотворений дал еще Н. Ф. Сумцов.<sup>1</sup> С тех пор к этой теме в разное время обращались Д. Д. Благой, Б. В. Нейман, А. А. Потемня, Б. В. Томашевский, А. В. Федоров, Б. М. Эйхенбаум, Б. Т. Удодов приводит в своей книге о Лермонтове обзор и некоторый итог этих наблюдений.<sup>2</sup> Все авторы, упоминавшие «Подражания Корану» как литературный источник «Трех пальм», указывали на общность некоторых мотивов и стихового построения, но также и на сюжетные различия этих стихотворений.

Действительно, у Пушкина ввиду необъясненности, вернее, фантастичности мотивировки и многолетний сон путника, и возвращение к исходному положению воспринимаются как напоминание о быстротечности жизни, о разрушительной силе времени. Изображенные гибели оазиса, сменяющиеся затем картиной его возрождения, служат только подтверждением этой мысли. У Лермонтова гибель пальм, а вслед за ними и родника — трагический финал прозведения.

Недавно В. Э. Вацура указал на стихотворение С. Е. Раича «Вифлеемские пастыри», где некоторые сюжетные мотивы, метрика и отчасти строфика аналогичны балладе Лермонтова. Раич сам ориентировался на «Подражания Корану». Очевидно, что «священная идилия» Раича явилась посредником между стихотворениями Пушкина и Лермонтова.<sup>3</sup>

Кроме этого еще два стихотворения приводились в качестве литературного источника «Трех пальм». В. Н. Турбин рассматривает в этом плане «Песнь араба над могилою коня» В. А. Жуковского (1810) и «Влюбленного араба» П. Кудряшова (1826). Очень отдаленное сходство этих стихотворений с лермонтовским выражается в основном в лексических совпадениях (упоминание пустыни, зноя, коня, араба, пальмы, топора и пр.).<sup>4</sup>

Однако, как кажется, есть произведение, сопоставление которого с балладой Лермонтова представляет не меньший интерес. Это поэма Юлиуса Словацкого «Араб», которая до сих пор не

привлекала внимания исследователей в этой связи. Видимо, это произошло потому, что стихи Словацкого начали переводиться на русский язык намного позднее, а прозаический перевод поэмы «Араб», включенный в статью П. Дубровского «Новейшая поэзия у поляков»,<sup>5</sup> не был замечен лермонтовцами.

Герой поэмы Словацкого наделен инфернальной жестокостью. Цель его жизни — изощренное зло. Так, увидев счастливую своей любовью прекрасную девушку, он бросается искать ее возлюбленного и убивает его. Но потом узнает, что дух убитого каждую ночь является ей, и это приносит ей отраду, составляет ее счастье. Тогда он находит труп и отрубает ему голову. Теперь тень друга уже не сможет прилетать к девушке, и она умрет от отчаяния.

Поэма состоит из нескольких таких эпизодов. Араб носится по пустыне, отыскивая, кому бы еще причинить зло, чье бы еще счастье разрушить. Его взгляд устремляется на одиноко растущую в пустыне пальму. Вот как этот эпизод звучит в переводе П. Дубровского:

«Вперед, вельблюд мой! — вокруг так пусто!.. Разве на земле уже не стало счастливых?.. Ни один стои не отзывается мне в пустыне; только дикий орел кружится над уединенной скалою и шумно бьет черными крылами. — Но на земле нет никого счастливее меня!

Нет, нет! Эта пальма должна быть счастлива. Под деревом кроется источник. Смотри, как она сладострастно качает листьями, не налюбуется источником, закрывает его от солнца, чтобы оно не иссушило его воды. — Она боится серебристого месяца, она с листьев сливает росу и прохладу; она закрыла от воды небесную пелену и дала ей свой цвет, свой образ. — Она не налюбуется источником и убирается цветами. — Стой, стой, вельблюд мой! Я сожгу эту пальму; — нет, засыплю кристаллы источника: — пальма погибнет под жгучим дыханием зноя, и опадет на ней белый цвет!»<sup>6</sup>

В поэме Словацкого, как видим, присутствует такой существенный общий с Лермонтовым сюжетный момент, как умеренное уничтожение пальмы человеком, чего нет ни у Пушкина, ни у Жуковского, ни у Кудряшова.

Интересно, что демоническая натура Араба не остановила внимание Лермонтова. По-видимому, ход мысли поэта был другой: в его балладе зло сотворено не исчадием ада, каков герой стихотворения Ю. Словацкого, а эгоизмом людей, их равнодушием к окружающей. Вот источник зла более реальный и не менее разрушительный, чем адская злоба.

<sup>1</sup> Сумцов Н. Ф. Пушкин. Харьков, 1900, с. 323.

<sup>2</sup> Удодов Б. Т. Лермонтов: Художественная индивидуальность и творческие процессы. Воронеж, 1973, с. 198.

<sup>3</sup> Лермонтовский сборник. Л., 1985, с. 68—70.

<sup>4</sup> Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 580.

<sup>5</sup> Московский наблюдатель, 1835, ч. 5, декабрь, кн. 1, с. 271—303.

<sup>6</sup> Там же, с. 296.

В стихотворении Словацкого есть и еще один эпизод, отголосок которого усматривается в «Трех пальмах»: «Помню, однажды, то было в полдень, тихоюко тащился большой караван, и когда он достигнул пустынного источника, то возник говор и смешался с хохотом. Все толпятся, спешат; потом, как испуганное стадо журавлей, весело шумят и черпают воду...»

У Лермонтова:

Вот к пальмам подходит шума караван:  
В тени их веселый раскинулся стан.  
Кувшины звуча налились водою...

В том, что черты сходства баллады Лермонтова с поэмой Словацкого не случайны, что это не простое совпадение, убеждает несколько других реминисценций у Лермонтова, источником которых были произведения, напечатанные в «Московском наблюдателе». Повидимому, Лермонтов регулярно читал этот журнал.

В литературе уже указывалось на связь одной сцены в романе Э. Бульвера-Литтона «Последние дни Помпеи», опубликованного в «Московском наблюдателе», со стихотворением «Умиравший гладиатор».<sup>7</sup>

В первой части «Московского наблюдателя» за 1835 год было опубликовано стихотворение Е. Баратынского «Последний поэт»,<sup>8</sup> строка которого «Блестит зима дряхлеющего мира...» ассоциируется со строкой из стихотворения Лермонтова «На буйном пиршестве задумчив он сидел...»: «Что вам судьбы дряхлеющего мира...».

Еще одну литературную реминисценцию можно уловить при сравнении финальной строфы «Завещания» Лермонтова со стихотворением «Исповедь» Д. Н. Ознобишина, где моряк во время бури, не надеясь вернуться домой, обращается к своим товарищам со словами:

<sup>7</sup> Вацуро В. Э. Умиравший гладиатор. — В кн.: Лермонтовская энциклопедия, с. 590.

<sup>8</sup> Московский наблюдатель, 1835, ч. 1, с. 30.

Быть может, из вас уцелеет один,  
Счастливец, домой возвратится!  
Там мать моя встретит и спросит:

«где сын?»

Скажите: «вдали веселится».

Быть может, один уцелеет в сей миг,  
И к дому вернется он вскоре...

И спросит невеста: «а где ж мой  
женех?»

Скажите: «погиб в синем море».<sup>9</sup>

Нет необходимости говорить о том, с каким тонким и точным психологизмом преобразил Лермонтов этот элемент сюжета в своем стихотворении.

В 1838 году в «Московском наблюдателе» печаталась «Жизнь Гофмана» А. Левс-Веймара. При описании детства писателя автор рассказывает, как его дядя-советник, не понимая страстной любви мальчика к музыке, мучил племянника, строго ограничивая время, когда он мог играть на музыкальных инструментах. «Не будучи врагом искусств и воображения, старик думал, как множество других, что все это хорошо для послеобеденного отдыха и что благоразумный человек может найти несколько приятных мгновений, занимаясь ими в то время, когда совершается пищеварение», — писал Левс-Веймар.<sup>10</sup> Возможно, этот эпизод вспомнился Лермонтову, когда он в «Герое нашего времени» в сцене, где Печорин намеренно фразширует князю Мери, заявляя, что любит музыку в медицинском отношении, так как она усыпляет после обеда.

Следует заметить, что до сих пор тема «Лермонтов и Юлиус Словацкий» рассматривалась только в плане восприятия творчества Лермонтова Ю. Словацким. О знакомстве Лермонтова с произведениями польского поэта вопрос не ставился. Считалось, что его переводы на русский язык появились слишком поздно и не были известны Лермонтову. Наблюдения над стихотворением «Три пальмы» и поэмой «Араб» дополняют наши представления о связях творчества Лермонтова с польской литературой.

<sup>9</sup> Там же, ч. 2, с. 230—233.

<sup>10</sup> Там же, 1838, ч. 16, с. 348—349.

М. Д. Эльзон

## НЕИЗВЕСТНАЯ СТАТЬЯ А. А. ФЕТА

В 1885 году в июльской книжке «Русского вестника» была опубликована статья «Фамусов и Молчалин. Кое-что о нашем дворянстве». Эта статья, подписанная инициалами «А. А.», отсутствует в указателях, специально посвященных А. С. Грибоедову, но наличествует в соответствующем персональ-

ном «гнезде» капитального труда А. В. Мезьер.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Мезьер А. В. Русская словесность с XI по XIX столетие включительно. СПб., 1902, ч. 2, с. 70 (№ 6257); автор обозначен одним инициалом.

Образы «Горя от ума» использованы «А. А.» только как *символы* для обозначения двух типов российского дворянства — родовитого, «начальствующего» (Фамусов) и неродовитого, «подчиненного» (Молчалин). На собственном примере, время от времени напоминая читателю о своих прежних печатных выступлениях, «А. А.» говорит о дворянах на военной службе и занимающихся сельским хозяйством. Попутно в статье затронуты литературные вопросы, в том числе содержатся оценки творчества Н. В. Гоголя и И. С. Тургенева.

Возможно, не было бы необходимости привлекать теперь, спустя сто лет, внимание к этой затерянной статье, если бы она не принадлежала перу А. А. Фета и не отсутствовала бы в литературе о нем и в указателях его произведений.

Обследуя письма к А. А. Фету писательницы и переводчицы Софьи Владимировны Энгельгардт (урожденной Новосильцовой, 1828—1891), выступавшей в печати под псевдонимом «Ольга N», я обнаружил следующее. 11 сентября 1885 года С. В. Энгельгардт писала: «Дорогой Афанасий Афанасьевич, очень вам благодарна, что вы мне указали на вашу статью Фамусов и Мол-

чалин. Она не подписана вашим именем и, разумеется, я бы ее не прочла».<sup>2</sup> К сожалению, письма А. А. Фета к С. В. Энгельгардт (выведшей его под собственной фамилией в повести «Не одного поля ягоды»), в которых, судя по ответам, были его стихи, содержались оценки творчества И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и др., неизвестны. Поэтому трудно с определенностью сказать, были ли в письме Фета названы принципы, по которым он прибегнул к столь неожиданной подписи, или говорилось о том, что инициатива в этом отношении исходила от редакции. Можно только предположить, что с атрибутированной статьей каким-то образом связано брошенное вскользь замечание А. А. Фета в предисловии к третьему выпуску «Вечерних огней» (1888): «...когда в 1885 г. мы сочли дальнейшее наше сотрудничество в „Русском вестнике“ невозможным, то единственным путем обнаружения остались для нас выпуски небольших сборников».<sup>3</sup>

<sup>2</sup> ИРЛИ, № 20.298/III, л. 44.

<sup>3</sup> Цит. по: Фет А. А. Вечерние огни. 2-е изд. М., 1979, с. 241. (Серия «Литературные памятники»).



# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

И. Е. ГЛИНКИН

## ПОЭТИКА ЖАНРА В СОВРЕМЕННЫХ СОВЕТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Жанровые формы литературных произведений тесно связаны с их композицией, потому и рассматриваются ныне чаще всего во взаимозависимости, как система. История, теория и типология жанра, составляя основу его поэтики, соотносятся по фазам развития национальных культур с эволюцией структурных принципов. Это ясно, ибо отчетливы для обыденного сознания самые общие значения терминов «композиция», «жанр». Сложность же их объяснения в специальной литературе — от множества различных истолкований. Они сродни всегдашним трудностям определения простейших будто бы явлений из области речевого творчества. Так, лингвистов озадачивает обилие номинаций для понятий «слово», «предложение», «текст», что не мешает, впрочем, успешно оперировать ими, плодотворно изучать.<sup>1</sup> К осмыслениям терминов «жанр» и «композиция» мы еще вернемся; отметим пока препятствия иного рода — с анализом взаимодействий при жанрообразовании и сюжетосложении для выяснения функций членных составов архитектоники. Изучение процессов на уровне внешней и внутренней (относительно художественного произведения) типологии значится среди важнейших задач по координационному плану Академии наук и Минвуза СССР под титулом «Соотношение жанра и композиции». Немало и сделано послевоенной филологией на данном направлении согласно библиографическому указателю «Учение о жанре» (Харьков, 1982). За последние годы вышел ряд монографических изданий по обсуждаемой теме с широким диапазоном частных вопросов.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> См.: Чернухина Н. Я. Элементы организации художественного прозаического текста. Воронеж, 1984.

<sup>2</sup> Крылов В. П. Проблемы поэтики Л. Леонова: (Композиция философского романа). Л., 1981; Чернец Л. В. Литературные жанры: (проблемы типологии и поэтики). М., 1982; Угехин Н. П. Жанры эпической прозы. Л., 1982; Страшнов С. Л. Анализ поэтического произведения в жанровом аспекте. Иваново, 1983; Бармин А. В. Поэтика эпоса XX века. Уфа, 1983; Кузьмичев И. К. Литературные перекрестки: Типология жанров, их историческая судьба. Горький, 1983; Струк-

туральностью подхода, разнообразием материала отличаются межвузовские сборники.<sup>3</sup> Даже краткий перечень книг, минуя пока журнальную летопись, говорит об интенсивности усилий советских исследователей жанра, о стремлении соединить теорию вопроса с детальным изучением художественной практики вплоть до региональных аспектов.<sup>4</sup>

Среди задач настоящего обзора новых работ — задержать внимание на трудах ученых высшей школы, которые обычно оставались вне поля зрения при оценке ведущих направлений изучения динамики жанровых форм. Выявляя перспективные пути исследований, постараемся увидеть не только достижения, но и слабые места, «болевые точки», дискуссионность в проработке актуальных аспектов проблемы. Нас привлекают также усилия жанрологии в части, где она соприкасается с историческими изменениями самой русской литературы, где тонкости жанрового подхода определены своеобразием художественного содержания произведений.

Специалстов заботит, как уже говорилось, терминологическое осмысление

тура литературного произведения. Л., 1984; Щеглова Г. Н. Жанрово-стилевое своеобразие драматургии Леонида Леонова. М., 1984; Эсальник А. Я. Внутрижанровая типология и пути ее изучения. М., 1985.

<sup>3</sup> Жанровое своеобразие русской поэзии и драматургии. Киров, 1981; Жанры русского реализма. Днепропетровск, 1983; Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. Калинин, 1983; Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1984; Соотношение жанра и композиции. Калининград, 1985; Жанры в историко-литературном процессе. Вологда, 1985.

<sup>4</sup> Проблемы жанра в литературе Сибири. Новосибирск, 1980; Пахомова М. Ф. Жанрово-стилевые искания современной прозы Карелии. Петрозаводск, 1981; Героическая поэзия гражданской войны в Сибири. Новосибирск, 1982; Якимов Л. П., Юдалевич Б. М. Сибирский очерк: 20—70-е годы. Новосибирск, 1983; Крившенко С. Ф. Дорогами землепроходцев: Героика освоения Дальнего Востока в очерково-мемуарной и исторической прозе. Хабаровск, 1984.

категорий анализа, прежде всего собственно понятий жанра и композиции. Продолжается поиск стабильных признаков, позволивших бы выделять ту или иную жанровую особенность, поскольку отсутствие критериев затрудняет фиксацию складывающихся разновидностей, границы которых оказываются подвижны, нередко принимаемая вид, по словам А. А. Морозова, «механического конгломерата различных жанровых образований» (в кн.: Русский фольклор. Л., 1976, т. 16, с. 61). Возрастает интерес к истории типологических изысканий в отечественном литературоведении, которая фундаментально освещена была памятной книгой И. Кузьмичева «Введение в теорию классификации литературных жанров» (1968) и продолжена затем в серии статей Л. Чернец с названной итоговой монографией 1982 года. Не без споров трактуются реальные ситуации на разных этапах художественного развития при сопоставлении канонических форм с динамикой жанровых систем.

Обзор Л. В. Поляковой «Пути развития теории жанра в работах последних лет» (Русская литература, 1985, № 1) дает анализ ряда дискуссионных моментов, исходя из оценок концепций В. Кожина, М. Бахтина, Г. Поспелова, В. Турбина, Л. Ершова, Ю. Стенника, И. Кузьмичева, П. Выходцева, А. Бушмина, Л. Чернец. Автор солидаризируется с теми, кто отрицает мысль о проявившейся будто бы на современном этапе искусства «атрофии» жанров, кто видит их живую реальность в живом литературном процессе, вместе с тем побуждает исследовать крупные сдвиги в эволюции жанровых систем, обновленные композиционно-стилевые планы при обобщенной трансформации литературных родов и родовых форм. Разделяя убеждение И. Кузьмичева в том, что жанровые теории Гегеля и Беллинского самые совершенные и пока никак не поколеблены, автор обзора высказывается, однако, за необходимость преодоления «барьеров прошлого», ибо усовершенствования возможны только с учетом «логики деяний» художников нового времени. Ведя аргументированный диалог с горьковским ученым по мотивам его кардинального тезиса о синтезе родовых и дифференциации внутривидовых форм, Л. В. Полякова приходит к обоснованному заключению, что можно согласиться с данной точкой зрения, если дифференциацию рассматривать как стремление и способность отдельных жанров сохранять специфику при постоянном и интенсивном их взаимодействии, обновлении своих черт движением в истории. Среди поднимаемых вопросов о жанрах, об индивидуальных проявлениях жанровой сущности, соотношении стиля и метода в структуре жанра, типологии жанрово-родовых образований вслед за оценкой соизмерений лирики и эпоса

возникает принципиальная полемика по поводу перспектив романа, подвергается критике взгляд на его обозначившуюся будто бы деградацию, связанную с декоративизацией искусства. В сферу наблюдений Л. Поляковой попадают также новейшие труды Ю. Кузьмиченко, В. Кускова, Е. Ивашиной, М. Юнович, М. Дудучавы, Н. Мазепы, В. Кубилюса, А. Карпова, их зарубежных коллег М. Прэтт, О. Кнерриха, Э. Штайгера, М. Затши, К. Гамбургер, Э. Хаджимса, Э. Родстайна, М. Шрадер и др. Вместе с тем за пределами даже столь обстоятельного и квалифицированного обсуждения остаются еще немалые пласты публикации, к примеру учебники и учебные пособия для филологических факультетов, включающие результаты оригинальных исследований, или межвузовские сборники научных статей, где почти все аспекты жанрообразования рассматриваются весьма основательно. Ряд положений, лишь затронутых, заслуживает дополнительного освещения. Отметим, в частности, и прокомментируем примером выдвинутый обзором среди наиболее проблематичных вопросов: как, за счет чего, вследствие каких изменений осуществляется эволюция, обогащение жанра.

Путевые заметки, записки путешественников существуют давно, сюжет, движимый перемещениями героев, хорошо известен во всех развитых литературах. В России своеобразие подобного рода повествований связано с уникальным опытом народолюбцев 1860—1870-х годов. Их этнографические, социально-краеведческие интересы выдвинули этот специфический жанр на видное место в национальной практике. Наряду с изображением темных сторон народной жизни они обогатили отечественную словесность бесценными собраниями фольклора, описаниями воззрений славян на природу, региональными очерками. Авторский образ бродячего интеллигента, исследователя народной жизни, может быть средним хорошо знакомому на Руси типу странника. Отсюда, возможно, почти у каждого российского поэта «тайное чутье путей в себе самом», подмеченная критиком за символической Блока «родная ему национальная стихия» хождения за три моря, тоска по заветному Беловодью и жизни праведной за долами — «мотив был широко распространен в этнополитическом творчестве русского народа, в апокрифических сказаниях, в литературе старообрядцев и т. д.»<sup>5</sup> Эту тему правдопосканий с фабульным движением героев к земле обетованной, с «дорожным строем» классических образов мы встречаем у Некрасова, Твардовского, Солоухина и др., сам жанровый тип сделался продуктивным, видоизменяясь на разных этапах художественного разви-

<sup>5</sup> Дементьев В. О, Русь моя! — Москва, 1980, № 11, с. 199—200.

тия (вспомним еще хотя бы «Алые сугробы» В. Шишкова о поиске переселенцами за Уралом страны мужицкого благоденствия).

А рядом складывались очерково-путевые книги писателей-землепроходцев из числа натуралистов, охотников, картографов (В. Арсеньев, С. Обручев, В. Баныкин, Н. Пинегин, ранний И. Соколов-Микитов, В. Шишков сибирского периода, М. Пришвин, Г. Потанин, Г. Федосеев) — особая ветвь русской литературы XX века, сближавшаяся постепенно с философской прозой и получившая для одной из ее разновидностей имя «пришвинского направления». Такие видоизменения, переливы, саморазвитие жанра, точнее, уже жанрово-типологической общности сохраняют, однако, совершенствуют свойственные ей существенные стилевые черты, сюжетные коллизии (в рамках общелитературных перемен, согласно с ними).

У того же Шишкова появилась в начале 30-х годов повесть «Странники». В ней совсем иной, нежели у «Алых сугробов» или «Тайги», жанрово-тематический ориентир, хотя исходный признак бродяжничества налицо, подчеркнут названием. Судьба шишковских беспризорников примыкает к образам и конфликтам, открытым Л. Сейфуллиной в «Провонарушителях» (1922) и А. Неверовым в «Ташкенте — городе хлебом» (1923), продолженным «Республикой Шкид» (1928) Г. Бельх и Л. Пантелеева, «Уркаганами» (1928) И. Микитенко, скитаниями беспризорника, а потом воспитанника знаменитой коммуны из книги А. Авдеенко «Я люблю» (1933) и увенчанным «Педагогической поэмой» (1935) А. Макаренко. Можно еще присовокупить незаключенных «Хулиганов» А. Гайдара, ряд спектаклей и фильмов тридцатых годов на ту же тему. Объединенные гуманистическим пафосом, эти произведения несли колорит эпохи, остроту социальной проблематики, укрепляли горьковскую традицию хроник обездоленного детства, отроческих мытарств, озаренной революцией юности. Путевая повесть, страннический мотив соединились с романом о воспитанце, хотя оба жанровых образования вообще существуют независимо друг от друга. Контаминация — обычный резерв для удовлетворения скоротечных потребностей литературного движения на переломах среди потрясений и войн. Но даже эти промежуточные формы в конкретной исторической ситуации, несмотря на различия по месту и времени действия, несхожесть творческих дарований и других частных черт, создают так называемую норму жанра, делают разновидность неповторимой при иных условиях. Ее канон выражается однородностью персонажей, конфликтов, подобием сюжетных поворотов и фабульных клише, стилиевой доминантой. Обнаруживают себя признаки направлений и школ.

Г. Пospelов признал подобные «струи» в культурной жизни эпох основных «ингредиентами» эстетического движения. Найти сопричастность мировоззрений у когорты мастеров на определенном отрезке развития национальной словесности, по мысли ученого, много значит: «только таким путем» могут быть установлены «объективные закономерности литературного процесса».<sup>6</sup> Хотелось бы лишь уточнить, что единства течений возникают не только на основе «идейного содержания». Писателя, артиста в широком смысле, с другими связывают, нередко и помимо воли, авторитет великих современников, предпочтительные в ту пору жанровые формы, стилевые искания, веяния моды либо возрастное чувство локтя, региональная солидарность или осознанное тяготение сложные усилия в духовно-творческом поиске родственных дарований (некрасовское, блоковское, шолоховское направление, «фронтное поколение», смоленская, вологодская «школы» в русской лирике и т. п.). Хотя, разумеется, все в конечном счете сказывается на мироощущении художника, подчиняется социально-правственным «велениям времени».

Так, порожденные трагическими следствиями двух войн и двух революций, разрухой и голодом толпы беспризорников оказались на грани гибели. Они потребовали усилий народной власти, организации трудовых коммун, специальных колоний, ремесленных училищ, движения учителей и воспитателей нового типа. Жизнь породила их не без мук, но и с подъемом энтузиазма. Поэтому на взлете специфической, иным литературам неведомой прозы появился не просто роман, а педагогическая «поэма».

Что же здесь жанр? Отражая реальность событий, зарождавшаяся как отклик на злобу дней повествовательная модификация следовала далее собственным законам эволюции. Аналогично всякому явлению подобного рода она знала период возвышения, кульминацию развития (творения А. Макаренко), фазу затухания. Вырабатывались опорные приметы содержательно-тематической общности; утверждались сходные приемы архитектоники, сцепления, блоки, переплетения столкновений и ситуаций, взаимодействие ведущих персонажей с периферийными; кристаллизовались фрагменты знакомых конфликтов; увлеченные однажды характеры при многократном повторении оформлялись определенным сюжетным и фабульным стереотипом. Скажем, побег на волю из тюрьмы или колонии. Герой Авдеенко, сначала карманник, затем поездный грабитель, по-

<sup>6</sup> Пospelов Г. Н. Литературный процесс. — В кн.: Литературный процесс. М., 1981, с. 15, 17.

добрач беспамятным после смертельной поножовщины: «Коммуна?.. Так вот куда я попал?.. Мне становится страшно... и я кричу Антонычу прямо в лицо: — Я жулик... вор... блатной!..»

Страшное дело! Антоныч (Макаренко, — П. Г.) не испугался...

— Знаем, все знаем! Всякий народ здесь собрался. Домушники, скокари, фармазончики, форточники, банщики, даже пара медвежатников, — все, все, как один, бывшие... Теперь они — плотники, слесари, огородники, токари, механики, лесорубы. А в будущем... инженеры, педагоги, библиотечари, писатели, музыканты... они притащили тебя в коммуну и выхостили!.<sup>7</sup>

По одному этому обрывку текста, не зная, допустим, писателя, мы тем не менее безошибочно поставим произведение на свое место в видовой классификации, назовем примерный срок появления, круг возможных беллетристов. Так по сохранившимся осколкам восстанавливается лепнина архитектурного памятника, по найденным частям скелета — облик вымершего обитателя планеты.

В жанровом контексте повествований о трудовой колонии, о подвижничестве воспитателей столь же привычны среди устойчивых мотивов тяжба прогрессивного директора с чинушей из губернских учреждений, стройные марши колонн и бурные темпы хозяйственных преобразований, идиллический труд на лоне природы, «срывы» воспитателя. Обычен сарказм по адресу учителей старой заправки, всегда будто бы неженек, беспомощных и неумелых: «Барышня одна беленькая, красивая приезжала. Рисованию обучать хотела. Все цветочки рисовала и платочки на голове по-разному повязывала... И прозвали ее „богородицей“... Ходить долго не могла... Раскисала... Мартынов увидел и рывкнул:

— Николай! Утром на станцию Клавдию Петровну увезешь... И увезли».<sup>8</sup>

На графической таблице эволюцию данной повествовательной формы можно бы изобразить фигурой волны, где плавный подъем линии начинается в первой половине 20-х годов, гребень приходится на середину 30-х, а на вторую половину того же десятилетия — крутой спад нисходящей ветви. Копчено было с этим явлением в жизни, и жанрово-тематическое направление исчерпало себя, оставив след в анналах советской литературы, став единицей классификации «романа воспитания».

Великая Отечественная война для нашей страны не менее катастрофична потерями, а детской беспризорности как

массового бедствия не случилось. Опыт насторожил. Заблаговременно были приняты защитные меры. Судьбы сирот воплотило скудное, но спасительное приютское детство Николая Рубцова или тяжелая военная страда в родном колхозе благополучного все же юнца из повести-воспоминания «Жологритский волок» Юрия Бороздина. Знаком прозе 40—50-х годов и сюжет усыновления сироты армейским подразделением. Другая пора — иные коллизии — новые жаровые образцы.

Этот пример закономерной эволюции на тридцатилетнем отрезке определенной жанрово-тематической общности мог бы быть продолжен, ибо она не прекратила своего развития и в 60—70-х годах, только воплотилась, разумеется, сюжетно-композиционными нормами, соответствующими данному периоду. Достаточно вспомнить хотя бы «Безотцовщину» Федора Абрамова, «Девчат» Бориса Бедного, «Встречу с чудом» Илья Лаврова. Приметой времени стала теперь трансформация «романа воспитания» и фабулы странничества в повествования о безродительском детстве, оторванности от семейного круга в отрочестве и раннеюношеские годы, о скитаниях по стране неоперившихся парней и девушек в контексте уже иной типологической линии, получившей у критиков название «молодежной прозы», где на передний план вышли перипетии становления личности, борьбы за утверждение собственной гражданской позиции в формирующемся обществе развитого социализма.

Таким образом, следует признать плодотворным стремление у Л. Поляковой, И. Кузьмичева, Л. Чернец, Н. Утехина, других советских ученых объяснять жанрово-композиционные сдвиги в реальном процессе современной литературы реализацией художественных принципов наследования, видеть за динамичной форм произведений искусства исторически складывающиеся плоды коллективных усилий. Увеличение же количества видовых дифференциаций неостаточно как результат внутри- и междоуровневого взаимодействия жанров «особенно интенсивного в последние годы».<sup>9</sup> Наблюдения приводят к убеждению, что «у современной литературы путь к прогрессу лежит через жанр».<sup>10</sup> Однако исследования перемени в системе отношений на стыках эволюционного движения структурно-тематических групп встречают существенные препятствия.

Давно признано, что наши литературоведческие словари и пособия затрудняются строгостью логических дефини-

<sup>9</sup> Утехин Н. П. Жанры эпической прозы. Л., 1982, с. 70.

<sup>10</sup> Кузьмичев И. К. Литературные прецеденты: Типология жанров, их историческая судьба. Горький. 1983, с. 4.

<sup>7</sup> Авдеенко Александр. Собр. соч.: В 4-х т. М., 1982, т. 1, с. 261.

<sup>8</sup> Сейфуллина Л. Н. Соч.: В 2-х т. М., 1980, т. 1, с. 101.

дний; считается, что и невозможно дать «сколько-нибудь исчерпывающего и однозначного определения даже наиболее употребительных терминов»,<sup>11</sup> поскольку содержание их, продолжает специалист, парадоксально устанавливается не одной этимологией или фиксируемым смыслом, но и множеством побочных связей предмета. Это верно отчасти. Допустим следующую «побочную связь»: расшифровку тех же понятий «жанр», «композиция» для литературы нельзя оторвать от детерминации их искусством живописи, кино, телевидения, музыки, но на помощь приходит бытовое, общенаучное сознание, которое несет в себе силогизмы итоговые, популярного свойства. И все всюду понимают при встрече с ними, о чем, собственно, идет речь. Но только в самом общем смысле. Особенно нужно такое качество обозначениям возникающих понятий в движущейся эстетике. Сколько спорили о термине «деревенская проза». Оказывается, зря спорили: «Потому что не будь этого термина... придумали бы другой... Знак, необходимый для удобства общения. Но — знак времени»,<sup>12</sup> ибо то, что называли именем «деревенская проза», рождено было важным и острым материалом действительности. Близкими, родственными приметами прошедшей четверти века стали выражения «школьная повесть», «региональная эпопея», «проза сорокалетних», «дамская беллетристика», «политический детектив», «московская школа», «дачная повесть», «морской», «городской», «командировочный роман»... Каждое реально, укладывается в свою «периодическую систему типов и ситуаций» (выражение В. Кулишчева и А. Смирнова). И хотя внешне они очень разнятся, означая то рабочее наименование жанровых модификаций, то региональную школу, то возрастную или личную какую-то группу писателей и т. д., есть у всех подобного рода видообразований два-три общих существенных свойства, позволяющих рассматривать их как явления одного порядка. Во-первых, они непременно рождаются и существуют в конкретных историко-национальных, социально-определенных координатах литературного движения; фиксированные текущей критикой, во-вторых, они становятся, следовательно, и предметом литературоведческого анализа; в-третьих, круг произведений, объединяемых такими определениями, всегда обладает, кроме прочих, чертами жанрово-композиционного и сюжетно-фабульного единства, соотносясь по ним с другими индигенантами художественного прогресса.

<sup>11</sup> Сапаров М. А. Термины и метафоры: (дискуссионные проблемы литературоведческой терминологии). — Русская литература, 1979, № 1, с. 115.

<sup>12</sup> Кулишчев В., Смирнов А. Горизонты прозы. — Подъем, 1978, № 3, с. 143.

По-видимому, активизация школ, течений и направлений в живой литературной практике, появление многоликих по структуре и проблемной сущности жанрово-типологических образований стимулируют интерес науки к категории «литературный процесс». Продуктивно изучаются его формы, выясняются виды движения, даются им обозначения. Одно из них — жанровая система. Допустимо сказать: жанровая система современного детектива, что значит иметь в виду динамическое сочленение пяти его разновидностей: уголовную, военную, историческую, научно-фантастическую, политическую. Но вот стали встречаться у специалистов сочетания слов «исторический жанр», «жанр философской прозы», «научно-фантастический жанр», «криминальный жанр», «жанр маринистики», «жанр анималистики», «жанр художественно-документальной литературы», «жанр лирического повествования». И никакими тревожными констатациями терминологической непоследовательности это стихийное по виду, однако вызванное некими пущами расширение понятия жанр, наполнение его добавочными значениями — течения, направления, эволюционирующей совокупности — не остановить. Ведь даже в таком консервативном (в положительном смысле) разделе науки, как библиография, «результаты терминологического новаторства» сегодня весьма ощутимы, «да и использование устоявшейся, казалось бы, терминологии... подчас неоднозначно и приводит к различному пониманию явлений одинаковых по своей сути, и наоборот».<sup>13</sup> Как же тогда быть при необходимости изучать, описывать, стремительные, необъятные в своем многообразии потоки, волны, веяния, тенденции и противоречия текущей художественной практики? Находить общий язык. Положение, однако, таково, будто каждое ведомство склонно иметь собственную теорию литературы со своим толкованием основных понятий.

Начало положила по интересующему нас аспекту академическая «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы» (1964) — второй том известного труда 1962—1965 годов. Сложилось устойчивое мнение, что она не оправдала надежд, не упорядочила основных категорий анализа. «Она и в самом деле не справилась с этой задачей. „Теория литературы“ в сущности представляет собой собрание статей, иногда превосходных, но не связанных какой-то концептуальной идеей. Она не превратилась в целостную внутренне законченную систему».<sup>14</sup> По прошествии двух десятилетий

<sup>13</sup> Баскаков В. Н. Библиография: история, теория, практика. — Русская литература, 1983, № 4, с. 199.

<sup>14</sup> Кузьмичев И. К. Указ. соч., с. 26. Далее на протяжении нескольких глав

тий она устарела, усовершенствованных же переизданий не последовало.

Иначе с вузовскими центрами изучения предмета. Они не могут стоять на месте: надо обеспечивать студентов учебниками.

За десять лет издательство «Просвещение» выпустило «Словарь литературоведческих терминов» (редакторы-составители Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев; 1974); 5-е издание «Основ теории литературы» Л. И. Тимофеева (1976); 7-е издание «Введения в литературоведение» Г. Л. Абрамовича (1979); «Хрестоматию по теории литературы» (составитель Л. Н. Осьмакова, вступительная статья П. А. Николаева; 1982). Это перечень лишь главных пособий Минпроса СССР.

Другой пласт образуют труды Минвуза СССР. За короткий срок в издательстве «Высшая школа» вышли: «Теория литературы» Н. А. Гуляева (1977); «Теория литературы» Г. Н. Поспелова (1978); «Введение в литературоведение. Хрестоматия» (под редакцией П. А. Николаева; 1979); 2-е издание «Введения в литературоведение» (под редакцией Г. Н. Поспелова; 1983). К ним примыкает сборник «Литературный процесс» (1981), упомянутые монографии начала 80-х годов Г. Н. Поспелова и Л. В. Чернец, выпущенные МГУ, где на кафедре теории литературы и трудятся почти все авторы названных книг «Высшей школы».

Трудности возникают, когда мы начинаем сравнивать итоги усилий двух школ, двух смежных ведомств, родственных книгоиздательств. Сузим взгляд до интересующих нас вопросов жанрообразования и сюжетосложения.

Понятие литературного процесса объединяет собою, по Тимофееву, стиль, метод, течения, жанры, делает актуальным анализ произведения не изолированно, а с учетом взаимосвязанного, пороку в столкновениях и борьбе, движениях этих слагаемых, с выяснением места писателя и его наследия среди стадийальных сдвигов. Причем многообразная полнота художественного развития «осуществляется в определенный исторический момент... в одинаковой для всех данных стилей исторической обстановке». Но подчеркивается и значение наследования, традиции — сей «шовивальной бабки новаторства» в искусстве.<sup>15</sup> Художник использует сложившиеся жанровые личины, а если усовершенствует, приспособляя их к новым требованиям, преодолевает канон, то чаще всего вместе с единомышленниками в пределах школы, течения, «волны» создает

лишь модификации. Подобная эволюция на любом из направлений национального искусства воплощает действие объективных законов, для выяснения которых, оказывается, «уровень художественных достоинств произведений не может играть решающего значения при их отборе и сопоставлении».<sup>16</sup> Сказанное иллюстрирует существенный сдвиг в теоретических представлениях. Для свободы типологических построений он был необходим.

Дарование не самое заметное, случается, обнаружит пронизательность, твердость, сблизится с высоким авторитетом, войдет в «плеяду» (или будет причислено к ней историками). Средний талант иногда подготавливает почву открытиям классика, или становится скромным наследователем, или шумным апологетом, либо незатейливым эпигоном, а бывает, пародистом и отрицателем, что также принимается ныне за виды преемственности. Творческие сопричастия, как известно, могут получать не только характер контактных созвучий, уподоблений, подражаний, заимствования, литературного ученичества, скрепления мотивов у подражателей и предшественников, но и контрастных, даже конфликтных отношений. Отсюда различные формы традиций. Ведь и крупный художник усваивает уроки современников, мастеров прошлого, и не обязательно всегда гениальных. Таков трезвый подход к проблемам эстетической эволюции и системных связей, принятый литературоведением последних лет и провозглашаемый «школой Поспелова».

С другой стороны, не сдает позиций поклонение «великим теням». Тогда поступательное движение видится перелетами от шедевра к шедевр по высам творений Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Горького и Шолохова, Блока и Маяковского...

Недостаточность подобного метода особенно обнаруживается с обращением к внутреннему строю произведения, при оценке приемов архитектоники. Встречаются такие высказывания: «Великие писатели, стремясь к завершенности и динамизму сюжетов...»; «сюжеты произведений великих писателей имеют глубокий социально-исторический смысл»; «каждый большой писатель останавливает свое внимание на конфликтах, имеющих значение для своего времени и народа».<sup>17</sup> Разве только «великие» стремятся к динамизму сюжета? И все не каждый раз, как декларирует там же автор вузовского учебника, «великие» драматизируют фабулу, не у всякого их сюжета глубочайший историко-

содержится критика основных положений учения о родах и жанрах В. Кожина и В. Сквозникова.

<sup>15</sup> Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1976, с. 404. 411.

<sup>16</sup> Поспелов Г. Н. Литературный процесс, с. 20.

<sup>17</sup> Абрамович Г. А. Введение в литературоведение. М., 1979, с. 116. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

социальный смысл, не обязательны и кардинальные конфликты эпохи. Можно обойтись даже без «роста и организации характера», поскольку существует бессюжетная проза типа «Оды русскому огороду», «Лада», «Памяти», если взять примеры из современной советской литературы. Природа композиции целиком зависит от избранного жанра, и литература не состоит исключительно из энциклопедий народной жизни, романов-эпопей, «целостных движущихся картин» действительности. «Шуточка» Чехова не отвечает ни одному из прокламируемых Абрамовичем требований. Нельзя строить теорию на априорной предпочтительности одних приемов и качеств, отвергая либо не замечая другие, словно бы «низшие» в номенклатуре изобразительных средств. Почему в «маленьком рассказе» непременно должно представляться «знаменательное явление общественной жизни» и тогда «экспозиция обычно подразумевается»? (с. 120). Это верно, если говорить о таких произведениях, как «Смерть чиновника» того же Чехова, что и делает сочинитель учебника. Совершенно не так обстоит дело относительно иных юмористических новелл (О'Генри, А. Чехова, М. Зощенко). Неужели лишь «великий лирический поэт раскрывает... движение мыслей, чувств, переживаний в их силе и страсти, в их борении и развитии»? (с. 117). И у великих не все только борения да страсти, нередки созерцательные состояния, очарование тихих минут слияния с врачующей природой, спокойная радость общения с милым человеком. Иногда это даже сближается с рангом эстетических кредо, как в понтийских элегиях Овидия: «Песням нужен покой и досуг одинокий поэту». Только ли в «классических литературных произведениях» экспозиция, завязка, кульминация относятся к элементам сюжета? (с. 120). А в заурядной беллетристике? Уместен скорбный вздох Апатоллия Пердреева: «Мы все, как можем, на земле поем, Но среди всех — великих было мало...» («Памяти поэта»).

Успешно осваиваемые наукой сферы литературного процесса и жанровых систем, примиряя творчество «избранников» и «многих», удачно дополняют друг друга, взаимопрониккая обеспечивают понимание реальности происходящего в искусстве на разных этапах. Показав значение термина «жанровая система» на примере разнородностей современного детектива, используем возможность частичного определения «жанра» как стадийально нарастающего множества его модификаций внутри какой-либо тематической или региональной общности, школы, течения. Более полное определение будет, естественно, исходить из того, что слово «жанр», корнем от французского, у нас обозначает вид литературных произведений, принадлежащих обычно одному роду, что единство их

на протяжении исторического развития обусловливается повторением схожих композиционных структур, которые, впрочем, реализуются конкретно, получают всякий раз в тексте оригинальное воплощение. Но те же привычные толкования вызывают нужду оговариваться по поводу участвовавшего смещения родов и видов, наплыва промежуточных состояний (роман в стихах, повесть в новеллах, драматическая сказка, лирическая проза, лиро-эпическая поэма и т. д.), которые вновь размывают однозначность категории.

От терминологической полисемии мы никуда не денемся, и предложенная частичная дефиниция лишь стыкует понятия «жанр» — «жанровая система», но они не синонимы. Значение второго шире и способно покрывать собою эволюцию родовых форм у какого-то писателя, в национальной литературе энного периода, внутри метода, направления: «жанровая система русского классицизма», «жанровая система в творчестве Достоевского» и т. п.

Если в своей книге Н. Утехин отмечал сохраняющуюся затрудненность установки основополагающих принципов жанровой дифференциации, несмотря на обилие за последние годы работ о спелдифике и преобразовании родовых модификаций, объясняя это недоразвитостью общеметодологических вопросов в нашей науке о литературе и тем, что отдельные прозаические и поэтические формы рассматриваются обычно изолированно, вне связи с примыкающими,<sup>18</sup> то относительно драматургии можно привести удачный образец системного подхода, который дает анализом ее в отечественной литературе на разных исторических отрезках Ю. Бабичева. По ее интерпретации, смысловое расширение границ термина «жанр», наполнение его добавочным значением эволюционирующей общности хорошо уравнивается внутриродовой классификацией. Убедительная представленная картина театрального искусства, где находят узаконенное место среди «бурных волнений» начала века эпическая драма Л. Толстого и лирическая А. Блока, «психодрама» Л. Андреева и отразившие обострение классового сознания пьесы М. Горького, натуралистическая драма (С. Найденов) и драма идей (А. Луначарский), символическая мистерия (А. Белый, Вяч. Иванов), пропическая миниатюра на эстраде «Кривого зеркала» и стилизации под фольклор, древнерусскую литературу, народное лицевое искусство (А. Ремизов). В движущуюся панораму поисков и обновления русской сцены исследовательница включает реставрации античных и средневековых зрелищ, другие эксперименты футуристов. А рядом философ-

<sup>18</sup> Утехин Н. П. Жанры эпической прозы, с. 5.

ские пьесы А. Чехова, не угасший опыт социально-бытовой драмы, трагедии В. Брюсова и Ф. Сологуба, сатирические сцены, пародии, одноактная комедия и водевиль, трагедийный вариант трагедии и злой фарс на подражания Метерлинку.<sup>19</sup> Подобно любой типологии данная тоже, возможно, не безупречна, однако основана на достоверных представлениях о поре глубинного переустройства русского сценического искусства в рамках сложного комплекса явлений, названного специалистами на порубежье эпох «новой драмой». Очень наглядно под пером ученого сочленяются вторичные категории жанрово-родовых форм, жанровой системы, жанрово-типологической общности («новая драма»). А вот исходное понятие «жанр» опять несумовимо расплывается, переливами к смежным звеньям ускользает от самостоятельных номинаций и тем не менее уверенно скрепляет собою очевидный в данном случае механизм сложных взаимодействий.

Вновь мы видим отход к внешней отпосителю строя произведения типологии, откуда заметнее водораздел позиций теоретических школ. В изданиях «Просвещения» треть каждого учебника посвящена «Анализу художественного произведения» и внутренняя организация жанровых форм изучается с возможной полнотой, а «Сюжет и композиция» в качестве взаимопроницающей системы выделены в самостоятельные главы. Издания же «Высшей школы», поскольку уровень художественных достояний произведения (вспомним Г. Поспелова) не играет решающей роли для объективных законов эволюции, в центр ставят более «высокие материи»; метод, род, пафос, стиль, течения и вопросы архитектоники выносятся на периферию с подменой привычной композиции целого на «композицию сюжета», «композицию образов», «композицию рассказывания», «композицию деталей изображения», «композицию речевых средств» и т. д.

Более частных расхождений много, порой курьезных. «Введение в литературоведение» под редакцией Г. Н. Поспелова пытается устранить «фабулу» как попятное излишество (с. 117). Но эта категория явила строптивость, утвердившись-таки на страницах книги среди «предметов» указателя. Изгони мы существеннейшее отличие композиции в словесном искусстве от таковой в живописи, ваянии, зодчестве, музыке (там подлинно нет фабулы), что станет с сюжетом? Он оказывается и событийной канвой, и горьковской историей характера, и протеканием конфликтных отношений, и «пространственно-временной

динамикой изображаемого», как сказано в учебнике. Не сближаем ли мы подобным образом литературно-художественное произведение с фольклорным?

У самого же Г. Н. Поспелова («Теория литературы», с. 104) фабула, хотя и не изымается из общения с другими элементами композиции, в свою очередь, — и порядок рассказывания о событиях из жизни персонажа, и описательные характеристики героев, и обозначение места-времени действия, и вставные эпизоды, т. е. не столько уже «сторона композиции», по терминологии автора, сколько обширностью функций сама композиция.

У каждой из школ, следовательно, свои ключевые подходы к поэтике жанра, свои плюсы и минусы, что наводит на мысль: а не лучше ли объединить силы вузовской науки, тем более что способных, знающих, пишущих специалистов немало и за пределами столиц. Почему бы не создать единые учебники, хрестоматии по теории литературы и введению в литературоведение для пединститутов и институтов культуры, университетов и всех прочих, где читаются соответствующие курсы. Полезно подключить к такой «комплексной бригаде» знатоков академического профиля. Кстати, так и делалось с успехом при написании «Истории русской советской литературы» под редакцией П. С. Выходцева (2-е издание, 1977) и пособия для пединститутов под редакцией В. А. Ковалева «Русская советская литература 50–70-х годов» (1981), где среди авторов преподаватели ЛГУ, МГУ, пединститутов — Ленинградского им. А. И. Герцена, Московского областного им. Н. К. Крупской, научные сотрудники ИРЛИ АН СССР. Разобщение же научных сил при осмыслении фундаментальных законов художественного слова ведет к серьезным неустойчивостям, разноречивой с подготовкой историй отечественной литературы, советской в частности. Сколько книг — столько периодизаций новейшего времени: 1) Послевоенная литература. Литература на современном этапе; 2) Литература второй половины 40-х—50-х годов, Литература 60-х—начала 80-х годов; 3) Русская советская литература 50–70-х годов; 4) История русской советской литературы. 40–80-е годы. Не называю авторов — не в том суть, а в том, что опять взято по два действующих учебника двух министерств — и у каждого свой устав.

Впрочем, возможна иная точка зрения: наличие вариаций — благо, и добро, когда есть разные периодизации, теории, учебники. Это выражение богатства духовной жизни, расцвета науки. Она была высказана на 16-м пленуме Головного Совета по филологии (май 1985, Калининград).

Различные подходы к типологическим процессам частично объясняются еще и двойственной природой на-

<sup>19</sup> См.: *Бабичева Ю. В.* Эволюция русской драмы XIX—начала XX века. — *Вологда*, 1982.



тегории жанра. Жанр — это видовой многообразий и подвижной структурой, отзывчивой на «век времени», принадлежит, с одной стороны, важное место в стадийной эволюции национальных литератур. С другой — жанр всегда связан с законченным текстом произведения. Но для художественной практики нередки случаи, когда произведение подвергается переработке, известно в различных вариантах. С перевоплощением замысла меняется иногда даже жанровая форма. «Емельян Пугачев» В. Шишкова под влиянием трагических испытаний и пародного подвига в Великой Отечественной войне по мере публикации новых частей менял внутренний строй от беллетризованной хроники событий к повествованию эпического типа. У А. Фадеева из первоначального очерка о молодогвардейцах выпестовался «роман на историческую тему» с тремя его редакциями (1945, 1951, 1956). У А. Бека документальный очерк об одном из участников подмосковных сражений обернулся затем героической повестью «Волоколамское шоссе». Впечатляет преобразование «Кашеевой цепи» М. Пришвина на протяжении трех десятилетий от автобиографической повести к «роману итогов» в окончательном виде. Классический образец жанровой трансформации оставил Л. Леонов двумя редакциями «Вора». В результате появилась редкая возможность наблюдать жанровое преобразование социально-психологической разновидности русского советского романа в роман интеллектуальный. Анализ именно системных связей «Вора», «Скутаревского», «Дороги на океан», «Русского леса» и соотносительность их структурных элементов раскрывают формирование одной из главных ветвей советской философской прозы в русле национальных традиций. Объектом наблюдения могут стать как само постепенное переустройство, усовершенствование структуры, облика вещи, так и переход ее из одной типологической группы в другую.

Двойственная природа жанра вносит затруднения при углубленном изучении слагаемых в композицию соподчиненный сюжет и фабула, конфликт и характер, событие и обстоятельство, перипетия и действие, подтекст и символика, пейзаж — интерьер, автор-повествователь — герой, стиливая доминанта, лейтмотив, деталь, документ и художественный контекст, внесюжетные отступления и другие конструктивные элементы в самых различных их обусловленностях и комбинациях. Выделяется подвижный, труднофиксируемый логическими определениями объект литературоведения. По внешним представлениям, поэтика жанровых форм — это не только слагаемые совершенства и красоты в искусстве, но и способность, умение, навык исследователя улавливать движения, взаимопереходы и противоречия видо-

вых перемен с их историческим накоплением, это и учение о писательских приемах компоновки, упорядоченного набора элементов, связей, контуров, членений произведения как частного более обширной общности. Мы приводили примеры из прозы и драматургии, еще сильнее это ощутимо в поэзии. Полагают, что лирический жанр не способен полностью воплотиться отдельным текстом, поскольку вполне зависит от особенностей субъективной точки зрения, а она у стихотворцев заметнее тяготеет «к этикетности, направленно... Поэтому жанровая определенность может размыться четче в рамках школы или направления и может ничего не дать для понимания творчества отдельного поэта».<sup>20</sup>

Двойственная, текучая природа жанровых типов создает при их изучении практическую невозможность желательной обычно, искомой нормативности. Вот наглядный для наших дней случай прямой оппозиции при обсуждении важнейшего элемента архитектоники. По мнению одной стороны: «Вряд ли будет полезно для литературоведения выделить конфликт в отдельную эстетическую категорию».<sup>21</sup> По утверждению другой, напротив: «Конфликт — одна из самых подвижных... чутко реагирующих на изменения жизни категорий современной литературы».<sup>22</sup> А ведь от того, будем ли мы считать элементы сюжета и композиции, в том числе конфликт, эстетическими категориями анализа или узко специальными явлениями ограниченной области поэтики жанра, зависит и наша трактовка ряда опорных для сложных взаимодействий систем.

Но, может быть, так и надо, это и есть свидетельство пульсирующей, деятельной мысли, поиск истины среди противостоящих, борющихся крайностей? Взятая было на вооружение модель Б. Томашевского, уподоблявшая жанр центру тяготения, вокруг которого гнездятся, группируются рои родственных форм, и вместе с тем каждая по отдельности неповторима, избегает системы, стремится к оригинальности, — такая

<sup>20</sup> Чижевский П. Б. Лирико-философский жанр Тютчева. — В кн.: Художественный текст в литературный жанр. Махачкала, 1980, с. 19.

<sup>21</sup> Козлов Н. П. Проблема конфликта в повести А. Платонова «Сокровенный человек». — В кн.: Поэтика реализма. Куйбышев, 1982, с. 65.

<sup>22</sup> Кургулян М. Сущность и формы конфликта. — В кн.: Современная советская литература в духовной жизни общества развитого социализма. М., 1980, с. 159. Правомерное решение находит «Краткий словарь по эстетике» под ред. М. Ф. Овсянникова (М., 1983), помещая статью под заголовком «Конфликт художественный».

схема уже недостаточна. Ясно теперь, что текуч сам образец, меняется постоянно идеал, смещается «центр тяготения» за счет разновидностей, любая из которых на определенный час тоже готова стать эталоном и нормой, т. е. ядром иной планетарной системы, не выходя однако из гравитационного поля праматеринского жанра. Следует подчеркнуть: и при самом энергичном стремлении к необычности отпочковавшийся видовой стереотип, обусловленный особенностью проблематики и адресной направленностью своих произведений, не может вовсе оторваться от прообраза («жанровая память»), от традиции, корнями уходящей к подпочве национальной культуры. Среди прочих типологических общностей как жанрообразующее начало привлекает последнее время внимание исследователей циклизация.<sup>23</sup>

Формирование жанровых групп, их рост, взаимопроникание, причудливые извивы, распадаения и собирания классификационными долями — непрерывный процесс; в любой момент сплетения и конфигурации видовых образований непостоянны. На каждое десятилетие художественного развития (что, наверное, следует считать наименьшей градацией для литературной периодизации) в национальном искусстве слова (у нас и в общесоюзном масштабе, но не всегда) складывается исторически объяснимый, т. е. самой жизнью определенный рисунок таких переплетений жанрово-типологических направлений среди множества прочих эстетических примет времени. Это хорошо иллюстрирует изучение реального движения литературы в нашем динамичном мире, когда авторы трактуют смещение жанровых центров, эволюцию самих образцов или (и) генерацию новых сочинений по типовой близости признаков.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Владимиров М. М.* Основы цикличности в романтическом искусстве Э. Золя. — В кн.: Литературные связи и традиции. Горький, 1974; *Зарецкий В. А.* О лирическом сюжете «Миргорода» Н. В. Гоголя. — В кн.: Вопросы сюжетосложения. Рига, 1978; *Землянова А.* Принципы циклизации в «Лесной капели» М. М. Пришвина. — В кн.: По законам жанра. Тамбов, 1978; *Салогов В.* Сюжет в лирическом цикле. — В кн.: Сюжетосложение в русской литературе. Даугавпилс, 1978; *Макогоненко Г. П.* Последний поэтический цикл Пушкина. — Нева, 1981, № 6; *Дарвин М. Н.* К проблеме цикла в типологическом изучении лирики. В кн.: Типологический анализ литературного произведения. Кемерово, 1982; *Фоменко И. В.* О поэтике лирического цикла. Калинин, 1984.

<sup>24</sup> *Чепнова Л. П.* К вопросу об эволюции элегического жанра в русской романтической лирике 10—20-х годов XIX

Таковы, примерно, рубежи новейших концепций у советских литературоведов из области наблюдений над жанрообразованием и сюжетосложением. Они перспективно подводят к еще более тесному сближению теории литературы в ее системно-типологическом аспекте с историей отечественной словесности и с художественной критикой в ее оценках калейдоскопа сдвигов на арене эстетического развития. Что же касается второго члена дихотомии жанр—композиция, думается, в текучести жанровых превращений ее функция стабилизирующая, если под художественным строем в настоящем случае понимать не только взаимосвязь компонентов содержания и упорядоченность формы произведения, а также и его структуру как устойчиво повторяющийся принцип организации данной жанровой разновидности, т. е. «единство, сращение и борьбу нормативно-типологических и индивидуально-неповторимых тенденций в построении» у творений искусства, согласно определению предмета новейшим авторитетным справочником.<sup>25</sup> Но тут мы подошли вплотную к вопросам поэтики композиции — области, не менее горячо обсуждаемой, плодотворно осваиваемой нашей теоретической мыслью, и, стало быть, заслуживающей самостоятельного обзора. При обязательном учете обстоятельства: как бы ни стремилась литературная стройность уникального созда-

века. — В кн.: Жанр и стиль художественного произведения. Минск, 1980; *Трефилова Г.* Динамика жанровых форм и некоторые стилевые тенденции прозы. — В кн.: Современная советская литература в духовной жизни общества развитого социализма. М., 1980; *Куприяновский П. В.* О литературных направлениях и течениях в России конца XIX — начала XX века. — В кн.: *Куприяновский П. В.* Доверие жизни. Ярославль, 1981; *Казаркин А. П.* Литературный процесс и типы оценок. — В кн.: Типологический анализ литературного произведения. Кемерово, 1982; *Каминский В. И.* К вопросу об истории положительного героя русской классической литературы. — Русская литература, 1982, № 2; *Грешиев В. А.* О жанровых связях и композиционных принципах ранних элегий Е. А. Баратынского. — В кн.: Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1982; *Бузник В. В.* Приобщая к человечности (о центральной коллизии романа Ю. Бондарева «Выбор»). — Русская литература, 1983, № 2; *Дронова Т. И.* История и современность в советской исторической литературе 70-х годов. — В кн.: Актуальные проблемы современной филологии. Саратов, 1984; *Науман Манфред.* Литературное произведение и история литературы. М., 1984.

<sup>25</sup> Краткий словарь по эстетике, с. 75.

ния поставить себя исключительным объектом разборов, она немислима вне связи с видовыми комплексами, поскольку непременно представляет собою

еще и воплощение жанрового образца. Обозначился, стало быть, стык научно-поисковых направлений, где всегда следует ожидать плодотворных открытий.

А. Н. Севастьянов

## ОШИБКИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ \*

История интеллигенции — предмет, глубоко небезразличный всем гуманитариям. Поэтому в каждой новой публикации на эту тему, особенно монографического характера, хочется обнаружить свежий и глубокий взгляд на вещи, интересные, строго фактические данные. К сожалению, подобные ожидания не всегда оправдываются.

Книга Май Дмитриевны Курмачевой «Крепостная интеллигенция России. Вторая половина XVIII—начало XIX века» примечательна тем, что написана в духе традиции, связанной с именем М. М. Штрагге. Его монография «Демократическая интеллигенция России в XVIII веке» (М., 1965), справедливо, но чересчур мягко критикованная в свое время М. Т. Белявским,<sup>1</sup> явилась на протяжении двух десятков лет, за отсутствием аналогичных работ, ложным ориентиром для многих исследователей. Главные недостатки книги Штрагге: отсутствие общих представлений о процессе становления разносословной интеллигенции в России XVIII века, о литературно-общественном процессе эпохи, пренебрежение к реальным биографиям тех исторических персон, о которых брался писать автор (в частности, литераторов).<sup>2</sup> В результате этого оба главных тезиса работы — о приоритете разночинной интеллигенции в культурной и общественной жизни 1750—1770-х годов и о «гоении» на нее «правящих кругов» с конца 1770-х — представили своего рода миф в истории русской интеллигенции. К сожалению, книга Курмачевой унаследовала недостатки предшественника.

М. Д. Курмачева не первый исследователь, обратившийся к теме крепостной интеллигенции. Советские историки и литературоведы уже располагают аналогичными монографическими исследованиями Е. С. Коц и Е. В. Гаккель.<sup>3</sup> Что же вызвало к жизни рецензируемый труд?

Четкого представления об этом от автора мы не получим. Во «Введении» к книге ставится вопрос: «В чем сущность проблемы, рассматриваемой в настоящем исследовании?» (с. 5). Далее следуют весьма спорные рассуждения на тему «русской национальной культуры нового времени». Здесь говорится об углублении «кризиса» в господствующей феодально-крепостнической культуре второй половины XVIII века (в то время как изучаемый период до 1830-х годов — время признанного расцвета дворянской культуры, становления дворянства как культурного и общественного лидера) и о том, что «сам факт устойчивого существования крепостной интеллигенции — свидетельство... нисходящих тенденций дворянства как культурно-исторической категории, вынужденной (!) частично передавать выполняемые функции представителям других сословий». (Как хорошо известно всем, разделение труда, в том числе интеллигентного, спецификация его — существенный признак исторического прогресса, «восходящих» тенденций. Мополия дворянства на определенные виды умственного труда, сложившаяся в эти годы, — есть важнейший результат его политических и экономических побед). Здесь же автор говорит, имея в виду в первую очередь Штрагге, об установлении историками «исключительно плодотворного» вклада разночинной интеллигенции в развитие национальной культуры XVIII века и т. п. Но четкой постановки проблемы мы не найдем.<sup>4</sup>

\* Курмачева М. Д. Крепостная интеллигенция России: Вторая половина XVIII—начало XIX века. М.: Наука, 1983, 352 с.

<sup>1</sup> Белявский М. Т. Рецензия на книгу М. М. Штрагге «Демократическая интеллигенция России в XVIII веке». — Вопросы истории, 1966, № 4, с. 136—139.

<sup>2</sup> Подробно критику работы Штрагге см.: Севастьянов А. Н. Сословное расхождение русской художественно-публицистической литературы и ее аудитории в последней трети XVIII века. — Дис. канд. филол. наук. М., 1983, с. 14—22.

<sup>3</sup> Коц Е. С. Крепостная интеллигенция. Л., 1926; Гаккель Е. В. Крепостная интеллигенция в России во второй половине XVIII в.—первой половине XIX в.: Канд. дис. Л., 1953.

<sup>4</sup> Правда, на с. 12 Курмачева пишет: «Пополнить новыми именами череду талантливых выходцев из народа, изучить

Ничего не проясняет в этом смысле и «Заключение», если не считать замечания, что «важно было исследовать на конкретном материале, как в реальной действительности этого периода шел процесс раскрепощения трудовых масс деревни» (с. 312). Не говоря о том, что именно в изучаемый период были розданы в крепостное владение, т. е. закрепощены, десятки и сотни тысяч душ, все это мало имеет отношения к проблемам интеллигенции, в том числе крепостной.

Итак, не ясна не только проблема, но и самый объект исследования: что же изучает автор — интеллигенцию или «трудовые массы деревни»? Судя по тексту работы — последнее. Подмена объекта исследования — прием, восходящий к книге Штранге, неоднократно проявлявшего недопустимую непоследовательность, вольно трактуя социальное происхождение и положение массовой разночинной интеллигенции и отдельных ее представителей. В книге Курмачевой постоянно идет речь о грамотном крестьянстве (имеется в виду грамотность элементарная, в пределах начальной двухклассной школы) как о крепостной интеллигенции. Именно о грамотном крестьянстве говорится в двух больших разделах второй главы: «Проблемы грамотности крестьян в Уложенной комиссии 1767 г.» и «Система образования и школы для крестьян». Об участии грамотеев в пугачевском движении и других волнениях рассказывает почти вся четвертая глава — «Классовая борьба крестьянства и крепостная интеллигенция». Отождествление элементарно грамотных крестьян с крепостной интеллигенцией происходит по ходу всей книги (ср. с. 59—65, 67, 115, 119 и др.). Наконец, автор, чувствуя необходимость как-то резюмировать все подобные проявления своих истинных интересов, сама заявляет, что в исследовании идет речь «об одном из аспектов изучения истории крестьянства как класса крепостного общества», а не интеллигенции, что ее волнует «крепостной интеллигент как новый тип крестьянина», а не интеллигента (с. 148).

Как же мотивируется подобная подмена? На с. 7 «Введения» Курмачева упоминает о крепостных грамотеях: «Они выполняли, хотя и в ограниченных рамках, функции, свойственные интеллигентным профессиям (например, обучение детей грамоте). Поэтому их условно можно включить в состав крепостной интеллигенции. Это допустимо и потому, что основной признак интеллигенции — занятие свободными профессиями —

в условиях крепостной зависимости не во всех случаях определял их деятельность». Но позволительно заметить, что грамотные крестьяне, обучавшие детей такой же элементарной грамоте, какой владели сами, существовали и до крепостного права, и после его отмены, и в наши дни. Может быть, это все тоже интеллигенция?

Наверное, Курмачева не располагает более строгим определением интеллигенции. Во всяком случае, она его нигде не приводит. Но ей как историку должно быть ясно, что подобному определению полагается отражать основную общественную функцию социальной группы. Что же касается интеллигенции, то это, конечно, неоднородная социальная группа со сложной внутренней градацией, но представляющая собой совокупность все же квалифицированных специалистов, занятых в процессах развития, распространения, интерпретации культуры в широком смысле слова.<sup>5</sup> Ясно, что интеллигент, время от времени берущийся пахать землю, остается при этом интеллигентом (например, Л. Н. Толстой), а землепашец и скотовод, время от времени берущийся толковать детям азбуку, — крестьянином. И попытка объединить их в одно может привести только к потере объекта исследования, что, в сущности, и произошло с Курмачевой.

Ориентация на книгу Штранге подводит исследовательницу неоднократно. Так, она пишет: «Формирование крепостной интеллигенции по времени совпадает с формированием разночинной интеллигенции. Это свидетельство того, что в основе этих процессов лежали общие закономерности» (с. 68). Других сколько-нибудь убедительных доказательств своего тезиса автор не приводит. Между тем создание крепостной интеллигенции в статистически значимом количестве относится ко второй половине XVIII века и отнюдь не «совпадает по времени» с формированием массовой разночинной интеллигенции. Последнее происходило уже в Петровскую эпоху с помощью московской Славяно-греко-латинской академии, Московской навигацкой и математической школы, школы Ф. Прокоповича, архирейских школ, медицинского училища при Московском военном госпитале и т. п. Но главная беда Курмачевой в том, что отождествление крепостной интеллигенции с разночинной, трактуемой в книге во всех отношениях «по Штранге», ведет к повторению ошибок этого «авторитетного» образца. В первую очередь, это каса-

их жизнь и творчество... такова задача данного исследования». О том, как эта задача была выполнена, см. ниже, здесь лишь скажем, что материал по данному вопросу составляет около 10% книги.

<sup>5</sup> В пределах XVIII века это, главным образом, выпускники высших и средних специальных учебных заведений; количество таких выпускников в 1730—1800 годах превышает 46 тысяч человек.

ется именно объекта исследования, о чем говорилось выше. Далее, когда речь заходит о «прогрессивных» литераторах из интересующей автора среды, то автор, подобно Штранге,<sup>6</sup> либо замалчивает деятельность тех писателей-крепостных, чье творчество не укладывается в концепцию книги (например, В. Вороблевского, М. Матинского, И. Майкова-Розова и др.), либо преподносит неверную и произвольно толкуемую информацию. Так, в разделе «Социально-политические темы в сочинениях писателей-крепостных» весьма подробно рассматривается, в частности, творчество Е. И. Кострова и И. И. Тревогина. Но ни тот, ни другой не были ни крепостными, ни крестьянами. Костров был сыном дьячка Вятской губернии<sup>7</sup> и только в этом качестве мог поступить в Вятскую духовную семинарию и окончить ее. Крестьяне, в том числе черносошные, в семинарии не допускались. Как третий ребенок в семье, Костров не обязательно должен был наследовать церковную должность отца. Указом 1784 года младшие сыновья-поповичи официально получили право, ввиду заповедности церковных штатов, выходить в другие сословия, в том числе в крестьяне. Практически же так было и ранее; в этом разгадка того, что поэт называл себя порой «экономическим крестьянином». Относить его к крепостным интеллигентам неправомерно.

Биография Тревогина также не тождественна жизни крепостного интеллигента: сын сельского иконописца, он учился в Харьковском воспитательном доме (для крепостных он был закрыт), был репетитором в Воронеже, корректором в типографии Академии наук, пытался издавать журнал. Типичной его судьбу, как и судьбу Кострова, можно назвать скорее для разночинца.

Неправомерно и привлечение в ряд аргументов творческой судьбы И. И. Варакина. Лишь незадолго до его рождения Варакины попадают в крепостные. Отец его более 50 лет управлял имением Голицыных, организовывал отпор пугачевцам, имел в обращении значительный капитал. Сам поэт, что признает и Курмачева (с. 207), был состоятельным человеком.

Подобные примеры можно было бы продолжить. В таком подходе к толко-

<sup>6</sup> О том, что Штранге позволил себе, говоря о творчестве разночинцев, показать только одну, «прогрессивную» его сторону, что создало недопустимый перекос в трактовке данной сословной категории, писал еще Белявский (указ. соч., с. 138).

<sup>7</sup> Петров А. Родословная поэта: Новое о Ермиле Кострове. — Советская Россия, 1983, 16 февр. Упомянутая заметка известна Курмачевой, судя по библиографии, но автор предпочитает почему-то ориентироваться на 40-летней давности работу В. Злобина.

ванию социальной принадлежности писателей, влекущем за собой натяжки, упрощения и умолчания, сказалась практика исследований, канонизированная Штранге. У него, как известно, в «демократическую интеллигенцию» оказались зачислены богатый украинский земле- и душевладелец убежденный крепостник Г. А. Полетика, родоначальник целого клана дворян-литераторов главный инспектор Артиллерийского и инженерного шляхетского корпуса И. А. Вельяшев-Вольнычев, близкий родственник «светлейшего» Потемкина П. С. Потемкин и т. п.

Наконец, совершенно непропорционально представляется трактовка сочинений М. Комарова как прогрессивных (с. 176—196). Рассказ Курмачевой об этом писателе приводит на память слова Г. А. Гукковского, не потерявшие своей актуальности: «Несколько лет назад... в литературоведении существовала мода выдвигать и чуть ли не превозносить бездарные и пошлые поделки литературных торгашей XVIII в. ...отравлявших сознание демократического читателя чтитвом не только безыдейным, но и подлаживающимся под помещичьи издания „для народа“. К таким поделкам принадлежат и издания Комарова, который вовсе и не был писателем, а лишь „приспособителем“ чужих книг для малокультурного читателя... Выдвижение Комарова и других мотивировалось тем, что они не дворяне, а люди демократические. Нужно ли доказывать, что наша социалистическая культура принимает наследство таких „дворян“, как Радищев и Пушкин, и отвергает „наследство“ Комаровых».<sup>8</sup>

Впрочем, судя по библиографии, приведенной в книге, М. Д. Курмачева не знакома с работами советских литературоведов — признанных знатоков XVIII века: Г. А. Гукковского, П. Н. Беркова, Л. И. Кулаковой. Вообще литература, использованная автором по вопросам истории системы образования и словесности в России XVIII века, чрезвычайно убога и архаична. По истории образования, т. е. по истории производства интеллигенции, где требовалось пристальное изучение многочисленных фактографических работ, посвященных конкретным учебным заведениям, М. Д. Курмачева ограничилась почтенной давности сочинениями обзорного характера.<sup>9</sup> Зна-

<sup>8</sup> Гукковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1939, с. 219.

<sup>9</sup> Это: *Рождественский С. В.* Очерки по истории систем народного просвещения в России XVIII—XIX вв. СПб., 1912 (данная работа, кстати, посвящена истории русской педагогической мысли и мало освещает реальную историю школы); *Князьков С. А., Сербов Н. И.* Очерк истории народного образования в России до эпохи реформ Александра II. М.,

комство с подобными источниками не могло дать четкого представления о формировании интеллигентных кадров в России, о месте и удельном весе среди них крепостной интеллигенции. Статья М. Т. Белявского «Школа и система образования в России в конце XVIII в.» (Вестник МГУ, 1959, № 2) освещает слишком узкий аспект проблемы и не исправляет положения. Между тем более детальное знакомство с источниками помогло бы Курмачевой избежать плоского взгляда и на общую картину, и на отдельные ее фрагменты. Так, например, знакомство с книгой Е. Р. Дашковой<sup>10</sup> существенно откорректировало бы представления об Академической гимназии (см. с. 107—108). Далее, по очень важному для исследования Курмачевой вопросу — о создании главных и малых народных училищ — ее литература также бессильна дать картину, близкую к реальной. Мы не найдем здесь ни отличающихся фактической подробностью работ А. С. Воронова, ни современных работ И. А. Деревцова и Л. А. Лепской, ни сочинений, посвященных истории губернского просвещения, в которых так или иначе освещается данный вопрос.<sup>11</sup>

Плодом такого отбора материала явилась существенная ошибка. «Помещики стремились исключить ее [грамотность] из обихода дворян», — пишет Курмачева

1910; *Арсеньев К. И.* Историко-статистический очерк народной образованности в России. — Учен. зап. второго отд. имп. Академии наук. СПб., 1854, кн. 1; *И. Б.* Идеи о народном образовании в екатерининское время. — Исторический вестник, 1884, март; *Калаи В.* Что сделала Екатерина II для русского народного просвещения. М., 1896; *Константинов Н. А., Струминский В. Я.* Очерки по истории начального образования в России. М., 1953.

<sup>10</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки, показывающие сравнительное состояние Академии в последнее десятилетие. СПб., 1793.

<sup>11</sup> *Воронов А. С.* 1) Историко-статистическое обозрение учебных заведений С.-Петербургского учебного округа с 1715 по 1828 год включительно. СПб., 1849; 2) Янкович де-Мириево, или Народные училища в России при имп. Екатерине II. СПб., 1858; *Деревцов И. А.* К оценке роли школьного устава 1786 года в развитии школьной системы и просвещения России в конце XVIII века. — Учен. зап. Краснодарск. пед. ин-та, 1956. Сер. психолого-педагогич., т. 16; *Лепская Л. А.* Состав учащихся народных училищ Москвы в конце XVIII века. — Вестник МГУ, 1973, № 5; *Аксенов М. В.* Очерки по истории народного просвещения в Смоленском крае. Смоленск, 1909; *Юрьев В.* Народное образование в Вятской губернии в царствование имп. Екатерины II. Вятка, 1887; и др.

(с. 91). На с. 107 этот тезис подтверждается ссылкой на статью Н. М. Узуновой «Из истории формирования крепостной интеллигенции. По материалам вотчинного архива Голицыных» (Ежегодник Историч. музея. М., 1960). Между тем названные нами источники по истории народных училищ утверждают обратное: процент дворян в училищах был весьма высок, дохода, например, в Москве до 65% учащихся.<sup>12</sup>

Что же касается русской литературы XVIII века, то здесь, напротив, необходимо было бы иметь широкие общие представления о литературной жизни, литературном фоне эпохи, чтобы найти место рассматриваемых частных явлений. Но, как уже говорилось, в книге не упомянуто ни одно сочинение обобщающего характера по этой теме. Только отдельные, узко направленные работы, в основном биографические очерки, хотя и в них мы видим ряд ошибок. Поучительна в этом отношении судьба И. И. Варакина, которому автор посвятила отдельный биографический очерк (с. 206—220). М. Д. Курмачева пишет: «Датой смерти Варакина некоторые исследователи считают 1812 г., когда прекратилась переписка с Анастасевичем» (с. 207) — и в то же время ставит годом смерти поэта 1817 год, не приводя никаких обоснований для предложенной ею датировки. Между тем Варакин жил после 1817 года не менее семи лет, о чем свидетельствует его письмо к вдове Державина, где он подробно исчисляет свои убытки от наводнения 1824 года.<sup>13</sup> Из того же источника М. Д. Курмачева могла бы также узнать, что к концу 1824 года Варакин был уже вольным человеком и имел чин титулярного советника — в книге, посвященной крепостной интеллигенции, эти сведения не были бы лишними. Очерк о Варакине наглядно показывает крайне малую библиографическую осведомленность автора: из печатных источников ссылки даны лишь на статью Н. Н. Замкова, датированную 1915 годом,<sup>14</sup> в то время как все труды советского времени о Варакине, зачастую содержащие интересный фактический материал, даже не упомянуты.<sup>15</sup> И совершенно необъяснимо от-

<sup>12</sup> *Лепская Л. А.* Указ. соч., с. 92.

<sup>13</sup> *Жаркова В. И.* Крепостной поэт И. И. Варакин. — В кн.: Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1980, вып. 4.

<sup>14</sup> *Замков Н. Н.* И. И. Варакин, поэт-крепостной конца XVIII—начала XIX века. — Русский библиофил, 1915, № 6 (отд. оттиск: СПб., 1915).

<sup>15</sup> *Хренов И.* Пермский крепостной поэт И. Варакин. — В кн.: Прикамье. Молотов, 1940, вып. 1, с. 131—134; *Логман Ю. М.* К характеристике мировоззрения В. Г. Анастасевича. — Учен. зап. Тартуск. ун-та, вып. 65. 1958, с. 23—24; *Жаркова В. И.* Указ. соч.; и проч.

существование в книге «Крепостная интеллигенция России. Вторая половина XVIII—начало XIX века» ссылок на одно из немногих исследований по данному вопросу — статью А. Б. Астафьева «Работы крепостные поэты первой половины XIX века», где о Варакине говорится довольно подробно.<sup>16</sup>

Как известно тем, кто интересуется русской литературой XVIII века, в произведениях литераторов-дворян, начиная с Кантемира и Сумарокова, кончая Жуковским и братьями Тургеневыми, патристическая тема была одной из главных. К концу столетия обращение к теме истинных «сынов отечества», к теме «отчизны» и т. п. приобрело именно в дворянской литературе массовый характер (ср., например, ежегодные сборники речей и стихов учеников Московского университетского благородного пансиона). М. Д. Курмачева же пишет в заключительных строках: «Темы народа, Родины, патриотизма занимали центральное место в письменном творчестве крепостной интеллигенции. В XIX в. эти темы во весь голос зазвучали в трудах демократической интеллигенции, в произведениях классиков русской литературы. В этом немалая заслуга крепостной интеллигенции...» (с. 318). Исторические масштабы, таким образом, не соблюдены.

Точно так же автор считает, что мотив обличения «всепоглощающей страсти к деньгам и обогащению» — заслуга демократической литературы конца XVIII века (с. 151). На самом же деле именно дворяне, болезненно ощущавшие все симптомы роста буржуазных отношений, неуклонно развивали этот мотив с середины XVIII века (еще М. М. Херасков в 1763 году писал: «Однако может ли на свете Прожить без денег человек? Не может, изреку в ответе, И тем-то наш и скучен век»).

Как видим, ряд выводов автора не выдерживает проверки фактами, а причина этого в ненадежных источниках. Неудивительно, что в их ряду концепция Штранге пользуется у автора популярностью и трактуется в тексте как нечто доказанное и незбылемое (см. с. 8, 49—59, 93, 137 и др.).

В связи с этим необходимо отметить, что у М. Д. Курмачевой, как и у ее предшественника, отсутствуют представления о развитии не только литературы, но и интеллигенции в целом в России XVIII века. Это видно из первых же страниц второй главы, которая называется «Формирование крепостной интеллигенции как социальной группы». Там утверждается: «Вторая половина XVIII в. — это время, когда духовная культура перестает быть принадлежностью только дворянского быта и куль-

туры. Просвещение в России этого периода не было единым по социальному содержанию. В просвещение втягивались люди „среднего рода“, не принадлежавшие к господствующему классу. Начинала разрушаться вековая монополия господствующего класса на образование. Но узкосословный социальный базис тормозил решение новых и больших задач, которые выдвигались перед всеми сферами культуры под напором развития капиталистических отношений... Несмотря на правительственную политику во второй половине XVIII в. и в последующий период, стремившуюся отстранить народные массы от просвещения, знания и образование распространялись в их среде. Это являлось одной из существенных особенностей новой культуры» (с. 58—59).

Но ведь в действительности процесс развития системы образования в России XVIII века дает совершенно иную, гораздо более сложную картину. Во-первых, в допетровской России дворянство не только не обладало «вековой монополией» на образование, но и вообще «чуралось» культуры, и это положение лишь постепенно менялось на протяжении всего XVIII века. Петровские специальные учебные заведения, в которых наряду с дворянскими недорослями учились и попovichы, и разночинцы (до одной трети всего состава и более), были куда более «демократическими» заведениями, чем система сословного образования конца XVIII века. Во-вторых, далеко не вся область образования «монополизировалась»: дворянство вовсе не гналось за практическими знаниями врача, строителя, учителя, землемера, а между тем правительство, сознавая зависимость благосостояния и обороноспособности страны от наличия отечественных профессионалов подобного профиля, еще с Петровской эпохи постоянно предпринимало меры к их образованию.

Не «монополия» на культуру и ее «разрушение», а становление сословно-дифференцированной системы образования как фактора социального расслоения культуры нового времени — вот основное содержание истории русской культуры XVIII века.<sup>17</sup> Лишь в продолжение второй половины столетия, как показывают статистические исследования, занятия высшей для того времени, литературной формой духовной деятельности в основном ставятся на уровень сословной дворянской привилегии. Но в книге М. Д. Курмачевой об этом ни-

<sup>17</sup> Подробнее об этом см.: *Севастьянов А. Н.* 1) Рост образованной аудитории как фактор развития книжного и журнального дела в России: 1762—1800. М., 1983; 2) Сословное разделение русского общества XVIII века и литературно-общественный процесс: 1762—1800. — Вестник МГУ. Сер. историч., 1984, № 2.

<sup>16</sup> В кн.: Проблемы русской литературы. Ярославль, 1968, вып. 2, с. 53—60.

чего пст, поскольку автор не располагает практически никакими данными ни о динамике роста, ни о сословной дифференциации грамотности и образованности в России изучаемой эпохи.

Далее, М. Д. Курмачева утверждает, что «потребность страны в культурных силах была слишком велика, а их удовлетворение только за счет свободных сословий недостаточно» (с. 69). Между тем в России начиная с последней трети XVIII века наблюдается хронический кризис перепроизводства интеллигенции, в результате которого получавшие квалификацию интеллигенты не могли найти применения своим знаниям и умениям и должны были владеть жалкое существование.<sup>18</sup> Немало способствовало тому наличие крепостной интеллигенции, занимавшей даром или за символическую плату те места, которые в буржуазном обществе приносили бы доход. Удовлетворение «потребности страны» за счет «свободных сословий» было не достаточно, а экономически и морально невыгодно, нерационально.

Высказывания М. Д. Курмачевой по поводу общих процессов русской культуры XVIII века не случайны, они носят характер концепции. Это первый узел книги, с поражением которого рассыпается, лишенное верных перспектив, и все сочинение в целом.

Итак, отсутствие четкой постановки проблемы, подмена объекта исследования, неудовлетворительная источниковая база, сомнительные концептуальные установки... Есть ли в книге дельные материалы, рациональное зерно?

Интерес представляет первая глава «Крепостная интеллигенция в буржуазной и советской историографии». Рассказ о предшественниках, писавших о крепостной интеллигенции, в основном ведется в объективном тоне, без полемических отступлений. Это способствует созданию представления о разработанности данной конкретной проблемы. Но, к сожалению, необходимость обосновать актуальность собственного исследования заставляет автора порой отступать от объективного тона; при этом критика носит характер эскапад, поскольку никаким аргументам места не предоставлено. Так обстоит дело с возражениями по поводу работ Н. Н. Еврептова (с. 28), Е. С. Коц (с. 31), «переоценивших», по

представлениям автора, роль дворянства в производстве крепостной интеллигенции.

Попытка дать новый ответ по важнейшему вопросу о генезисе крепостной интеллигенции имеется во второй главе. Необходимо на ней остановиться. Poleмизуя с названными авторами, М. Д. Курмачева пишет: «Не волей и желанием крепостников... было вызвано появление группы крестьян, которую начали привлекать новые профессии, не связанные с физическим трудом. Неправоммерно рассматривать этот процесс как результат мер, исходивших сверху, а не как результат внутренних процессов развития, созреваия объективных условий. Предпринимаемое дворянством было не причиной, а следствием сдвигов в социально-экономическом развитии России второй половины XVIII в., отразившихся на жизни и быте крестьянства» (с. 67).

Если бы этот тезис удалось доказать, то можно было считать оправданным первое обращение к старой теме, предпринятое М. Д. Курмачевой. Но... доказательств нет. Нет фактов, нет их статистического обобщения, нет одних слова. Чем же подкрепляет свой тезис автор? Только аналогией с разночинной интеллигенцией (с. 67—69). Логическая недопустимость и фактическая ошибочность такого подхода рассмотрена выше.

Вместе с тем несомненно: образование крепостной интеллигенции — результат объективных условий. В первую очередь, создания к 1760-м годам массовой дворянской интеллигенции, чьи растущие разнообразные потребности в цивилизованной жизни, в материальной и духовной культуре должны были удовлетворять квалифицированные специалисты соответствующего профиля. Дальнейшее — дело рационального использования средств и возможностей, бывших в распоряжении помещиков. До тех пор, пока не будет с цифрами и фактами в руках доказано, что в XVIII веке имел место процесс массового самопрохождения русских крестьян в круг таких специалистов, построения М. Д. Курмачевой останутся кабинетными теориями.

Более того, данные, приводимые автором, свидетельствуют о том, что на создании школ для крестьянских детей настаивали в Уложенной комиссии 1767 года именно феодалы и государственные учреждения, бывшие феодальными учреждениями. Здесь же приводятся их мотивы, вполне феодального характера (с. 71—80). На с. 79 говорится, что первоначально привлечение к учебе крестьянских детей потребовало бы принуждения. В другом месте убедительно показано, что обучение как грамотных, так и специально образованных крестьян шло именно «сверху» (с. 95—104). На с. 122—123 недвусмысленно сказано, что центрами крепостной интеллигенции были крупные вотчины. На с. 94 автор пишет, что даже в первой четверти XIX

<sup>18</sup> Это может показаться парадоксальным; однако есть много документированных работ, где подобный кризис рассмотрен на примере уже вступившей в буржуазный период России. См. например: *Хасанова С. И.* Правительственная политика в области высшего образования и формирования интеллигенции в России: (60—90-е годы XIX в.): Дис. канд. ист. наук. Казань, 1981. В феодальной России возможности для рядового интеллигента были еще меньше.



века «грамотность среди крестьян была довольно редким явлением». Вызывает недоумение утверждение М. Д. Курмачевой на с. 67 о якобы существовавшей «простой зависимости»: «в большей массе крепостных сосредоточивалось большее число крепостной интеллигенции». Неизвестно, кто и когда вывел эту «простую зависимость», зато известно, что получение интеллигентской квалификации не есть односторонний процесс, совершающийся только по воле субъекта. Или: на с. 65 сказано, что «стремление крестьян к знаниям было социальной проблемой». Возможно, но только не в XVIII веке, судя по материалам книги.

Концепция М. Д. Курмачевой, как видим, не подтверждается фактами.

С интересом читаются, на фоне рассказа о грамотных крестьянах, строки, посвященные настоящим интеллигентам. Но... на проверку оказывается, что зачастую эти строки обязаны своим содержанием трудам предшественников, — в частности, неопубликованной диссертации Е. В. Гаккель, книге Е. С. Коц и др. Это касается рассказа об Арзамасской школе живописи (с. 122), о самодеятельном театре крепостных А. Б. Куракина (с. 126—127), о крепостных медиках (с. 133), других крепостных интеллигентах (с. 242—243), о взбунтовавшихся шереметевских музыкантах (с. 298), об убийстве А. Минкиной, любовницы Аракчеева (с. 299), и т. д. Автор честно указывает источники, но все же должна быть разница между исследованием и компиляцией, хотя бы в фактографическом, главной части работы.

Очень интересны некоторые численные данные, приводимые со ссылками на Т. Дынник и Е. В. Гаккель (с. 138). Своего же ответа, кроме общих фраз, о численности крепостной интеллигенции автор дать не может (с. 139), что неудивительно ввиду неопределенности объекта исследования.

Бесспорной заслугой Курмачевой можно назвать лишь те добытые в архивах немногочисленные сведения, в которых находим неизвестные ранее данные о крепостных изобретателях, деятелях научно-технической мысли. Весь раздел, отчасти заполненный извлечениями из работ других авторов, занимает 25 страниц. Интересные сами по себе, новые данные исследователя не могут заслонить общего весьма невыгодного впечатления от книги.

Насколько работа М. Д. Курмачевой полезна для изучения истории русского крестьянства — мы судить не можем, но знания читателя о русской интеллигенции и русской литературе XVIII века явно терпят ущерб.

Изучение истории интеллигенции столь же многоаспектно, сколь и сфера ее деятельности. Представляется плодотворным такой подход к делу, который объединял бы данные истории, социологии, демографии, с одной стороны, а с другой — литературоведения и искусствоведения, истории общественной мысли и т. д. В условиях сегодняшней специализации дисциплин это означало бы объединение сил специалистов разного профиля. Не стоит ли подумать об этом?

**И. Р. Заборов**

## ПОЛЕЗНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ТРУД\*

С давних пор в библиотеках нашей страны ведется интенсивная и весьма разнообразная библиографическая работа, результаты которой публикуются в виде всевозможных каталогов, справочников, путеводителей, рекомендательных списков, указателей и т. п. В этом процессе участвуют десятки, если не сотни библиотек, но в первую очередь, конечно, прославленные центральные книгохранилища, располагающие высококвалифицированными библиографами и по-

лиграфической базой, такие как Библиотека АН СССР, Фундаментальная библиотека общественных наук им. В. П. Волгина АН СССР, Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы, Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.

Среди библиографических трудов, подготовленных и выпущенных Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина, довольно большое число посвящено филологическим и, в частности, литературоведческим темам. Особую их группу составляют библиографические указатели по вопросам международных и межнациональных литературных связей. В 1968 году, например, был издан четырехтомный труд Ю. Г. Кондратьевой и Г. А. Петровой «Взаимосвязи русской и немецкой литератур с начала 19 века

\* Взаимосвязи русской и французской литератур: Указатель книг и статей на русском языке за 1961—1983 гг. / Сост. Ю. Г. Кондратьева, Г. П. Манчха, Н. А. Терещенко; ред. Ю. Г. Кондратьева; библиогр. ред. Г. П. Манчха. М.: Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, 1985. 216 с.

по 1968 г.», в 1983 году появился библиографический указатель «Взаимосвязи и взаимодействие литератур народов СССР» Л. Г. Голубевой. К этой же группе относятся и рецензируемое пособие, представляющее собой «перечень изданных в СССР в 1961—1983 гг. литературоведческих работ, затрагивающих проблему взаимосвязей русской и французской литератур».

Обращение именно к данной теме, думается, вполне оправдано: в течение двух столетий Россия и Франция, как правило, тяготели друг к другу; французское воздействие на русскую культуру в XVIII—первой половине XIX века — факт столь же несомненный, как и обратное воздействие во второй половине XIX и в начале XX века; очень ощутимы эти связи и позднее. Отсюда постоянный интерес советских исследователей к русско-французскому общению на всем его протяжении — от Петровской эпохи до наших дней, отсюда — обилие опубликованных ими книг и статей.

Указатель открывается небольшим разделом, в котором отражены работы общего характера; в дальнейшем материал группируется вокруг писательских имен — русских и французских, расположенных в алфавитном порядке. В числе этих имен — Кантемир, Ломоносов, Карамзин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Герцен, Белинский, Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Чехов, Блок, Л. Андреев, Горький, Брюсов, Маяковский, Луначарский, Шолохов, Федин, Твардовский, с одной стороны; Лафонтен, Мольер, Вольтер, Руссо, Дидро, Бомарше, Гюго, Ж. Санд, Стендаль, Бальзак, Барбье, Виньи, Мериме, Бодлер, Верлен, Золя, Мопассан, Роллан, Камю, Арагон — с другой. Всего в книге 1530 библиографических записей, причем многие из них включают в себя аннотации, написанные — за редкими исключениями — дельно и лаконично.

Таким образом, перед нами — итог сложной и трудоемкой работы, которым с благодарностью воспользуются историки русско-французских культурных и литературных связей и вообще все, кого в той или иной степени привлекает данная проблема.

Однако польза от этого труда могла бы быть и более существенной, если бы в него все же вошли исключенные составителями материалы о личных контактах русских и французских писателей, значение которых не следует преуменьшать, а главное — если бы не было в нем многочисленных мелких погрешностей, вызывающих то удивление, то огорчение, то досаду.

Перечислить все эти погрешности в

краткой рецензии невозможно, поэтому приведем лишь несколько характерных примеров.

Прежде всего в указателе обнаруживаются пропуски: в поле зрения составителей не попали в большинстве своем «Ежегодники Рукописного отдела Пушкинского Дома», почти в каждом из которых имеются материалы по русско-французским литературным связям; осталась им неизвестной и обширная публикация В. Б. Бикулича и А. Д. Никольского «Письма Альфреда де Виньи в вильнюсском собрании», исключительно ценная для осмысления русских отношений французского поэта (Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1977. М., 1977, с. 107—146, 447—467); отсутствуют сборник статей М. П. Алексеева «Сравнительное литературоведение» (Л., 1983), где русско-французская тема представлена рядом замечательных статей, и монография автора этих строк «Русская литература и Вольтер» (Л., 1978).

В книге допущено немало фактических неточностей: Франсуа-Рене де Шатобриана (1768—1848) и Альфонс де Шатобриана (1877—1951) составителя считают одним лицом; Леконт де Лиль отождествлен с Руже де Лилем (с. 177, 207), А. С. Хвостов — с Д. И. Хвостовым; никаких «рассказов» у Хераскова не было, речь идет, по всей вероятности, о «Россияде»; из аннотации в записи № 56 можно сделать вывод, что Мерсье и Ретиф де ла Бретонн — писатели XIX века.

Наконец, искажению подверглись многие фамилии и инициалы: Н. В. Забаврова всюду фигурирует в мужском роде; неверно даны фамилии В. Люканжа и А. М. Пескова; ошибочен один из инициалов К. Н. Батюшкова, П. Г. Аптокольского, В. Э. Вацуро, Т. Л. Гуриной, А. В. Лаврова, Ю. С. Сорокина; в двух случаях (Карон де Бомарше и Нерико-Петуш) первые элементы фамилий переданы в виде их начальных букв, что недопустимо; Роже Мартен дю Гар помещен в указателе имен дважды — как Мартен дю Гар Р. и как Дю Гар Мартен Р. (последнее неверно); ряд фамилий (Бютор, Гиро, Дроз и др.) по непонятным причинам не снабжен инициалами вовсе.

Конечно, некоторые из указанных погрешностей скорее всего являются опечатками, неизбежными в любом издании; однако для справочного пособия количество их слишком уж велико и свидетельствует о недостаточно тщательной научной и технической редактуре.

Надо надеяться, что авторский коллектив рецензируемого библиографического указателя учтет это в своей дальнейшей работе.

В. Н. Баскаков

## РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ СТРАНЫ\*

Исследования по истории нашей литературы ведутся сейчас широким фронтом, захватывая новые области, вводя в оборот свежие факты и материалы, решая проблемы, ранее в сферу научного анализа не включавшиеся. В этом отношении необходимо отметить интерес к литературному движению в старой русской провинции, впервые проявленный еще Н. К. Пиксановым в 1928 году в его книге «Областные культурные гнезда», которая во многом предопределила развитие отечественного литературного краеведения, положив начало как научно обоснованному разысканию, собиранию, накоплению фактов, так и их теоретико-методологическому осмыслению, обобщению, разработке.<sup>1</sup>

За шестьдесят минувших лет изучение литературной истории различных регионов нашей страны стало не случайно-эпизодическим явлением, а составило в литературоведении целую отрасль, имеющую свои сферы и задачи исследования, свои достижения и недостатки. Такое внимание к литературному краеведению понятно и закономерно: с развитием социалистической культуры заметно возрастает интерес к литературному прошлому, стремление к познанию все более и более широкого круга событий и явлений отечественной литературной жизни, в том числе и совершившейся в русской провинции. Создававшаяся в географическом удалении от столиц литература всегда была частью общерусского литературного процесса и вместе с его выдающимися образцами определяла характер, особенности, темпы литературного развития нации и страны.

Сейчас накоплен огромный арсенал фактов, касающихся литературных аспектов русской провинциальной действительности. Однако источниковедческие и частные историко-литературные исследования, постоянно и во множестве появляющиеся, исчерпывающего представления о характере и закономерностях развития литературной или литературно-общественной жизни провинциальной России еще не создают. Так сложилось, что обобщение и систематизация эмпирического материала в этой области, его комплексный анализ на фоне и в непосредственной связи с культурно-общественным движением в соответствующих

регионах или в стране в целом в нашей науке все еще находятся несколько в тени и особым вниманием ученых пока не пользуются. Это происходит, пожалуй, потому, что разыскания ведутся преимущественно на уровне местного краеведения и к постановке крупных историко-литературных, теоретических и методологических проблем не выходят. Существо, характер и ведущие тенденции литературно-общественного движения в провинции еще требуют определения и уточнения, не раскрыты формы и методы развивавшейся там литературной деятельности, не изучено ее соотношение с национальным культурным, литературным, научным процессом. В этих условиях представляет интерес изданная Воронежским университетом монография О. Г. Ласунского «Литературно-общественное движение в русской провинции. (Воронежский край в «эпоху Чернышевского)».

Автор монографии в чрезвычайно краткой, почти декларативной форме, по тем не менее убедительно обозначает недостатки, сложившиеся исторически. Вряд ли следует опиривать его мнение, что в современном литературном краеведении «отсутствует целостная, данная в типологическом измерении панорама литературного развития», предметом же изучения остается «не сам движущийся поток литературы, не процесс как таковой, а выхваченные из него имена и названия, слишком же узко понятый краеведческий принцип «ограничивает исследовательский горизонт, делает анализ замкнутым, без выходов в область широких обобщений» (с. 21). Подойти к таким решительным выводам мог ученый, точно и четко представляющий положение в литературном краеведении. Автор рецензируемой монографии несомненно принадлежит именно к таким исследователям. Литературной историей Воронежского края О. Г. Ласунский занимается давно: его работы в этой области, научные, популярные, беллетристические, регулярно появляются на протяжении двух последних десятилетий. Среди них исследования и публикации, посвященные Кольцову и Никитину, книги и статьи о прошлом Черноземного края, о писателях и литераторах, с ним связанных, о примечательных и ключевых моментах воронежской культурной истории.<sup>2</sup> Они живы и

\* Ласунский О. Г. Литературно-общественное движение в русской провинции: (Воронежский край в «эпоху Чернышевского»). Воронеж, 1985. 212 с.

<sup>1</sup> Милонов Н. А. Литературное краеведение. М., 1935, с. 28.

<sup>2</sup> Ласунский О. Г. 1) Власть книги. Воронеж, 1966; М., 1980; 2) Литературные раскопки: Рассказы литературоведа. Воронеж, 1972; 3) Волшебное зеркало:

увлекательно написаны, содержат новые факты и исторические материалы, воскрешают имена и события, дополняют и корректируют существующие представления о литературном развитии края. Если собрать их воедино и расположить в хронологии изучаемых явлений, то получится своеобразная летопись, хотя и не исчерпывающе полная, но все же отражающая самые характерные литературные события, совершавшиеся в воронежской провинции с конца XVIII века, от Евгения Болховитинова, до 1920-х годов, отмеченных здесь творчеством Андрея Платонова. А еще деятельность О. Г. Ласунского отличается вниманием к библиографии. Это по его инициативе и под его редакцией изданы в Воронеже шесть выпусков справочника «Библиофильство на страницах русских журналов» (1975—1978), указатели литературы о Никитине (Воронеж, 1974—1977); он является ответственным редактором серии библиографических указателей «Воронежские писатели и литературоведы», в составе которой вышли справочники, посвященные Г. Н. Троепольскому, В. А. Короблинову, А. М. Абрамову, А. В. Жигулину, А. Н. Корольковой, З. Я. Анчиполовскому и др. Последняя по времени работа О. Г. Ласунского в этой области называется «Страницы воронежской истории» (Воронеж, 1985). Это библиографическое описание материалов из его собственного собрания, посвященных Воронежу и подаренных им Воронежской областной научной библиотеке им. И. С. Никитина в дни празднования 400-летия со дня основания города. Изучение конкретных литературных явлений, библиофильские и библиографические занятия, наконец, обширные архивные разыскания обусловили естественный характер перехода О. Г. Ласунского от опытов источниковедческих и историко-литературных к вопросам теоретико-методологическим, расширяющим наши знания о процессах, управляющих литературной жизнью русской провинции.

Общественные процессы, в том числе и связанные с литературой, представляют собой соединение фактов, событий, явлений, сочетаемых, по определению автора, в единой динамической системе посредством множества разного рода взаимосвязей и взаимодействий. Желание «создать целостную научную картину, выявить структуру изучаемого объекта, увидеть единство в многообразии» (с. 4) приводит к выбору таких методов исследования, которые способны раскрыть ее внутренние принципы и закономерности. Среди такого рода систем, по мнению О. Г. Ласунского, в комплекс-

ном анализе нуждается «умственная жизнь старой русской провинции XIX века» (с. 4).

Система, называемая автором умственной жизнью, многопрофильна, сложна, комплексна по своей природе. О. Г. Ласунский, не имея возможности обратиться к ее изучению в целом, во главу своего исследования ставит лишь одну из проблем: литературно-общественное движение в провинции как проявление историко-филологического аспекта всей системы. Он ограничивает исследование конкретным районом (Воронежская губерния) и определенным временем («эпоха Чернышевского», т. е. 1850—1860-е годы). Первая из этих дифференциальных обусловлена ролью и значением Воронежа в русском литературном развитии, вторая — специфическими особенностями эпохи, наиболее полно и ярко отразившей характер местного литературно-общественного движения.

Обращение к литературной жизни провинции осложняется тем обстоятельством, что в этой области мы не располагаем четко выработанными категориями, понятиями, терминами. Поэтому автору приходится дать определение некоторых из них, наиболее часто употребляемых, но полностью не исчерпывающих понятийно-терминологического аппарата исследования. Конечно, в рецензируемой работе основным и определяющим ее содержание и границы является многослойное и терминологически еще не отстоявшееся понятие провинции, обычно употребляемое то в метафорическом, то в конкретном-историческом смысле, а также впервые здесь применяемое понятие общественно-литературного движения в провинции. Особенно важно раскрытие внутреннего содержания последнего, которое, по мнению автора, является «многомерным, объемным, стереоскопическим» (с. 6). Однако в работе предложено более широкий круг понятий, требующих объяснения. Отсутствие необходимой информации, касающейся их содержания, заметно снижает точность читательского восприятия. Часто встречается в монографии, например, понятие умственной жизни, в разных позициях модифицируемое (умственные интересы, умственная деятельность, умственная информация и т. д.), но не раскрываемое в его соотношениях с литературно-общественным движением, хотя обозначает оно явление более широкое, почти или полностью совпадающее с понятием духовная жизнь, духовные интересы, духовная деятельность.

При обращении к книге О. Г. Ласунского прежде всего возникает вопрос, а чем же она отличается от всех предшествующих исследований в этой области и каковы новые подходы к общественно-литературному движению в провинции, автором предлагаемые. Прежде всего, в монографии применяется комплексный метод изучения данной про-

Разыскания; Исследования; Этюды. Воронеж, 1981; 4) Литературная прогулка по Воронежу. Воронеж, 1985.

блемы.<sup>3</sup> Заключается он в том, что литературные явления рассматриваются автором не изолированно, в отрыве от постоянно развивающейся и изменяющейся действительности, как это часто бывало раньше, особенно от ее общественных, идеологических, культурных проявлений, а в тесной связи с ними. Литературное движение автор пытается рассматривать не в отдельных его этапах, моментах, проявлениях, а именно как процесс, в живой диалектике его развития, изменения, в постоянном совершенствовании контактов с породившей его исторической действительностью.

В литературном краеведении обычно звучат творчество провинциального писателя вне связи его с процессами общерусского и местного литературного развития и общественного движения. Наука получала новые факты, сведения, документы, обогащалась осмыслением частных явлений, но динамической картины развития литературно-общественных аспектов русской провинции не создавалось да и не могло создаться: для этого надо было подняться на более высокий уровень исследования, ввести в литературное краеведение новые методы, выступить в этой области как во всеоружии фактов, так и всесторонней теоретической подготовки.

Монография О. Г. Ласунского посвящена в своей первой части теоретическим, во второй — литературоведческим аспектам литературно-общественного движения в Воронежском крае. Из каких же компонентов или явлений, по мнению автора, складывается исследуемый им процесс? Определяющим в нем конечно, остается литературный вклад края в общерусское литературное развитие. Кроме того, в данное понятие включается отражение жизни и быта края в произведениях, прямо с ним не связанных, местные литературные интересы во всех их проявлениях, культурные контакты с другими краями и со столицами, все сложившиеся в провинции органы, формы и методы распространения и восприятия литературных явлений, включая местные издания, в том числе журнально-газетные, а также книготорговые и библиотечные учреждения, театр, литературные салоны, кружки, общества и пр.

В подходе к провинциальному литературно-общественному движению важнейшим для автора является принцип изучения его в неразрывном единстве, в прямых и косвенных связях с социально-общественным, революционным и культурным процессом эпохи. Являясь лишь одной из составных частей обще-

национального развития, это движение тесно взаимосвязано с ним. К сожалению, диалектика этих многосторонних связей и отношений при обращении к русской провинции с точки зрения ее литературно-эстетического развития учитывается редко, чем и определяется отсутствие должной глубины в складывающемся понимании этого процесса. Комплексный же метод рассмотрения, предлагаемый О. Г. Ласунским, позволяет ближе подойти к пониманию закономерностей и специфики литературно-общественного движения в интересующем его крае, хотя надо сказать, что такой подход или метод имеет более широкое значение. Он применим к любым регионам страны и вскрывает при этом как общее, так и частные особенности процесса, помогает развенчанию иногда еще и сейчас бытующего представления о крайней незначительности роли провинции в культурном и литературном становлении нации, о ее духовной депрессии.

Теоретико-методологические аспекты проблемы, изложенные в первой главе, в дальнейшем рассматриваются на конкретном историко-литературном материале эпохи, в результате чего возникает целостное представление о литературном развитии провинции как процессе, имеющем свою обусловленность и свои особенности, а не о механической сумме хотя и весьма ценных и интересных, но тем не менее разрозненных и не создающих общей картины фактов и сведений. Обращаясь к «эпохе Чернышевского», автор тем не менее выходит за ее пределы, включая в исследование культурно-исторические предпосылки литературного движения в Воронежском крае, во многом предопределившие демократический характер и высокий уровень культурного и литературного развития в рассматриваемый период.

В исследовании литературного прошлого Воронежского края у О. Г. Ласунского было немало предшественников. В свое время к нему обращались Н. К. Пиксанов, А. М. Путинцев, В. А. Тонков. Они изучали историко-литературные традиции и во многом подготовили почву для углубленного исследования проблемы, но решить ее в полной мере не смогли ввиду недостаточности материала, узости бытовавших в ту пору схем литературного краеведения либо просто по причине изучения творчества писателей-воронежцев вне существовавшего литературно-общественного контекста провинциальной среды. В распоряжении О. Г. Ласунского фактов и предварительных выводов больше, чем в распоряжении его предшественников, а поэтому он и предпринимает попытку дать более точную, полную и обоснованную характеристику данного процесса, в том числе и его первоначальных этапов.

Воронежский край — один из самых литературных районов России, и дело не

<sup>3</sup> Подход к изучаемым явлениям обозначен не всегда точно. Автор называет его то комплексным, то системно-комплексным (с. 6), то синтетическим (с. 8), хотя имеется в виду один и тот же метод.

в том, что он дал стране Кольцова и Никитина, а в том, что его культурная история представляет собой, как давно уже было замечено, «безотавочную текущий процесс, единую развивающуюся традицию» (с. 35). В монографии это положение акцентируется и непрерывность развития даже прослеживается на протяжении всего XIX века, по лишь в тех масштабах и формах, которые достаточны для подтверждения его общедемократического характера и определения места и значения изучаемой эпохи, т. е. «эпохи Чернышевского», в литературно-общественном движении края (с. 34—38). Начало культурной истории края автор, вопреки ранее существовавшим представлениям, относит к концу XVIII—началу XIX века и связывает с деятельностью Е. А. Болховитникова. Заложенные Е. А. Болховитниновым и его кружком традиции были продолжены кружком А. П. Серебрянского, автора слов песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни...», и творчества Кольцова. Именно эти явления, определявшие литературную жизнь Воронежа до наступления «эпохи Чернышевского», подготовили условия и почву для создания новых форм культурной деятельности, взламывавших «прежде замкнутый образ жизни местного общества» (с. 38).

Сама же «эпоха Чернышевского», т. е. 1850—1860-е годы, принесла в Воронеж заметное оживление культурной, литературной, общественной жизни. Здесь усиливается интерес к отечественной и иностранной словесности, город включается в сферу международного культурного воздействия, появляются литературные кружки и объединения, вырастают свои писательские таланты, среди которых главенствующая роль в это время принадлежит И. С. Никитину, ширятся литературные контакты с Москвой и Петербургом, устанавливаются отношения с волейной печатью Герцена и Огарева, наконец, в Воронеже возникают первые научные и литературно-художественные издания, в том числе периодические, развивается книжная торговля, театральное искусство, библиотечное дело. Учитывая все названные обстоятельства, автор утверждает, что Воронеж в то время «был не просто административным центром густонаселенной губернии... здесь протекала достаточно напряженная для той поры культурно-просветительная жизнь, которую с определенными оговорками можно принять за соответствующий эталон для тогдашнего провинциального бытия» (с. 40—41). Конечно, Воронежская губерния могла служить эталоном, но подавляющее большинство великорусских губерний России в середине прошлого века все же находились на более низком уровне развития своего культурного и литературного потенциала, хотя эти губернии также обладали многими или, по крайней мере, некоторыми из тех условий, каки-

ми располагала Воронежская губерния. Однако результаты проявления аналогичных сил и обстоятельств в разных регионах страны оказались неодинаковы. Такая неравномерность развития и после появления работы О. Г. Ласунского потребует еще внимания и литературоведов, и историков, нуждаясь в глубоком и всестороннем объяснении и выявлении причин, сегодня еще не всегда нам известных и не полностью изученных.

Что же касается самого «воронежского феномена», наряду с орловским заметно выделяющегося на общем фоне культурного развития страны, то проявления его, характер и особенности, контакты и взаимосвязи в монографии освещены достаточно многосторонне и не просто в хронологической последовательности явлений, а в их взаимосвязанности, в диалектическом единстве, составляющем общий процесс культурного и литературного развития края, продолжающийся и поныне, только в монографии О. Г. Ласунского ограниченный наиболее перспективным для изучения периодом «революционной ситуации в России в середине XIX века, когда прогрессивные силы в провинции заявили о себе в полный голос» (с. 37).

Сочетание теоретико-методологического аспекта с историко-литературным или историко-культурным дает возможность наряду с теоретическими положениями вводить в исследование новые факты и материалы, восстанавливающие отдельные события или процессы, характерные для литературной жизни изучаемого края.

Представить хотя бы в относительной полноте общественно-литературное движение края да еще в виде развивающегося и постоянно изменяющегося процесса — дело новое. Восстанавливая его историю, О. Г. Ласунский в центр историко-литературной части своего исследования выдвигает самые заметные в этой области явления, устанавливая их связи и отношения друг с другом, вводя разрозненные и на первый взгляд несогласные события в единый процесс, определяющий литературную характеристику края в изучаемую эпоху.

Центральная глава работы касается специфики и закономерностей литературно-общественного движения в Воронежском крае. Помимо общей ее характеристики, включающей обращение к творческой деятельности Н. Дурова, Е. Ф. Лихачева, Ф. С. Карпова, А. В. Станкевича, В. Ф. Соколова, П. П. Зноньева, Н. Д. Мизко, здесь определяются центральные явления эпохи, среди которых выдающееся место принадлежит, конечно, И. С. Никитину. Вся его литературная деятельность, отличающаяся редким многообразием и органически входящая в общерусский литературно-общественный процесс, рассматривается в монографии как «одно из наиболее

значительных свидетельств неисчерпаемости духовного потенциала провинции» (с. 76—77). Произведения И. С. Никитина, построенные на воронежских впечатлениях, затрагивали главные проблемы идейной жизни эпохи и тем самым отвечали нуждам и чаяниям народа, по значению своему далеко выходя за рамки породившей их провинциальной действительности.

Параллельно с творчеством И. С. Никитина в исследование вводятся другие крупнейшие литературные явления и события Воронежского края. М. Ф. Де-Пуле рассматривается в монографии как характерный тип провинциального публициста, в изучении процесса обмена интеллектуальными ценностями между провинциями и столицами автора интересуют не привлекавшая с этой точки зрения внимания исследователей деятельность П. И. Бартенева и А. С. Суворина; новые сведения, события, факты сообщаются в главе, посвященной воронежской нигилистке А. П. Брюммер и ее брату, одно время сотрудничавшему в «Колоколе» и сблизившемуся с Герценом и Огаревым. Лучшие силы, таланты, дарования, выраставшие в провинции, вливались в общерусское литературное развитие, делали его более мощным, крепче и многостороннее связанным с современной действительностью. В этом заключалась одна из главнейших функций провинции в отечественном литературном движении, что специально подчеркнуто автором в разделе, посвященном А. Н. Афанасьеву, который, выйдя из Воронежа, на протяжении всей жизни поддерживал тесные связи с родным городом и участвовал во многих его культурных и литературных событиях. Стремясь к созданию наиболее полного представления о литературно-общественном движении в Воронеже, автор в последующих главах обращается к изучению вопроса о роли печати, книги и театра в местной литературной и культурной жизни.

Роль местной печати рассматривается автором в ее важнейших моментах, какими прежде всего являются интенсивно проникавшие в разночинские круги Воронежа издания Герцена, а также начавшееся в это время пробуждение провинции в литературно-издательской области, результатом которого в Воронежском крае стали получившие широкое распространение сборники «Воронежская беседа на 1861 год» и «Воронежский литературный сборник» (1861). Кроме того, в монографии целый раздел посвящен журналу «Филологические записки», первому в провинции научному филологическому изданию, выходившему с 1860-го по 1917 год. Именно эти издания, привлекая к Воронежу внимание в филологических кругах страны, оказывали постоянное и действенное влияние на литературно-общественное движение края и теснее связывали его с общерус-

ским, а в некоторых моментах и с мировым развитием в этой области (с. 39—40).

В общей системе культурных явлений в провинции далеко не последнее место принадлежит книжному делу и театральному искусству. Здесь (этому посвящена заключительная глава монографии) ставятся вопросы об особенностях бытования художественного произведения в местной читательской среде, порою отличающегося от аналогичных процессов, совершавшихся в то время в столицах. Интересны заключения автора о круге чтения в провинции, где особым вниманием пользовалась периодическая печать, главным образом журналы, среди которых наиболее широкое распространение получали издания демократические, отличавшиеся четкостью социально-эстетических позиций, в первую очередь «Современник» и «Отечественные записки». Особенности читательских интересов в Воронеже во многом, конечно, обусловлены характером книжной торговли и развитием библиотечного дела. Проследивая исторический путь воронежской книготорговли, первоначальный этап которой связан с деятельностью Д. А. Кашкина и относится к 1830-м годам, автор внимательно останавливается на книготорговой деятельности И. С. Никитина, рассматривая его лавку как духовный центр города, связанный с демократическими кругами русской литературы того периода и формировавший читательские вкусы, особенно в среде молодежи. Экскурс в историю становления читательских интересов особенно важен, потому что в Воронеже и в других провинциальных городах России документальных материалов для научного обращения к этой области сохранилось чрезвычайно мало.

Анализ читательских интересов тесно связан с исследованием процесса возникновения и бытования частных и общественных библиотек. Хотя библиотеки А. П. Нордштейна, Н. И. Второва, И. С. Никитина, М. Ф. Де-Пуле были разносторонни и обширны по составу, содержали порою редкие и ценные издания, в том числе потаенную литературу, тем не менее полностью удовлетворить запросы демократического читателя они были не в силах, что и привело в 1860-х годах к созданию во многих губернских городах, в том числе и в Воронеже, публичных библиотек, которые, конечно, все проблемы не решили, но «все же стали важным импульсом в наращивании провинцией своих духовных запасов» (с. 171). Предпринятое О. Г. Ласунским исследование состояния книжного дела в Воронеже свидетельствует о том, что историко-книговедческие поиски в этой области еще только начинаются и требуют к себе постоянного и настойчивого внимания: они могут расширить существующие представления о характере, составе, функциях провинциальных

книжных собраний и их взаимодействия с развитием литературных интересов общества.

В заключение О. Г. Ласунский обстоятельно анализирует театральное искусство Воронежа, органично включая его в литературно-общественный процесс, рассматривая в тесных взаимоотношениях и переплетениях с крупнейшими событиями и лицами, представляющими литературную и культурную жизнь края. Конечно, монография в полной мере не охватывает всех явлений, составляющих литературно-общественное движение в провинции или с ним связанных и его развитие способствовавших. Впрочем, в индивидуальной работе это вряд ли возможно: для более полного изучения процесса необходимы длительное время и коллективные усилия. Однако такое положение не умаляет значения рецензируемой книги. Ее задача заключается не во всеохватности событий и фактов,

а в разработке методологии и методики исследования литературного процесса в его провинциальных проявлениях, в данном случае принадлежащих Воронежскому краю. Комплексный характер рассмотрения, многоаспектность анализа историко-литературных источников, привлечение материала из смежных областей помогает автору в исполнении поставленной им задачи — представить духовную жизнь Воронежа как непрерывный и развивающийся процесс, имеющий свои индивидуальные черты и закономерности. И кроме того, монография О. Г. Ласунского, корректируя роль и значение провинциальной духовной жизни для общерусского культурного и литературного развития, намечает пути аналогичных изысканий в других регионах страны, изученных менее воронежского и порою почти не отраженных на литературной карте России.

Э. Э. Найдич

### ТРИЛОГИЯ ЗАВЕРШЕНА \*

В 1985 году вышла в свет книга В. Э. Бограда «Журнал „Отечественные записки“. 1839—1848. Указатель содержания». Эта книга завершила библиографическую трилогию, посвященную передовым русским журналам 30—80-х годов XIX столетия.

Через год после завершения своего монументального труда, 13 марта 1986 года, на 69-м году жизни, Владимир Эммануилович Боград скончался. Мы потеряли безупречного товарища, красивого, доброжелательного, жизнерадостного человека. Деятельность В. Э. Бограда — пример органического сочетания библиографических и литературоведческих знаний. Только библиограф, прошедший суровую и долгую практическую школу, мог так много дать филологической науке.

В. Э. Бограда отличали целеустремленность, упорство и твердость, направленные на решение научных задач, готовность оказать высококвалифицированную библиографическую помощь широкому кругу литературоведов, которые постоянно к нему обращались. Имя В. Э. Бограда по праву заняло место рядом с выдающимися отечественными библиографами В. И. Межовым, В. И. Сайтовым, С. А. Венгеровым, П. Н. Берковым.

Трилогия В. Э. Бограда представляет одно из вершинных достижений советской библиографии и литературного источниковедения. Автору удалось создать новый тип литературоведческого исследования, решающего в библиографической форме проблемы истории литературы, литературного источниковедения, библиографии, литературной эвристики, самого метода и даже методологии изучения русской журналистики.

Тип издания был найден уже четверть века назад. Первая часть трилогии — Указатель содержания журнала «Современник»<sup>1</sup> появилась в 1959 году и получила высокую оценку в нашей стране и за рубежом. Она была в 1977 году факсимильно переиздана в Висбадене издательством Kraus reprint.

Поражала четкость построения и фундаментальность этого труда В. Э. Бограда. Книга открывается обширной вступительной статьей «Анонимные тексты „Современника“ и их авторы», соединяющей идеологическую характеристику журнала, исторический очерк, описания принципов и методов работы, демонстрацию наиболее важных достижений в раскрытии анонимных и псевдонимных текстов, критическую оценку наиболее важных источников.

Далее следует основная часть — «Хронологическая роспись», отличающая

\* Боград В. Э. Журнал «Отечественные записки». 1839—1848. Указатель содержания. М.: Книга, 1985. 687 с. (Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

<sup>1</sup> Боград В. Э. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М.; Л.: Худож. лит.-ра, 1959. 826 с.



ся от всех предшествующих и последующих указателей такого рода своею полнотою (расписаны отделы: «Критика», «Библиография», «Смесь» и др.), обилием раскрытых анонимных и псевдонимов, точностью в указании цензурных разрешений.

Значительное место в книге занял «Комментарий». Еще никогда с такой обширной аргументацией, с такой скрупулезностью не обосновывалось авторство произведений, статей, рецензий, заметок в некрасовском «Современнике». Один только перечень имен авторов новых или неизвестных текстов занимает почти целую страницу.

Всесторонняя оценка этой части трилогии дана в рецензиях М. Гина, Б. Егорова и В. Путинцева.<sup>2</sup>

От выпуска к выпуску В. Э. Боград совершенствовал свое издание. В Указателе содержания некрасовско-щедринских «Отечественных записок»<sup>3</sup> введено серьезное новшество: в комментариях приводятся сведения о цензурной истории произведений, порою с цитатами из неизвестных ранее документов. Это расширило информационную емкость примечаний. Стали сообщаться более подробные сведения об авторах журнала. Название вводной статьи «Отечественные записки»<sup>4</sup> и их авторы соответствовало усложнению задач, поставленных В. Э. Боградом. Речь теперь шла не только об «анонимных текстах и их авторах», как это было в первой книге, а о журнале и его сотрудниках в целом.

Постепенно накаливался и поистине уникальный опыт в установлении авторства, совершенствовалась система вспомогательных указателей. Вторая книга также получала высокую оценку в печати.<sup>4</sup>

Эти работы о революционно-демократических изданиях, составляющих гордость отечественной журналистики, дали

<sup>2</sup> Гин М. Ценное библиографическое пособие. — Русская литература, 1959, № 4, с. 235—238; Егоров Б. Труд о «Современнике». — Вопросы литературы, 1960, № 7, с. 229—232; Путицев В. Хронологическая роспись «Современника». — Советская библиография, 1960, № 1, с. 86—91.

<sup>3</sup> Боград В. Э. Журнал «Отечественные записки». 1868—1884. Указатель содержания. М.: Книга, 1971. 744 с. (Гос. Публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

<sup>4</sup> Теплинский М. В. Вторая часть трилогии (Путеводитель по «Отечественным запискам»). — Русская литература, 1973, № 1, с. 226—233; Соколов Н. П. Журнал «Отечественные записки». 1868—1884. Указатель содержания. — Изв. АН СССР, серия лит. и яз., 1973, вып. 6, с. 561—564; Эльзон М. Д. Актуальное библиографическое исследование. — Советская библиография, 1973, № 2, с. 77—80.

целостное представление о редакционных замыслах журналов, их целенаправленной деятельности. Было раскрыто так много анонимных и псевдонимных текстов, что после выхода в свет этих книг в известной мере произошла «перекройка» собраний сочинений ряда русских писателей — Н. А. Некрасова, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, М. Л. Михайлова, Г. И. Успенского, Н. К. Михайловского и др. Они были очищены от некоторых ошибочно приписанных текстов и обогащены новыми — установленными на основе неоспоримых данных.

Не случайно трилогию замыкает рецензируемая книга, посвященная предшествующему периоду русской журналистики. Объясняется это тем, что подойти к решению многочисленных и сложных вопросов, связанных со знаменитым журналом конца 30—40-х годов — «Отечественными записками», можно было лишь в совершенстве овладев всею совокупностью методов исследования атрибуции, приобретающие глубокие, всесторонние литературоведческие знания, отличную ориентацию в многочисленных печатных и архивных источниках.

Изучение «Отечественных записок» эпохи Белинского затруднено тем, что мы располагаем меньшим по сравнению с поздними журналами числом архивных источников, к ним относящихся, в меньшей степени разработанным материалом.

Библиографическая трилогия В. Э. Бограда занимает свыше 1500 страниц, насчитывает 3868 примечаний, причем более тысячи из них по сути дела представляют краткие исследования, содержащие новый источниковедческий материал, порою решения запутанных спорных вопросов, связанных с атрибуцией и цензурной историей произведений, включенных в журнал. Примечания отличаются лаконизмом, изяществом и точностью; многие из них могли бы быть развернуты в самостоятельные статьи. Интереснейшие цитаты из архивных документов приводятся так сжато, что многое остается «за кадром». Такая подача текста диктовалась суровой необходимостью. Иначе каждая часть трилогии занимала бы несколько томов и трудности, связанные с публикацией справочного пособия, стали бы непреодолимыми. И так лишь энергичное содействие ведущих литературоведов страны — академиков М. П. Алексеева, Д. С. Лихачева, А. С. Бушмина — позволило осуществить это издание.

В сфере внимания В. Э. Бограда, в части трилогии, относящейся к «Отечественным запискам» 1839—1848 годов, были так называемые реестры А. Д. Галахова. В них Галахов заносил названия книг, подлежащих рецензированию и распределению между московскими сотрудниками «Отечественных записок» и «Литературных прибавлений» к «Русско-

му шваллду» (позднее — «Литературной газете»).

Эти материалы использовал он сам при составлении списков произведений В. Г. Белинского и М. Н. Каткова. Уже давно выяснено, что это лишь предварительная запись книг, предназначенных для рецензирования; полагаться безусловно на списки А. Д. Галахова нельзя. В работе В. Э. Богграда в значительной степени внесена ясность в этот запутанный вопрос. Конкретный и всесторонний анализ каждой записи А. Д. Галахова в сопоставлении с другими данными позволил ему разобраться в целом ряде противоречий и прийти к правительным решениям.

Так, например, А. Д. Галахов ошибочно приписал В. Г. Белинскому рецензию на книгу «Братья по оружию» («Отечественные записки», 1842, № 8). Рецензия вошла во все, включая академическое, собрания сочинений критика. В. Э. Боград установил, что рецензия написана П. Н. Кудрявцевым.

Как специалисту по текстологии В. Г. Белинского В. Э. Богграду была поручена подготовка текста к собранию сочинений великого критика,<sup>5</sup> которое опиралось на достижения готовившейся к печати книги. В. Э. Боград провел значительную работу, сверив в 9-ти томах собрания сочинений (около 500 п. л.) тексты Белинского с журнальными публикациями и рукописями. В примечаниях на основе данных В. Э. Богграда подробно освещена цензурная история отдельных произведений, во всех необходимых случаях дано обоснование авторства.

При составлении росписи В. Э. Боград встретился с неожиданными трудностями, связанными с тем, что комплекты «Отечественных записок» переплетены в тома, объединяющие четные и нечетные номера журналов (с общей пагинацией каждого отдела). Поэтому нужно было провести специальную работу, чтобы во всех случаях отграничить материалы четного и нечетного номеров. В большинстве комплектов не сохранились обложки, на которых приведены оглавления, дата цензурного разрешения, различные сообщения редакции. Поиски экземпляров с обложками затруднялись из-за того, что, как это подчеркнул В. Э. Боград, «Отечественные записки» 1839—1848 годов — «один из наименее сохранившихся журналов XIX в.».

В условиях строжайшей секретности экземпляры «Отечественных записок» по распоряжению правительства уничтожались.

Отсутствие обложек отразилось на комментировании собраний сочинений и

составлении летописей жизни В. Г. Белинского, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева и других сотрудников журнала. Даты выхода в свет многих произведений впервые уточнены в книге В. Э. Богграда. Он установил, что из коммерческих соображений А. А. Краевский порою указывал, что номер выходит первого числа (ранее цензурного разрешения). Поэтому пришлось обратиться к архивным материалам. Точные даты цензурных разрешений даются в «Реестре печатных книг» (ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 271—280). На его основе В. Э. Боград внес уточнения, которые предстоит сделать в собраниях сочинений и летописях жизни и творчества ряда писателей.

Возвращаясь к вопросам атрибуции, подчеркнем, что благодаря архивным данным и иным источникам В. Э. Боградом установлено авторство многих произведений.

Исследователем обогащено наше представление об участии в «Отечественных записках» соредатора журнала В. Ф. Одоевского. На основе неопубликованной переписки В. Ф. Одоевского и А. А. Краевского, а также других источников выясняется, что В. Ф. Одоевским кроме уже известных написано еще более десяти значительных статей и рецензий. В. Э. Боград окончательно определил, что произведшая большое впечатление обширная рецензия на «Чтении о русском языке» Н. И. Греча принадлежит В. Ф. Одоевскому.

Он доказал также, что публикация и предисловие к каталогам А. Скиады выполнены И. П. Сахаровым (в списке работ Сахарова это не указано). Автор заметки о «Галерее женщин» Ж. Санд — А. Д. Галахов, а не В. П. Боткин, в сочинения которого (СПб., 1893, т. 3) она ошибочно включена.

В. Э. Боградом убедительно поддержаны аргументы против приписывания ряда рецензий молодому М. Е. Салтыкову.

«Замечания на статью г. Хомякова „О сельских условиях...“», вызвавшие целую бурю в стане московских «славян» и обратившие внимание III Отделения («Отечественные записки», 1842, № 11), как выяснено В. Э. Боградом, написаны А. П. Заблоцким-Десятовским.

Г. Ф. Головачев, как установил автор росписи, написал всю серию статей «Германская литература» (1844—1845), а также статью «Английская литература».

Три статьи о Петре Первом (1844), ошибочно приписываемые В. Козлову, на самом деле, указывает В. Э. Боград, труд В. С. Кавкасидзева.

Впервые аргументировано, что И. Дьячкову принадлежат три статьи «Лудовик XV и его век» (1843—1844), вышедшие отдельной книгой под названием «Лудовик XV и французское общество XVII столетия» (1845).

В. Э. Боград доказал, что статья

<sup>5</sup> Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9-ти т. / Ред. кол. Н. К. Гей и др. М.: Худож. лит-ра, 1976—1982, т. 1—9.

«Предрассудки и поверья крестьян в Петровском уезде Саратовской губернии», подписанная «Сельский житель К.», написана У. С. Карповым и отредактирована И. И. Введенским («Отечественные записки», 1848, № 2).

Серия статей по сельскому хозяйству, как это теперь определено, написана К. С. Веселовским, статья «Тегеран: письма русского из Персии» — Л. Ивановским. Впервые установлено, что в «Отечественных записках» участвовал поэт Е. П. Зайцевский.

Список разысканий Богграда можно было бы продолжить на многих страницах. Определено авторство статей и заметок М. Н. Каткова, К. Ф. Рулье, Н. В. Савельева-Ростиславича, П. А. Чичаева, Я. М. Неверова, К. С. Аксакова, Н. Ф. Павлова, Д. М. Перевощикова, П. И. Мельникова, Е. А. Ган, К. Ф. Липперта, А. С. Вышеславцева, В. Н. Майкова, В. В. Стасова и др.

Раскрываем псевдонима Дэ-Мин — автора серии очерков «Поездка в Китай» и перевода из «Сна в красном тереме» («Отечественные записки», 1841, № 9—12; 1842, № 1—2) — В. Э. Богград внес существенный вклад в советскую Китаистику. На основе архивных разысканий и комплексного исследования ему удалось точно доказать, что автором статей и переводов был горный инженер Алексей Иванович Кованько, бывший в течение 6 лет (с 1831 года) в составе русской миссии в Китае. В. Э. Богград воскресил имя и воссоздал биографию одного из замечательных русских Китаеведов, труд которого был высоко оценен В. Г. Белинским в обзоре «Русская литература в 1843 году». Очерки А. И. Кованько свидетельствуют об интересе русской общественности к жизни Китая. Заметим, что весьма удачен был и выбор книги для перевода. Полный перевод «Сна в Красном тереме» — поистине энциклопедия китайской жизни — появился лишь в 1958 году (в издательстве «Художественная литература»).<sup>6</sup>

Книга В. Э. Богграда содержит ценнейшие сведения о цензурной истории ряда произведений. Так, на с. 416—417 напечатано целое исследование о статье В. Г. Белинского «Деяния Петра Великого... Соч. И. И. Голликова...». Здесь приведена неизвестная ранее запись в «Журнале заседаний С.-Петербургского цензурного комитета» от 20 мая 1841 года, содержащая развернутую оценку статьи.

Обнаруженное В. Э. Богградом неизвестное письмо А. Х. Бенкендорфа министру народного просвещения С. С. Уварову содержит развернутую официаль-

ную оценку стихотворения М. Ю. Лермонтова «Последнее повоселье» (с. 437—438).

На с. 457—459 устанавливается автор рецензии на книгу Е. Хамар-Дабанова (псевдоним Е. П. Лачиновой) «Продолки на Кавказе». Но заслуга библиографа не только в том, что по реестру цензурного комитета определен автор рецензии П. Н. Кудрявцев, а в самом изучении ее цензурной истории, а также в публикации неизданного письма А. А. Краевского к А. В. Никитенко от 4 июня 1844 года, подробно раскрывающего обстоятельства, связанные с печатанием и уничтожением перазосланной части тиража журнала (2700 экз.).

Любопытны и впервые приведенные В. Э. Богградом по архивным источникам данные о запрещении печатания второй статьи Н. Б. Герсевича «О пьянстве в России» (с. 448).

Предметом специального сообщения могло бы послужить примечание В. Э. Богграда (с. 448—449), где доказывается несостоятельность включения в сочинения В. П. Боткина (СПб., 1893, т. 3) отрывка (17 стр.) из статьи В. Г. Белинского о романтизме (Сочинения Александра Пушкина. Ст. 2) от слов «Романтизм — принадлежность не только искусства...» и далее («Отечественные записки», 1843, № 9, отд. 5, Критика, с. 11—27). Неоспоримые данные свидетельствуют, что В. П. Боткин, несмотря на заявление П. В. Анненкова, был всего лишь переводчиком немецких материалов, необходимых для статьи В. Г. Белинского.

Во введении к рецензируемой части трилогии В. Э. Богград подвергает убедительной критике методы атрибуции критических статей «по языку и стилю», не отвечающие требованиям современной текстологии. Исходя из своего опыта, он выдвигает «обязательные условия копчетной атрибуции». Весьма актуальны обоснованные им положения о том, что подходить к установлению авторства следует с крайней осторожностью. Необходимо выяснение всех возможных участников журнала. Это положение можно экстраполировать на текстологию в целом — на установление круга лиц, которым мог бы принадлежать данный текст. Необходимо также доказать невозможность принадлежности произведения каждому из ппх. В. Э. Богград предупреждает об опасности приписывания текста наиболее известным литераторам методом «текстологических параллелей» (исследователями «Отечественных записок» 1839—1848 годов это делалось прежде всего в отношении Белинского).

В. Э. Богград распространяет свои обобщения лишь на работу по составлению «библиографических хроник»; на самом деле все выдвинутые им положения имеют принципиальное значение. Здесь библиограф остается таким же строгим и скромным, как и во всем

<sup>6</sup> Подробнее см.: *Богград В. Э., Рифтин Б. Л.* Русский Китаевед Дэ-мин, его поездка в Китай и перевод из «Сна в красном тереме». — *Народы Азии и Африки*, 1983, № 6, с. 78—87.

своим исследовательском труде. Сделав без преувеличения несколько сот открытий, ставших теперь нашим достоянием, он избежал даже тени сенсационности. В трилогии все подчинено главной цели: составить с наибольшей полнотой и точностью «указатель содержания» с необходимыми примечаниями и справочным аппаратом. Никаких украшений и отклонений в сторону.

Выпуск в свет указателей содержания В. Э. Богграда ценен также тем, что самый жанр книги открыл новые возможности для исследователей (к сожалению, не всегда используемые в полной мере). После появления первой части трилогии была напечатана хронологическая роспись журнала «Отечественные записки» за 1868—1884 годы С. Борщевского (М.: Книга, 1966). Труд С. Борщевского включал, как это отмечено в рецензии М. Теплянского, только анонимные и псевдонимные тексты, не содержал раскрытия отдела «Новые книги», не давал полного представления о всем разнообразии и богатстве материала, помещенного в каждом номере журнала. Почти одновременно напечатан указатель содержания «Литературной газеты» Е. М. Блиновой (М.: Книга, 1966), содержащий вступительную статью, роспись и обширные примечания. Однако этот труд в основном представляет итоги изучения предшественников.

В 1984 году Саратовский государственный университет совместно с зональной научной библиотекой выпустил ограниченным тиражом (на ротапринте) указатель содержания «Московского телеграфа» (вып. 1, 1825—1828 гг., автор Н. А. Попкова). Предполагается издание еще двух выпусков: вып. 2, 1828—1834 гг.; вып. 3, Вспомогательные указатели.

В своем труде Н. А. Попкова не ставила цели раскрытия анонимных и псев-

донимных текстов. Поэтому она ограничилась введением общего порядка, не дала примечаний; подавляющая часть росписи осталась анонимной. Несмотря на столь существенные недостатки, даже в таком виде указатель содержания «Московского телеграфа» полезен литературоведам и историкам журналистики.

Под руководством В. Э. Богграда младший научный сотрудник Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина М. А. Бенина составила указатель содержания журнала «Дело» (1866—1888). Указатель построен по принципам, разработанным в трилогии В. Э. Богграда, при его консультации. Этот указатель, к сожалению, остался незавершенным.

Труд В. Э. Богграда ценен также тем, что он обращает внимание на белые пятна в изучении передовой русской журналистики XIX века. Анализируя сложные, спорные вопросы авторства, ученый при отсутствии точных доказательств не увлекается соблазнительными гипотезами. Речь идет о совершенно конкретных вещах, и гипотезы часто разбиваются при выявлении документального материала. В последней части трилогии В. Э. Богград при малейших колебаниях, во всех случаях, когда принадлежность произведения остается спорной, вопрос об авторстве оставляет открытым. В примечаниях он приводит объективные данные, аргументы «за» и «против». Тем самым указывается направление для дальнейших разысканий.

Что касается трилогии в целом, то она незаменима для исследовательской работы по литературоведению и журналистике. Зная автора, учитывая его требовательность к себе, понимание им веса каждого слова, можно с ответственностью сказать, что труд, которым он завершил свою жизнь, стал классическим.

А. Л. Ершов

## СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ПРОЗА О ДЕРЕВНЕ В ОСВЕЩЕНИИ ПОЛЬСКОЙ КРИТИКИ 1970—1980-х ГОДОВ

Русская советская проза о судьбах деревни всегда привлекала внимание польских читателей и критиков. В послевоенные годы произведения на эту тему широко переводились в ПНР, становились объектом литературно-критического изучения. И это не случайно. Тема деревни, проблемы ее развития и социалистического преобразования, волнующие советскую литературу, отнюдь не исключительное явление. Проза о деревне

весьма плодотворно развивается писателями других стран славянского региона, в том числе и Польши.

В 30-е годы началось формирование литературы социалистического реализма в Польше. Социальное расслоение деревни, ожесточенные классовые битвы, начало роста самосознания крестьян — все эти проблемы мы находим в произведениях Л. Кручковского, В. Василевской, Вл. Ковальского, Ст. Пентака и

многих других. Мощная крестьянская, деревенская традиция в польской литературе стала быстро и чутко реагировать на политические сдвиги, происходящие в мире.

Необходимо подчеркнуть, что бесспорное влияние на польских художников слова оказывали произведения советских писателей. В 30-е годы были переведены такие крупные полотна, как «Дело Артамоновых» и трилогия М. Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Барсуки» и «Скутаревский» Л. Леонова, «Эвергия» Ф. Гладкова и др. Широкий отклик получили материалы и решения I съезда советских писателей.<sup>1</sup> Известный польский критик З. Зэнтек пишет: «Если говорить о советской литературе, то весь период 30-х годов можно было бы детально сопоставить с опытом нашей литературы 30-х и 40-х годов. Проблема крестьянской автобиографической литературы, вопросы новой интеллигенции и обновления литературного языка, вызвавшие в свое время большую дискуссию в СССР, — вот некоторые проблемы, общие для наших литератур».<sup>2</sup>

Процесс демократизации, начавшийся после второй мировой войны, коренные социально-политические изменения, произошедшие в результате победы народной власти в странах Юго-Восточной и Центральной Европы, укрепляли и общность в литературном деле.

Психологическая напряженность повествования, драматизм, а порой и трагедийность разрешения конфликтов в произведениях таких выдающихся художников слова, как В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин, Ю. Кавалец и многих других, позволяют говорить о некоторой схожести явлений в советской и польской литературе 60—70-х годов, посвященных деревне. Проблемы нравственности и бездуховности, раздумья о смысле жизни человека и судьбах мира, философское обобщение типических социально-нравственных коллизий, сопряженные истории и современности — все это широко присутствует на страницах произведений этих писателей. Именно поэтому книги современных советских прозаиков получили широкий общественный резонанс в Польше, стали объектом пристального внимания польской критики.

Изучение русской советской прозы на сельскую тему в Польше связано с именами М. В. Пилата, Р. Радзюка, Э. Моздзерской, Ст. Порембы и других.

<sup>1</sup> См. подробнее: *Степень М.* Первый съезд советских писателей в передовой польской критике 30-х годов. — В кн.: Революционная литература Польши 20—30-х годов: Сб. статей. М., 1969, с. 87—102.

<sup>2</sup> *Зэнтек З.* Деревенская тема в современной литературе. — В кн.: Актуальные проблемы сравнительного изучения литератур социалистических стран. М., 1978, с. 219—220.

С 1974 года, когда появилась работа Т. Банашак<sup>3</sup> — одна из первых в этой области — интерес к данной тематике заметно возрос. Польские авторы обращаются не только к творчеству отдельных прозаиков, к определенным аспектам их произведений — их волнуют процессы, происходящие в советской литературе на современном этапе.

Именно такой подход характерен для Марека Валенты Пилата, который рассматривает не просто книги о сельском мире, но стремится постичь существенно важные стороны современной русской литературы.<sup>4</sup> Ему принадлежат исследования, посвященные лирической прозе Виктора Лихоносова, нравственной проблематике в произведениях Василия Белова. Следует также отметить его статьи о творчестве тех, кто еще в 50-е годы прокладывал свои пути — В. Овечкине, Г. Троепольском, Е. Дороше, о мнениях советской критики 60-х годов в этой области, а также статью о попытках развития классических традиций русской литературы (И. Бунин) прозаиками младшего поколения: В. Лихоносовым, В. Беловым, В. Шугаевым.

Среди наиболее значительных работ М. В. Пилата — статья «Концепция человека и природы в современной русской советской прозе о деревне».<sup>5</sup> Она как бы подводит итоги почти десятилетним исследованиям автора о нашей литературе. Свободное владение источниками позволяет польскому критику оперировать богатым материалом, а использование параллелей и сопоставительный анализ явлений современной прозы с шедеврами классической русской литературы прошлого делают подобные экскурсы особенно значительными.

<sup>3</sup> *Banaszak Teresa.* Tematyka wiejska w rosyjskiej prozie współczesnej. — In: *Zeszyty naukowe WSP (Siedlce).* Seria A, 1974, z. 1, s. 34—54.

<sup>4</sup> *Pilat Marek Walenty.* 1) O prozie lirycznej Wiktora Lichonosowa: (Z problemów narracji i kompozycji). — *Slavia Orientalis*, 1977, № 3, s. 311—320; 2) Z zagadnień twórczości Walentyna Owieczkina, Gawriła Trojepolskiego i Jefima Dorosza: (U źródeł współczesnej prozy radzieckiej o tematyce wiejskiej). — *Przegląd Humanistyczny*, 1976, № 7, s. 99—110; 3) Postulaty i ustalenia radzieckiej krytyki lat sześćdziesiątych wobec prozy o tematyce wiejskiej. — In: *Studia Ruscystyczne WSP w Olsztynie.* Olsztyn, 1982, s. 123—140; 4) W kręgu twórczych inspiracji I. Bunina: (Z problemów twórczości W. Lichonosowa, W. Biełowa i W. Szugajewa). — In: *Prace Ruscystyczne WSP w Olsztynie.* Olsztyn, 1980, z. 1, s. 29—44.

<sup>5</sup> *Pilat Marek Walenty.* Koncepcja człowieka i przyrody we współczesnej prozie radzieckiej o tematyce wiejskiej: (Zarys problemu). — In: *Studia i materiały. XI. Filologia rosyjska, z. 1. WSP w Zielonej Górze.* Zielona Góra, 1983, s. 67—74.

Рассматривая прозу о деревне 60—70-х годов, автор статьи выделяет два подхода к разрешению проблемы взаимоотношений человека и природы: идеально-романтизированный (здесь М. Пилат называет некоторые произведения В. Лихоносова, В. Солоухина, а также рапсную прозу В. Белова и В. Шукшина) и нравственно-философский.

Анализируя конкретные произведения, в частности творчество В. Астафьева, автор статьи вслед за советскими критиками говорит о двух типах взаимоотношений человека и природы в «Царь-рыбе»: «агрессивно-потребительском», с одной стороны, и таком, когда человек осознает себя частью всего макрокосма, неразрывно связанной со всем миром, окружающим его, — с другой. При этом М. Пилат отмечает, что этому писателю, впрочем, как и большинству советских прозаиков, чужд крайний пессимизм в решении экологических проблем. И это верно, ибо именно автору «Последнего поклона» присуще, при всем драматизме его прозы, оптимистическое ощущение мира.

Вместе с тем М. Пилат несколько сгустил краски в оценке «Травы» Вл. Солоухина. Он пишет: «Абсолютизация процессов научно-технической революции приводит к тому, что человек, по мнению автора, предстает в роли единственной разрушающей, лишенной здоровых инстинктов силы, под напором которой происходит систематическое уничтожение природы» (с. 73). Ведь советский писатель в этом остропублицистическом произведении вовсе не выступает в роли противника технического прогресса, человек у него не разрушитель, а преобразователь природы. Именно за разумное, а не хищническое, потребительское отношение к ней ратует художник.

Говоря о «Привычном деле» (в статье «Нравственная проблематика в творчестве В. Белова»),<sup>6</sup> М. В. Пилат утверждает, что «едва ли не впервые в послевоенной советской литературе о деревне появился герой без излишнего балласта „отдающих циркуляром“ идеалов, а просто обыкновенный человек из народа во всей его красоте» (с. 68).

Польский критик прав, относя повесть Василия Белова к крупнейшим явлениям современной литературы. Однако эта повесть была далеко не первой среди тех произведений, которые открыли новые горизонты воплощения темы сельского мира. Достаточно назвать в этом ряду повесть «Неужная слава» (1957) С. Воронина, роман «Братья и сестры» (1958) и повесть «Вокруг да около» (1963) Ф. Абрамова, повесть «На Иртыше» (1964) С. Залыгина.

<sup>6</sup> *Pilat Marek Walenty. Problematyka moralna w twórczości Wasilija Bielowa. — Przegląd Humanistyczny, 1976, № 8, s. 59—77.*

Постижение психологии русского крестьянина, обаяние его души стало основным для этих писателей. Одновременно углубление принципа историзма привело художников к глубокому раздумью о судьбах русской деревни и крестьянства на больших временных отрезках эпохи. В частности, повесть «На Иртыше» положила начало исканиям современных писателей, посвященным воссозданию начальной поры ломки общественных отношений, периоду коллективизации.

Вот почему сведение проблематики следующего крупного произведения В. Белова — «Плотницких рассказов» — к простому житейскому конфликту двух героев представляется нам несколько упрощенным. М. Пилат пишет: «Композиция этих рассказов основана на конфликте двух героев Олеси и Авионера» (в статье — «Авенира») (с. 68).

Суть сюжетно-композиционных связей повести много сложнее. Ведь приезд к себе на родину Константина Зорина имеет большой внутренний подтекст. Появление на страницах «Плотницких рассказов» образа бывшего крестьянина, выходящего из деревни, а теперь городского жителя, отнюдь не случайно. Мотив исторической памяти начинает занимать главенствующее место в творчестве В. Белова. Вернуться, чтобы прикоснуться к своему прошлому, вернуться, чтобы вновь обрести себя, — такова цель приезда Константина Зорина — героя целого цикла произведений. Итак, раскрытие конфликта между Олесей и Авионером — не самоцель для автора. Через их прошлое мы познаем настоящее, памятуя о своем прошедшем, мы обретаем будущее — такова мысль прозаика.

Недооценка этого важного момента и привела к упрощению образа Константина Зорина. По мнению М. Пилата, «Зорин — человек конченный. Его разрушил мир больших неонов, мир иллюзий, в котором нравственные идеалы как бы утратили свою ценность. Герой этот в погоне за броскими соблазнами городской жизни изменил идеалам, которые воспитала в нем родная деревня. Рвутся его связи с природой, а ведь она для героев Белова является источником жизни. Более того, он оказался обреченным на одиночество» (с. 76). Автор статьи недооценивает того обстоятельства, что конфликт у В. Белова не проходит по линии «город — деревня». Писатель вовсе не стремится противопоставить эти два понятия. Поэтому горожанши Зорин духовно гораздо ближе самому автору, нежели юродствующий во крестьянстве Козонков. Человеком, лишенным высоких нравственных идеалов, потерявшим кровную связь с родилой и оттого позорительно страдающим и чувствующим свою ущербность, предстает перед нами жена Константина — Антошша Зорина. Показная независимость и преклонение перед мишурой городской жизни

делают ее идейным противником героя этого цикла рассказов.

Ключевое произведение Василия Белова — роман «Кануны» — не получило достаточного освещения в статье М. Пилата. Называя главным героем романа Игната Сопронова (в статье — «Сыфронова»), автор не только не дает анализа этого образа, но, что самое главное, неверно интерпретирует концепцию писателя. Игнат Сопронов — главный идейный противник Павла Пачина — истинного труженика и хозяина на земле. Однако ни о Пачине, ни о новизне в трактовке взаимоотношений его с Сопроновым, ни об истоках и разрешении конфликта между истинными и ложными путями в революции в этой статье ничего не сказано.

Произведения советских художников слова, пишущих о деревне, к которым можно отнести и Вл. Солоухина, широко известны в Польше. В многочисленных работах, посвященных этой тематике, польские критики рассматривают не только отдельные аспекты прозы автора «Владимирских проселков», но и пытаются выявить отличительные особенности его творчества.

В проблемной статье «Современная советская лирическая проза»<sup>7</sup> Рышард Радзюк прослеживает ее развитие начиная с очерковых форм середины 50-х годов. Рассматривая произведения таких писателей, как Вл. Солоухин, Ю. Нагибин, Ю. Казаков, С. Никитин, В. Астафьев и др., он пытается найти общие закономерности данной жанровой разновидности.

Автор подчеркивает, что лирическая тональность произведений конца 50-х — начала 60-х годов способствовала более глубокому проникновению в сознание и эмоциональную сферу героя, подчеркивала богатство внутреннего мира человека. И далее Р. Радзюк пишет: «Эти новые стремления советской литературы лучше всего можно было осуществить в форме лирической прозы, которая отличается от эпики тем, что не показывает человека непосредственно в производственном процессе... а раскрывает его внутренние состояния и переживания в определенный момент жизни. Именно поэтому авторы пытаются познать духовное богатство человека *вне общественных отношений*» (с. 137; курсив мой, — А. Е.).

Вряд ли показ человека *вне общественных отношений* был характерной чертой творчества Вл. Солоухина. Говоря о «Владимирских проселках», Н. Глушков верно отметил, что «злободневно-деловой план... очень значителен и исполнен не слабее лирического».<sup>8</sup>

Именно в творчестве выдающихся прозаиков современности проблемы правственные неотделимы от общественной позиции героя, а социальные преобразования в деревне стали тем фоном, на котором разворачиваются основные конфликты в их произведениях.

Р. Радзюк пишет: «На протяжении последних 15 лет (1960—1974, — А. Е.) лирическая проза была главенствующим явлением и в значительной степени определяла основные тенденции развития советской литературы как целого» (с. 131). Автор забывает о творчестве таких крупных художников слова, как Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев, Ю. Бондарев, В. Распутин, В. Шукшин и многие другие. Ведь именно правственно-философское, а не лирическое видение мира, стремление к глубоким размышлениям над судьбами своей страны и народа стало характерным для этих писателей.

Нельзя согласиться с утверждением Р. Радзюка о том, что «лирические деревенские рассказы и философские эссе, трактующие тему деревни *асоциально и вне истории* (курсив мой, — А. Е.), имеют большое будущее» (с. 135). Этот тезис внутренне перекликается с вышеприведенными рассуждениями автора о якобы внеобщественном положении героев произведений о деревне. Польский критик не увидел, как углубление принципа историзма, обращение к истокам, к прошлому русской деревни позволило современным писателям раскрыть богатый внутренний мир крестьянина, выплывать национальный русский характер, показать сложность, а порой и драматизм социальных процессов.

В работах Э. Моздзерской предметом изучения становится образ рассказчика в очерках Вл. Солоухина.<sup>9</sup> Раскрывая эволюцию этого образа, Э. Моздзерская показывает, что в более ранних произведениях («За синь морями», «Золотое руно» и др.) позиция рассказчика была более активная, чем во «Владимирских проселках» и «Капле росы», где бóльшая свобода действий предоставляется другим персонажам повествования. Так, в «Григоровых островах» роль рассказчика, по мнению автора статьи, сводится к полной передаче своих функций героям.

Традициям и взаимосвязям русской советской лирической прозы 50—70-х годов с творчеством Вл. Солоухина посвящена другая статья Э. Моздзерской.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> *Moździńska E. Narrator w reportażach artystycznych Władimira Sołouchina. — Slavia Orientalis, 1981, № 3, s. 321—329.*

<sup>10</sup> *Moździńska E. Związki Władimira Sołouchina z rosyjską radziecką prozą liryczną lat pięćdziesiątych—siedemdziesiątych. — In: Studia i materiały. XI. Filologia rosyjska, z. 1. WSP w Zielonej Górze, s. 57—66.*

<sup>7</sup> *Radziuk Ryszard. Współczesna radziecka proza liryczna. — Przegląd Humanistyczny, 1974, № 11, s. 131—143.*

<sup>8</sup> *Глушков Н. И. Очерковые формы в советской литературе. Ростов н/Д, 1969, с. 196.*

В ней рассматриваются произведения писателя в органической связи с творчеством В. Белова, В. Астафьева, В. Распутина, Ю. Нагибина. Говоря о мотиве «символик путешествия», Э. Моздзерская показывает то большое значение, которое придает ему автор «Владимирских проселков». «„Путешествующий странник“ в его (Вл. Солоухина, — А. Е.) произведениях снова переживает свою биографию, пытается преодолеть годы, отделяющие его от детства, вновь погружаясь в стихию родной природы — владимирских лесов и полей» (с. 65).

Автор статьи, к сожалению, не упоминает о том, что мотив возвращения на родину присущ произведениям многих писателей. Ведь именно в творчестве В. Белова, В. Распутина и др. (а их имена упоминаются в самой статье) встреча с прошлым, приобретение к родникам народной жизни, пзвечной мудрости начинают занимать главенствующее положение, становясь в центре авторского замысла.

Вернуться, чтобы увидеть прекрасное в народной жизни, вернуться, чтобы обрести историческую перспективу (ведь тот, кто забыл прошлое, лишен и будущего), — ради этого герои совершают путешествия к себе на родину, в детство. Если во «Владимирских проселках» и «Капле росы» лирика тесно переплетается с публицистикой, то в «Плотницких рассказах», «За тремя волоками», «Вниз и вверх по течению» мотив памяти углублен тонким психологизмом. В этом и заключается специфическое и общее, что роднит данных художников слова.

Несмотря на некоторые спорные положения работ Э. Моздзерской, они свежи и интересны, освещают одно из наиболее плодотворных направлений в развитии русской советской литературы, знакомят читателя с лучшими образцами современной лирической прозы.

Более спорна статья теоретического плана Станислава Порембы, в которой была предпринята не совсем удачная классификация современной русской прозы о деревне.<sup>11</sup>

В основу авторской классификации положен известный принцип деления по типу повествования с рассказчиком в первом лице и в третьем лице. И далее Ст. Поремба делит «произведения с рассказчиком в первом лице на те, в которых: 1) рассказчик выступает в роли самого писателя; 2) роман с приемом повествования в двух разновидностях: сатирико-пародийной и нейтральной... Произведения с рассказчиком в третьем лице подразделяются на те, в которых: 1) повествование ведется от имени „всевидающего“ рассказчика; 2) пове-

ствование от имени главного героя или же нескольких действующих лиц» (с. 94—95).

В подобную «стройную» систему, по мнению польского критика, можно было бы легко вписать все произведения русской прозы о деревне более чем за двадцатилетний период ее развития (последователь ограниченно 1956—1978 годами). Однако Ст. Поремба, увлекшись формальным моментом, не заметил глубинных процессов, происшедших за два десятилетия в советской литературе. В своем движении от очерковых форм середины 50-х до начала 60-х годов, когда на смену социально-публицистическому направлению пришли правствено-философские раздумья о судьбах русской деревни и крестьянства, о судьбах нации, советская литература эволюционировала. Но именно эти процессы выпали из поля зрения автора статьи. Иначе чем можно объяснить тезис Ст. Порембы о том, что роман начала 60-х годов «по-прежнему не выходит за рамки актуальных задач колхоза и района, расширяя, однако, идеологический горизонт благодаря взгляду на современность с учетом исторической перспективы, особенно периода коллективизации» (с. 103).

В литературе 40-х—начала 50-х годов — в соответствии с «теорией бесконфликтности» — стремление приукрасить действительность приводило к показу достижений отдельных хозяйств, которые выдавались за повсеместные явления. Принципиально важное достоинство прозы 60—70-х годов, по нашему мнению, заключалось в том, что на примере одной деревни (скажем, Шибанихи или Крутых Лук) или же истории одной семьи (например, Прясляных) глубоко осмыслилась общественная жизнь народа, исторической эпохи.

Часто опираясь на произведения второстепенные, не характерные для главной линии развития нашей литературы, автор обходит произведения основополагающие, без которых невозможно понимание сложных процессов литературной жизни современности. В статье широко представлено творчество М. Жестева, помы не найдем здесь имени Василия Шукшина (дважды только встретим упоминание о «Любавиных» в перечислении), нет даже простого обзора творчества Валентина Распутина. О Василии Белове Ст. Поремба пишет следующее: «Его (В. Белова, — А. Е.) литературные достижения пока что относительно невелики: они охватывают сборник рассказов, а также одну повесть под названием „Привычное дело“» (с. 102). И это писалось в 1980 году!

Критик весьма неточен в своих высказываниях о том, что «в границах влияния первой фазы — воспитательно-просветительской, господствующей до середины 60-х годов, располагаются также и более поздние произведения о деревне таких прозаиков, как Залыгин, Можаяв,

<sup>11</sup> *Poręba Stanisław. Proza o tematyce wiejskiej we współczesnej literaturze rosyjskiej. — Przegląd Humanistyczny, 1980, № 4, s. 311—320.*



Абрамов, Тендряков, — наиболее выдающихся представителей этого течения... Лучшие ее представители не избегают показа психологии героя». И далее: «Тенденция углубленного изучения психологии деревенского героя наметилась также в творчестве писателей младшего поколения: Белова, Лихоносова, Астафьева, Распутина» (с. 104; курсив мой, — А. Е.). Волею автора статьи Ф. Абрамов и В. Тендряков отнесены к старшему поколению писателей, а В. Астафьев — к младшему. Но дело вовсе не в этом и не в частых ошибках в написании имен героев, неверных датировках или неточных переводах названий произведений (например, широко известная книга Вл. Солоухина озаглавлена «Владимирские села»). В авторской концепции деформированы основные процессы развития русской советской прозы о деревне. Увлечшись формалистскими изысканиями, Ст. Поремба предпринял попытку все идейно-художественное богатство нашей литературы разместить в одной таблице (наподобие грамматических парадигм), выстраивая «стройную» систему, основанную лишь на формальных признаках.

Более удачная классификация была предпринята в статье М. В. Пилата «Современная русская советская проза о деревне. (Тенденции развития, проблематика, поэтика)».<sup>12</sup> В ней автор вслед за советскими учеными выделяет две основополагающие линии в современной прозе о деревне. Это, во-первых, «аналитическая проза, с которой связано творчество Ф. Абрамова, М. Алексеева, П. Проскурина, А. Иванова, и другая — лирическая, представителями которой являются В. Лихоносов, а также В. Белов, В. Распутин и др.» (с. 117). Польскому ученому удалось в небольшой по объему статье показать основные этапы развития прозы о деревне, начиная с творчества В. Овечкина, Г. Троепольского и до наших дней. Как известно, 60-е годы — начало подлинного расцвета прозы о русской деревне, прозы, проделавшей сложный путь от репортажно-публицистического стиля к нравственно-философскому осмыслению темы. Не случайно поэтому имену С. Залыгина, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Распутина, С. Крутилина постоянно фигурируют на страницах работы.

Есть и отдельные спорные моменты, например противопоставление В. Белова С. Залыгину на том лишь основании, что у автора «Привычного дела» на первом плане злободневные проблемы, связанные с поисками героев смысла своего существования, в то время как у С. Залыгина в повести «На Иртыше» дей-

ствие перепоется в 30-е годы, где развивается в иных общественно-политических реалиях. Но нельзя забывать, что в центре повествования события, связанные как с коренной ломкой векового экономического уклада крестьянской жизни, так и с преобразованиями нравственного и психологического плана. Кстати, к периоду коллективизации обращался и Василий Белов в своем романе «Кануны».

Вместе с тем в статье неоднократно подчеркивается условность предлагаемой классификации, способной лишь заметить некоторые пути дальнейшего изучения данной проблемы. Думается, что подобные работы концептуального, теоретического плана и в будущем займут почетное место в польской русистике.

Польская проза о деревне имеет давние и богатые традиции. Классическими давно стали романы Э. Ожешко «Над Немапом» и «Мужики» Владислава Реймонта. Развитие социалистической литературы в Польше связано с деятельностью таких писателей, как Л. Кручковский, В. Василевская, Вл. Ковальский и др., в чьих произведениях тема деревни звучит иначе, чем прежде.<sup>13</sup>

В послевоенный период эта тема получила новое звучание. Осмысление исторических судеб польской деревни и крестьянства, преобразования на селе в результате победы прогрессивных сил, земельная реформа и начало строительства социализма в Польше, проблемы экологические и нравственные — все это нашло отражение в лучших книгах современных польских прозаиков — Ю. Кавальца, Т. Новака, В. Маха и др.

Недаром А. Г. Пиотровская отмечает, что «деревенская проза», показавшая социально-нравственный облик современного крестьянства, в 60-е годы становится, пожалуй, самым значительным художественным завоеванием польской литературы.<sup>14</sup>

К сожалению, в упомянутых выше работах польских русистов сравнительному анализу двух славянских литератур не отводится места. А ведь каким интересным могло бы стать сопоставительное изучение, скажем, произведений таких советских писателей, как В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин, с творчеством выдающегося польского художника слова Юлиана Кавальца.

Изучение типологических явлений в славянских литературах становится уже насущной необходимостью, и будем надеяться, что новые исследования польских и советских ученых в этой области восполнят имеющийся пробел.

<sup>13</sup> См. подробнее: Хорев В. А. Становление социалистической литературы в Польше. М., 1979, с. 210—230.

<sup>14</sup> Пиотровская А. Г. Художественные искания современной польской литературы: Проза и поэзия 60—70-х годов. М., 1979, с. 82.

<sup>12</sup> Pílat Marek Walenty. Współczesna rosyjska proza radziecka o tematyce wiejskiej: (Tendencje rozwojowe; Problematyka; Poetyka). — Slavia Orientalis, 1983, № 1—2, s. 109—117.

## ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЕВ

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Согласно известной апофегме В. О. Ключевского, событийная канва в жизни ученого — это его мысли и его книги. Но такая установка отчуждает науку от живых людей, книги от авторов, идеи от их творцов. Интеллектуальные и духовные усилия не могут быть ни описаны, ни правильно поняты вне среды, которая их породила и на которую они воздействуют, в отрыве от страны, нации, эпохи. «Формирование интересов ученого под влиянием жизненных обстоятельств... заслуживает внимания независимо от того — большой или малый перед нами ученый, велик или скромен его вклад в науку».<sup>1</sup> «Жизненные обстоятельства» тем более важны, коль скоро речь идет о человеке, списавшем признание в нашей стране и во всем мире; о человеке, чьи филологические, историко-поэтические, историко-эстетические, историко-культурные труды переведены на английский, болгарский, венгерский, итальянский, испанский, немецкий, польский, румынский, сербохорватский, французский, чешский, японский языки; о человеке, который стал символом благородного движения за охрану памятников старинной и новой культуры, за патристическое воспитание истории, — об академике Д. С. Лихачеве.

В данном случае одно из определяющих «жизненных обстоятельств» — его кровная и непреходящая связь с Ленинградом. Здесь 15 (28) ноября 1906 года Д. С. Лихачев родился (в семье инженера-электрика, который много работал в издательствах, в том числе на Печатном Дворе; отсюда — раннее знакомство Лихачева-сына с издательским и типографским делом и любовь к нему). Здесь Д. С. Лихачев учился, сначала на Васильевском острове в знаменитой гимназии К. И. Мая, где его одноклассниками были маленькие Шалапыны и Бенуа, а потом, после революции, в знаменитой же «Лентовке» на Петроградской стороне. Устроенная иждивением театрального антрепренера Лентовской, школа эта была детским революцией 1905—1907 годов и приютом преподавателей-вольнодумцев, увлеченных за неблагонадежность с казенной

службы. «Лентовка» славилась и левизной, и талантами наставников. В 20-е годы словесности учил здесь Л. В. Георг, одаренный «всеми качествами идеального педагога».<sup>2</sup> С его уроков и начался филологический путь Д. С. Лихачева.

Для российского юношества литература — самый любимый предмет (ей, по новейшим социологическим исследованиям, отдает пальму первенства половина учащихся; следующие по степени популярности предметы, математику и историю, предпочитают соответственно 27 и 25 процентов школьников).<sup>3</sup> Учитель словесности был и остается властителем дум, если, конечно, он не чинуша и не посредственность, а личность, если он такой, каким был Л. В. Георг. При нем «Лентовка», она же 190-я трудовая школа, прямо-таки жила литературой. Тут не просто прививали любовь к хорошей книге, тут пробуждали мысль и побуждали к творчеству. Импульсы «Лентовки» и полвека спустя оказывают себя в научных трудах Д. С. Лихачева.

Свидетельство тому — статья «Из комментария к стихотворению А. Блока „Ночь, улица, фонарь, аптека...“».<sup>4</sup> В ней трагическая абстракция художника «вписана» в достоверное социально-историческое и бытовое пространство, в реально-призрачные улицы и каналы того великого города, который мы представляем себе по Ф. М. Достоевскому, М. В. Добужинскому, А. А. Ахматовой. Филологу здесь не пришлось преодолевать временную, а значит, и эстетическую дистанцию между поэтом и комментатором: статья восходит к давней, «лентовской» поры, вечерней прогулке Лихачева-школьника и Е. П. Иванова, который рассказывал юному спутнику о своем только что умершем друге Блоке. Как и другие «взрослые» петроград-

<sup>2</sup> Аврора, 1981, № 9, с. 100 (из очерка, которым Д. С. Лихачев почтил память своего учителя).

<sup>3</sup> Рабочая программа по литературе для средней общеобразовательной школы / Министерство просвещения РСФСР, Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. Л., 1986, с. 4.

<sup>4</sup> Лихачев Д. С. Литература — Реальность — Литература. Л., 1981, с. 166—172.

<sup>1</sup> Лихачев Д. С. Прошлое — будущее: Статьи и очерки. Л., 1985, с. 13.





ды, Е. П. Иванов выступал на занятиях школьных литературных кружков. Они играли роль своего рода просеминария, готовившего в университет.

Это был, конечно, Ленинградский университет, который Д. С. Лихачев окончил в 1928 году одновременно по двум отделениям, романо-германскому и славяно-русскому, написав два дипломных сочинения: о Шекспире в России (конец XVIII—начало XIX века) и о повестях о патриархе Никоне. Сотрясаемый скороспелыми реформами, университет переживал тогда не лучшие времена. Все же он дал многого: филологические навыки, привычку к архивам, умение «медленного чтения» (в семинариях по английской поэзии у В. М. Жирмунского и по Пушкину у Л. В. Щербы), без чего недостижимо адекватное понимание текстов. Но специализация определилась гораздо позднее, через 10 лет, когда Д. С. Лихачев работал в издательстве Академии наук СССР.

«В 1937 г. я редактировал и корректировал „Обозрение русских летописных сводов“ А. А. Шахматова, которое издавала В. П. Адрианова-Перетц. Я увлекся работой по летописанию, проверкой всех данных шахматовской рукописи и в конце концов попросил у Варвары Павловны дать мне работу в отделе древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Перевод быстро осуществился, и с этого времени началась моя работа как специалиста по древнерусской литературе.<sup>5</sup> С той поры и доныне Д. С. Лихачев — сотрудник Пушкинского Дома, где с 1954 года он возглавляет сектор древнерусской литературы.

В Ленинграде Д. С. Лихачев с семьей пережил первую и самую страшную блокадную зиму, схоронив отца и многих близких людей. Блокада укрепила Д. С. Лихачева в верности Древней Руси: Великая Отечественная война освятила тему Отечества. Защищать его помогали народу русская история и русская литература. В 1942 году вместе с искусствоведом М. А. Тихановой Д. С. Лихачев писал книжку «Оборона древнерусских городов» — еле живой от голода, он не в силах был встать из-за письменного стола, чтобы взять с полки нужный том. Это было поручение Смольного. Героические типографские работницы набрали книжку, сброшюровали ее, переплели — и считанные дни спустя «Оборону древнерусских городов» раздавали в блиндажах и в окопах на переднем крае обороны Ленинграда.

Так «жизненные обстоятельства» сдвинули Петербург—Петроград—Ленинград

постоянным персонажем творчества Д. С. Лихачева. Он писал о Петре I, вскрывая культурный смысл его преобразования;<sup>6</sup> о Пушкине и Достоевском, великих «строителях» Петербурга, ибо Северную Пальмиру строили не одни каменщики и архитекторы, но и поэты;<sup>7</sup> о людях, прославивших город, о его ансамблях, садах и парках.<sup>8</sup> Это не просто любовь к родным пенатам. Это не просто тема, но и проблема, касающаяся самопознания русской культуры. В самом деле: отчего этот город, «окно в Европу», символ «России молодой», был и остается центром собирания древнерусских рукописей, центром изучения Древней Руси?

На этот вопрос Д. С. Лихачев отвечал в печати и в устных выступлениях, показав, что парадокс здесь мнимый. В лапидарном изложении мысль Д. С. Лихачева такова. Основанием новой столицы Петр I демонстрировал смену культурного статуса, означил переход от Средневековья к Новому времени. Отсюда выбор места — на балтийском взморье, на крайнем северо-западе страны, отсюда и нерусское название. Но разрыва с национальной традицией не произошло: «петербургской идеей» стала идея долга перед Русью, перед крестьянами, которым строительство Северной Пальмиры обошлось столь дорого. Долг платежом красен, и не случайно поэтому и очень сильна крестьянская, демократическая, оппозиционная струя в петербургской культуре — Кольцов, народный поэт Некрасов, Лесков, ранний Есенин... Петербург вырос на окраине, но это не чужая сторона, это исконок веку наша земля, входившая в Вотскую пятину Господина Великого Новгорода (устье Невы лишь на сто лет — от Смуты до Северной войны — было отторгнуто шведами). Название «Васильевский остров»,

<sup>6</sup> Петровские реформы и развитие русской культуры. — Новости ЮНЕСКО: Информ. бюлл., 1975, № 1, с. 10—16.

<sup>7</sup> См.: Лихачев Д. С. 1) «Сады Лидея». — В кн.: Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979, т. 9, с. 188—194; 2) «Предисловный рассказ» Достоевского. — В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы: Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971, с. 189—194; 3) «Небрежение словом» у Достоевского. — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1976, т. 2, с. 30—41.

<sup>8</sup> См.: Дмитрий Сергеевич Лихачев / Вступ. статья В. П. Адриановой-Перетц и М. А. Салминой; Библиография сост. М. А. Салминой и Г. Н. Финашиной. 2-е изд., доп. М., 1977 (Материалы библиограф. ученых СССР. Серия лит. и яз., вып. 11). Более поздние работы на ленинградскую тему см., в частности, в книгах, названных в примечаниях 1 и 4.

<sup>5</sup> Лихачев Д. С. Прошлое — будущему, с. 29—30.

которое городская легенда возводит к петровскому офицеру «Василью на острове», на самом деле восходит к имени одного из новгородских посадников XV века. За Петербургом — «...весь Русский Север с его фольклором, народным искусством, народной архитектурой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду... В старом Петрограде... можно было почувствовать пародное веселье и красоту народного искусства, привозимого сюда из всего Заонежья».<sup>9</sup>

Темой кандидатской диссертации, защищенной Д. С. Лихачевым в Ленинграде за десять дней до начала войны, стала севернорусская тема: «Новгородские летописные своды XII века».

Кандидатская работа, считает Д. С. Лихачев, играет особую роль в жизни ученого. Подготавливая ее, он надолго или навсегда определяет свои научные интересы и методику. Это в полной мере относится к диссертации о новгородских сводах, импульсы которой оказались долговечными и плодотворными. Начав с частного аспекта летописания, Д. С. Лихачев потом охватил «летописное поле» на всем его громадном географическом и хронологическом протяжении.<sup>10</sup> В итоге — принципиальное изменение схемы А. А. Шахматова. Его гипотезе о Древнейшем своде (начало XI века) как первооснове киевского летописания Д. С. Лихачев противопоставил гипотезу, по которой летописание родилось со «Сказания о распространении христианства на Руси» (40-е годы XI века). Д. С. Лихачев провел также эстетический и жанровый анализ летописи. Эти повзвдн суммированы в классическом труде «Повесть временных лет» (1950 год, совместно с Б. А. Романовым). Иной импульс диссертации 1941 года касается текстологии.

Эта дисциплина, называемая также критикой текста, долгое время понималась как вспомогательная и прикладная, как сумма практических приемов, используемых при подготовке памятника к научному изданию. Прикладничество стало причиной наметившегося к началу XX века кризиса европейской текстологии. Ее третировали как ремесленничество (всякий прилежный публикатор при минимуме специальной выучки в силах справиться с делом); по отношению к ней выказывали скепсис и даже высокомерие. Отчего?

Публикаторы XIX века зашмались реконструкциями первоначального тек-

ста памятников, созданных на разных языках, в разное время, в разной среде, — это Новый Завет и «Роман о Розе», песнь о Нибелунгах, античные хроники, «Сказание о Троянской войне» и рыцарские романы Кретьена де Труа. Естественно, что рукописная традиция этих памятников чрезвычайно разнообразна (это касается количества дошедших списков, их временного отстояния от оригинала и друг от друга и проч.). Между тем подавляющее большинство обосновывающих реконструкции стемм (таблиц генеалогического соотношения списков) удручающе однообразно: по конструкции стеммы почти всегда дихотомичны, «парновестивы». Такое однообразие — смертный приговор текстологическим концепциям, лежавшим в основании реконструкций, — концепциям «общих ошибок», «сходных мест», «многократных и однократных разночтений». Дело в том, что вероятность естественного подобия десятков и сотен генеалогических стемм ничтожно мала. Это «невероятная вероятность». Значит, негодна методика. Значит, ученые умозрения искажают реальность.

Д. С. Лихачев, основываясь и на собственной практике,<sup>11</sup> и на практике предшественников (прежде всего А. А. Шахматова и школы В. Н. Перетца), в фундаментальной и одновременно блистательной и увлекательной «Текстологии» (М.; Л., 1962)<sup>12</sup> сумел и объяснить, и преодолеть кризис «классической» критики текста. «История текста произведения есть изучение произведения в аспекте его истории. Это исторический взгляд на произведение, изучение его в динамике, а не в статике... Исторический подход отнюдь не освобождает текстолога от кропотливого сличения списков, выявления внешних различий, составления генеалогических таблиц (или стемм), но он требует, чтобы работа текстолога этим не ограничивалась».

Ныне эти идеи разделяют все мало-мальски серьезные медиевисты. «Текстология» тотчас по выходе была признана и стала настольной книгой. Если и раздавались критические голоса, то это были голоса людей, занимавшихся новой литературой, привыкших не к памятникам, а к писателям — с их черновыми и беловыми автографами, с писарскими, наборными, цензурными рукописями, с корректурными оттисками и т. п. Критики забывали о специфике древнерусского эстетического кода. Новое время ориентировано на личность.

<sup>9</sup> Лихачев Д. С. Прошлое — будущему, с. 15.

<sup>10</sup> Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947 (эта монография — сильно сокращенный и для нужд популяризации облегченный вариант докторской диссертации «Очерки по истории литературных форм летописания XI—XVI вв.»).

<sup>11</sup> См., например: Лихачев Д. С. Повести о Николe Зараском. — ТОДРЛ, 1949, т. 7, с. 257—406.

<sup>12</sup> Второе изд. вышло в 1983 году. См. также «прикладной» вариант книги: Лихачев Д. С. Текстология. Краткий очерк. М.; Л., 1964.

т. е. на авторский, фиксированный текст. Он неотчуждаем от создателя и противится чуждому вмешательству, включая вызванную внелитературными обстоятельствами самоцензуру.

Что до средних веков, они исповедуют иной, схожий с устной поэзией принцип: произведение не составляет собственности. Точнее, оно составляет всеобщую собственность. Отсюда — равноправие автора и переписчиков, оригинала и последующих редакций и вариантов, при том, что они могут быть художественно неравноценными.

Триумф «Текстологии» обеспечила прежде всего верность ее установок. Они верифицированы четвертьвековой работой учеников и учеников учеников Д. С. Лихачева. По его принципам изучены и изданы десятки памятников — «Сказание о князьях Владимирских», «Повести о начале Москвы», «Новая повесть о преславном Российском царстве», севернорусские жития, хронографы, «Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о Довмонте», «Повесть о царе Аггее» и др. В «Текстологии» есть и нравственный аспект. Она не просто призывает к объективности. Она делает невозможной субъективность.

Повышение статуса текстологии, за которое ратовал Д. С. Лихачев, не означало ее изоляции. Напротив, история текста «очеловечивалась» и тем самым сближалась с историей литературы. Медиевистика долго довольствовалась хроникой памятников — так строились и дореволюционные, и пореволюционные университетские курсы. Памятники анализировались преимущественно как иллюстрация к русской истории, как «источник». Традиция эстетического рассмотрения, разумеется, существовала (достаточно вспомнить Ф. И. Буслаева, а из наших современников — И. П. Еремину), однако оставалась факультативной. Надлежало и ей придать новый статус.

Д. С. Лихачеву принадлежат эстетические монографии о «Повести временных лет», митрополите Иларионе, Владимире Мономахе, Данииле Заточнике, «Повести о разорении Рязани», «Задонщине», сочинениях Ивана Грозного и протопопа Аввакума, «Повести о Тверском Отроче монастыре» и, конечно, о «Слове о полку Игореве».<sup>13</sup> В результате произведенных, созданных столетия тому назад, заговорили на языке, который находит живой отклик у читателя наших дней. Диапазон эстетических разборов предельно широк, как по хронологии, так и по жанрам. Это позволило Д. С. Лихачеву сосредоточить-

ся на проблемах исторической эстетики и поэтики.

Трудность состояла в том, что после Батыева нашествия русское искусство шло своей дорогой, не повторявшей западноевропейскую. Если применительно к домонгольскому периоду можно говорить о романском стиле, если в XVII веке Москва узнает и усваивает барокко, то как эстетически описать почти полутысячелетний промежуток, заполненный на Западе готикой, Ренессансом, маэризмом? Какую методику надлежит применить к стилистическим формациям Руси?

Выход был найден на плодотворном пути «очеловечивания» памятников. В 1958 году вышла книга «Человек в литературе Древней Руси» (цитаты даются по 2-му изданию 1970 года). Она и начинается XVII веком, и заканчивается им. Такая обрамляющая конструкция наглядно подчеркивает эстетическую разницу между новой Россией (XVII век — переходная эпоха) и Древней Русью. Д. С. Лихачев показал, что «начало XVII в. было временем, когда человеческий характер был впервые „открыт“ для исторических писателей, предстал перед ними как нечто сложное и противоречивое. До XVII в. проблема „характера“ вообще не стояла в повествовательной литературе» (с. 7—8). Итак, рубеж обозначен — теперь можно перейти к таксономии и к истории национальных стилистических формаций.

Искусство XI—XIII веков — искусство «монументального историзма», которое не интересуется индивидуальностью персонажа, но изображает его в церемониальных, «геральдических» положениях, воплощая в монументальных формах идеалы чести и славы. Далее последовательно анализируются экспрессивно-эмоциональный стиль конца XIV—XV века, «психологическая умиротворенность» XV века, «идеализирующая биографизм XVI века» (впоследствии этот стиль получил иную дефиницию — «второй монументализм»). И — возвращение к XVII веку, когда зарождалась и формировались литературные направления и художественные школы, когда — в барочных кулисах — Московское государство усваивало ренессансные идеи и темы.

Впервые древнерусская литература предстала в процессе постоянного, притом качественного обновления. Книга не завязывала жестких схем, не закрывала проблему стилистических формаций; напротив, она ее открывала. Насколько благодарной может быть работа в этом направлении, показала «Поэтика древнерусской литературы» (1967).<sup>14</sup> В ней подвергнуты обсуждению многие казавшиеся неизблемыми аксиомы. Од-

<sup>13</sup> См.: Лихачев Д. С. 1) Великое нашествие. 2-е изд., доп. М., 1980; 2) «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978 (на с. 343—345 см. библиографию работ автора по «Слову»).

<sup>14</sup> Удостоена Государственной премии СССР в 1969 году. Цитаты даются по 2-му изд. (Л., 1971).

на из них касается пресловутой «национальной замкнутости» Древней Руси, в чем нимало не сомневались ни славянофилы, ни западники (расходясь, конечно, в оценках). Это оказалось заблуждением. «В пределах до XVII в. мы можем говорить о совершенно обратном — об отсутствии в ней [литературе] четких национальных границ. Мы можем с полным основанием говорить об общности развития литератур восточных и южных славян. Существовали единая литература, единая письменность и единый литературный (церковнославянский) язык у восточных славян (русских, украинцев и белорусов), у болгар, у сербов, у румын. Основной фонд церковнолитературных памятников был общим» (с. 6). Позже этот общий фонд был определен как «литература-посредница». С момента возникновения письменности Русь была «европеизированной» страной. Иное дело, что менялась культурная ориентация. Сначала это была ориентация на южных славян и Византию (страну европейскую по географии и по культуре). С XVII века их роль переняла Польша, при Петре I — Голландия и Англия, со второй трети XVIII века — Франция.

Развенчание прежней аксиоматики — момент негативный. Между тем «Поэтика» по замыслу и исполнению глубоко позитивна (недаром ею порождены выдающиеся «спутники» — такие, например, как книги по средневековой эстетике В. В. Бычкова и «Поэтика ранневизантийской литературы» С. С. Аверинцева). Д. С. Лихачев разработал здесь ряд фундаментальных концепций, в частности концепцию древнерусских жанров и концепцию литературного этикета. Обратимся к последней.

Этикет не штамп, и это не простая замена слов. Этикет основывается на традиции, которую средневековые ставило выше новизны. Древнерусская литература не занималась бытом, ибо не ценила сиюминутного, бренного, преходящего. В земной жизни ее привлекали «отблески вечности», поэтому она серьезна и торжественна. Она воздействует не на интеллект, а на дух, предлагает сумму нравственных идей и поэтому не стремится поразить неожиданностью. Древнерусский писатель пользуется этикетными формулами, дабы читатель тотчас опознал, в какой художественной и этической ситуации он находится.

В диахроническом плане историко-поэтические концепции Д. С. Лихачева изложены в книге «Развитие русской литературы X—XVII веков» (Л., 1973). Здесь, по словам автора, даются «некоторые обобщения для построения будущей теоретической истории русской литературы X—XVII вв.» (с. 3). И в

этой книге, и в других трудах Д. С. Лихачева эта «теоретическая история» в значительной мере уже построена.

Искусство Древней Руси — синтетическое искусство, объединяющее слово и музыку, движение, живопись и архитектуру. Заслуга Д. С. Лихачева — в том, что он по мере возможности пытается достичь и научного синтеза. Его перу принадлежат многочисленные работы по фольклору; он много и успешно занимался древнерусской живописью,<sup>15</sup> хотя с присущим ему тактом никогда не навязывал искусствоведам своих мнений. И, главное, Д. С. Лихачев стремится расшифровать «язык культуры», а язык, даже если он не пользуется фонемами и литерами, всегда остается в ведении филологии. В этом плане значительны работы «Смех как мировоззрение»<sup>16</sup> и «Поэзия садов» (Л., 1982).

Слово «гуманитарий» — не только указание на сферу профессиональных интересов. Гуманитарий обязан создавать гуманистические, необходимые современному человеку ценности. Открытость научного творчества в высокой степени присуща Д. С. Лихачеву. Он инициатор и участник множества начинаний, адресованных самой широкой аудитории. Это учебники, фильмы, серийные издания, реставрационные проекты. . . История культуры, как известно, есть не только история достижений, но также история утрат. Мы ощущаем насущную нужду в воскрешении ценностей, накопленных нашими предками, — тех святых, которыми творилась и поддерживалась Россия как духовная сила. Процесс включения этих ценностей в нашу культуру продолжается и набирает силу. Решающую роль в этом процессе играет Д. С. Лихачев.

Когда мы говорим, что жизнь человека — исполнение долга, мы произносим эти слова как истину, не требующую доказательств. Между тем наши предки о таких доказательствах размышляли. Они полагали, что человек рождается должником, как бы взявшим нечто взаймы у семьи, народа, Отечества. Потом он всю жизнь платит долг. Жизнь и творчество Дмитрия Сергеевича Лихачева и есть исполнение долга перед отечественной наукой и культурой.

<sup>15</sup> Лихачев Д. С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого: (конец XIV—начало XV в.). М.; Л., 1962; Лихачева В. Д., Лихачев Д. С. Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1971.

<sup>16</sup> См.: Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.



## ПАМЯТИ МИХАИЛА БОРИСОВИЧА ХРАПЧЕНКО

Советская филологическая наука понесла тяжелую утрату. 15 апреля 1986 года скоропостижно скончался выдающийся русский советский литературовед, лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического Труда, академик-секретарь отделения литературы и языка Академии наук СССР Михаил Борисович Храпченко.

С 1963 года — более двадцати лет — Михаил Борисович Храпченко руководил всей огромной работой, проводимой Академией наук СССР в области литературоведения и языкознания. Забота о всемерном совершенствовании и развитии советской филологической науки, глубина научного поиска, чувство ответственности перед партией и народом, взыскательность и принципиальность, проявленные им на этом высоком и ответственном посту, списали ему любовь и уважение всех тех, кому пришлось близко знать его и работать под его руководством.

Михаил Борисович Храпченко родился 8 (21) ноября 1904 года в деревне Чижовка Рославльского уезда Смоленской области в крестьянской семье. После окончания школы в 1920 году он поступил на педагогический факультет Смоленского государственного университета, только что открытого по указанию В. И. Ленина. По окончании словесно-исторического отделения университета с 1924 по 1926 год преподавал историю и литературу в школе на станции Крыловская на Кубани.

В 1926 году М. Б. Храпченко поступил в Москве в аспирантуру Института литературы РАНИОН (Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук). Учение в аспирантуре, как и прежде пребывание в высшей школе, он совмещал с интенсивной трудовой и общественной деятельностью. В Москве он преподавал в средней школе, затем в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. В 1927 году в журнале «На литературном посту» появляются первые теоретико-литературные статьи М. Б. Храпченко, посвященные вопросам поэтики — «К проблеме стиля» и «О смене стилей». Идеям представителей тогдашней «формальной школы» молодой ученый стремился противопоставить задачу творческого построения поэтики на иной, историко-социологической основе. В 1928 году М. Б. Храп-

ченко вступил в Коммунистическую партию СССР.

После окончания аспирантуры М. Б. Храпченко был в 1929 году направлен в Воронежский государственный университет, где работал доцентом, заведующим отделением литературы и языка. Одновременно он вел напряженную научно-исследовательскую работу в области советской литературы, истории русского литературоведения, теории литературы, активно выступает в печати в качестве литературного критика. В 1931 году он возвращается в Москву, где работает в Институте литературы и искусства Коммунистической академии. С 1932 года — заведующий кафедрой русской литературы, позднее — заместитель директора и исполняющий обязанности директора Института красной профессуры в Москве.

С 1938 по 1948 год — десять лет — М. Б. Храпченко находился на ответственной государственной работе. Вначале он был заместителем председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР, а с 1939 года его председателем. В годы Великой Отечественной войны на плечи М. Б. Храпченко легло трудное и ответственное дело руководства советским театром, музейным делом, всей советской культурой и искусством. В 1941 году он принимал непосредственное участие в организации эвакуации и выработке условий, необходимых для успешного сохранения в трудной обстановке военного времени сокровищ ленинградского Эрмитажа. Участие в государственной работе в труднейших условиях Отечественной войны и в первые послевоенные годы явилось для М. Б. Храпченко огромной жизненной школой. Оно навсегда воспитало в нем чувство глубочайшей ответственности за порученное дело, большую государственную мудрость, научило его внимательному отношению к культурным учреждениям и деятелям искусства, помогло выработать свойственный ему до конца жизни глубокий и искренний демократизм, изыскательность к своему и чужому труду, соединенную с вниманием и уважением к людям труда, науки и искусства.

С 1948 по 1963 год М. Б. Храпченко был научным сотрудником ИМЛИ АН СССР им. А. М. Горького. Свой вклад он внес в работу Академии общественных наук при ЦК КПСС. Пя-

тидесятые—восьмидесятые годы — период расцвета его научной деятельности. В 1958 году он избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1966 году действительным членом Академии. С 1957 по 1963 год М. Б. Храпченко был заместителем академика-секретаря отделения литературы и языка АН СССР, с 1963 по 1967 выполнял обязанности академика-секретаря, а с 1967 года до конца жизни бессменно занимал пост академика-секретаря ОЛЯ, являясь одновременно членом президиума Академии наук СССР. Он был избран также почетным членом Академии наук Венгерской Народной Республики, иностранным членом Академии наук Народной Республики Болгария и Академии наук ГДР, почетным доктором Варшавского университета и Карлова университета в Праге.

В 1970 году М. Б. Храпченко стал президентом созданной тогда же международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

Уже в довоенные годы М. Б. Храпченко получил признание как один из крупнейших советских исследователей творчества Гоголя. Его книга «Н. В. Гоголь» (М., 1936) положила начало постоянной, длительной и плодотворной работе М. Б. Храпченко над изучением творчества писателя, который оставался для него одним из любимых до конца жизни и продолжал вызывать пытливый исследовательский интерес. Завершением этой линии научной деятельности ученого явилась книга «Н. В. Гоголь. Литературный путь, величие писателя», составившая первый том Собрания сочинений М. Б. Храпченко в 4-х томах (1980—1982). Вторым его фундаментальным трудом явилась книга «Лев Толстой как художник» (1963), выдержавшая несколько изданий. Обе эти книги принадлежат к тем выдающимся трудам советских литературоведов, посвященных русской классической литературе XIX века, без знания которых сегодня невозможно понять основные черты своеобразия русской классики и причины ее мирового значения. Но вершиной научного творчества М. Б. Храпченко стали его теоретические труды — «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы» (1970; Ленинская премия 1974 года), «Художественное творчество, действительность, человек» (1976; Государственная премия 1980 года) и «Горизонты художественного образа» (1982). В этих трех работах широко и разносторонне освещены наиболее важные, принципиальные вопросы современной марксистско-ленинской истории и теории литературы, намечены пути ее дальнейшего развития и совершенствования. Богатство и широта теоретических обобщений, смелость и острота постановки насущных проблем развития современной филологической науки, оригинальность и нова-

торство в их решении блестяще сочетаются в трех названных итоговых работах М. Б. Храпченко с углубленным вниманием к историко-литературному процессу, пониманием его глубинных исторических закономерностей, его своеобразия в условиях каждой страны и эпохи, неповторимости и уникальности каждого крупного художника и его творений. Вопрос о природе художественного образа, его смысловом, эмоциональном и нравственном содержании, историзм в понимании всех элементов структуры художественного произведения, проблемы традиций и новаторства, закономерностей развития литературы в прошлом, глубочайшее воздействие Октября на всю человеческую культуру, проблемы социалистической литературы и социалистического реализма, вопросы о прогрессе и преемственности в литературе, понятие художественной ценности, взаимоотношение национального и общечеловеческого в художественном творчестве связаны здесь в единый, нераздельный узел. Прошлое выступает в контексте живой современности, а современность в неразрывном единстве с прошлым и будущим.

«Горизонты художественного образа, — прекрасно писал М. Б. Храпченко в своей последней книге, — это и современная жизнь человечества во всем ее безграничном многообразии, это и история с ее завоеваниями и драмами, это и будущее общество, в которое проникает человеческий взор, это мир бурного сопротивления новому и горячее стремление людей к преобразованию социального порядка и самих себя, построение справедливого общественного строя. Горизонты художественного образа — это необъятные просторы живой жизни, созидания».<sup>1</sup> Эти глубокие слова можно рассматривать сегодня как завет М. Б. Храпченко, обращенный к его ученикам и преемникам, ко всей советской литературоведческой науке наших дней. Они созвучны тем высоким задачам и целям, которые поставил перед нашим искусством и литературой XXVII съезд КПСС.

Своей человеческой и творческой биографией, своей благородной научной деятельностью М. Б. Храпченко показал, что нет и не может быть подлинной науки без глубокой гражданственности, патриотизма, эмоциональной страстности, верности идеалам социалистического интернационализма и гуманизма, живого ощущения потребностей и интересов сегодняшнего и завтрашнего для народа, общества, человечества.

М. Б. Храпченко уделял большое внимание работе Пушкинского Дома, постоянно и настойчиво заботился о повышении ее научной значимости и идеологической насыщенности, принимал ак-

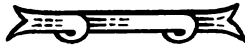
<sup>1</sup> Храпченко М. Б. Горизонты художественного образа. М., 1982, с. 105.

тивное участие в научной деятельности нашего института. Он был главным редактором Полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова, членом редколлегии Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в 30-ти томах, издающихся Пушкинским Домом. Придавая исключительное значение работе над подготовкой академических изданий классиков русской и советской литературы, он проявлял постоянную заботу об их полноте и высоком научном уровне и считал, что от качества этих изданий во многом зависит авторитет советской филологической науки за рубежом. Столь же внимательно М. Б. Храпченко относился и к работе сотрудников Пушкинского Дома в области изучения древнерусской литературы, литературы XVIII и XIX веков и литературы советской, проблемам «Свода русского фольклора», работе рукописного отдела и музея Пушкинского Дома. Многие важнейшие решения ОЛЯ АН СССР,

регулирующие работу Института русской литературы, определяющие направление его работы, его задачи и перспективы были приняты под руководством М. Б. Храпченко, часто — по его инициативе.

Вместе со всеми работниками советской филологической науки, культуры и литературы редакция журнала «Русская литература», дирекция Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР и весь коллектив его сотрудников выражают глубокую скорбь в связи с кончиной М. Б. Храпченко. Его облик ученого-коммуниста, беззаветно преданного партии и народу, навсегда сохранится в наших сердцах. Выдвинутые им новые методологические идеи, научные открытия и обоснованные им научные направления мы постараемся творчески развить и использовать в нашей работе для дела мира и социализма.

*Г. М. Фридендер*



## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

### УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Во 2-м номере журнала «Русская литература» за 1985 год напечатана статья А. А. Горелова «К итогам дискуссии об историзме былины». В статье приведены неверные сведения о былинах, представленные автором статьи в качестве «опровержения» противоположных, *верных* сведений, приводившихся мной в рамках упомянутой дискуссии.

Говоря о роли древнего Новгорода в истории былинного эпоса, я остановился в своей статье на переосмыслении в Новгородской земле древних героических сказаний и песен Южной Руси — о чем, в частности, свидетельствует «само традиционное начало былины: „Во стоыльном городе во Киеве...“. Естественно, — продолжал я, — что в самом Киеве с таким зачином песни не исполнялись; в былинах, где место действия — Новгород, аналогичного зачина о Новгороде обычно нет».<sup>1</sup>

Прочитав это мое высказывание как пример «текстологических недоработок», А. А. Горелов написал: «... дело обстоит как раз наоборот: новгородские былины, действие которых протекает в Новгороде, *обычно* начинаются словами „В славном великом Новеграде...“». Приведя еще 6 примеров подобного зачина — в былинах о Василии Буслаеве и о Садко и в скоморошине о госте Терентии, А. А. Горелов дал отсылку к страницам книги «Новгородские былины» (М., 1978).<sup>2</sup>

Взяв в руки саму книгу, можно убедиться в ложности подчеркнутого А. А. Гореловым утверждения и в истинности моих сведений.<sup>3</sup> Названная книга содержит 26 текстов былины о Василии Буслаеве, 27 текстов былины о Садко и 2 текста скоморошины о госте Терентии. Из этих 55 текстов только 12 имеют

такой зачин.<sup>4</sup> Свыше 70% текстов этих былин не только не содержат подобного зачина, но и совсем не упоминают в начале Новгород (сходно обстоит дело с вариантами, которые в книгу не вошли).<sup>5</sup>

Совершенно невозможно было это не заметить: чтобы отыскать в книге те 7 зачинов, которые А. А. Горелов процитировал, нужно было перелистать ее всю (последняя приведенная им цитата взята из предпоследнего текста книги). Следовательно, автор итоговой статьи знал, что его утверждение, явившееся единственным основанием брошенного мне упрека в «текстологических недоработках», представляет собой дезинформацию.

Не задерживаясь на аспекте научно-эпического — как мне кажется, достаточно ясном, — подчеркну важность вос-

<sup>4</sup> Это № 1, 2, 6, 7, 14, 16, 23, 24, 27, 28, 38, 72 (подчеркнуты номера текстов, зачины которых цитировал А. А. Горелов).

<sup>5</sup> Упоминания о Новгороде в начальном стихе содержат № 4, 19, 40. Библиографии всех вариантов приведены в названной книге на с. 362, 388, 445. Привожу сведения по вариантам, которые не вошли в нее (пользуясь принятыми в этом издании условными сокращениями). Всего это 66 текстов, из них только 21 имеет зачин, о котором идет речь: Рыбников, № 17, 66; Гильфердинг, № 2, 146; Тихонравов—Миллер, № 64; Ончуков, № 28; Соколов—Чичеров, № 136, 137, 145, 174; Астахова, II, прилож. I, № 4; Липец, 1951, с. 223—240; Крюкова, II, № 77, 78; БП и ЗБ, № 31, 85, 85а, 86, 86а; ПФМ, № 223; РФ, т. XVI, с. 120—121. Не имеют такого зачина остальные 45 текстов — Киреевский, вып. V, с. 3—8, 8—14; вып. VII, с. 48—51; Рыбников, № 18, 64, 65, 72, 124, 125, 156; Гильфердинг, № 30, 44, 259, 284; Тихонравов—Миллер, № 61, 62, 63; Григорьев, № 307, 322, 300; Ончуков, № 11, 48, 55, 70, 74, 97; БН и НЗ, № 93, 94; Марков—Маслов—Богословский, I, № 17; Озаровская, с. 112; Соколов—Чичеров, № 25, 26, 256, 259; Конашков, № 18, 18а; Астахова, I, № 50, 94; II, № 102, 115, прилож. II, № 1; Шуф, с. 231—232; БП и ЗБ, № 18, 87; ПФМ, № 224.

<sup>1</sup> Азбелев С. Н. Народный эпос и история: (К изучению национального своеобразия). — Русская литература, 1983, № 2, с. 112.

<sup>2</sup> Русская литература, 1985, № 2, с. 97.

<sup>3</sup> Основное значение слова «обычно» — «чаще всего» (Ожегов С. И. Словарь русского языка. 16-е изд., испр. М., 1984, с. 378).

становления истины в собственно научном отношении.

Поскольку собиратели уже не застали былины в самом Новгороде и близлежащих местах, а записали их преимущественно в отдаленных от него частях древней Новгородской земли, зачин о Новгороде логически правомерен во

всех случаях, когда Новгород является местом действия былины. Однако текстов с таким зачином сравнительно мало.

Прошу напечатать это мое письмо на страницах журнала «Русская литература».

**С. Н. Азбелев**



## ПОСТСКРИПТУМ К ДИСКУССИИ ОБ ИСТОРИЗМЕ БЫЛИН

Целями фольклористических дискуссий всегда были: проверка прочности аргументов, на которых возводятся современные концепции, гипотезы, совершенствование методики и приемов анализа, предложение новых, перспективных направлений научного исследования, приближающих нас к истине. Год назад, по необходимости сжато характеризуя основные итоги дискуссии об историзме былин, развивавшейся на страницах журнала «Русская литература» (с № 2 за 1983 год по № 2 за 1985 год) в течение двух лет,<sup>1</sup> я обмолвился, в частности, о некоторых текстологических недоработках, очевидных для читателя статьи С. Н. Азбелева «Народный эпос и история (к изучению национального своеобразия)».<sup>2</sup> Мое высказывание вызвало появление в редакции «Русской литературы» публикуемого выше письма. Автор разъясняет читателю, что я привожу «неверные сведения о былинах», представляя их «в качестве „опровержения“ противоположных, *верных* сведений». С. Н. Азбелев настаивает на «ложности подчеркнутого А. А. Гореловым утверждения» о том, что (далее идут мои слова из упомянутой итоговой статьи) «новгородские былины, действие которых протекает в Новгороде, *обычно* начинаются словами „Во славном великом Новеграде...“». Автор письма афиширует «истинность» своих «сведений», и производит довольно простые статистические исчисления, раскрывающие всем, что критика А. А. Горелова «представляет собой дезинформацию».

Поскольку автор письма, «не задерживаясь на аспекте научно-этическом», «достаточно ясно» для него, подчеркивает первостепенную «важность восстановления истины в собственно научном отношении», попытаюсь пойти ему навстречу, не гарантируя, впрочем, полного отказа от «научно-этического» аспекта рассмотрения высказываний С. Н. Азбелева: ведь слово «дезинформация» — это не только «введение в заблуждение ложной информацией», как

предлагал его толковать лаконичный С. И. Ожегов,<sup>3</sup> но это и «заведомо неверная, ложная информация».<sup>4</sup>

Налицо тяжкое обвинение.

Обвинение не из тех, что высказываются сгоряча, ибо вызревало оно почти целый год и еще неделю, притом для опровержения «неверных сведений» А. А. Горелова был привлечен способный подавить объемом материал, о знании которого должна свидетельствовать обширная библиография в пункте пятом примечаний к письму С. Н. Азбелева.

Попробуем все же вчитаться в письмо повнимательнее, идя вслед за его автором.

Напомню, с чего загорелся сыр-бор.

В статье «Народный эпос и история» С. Н. Азбелев коснулся широко известной в науке теории перемещения эпоса Южной Руси в Новгородскую землю. В этом процессе, как предполагал, например, А. Н. Веселовский, к части перешедшего на север русского эпоса при­ставали «местные севернорусские предания и песни», эпос же продолжал жить «в новых условиях быта и народных интересов, понемногу применяясь к тем и другим, не изменяя лишь памяти о киевской циклизации».<sup>5</sup>

Изменения в эпосе киевской поры (с его передвижением в те районы, где былинку застало интенсивное научное собирательство XIX—начала XX века), как предполагается фольклористами, историками древней словесности и языковедами, сопровождалась и изменением «оболочки» былин, о чем, в частности, говорится в трудах А. С. Орлова, Н. П. Андреева, А. П. Евгеньевой,<sup>6</sup> а след за ними и многих других ученых.

С. Н. Азбелев прибавил к разысканиям в области истории былинной формы следующий личный довод: «О переоформлении материала в Новгородской земле свидетельствует уже само»

<sup>3</sup> Ожегов С. И. Словарь русского языка. 16-е изд., испр. М., 1984, с. 135.

<sup>4</sup> Словарь иностранных слов. 8-е изд. М., 1981, с. 152.

<sup>5</sup> Из работы А. Н. Веселовского «Русский эпос и новые его исследователи — Халанский и Дамберг» (1888). Цит. по: Астахова А. М. Былины: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966, с. 225.

<sup>6</sup> Евгеньева А. П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII—XX вв. М.; Л., 1963, с. 325.

<sup>1</sup> См.: Горелов А. А. К итогам дискуссии об историзме былин. — Русская литература, 1985, № 2, с. 91—99.

<sup>2</sup> См.: Азбелев С. Н. Народный эпос и история: (К изучению национального своеобразия). — Русская литература, 1983, № 2, с. 112.

традиционное начало былин: „Во стольном городе во Киеве...“ Естественно, что в самом Киеве с таким зачином песни не исполнялись; в былинах, где место действия — Новгород, аналогичного зачина о Новгороде обычно нет.<sup>7</sup> Между тем, с моей точки зрения, этому полуабзацу, в который заложена мысль о неестественности местной топонимии для местного эпического фольклора, не на чем держаться. Он беспочвен и недаром никакого «киевского» подкрепления в письме не получил.

Утверждение, что песни с киевским зачином не должны были звучать в Киеве, уникально в науке. Аналогии свидетельствуют в пользу обратного. Так, например, среди большого количества вариантов исторической песни о встрече в Астрахани разинского «сынка» с местным воеводой (по позднейшей версии — губернатором), среди текстов, начинаемых вариациями стиха «Как во славном было городе во Астрахани» (стих этот целиком соответствует и былинному эпическому размеру), известно большое количество записей из Поволжья, в том числе из Поволжья нижнего, и между прочим несколько записей, сделанных в самой Астрахани.<sup>8</sup>

Притом былинный жанр, каким мы его знаем по записям двух веков, подразумевает известную дистанцию между актом исполнения — творчества и актом изображаемого в былинах действия. Отчего же тогда неестественно было связывать бывшее прежде с Киевом и передавать это вступлениями в действие примерно такими, каковы киевские зачины хотя бы у Кириши Данплова?.. Разумеется, языковое «оформление» древнерусского эпоса, подчинявшегося воздействию регуляторов специфической живой старокиевской фонетики древнерусской речи, не могло не отличаться в формы, отличные от позднейших. Но киевский аргумент (зачин, в частности) как раз должен был импонирует киевской аудитории. Топографически приближая ее к изображаемым событиям, преподнося их как общее прошлое, как отступившую в глубь времени правду общей жизни, творцы былин должны были в особенности волновать киевских слушателей: то была история их города, княжества, их Киевской Руси. Приспособление эпического наследия докиевской эпохи к эпохе древнекиевской государственности также было и с естественностью должно было выражаться в появлении в киев-

ский период эпоса зачинов с упоминанием Киева.

Утверждая без всяких доказательств, что «героические песни и сказания Южной Руси»<sup>9</sup> с киевским зачином не исполнялись «в самом Киеве», С. Н. Азбелев допускал, что «конкретно-исторический эпос» попадал в Новгородчину «из Киевщины» и «из других русских земель».<sup>10</sup> Но неужели и там — вне метрополии, не «в самом Киеве», а за его околицами — ничего о Киеве также не могло петься?.. Откуда этот тезис о немоте киевлян в отношении Киева?..

Наконец, разве не сквозная, не органическая черта русской эпической поэтики, сказывающаяся и в других песенных жанрах фольклора, — «географические» зачины былевого эпоса, характеризующие место действия и тем самым придающие событиям и героям особый ореол?..

Высказывание о появлении отсутствовавшего прежде в эпике Юга зачина с Киевом осталось гипотетической абстракцией. Перенесение же этой абстракции на новгородскую былинку неизбежно потребовало от С. Н. Азбелева хода назад: от слов о том, что аналогичного былинного зачина о Новгороде «обычно нет», он свернул к тезису, что текстов с таким зачином «сравнительно мало», и прибег к некорректным доводам формально-статистического порядка, грубо нарушив при этом текстологические правила.

Желая воздать оппоненту сторицей, С. Н. Азбелев сперва преподает нечто из лингвистики: слово «обычно» надо понимать в смысле «чаще всего» («основное значение», видимо, ликвидирует «неосновные»!). Влагать в него, как считал возможным А. А. Горелов, смысл «традиционно» не следовало.<sup>11</sup>

А не С. Н. Азбелев ли отправлялся от понятия «традиционное» (курсив мой, — А. Г.) начало былин и, противопоставляя киевскому зачину «аналогичный» зачин новгородский, как раз и подчеркивал формулой «обычно нет» атрадиционность подобного зачина?.. Но, как выражался незабвенный Лесков, «о сем — наименьше». Далее пошли доводы от статистики, а в них-то и заключена вся суть открытого письма С. Н. Азбелева.

Итак, по подсчетам автора письма, для новгородских былин зачин «Во славном во Нове-граде» необычен, ибо таковых начал в книге «Новгородские былины» 12, а всего текстов 55: «26 текстов былин о Василии Буслаеве, 27 текстов былин о Садко и 2 текста скоморошины о госте Терентии». То есть свы-

<sup>7</sup> Азбелев С. Н. Указ. соч., с. 112.

<sup>8</sup> См. последние в кн.: Исторические песни XVII века / Изд. подготовили О. Б. Алексеева, Б. М. Добровольский, Л. И. Емельянов, В. В. Коргузалов, А. Н. Лозанова, Б. Н. Путилов, Л. С. Шештаев. М.; Л., 1966, № 169, 216, 230, 253.

<sup>9</sup> Азбелев С. Н. Указ. соч., с. 112.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Правда, слова «традиция», «традиционный» толкуются С. И. Ожеговым именно с использованием слова «обычай» (Ожегов С. И. Указ. соч., с. 700).

ше 70% текстов «не содержат подобно-го зачина... совсем не упоминают в начале Новгород», и примерно то же дает, так сказать, «процентование» вариантов, «которые в книгу не вошли». На ходу пришлось поправляться: «подобного зачина» нет, кроме № 1, 2, 6, 7, 14, 16, 23, 27, 28, 38, 72, но в строй номеров был вставлен и зачин № 24: «Жил-то был Буслав да в Нове-городе». Поэтому последовало примечание с добавлением № 4 («Жил Буслав в Нове-городе»). Затем список был дополнен номерами 19 («Под славным великим Новым-городом») и 40 («Есть устроена в Нове-граде мать божья церковь»), т. е. появились некоторые уступки Новгороду.

При всей несомненности выведенно-го по книге «Новгородские былины»

процента:  $\frac{15}{55}$  это и на глазок составляет менее 30%, — я совершенно расхожусь с С. Н. Азбелевым в коронном для него пункте, считаю его полсчет недостоверным, более того — недобросовестным.

Заглавие «Новгородские былины» не дает повода для бездумной жанровой идентификации материалов книги. Ю. И. Смирнов и В. Г. Смолицкий этого не делают: в комментарии они скрупулезно разъясняют эстетические достоинства каждого текста, говорят о степени его надежности с точки зрения принадлежности к эпической и вообще устной традиции, характеризуют утраты текстов в процессе бытования, отмечают «реставраторские» поветрия, проникавшие в эпосотворчество через общение грамотных сказителей с книгой или иными путями.

Всех этих принципиальных вопросов С. Н. Азбелев вообще не касается.

Он игнорирует не какие-то нюансы текстологии, а самую ее азбуку. Декларируя необходимость текстологической выскательности в былинведении,<sup>12</sup> автор письма совершает откровенно недопустимые операции с текстами.

Однако прежде чем углубиться в дебри коварной статистики, нельзя не оговориться: из любых подсчетов, разумеется, должны изыматься и тексты, действие которых происходит исключительно вне Новгорода — в морях, на далеких горах, в Иерусалиме, и те записи, где Новгород не является для певцов-сказителей осознаваемым или источком сюжетного движения, где он фигурирует лишь в финале произведения. Это в общем виде как будто предложил сам С. Н. Азбелев в своей статье «Народный эпос и история». И подлинно: там, где зачин о Новгороде неправометен, искать его бессмысленно.

Но С. Н. Азбелев — автор письма о своих установках не помнит. Он, оказывается, волен расширять круг опорного материала и охотно делает это всюду, где возможно растворение новгородских зачинов в потоке иных. Вне-новгородские сюжеты запросто включены им в общую цифру (см. № 20—22, 42—44, 52).

На удивление легко обошелся С. Н. Азбелев с текстами, требующими известного текстологического скепсиса или осторожности.

Текст № 13 из книги «Новгородские былины» явно дефектен: в нем нет первой части, т. е. искомого намп зачина. «Начала былины сказитель не помнил», — сообщают комментаторы.<sup>13</sup> С. Н. Азбелев этого примечания словно бы не видел.

Текст № 15 — печорская запись былины «Василий Буслаев в Новгороде», вторичность которой дважды объяснена в печати влиянием книги на певца В. И. Лагеева.<sup>14</sup>

Тексты № 26, 29, 30, 45, 46 представляют собой сказочные (прозаические) переработки былин. Текст № 47 — лирическая песня, сложившаяся на почве одного из мотивов былины «Садко на море», попавшая в сборник «Новгородские былины» как свидетельство XVIII века с начавшемся процессе «распада содержания былины».<sup>15</sup> Все это не подверглось текстологической оценке, хотя С. Н. Азбелев обычно печется о «высоком профессиональном уровне» специалистов по былине и строго выговаривает им за помещение в академические антологии «текстов весьма слабых, фрагментарных, малохудожественных (иногда — просто беспомощных) и совсем коротких отрывков».<sup>16</sup>

Автор письма заявляет, что «сходно обстоит дело с вариантами, которые в книгу не вошли», и предлагает помпмо 55 текстов «Новгородских былин» учесть еще 66 вариантов других сборников, доведя общее число привлекаемых записей до 121.<sup>17</sup>

Но какова же методика отбора текстов для решения вопроса?

Та же самая, которую мы видели.

<sup>13</sup> Новгородские былины, с. 382.

<sup>14</sup> Там же, с. 383. Ср. также статью: Новиков Ю. Источник эпического знания — книга. — В кн.: Литература, XXVII (2). Vilnius, 1985, с. 24—26.

<sup>15</sup> Новгородские былины, с. 415.

<sup>16</sup> Азбелев С. Н. Былины: Новые книги. — Русский фольклор, т. XVII. Л., 1977, с. 181, 182.

<sup>17</sup> Мною по технической причине не проверен один текст из реестра С. Н. Азбелева — № 17 из кн.: Материалы, собранные в Архангельской губ. летом 1901 г. А. В. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским. М., 1905, ч. 1. Всего же рассмотрено 125 текстов.

<sup>12</sup> См. хотя бы статью: Азбелев С. Н. Актуальные проблемы текстологии былин. — В кн.: Фольклор: Издание эпоса. М., 1977, с. 104.



В круг подлежащих «процентованию» вариантов попадают тексты (пользуясь теми же, что у автора письма, сокращенными их обозначениями), несомостоятельность которых подтверждена: БП и ЗБ, № 86, 86а; Тихонравов—Миллер № 61, 64;<sup>18</sup> Крюкова № 77, 78; БП и ЗБ № 85, 85а; Астахова, II, прилож. II, № 1.<sup>19</sup> Утверждается, что не связаны в зачине с Новгородом тексты Рыбников, № 64 и Киреевский, вып. V, с. 3—8. Однако первый текст имеет начальный стих: «Жил-был Буслав во Нове-граде».<sup>20</sup> Второй текст, записанный топографом Харитоновым в 1844 году,<sup>21</sup> начинается словами: «Садился Васька на ременчатой стул», но к ним следует примечание: «Начало песни такое же, как и ниже из Кириши Данилова»;<sup>22</sup> а ниже следующий текст К. Данилова открывается зачином: «В славном Великом Нове-граде // А и жил Буслай до девяности лет...».<sup>23</sup> Так же, как и в обращении с текстами «Новгородских былин», «неконвенционально» включены С. Н. Азбелевым в круг процентно засчитываемых им зачинов такие начала былинных текстов, где театр действия — не Новгород (Рыбников, № 65, 124; Ончуков, № 74; БН и НЗ № 94; Шуб, с. 231—232; БП и ЗБ № 18).

И все-таки не только перечисленные операции определяют полную неудовлетворительность предлагаемых С. Н. Азбелевым выводов. Стремясь дискредитировать своего критика, автор письма прибегает к очень уж элементарной уловке, неизвестно на кого и рассчитанной: он сравнивает две заведомо неравноценные группы материала — всю совокупность зачинов записанных новгородских былин и зачин одного определенного вида. Так добывается сомнительный «аргумент» в пользу того, что последний вид среди текстов представлен бедно.

<sup>18</sup> Новгородские былинны, с. 378; с. 362, примечания 1 и 2.

<sup>19</sup> Сведения об этих вариантах извлечены с разрешения автора из рукописи книги: Новиков Ю. А. Указатель зависимых от книги былинных текстов — из рукописи, обсуждавшейся в секторе народнопоэтического творчества ИРЛИ АН СССР 13 марта 1986 года с участием выступавшего по тексту работы С. Н. Азбелева (письмо которого появилось в редакции 14—21 апреля с. г.).

<sup>20</sup> Песни, собранные П. Н. Рыбниковым / Под ред. А. Е. Грузинского. 2-е изд. М., 1909, т. 1, с. 368.

<sup>21</sup> См.: Баландин А. И. К атрибуции «Песен» П. В. Киреевского: (Записи Н. П. Борисова). — В кн.: Фольклор: Издание эпоса, с. 254, 252. Н. П. Борисов именовал былинны «сказками».

<sup>22</sup> Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1863, вып. 5, с. 3.

<sup>23</sup> Там же, с. 14.

Однако выяснено то подлинно истинное — соотношение разновидностей зачинов между собой. Притом выяснить это соотношение следовало бы по существу связей, наличествующих между вариантными зачинами, по внутренней, нередко сюжетно-генетической, обусловленности видов зачинов. Текстология, не желающая ничего ведать о содержании текстов, — ущербна. Взяв на себя роль ментора-статистика, грешно забыть о сюжетно-тематических привязках зачинов, знаменательных в системе целого.

Скоморошина про новгородского гостя Терентия, его молодую пригвужу жену и «лекарей»-скоморохов взята мною в семи вариантах. Первый из них, старший, начинается словами конкретно-исторического смысла:

В стольном Нове-городе  
Было в улице во Юрьевской,  
В слободе было Терентьевской...

Это текст Сборника Кириши Данилова, запись середины—второй половины XVIII столетия, выполненная, скорее всего, на Урале либо в Зауралье. Запись сочетается со скоморошью контекстом народной книги, в составе которой явился к нам текст. Сам же скоморохи — непремные участники средневековой новгородской жизни, рисуемой в песне. Зачин органичен тексту, его образно-мотивной аранжировке, органичен и той среде, что донесла до нас произведение, быть может, через угнездившиеся на Урале позднейшее скоморошество. Едини в своем существе внешние и внутренние моменты истории текста, дошедшего до нас в большой художественной полноте и гармонии. Это позволяет утверждать, что перед нами достаточно древняя редакция, в древности же (по крайней мере, уже в XVI веке) имевшая в основном такой, а не иной сюжетно-структурный облик. Гетнографические реалии, по всей вероятности, принадлежат тому же времени, когда на улицах Новгорода можно было встретить «веселых молодцов» — скоморохов, ставших героями произведения.

Старший по времени фиксации вариант полнее новейших его собратьев местной конкретикой, хотя эпитет Новгорода — «столичный» — не обязательно идет от первоначального извода, а мог быть и следствием воздействия киевской эпической культуры.

Позднее тексты явно утрачивают новгородские реалии, и в трех случаях нет данных за то, что певцы считали ареной действия Новгород.

В записи П. Языкова из села Головино Симбирской губернии (1838) текст почти вдвое короче (105 стихов против 199), зачина с Новгородом нет. Упоминание о Новгороде как месте действия возникает не сначала, а как бы в недрах развивающегося повествования, где «славен-богат человек» Терен-

тний истово молится, встав в «Нове-городе» против чудотворного креста «Астафёйскова».<sup>24</sup> Но это по-своему логично: сюжет, утрачивая плавную эпическую форму текстового развития, начинается зачинном — обращением к герою:

Ой ты гой еси, Терентий гость!  
Славен ты, богат человек!

Течение песни не менее сюжетно занимательно и остро, чем у Кирши Данилова, притом оно сохраняет городские бытовые краски новгородской жизни, пусть и не в той же насыщенности.

Из других текстов сюжета пинежские записи 1900 и 1901 годов от Т. Шибанова также хранят еще память о Новгороде как месте описываемого события (Григорьев, I, № 5, с. 172).<sup>25</sup> Однако записанный в 1915 году в той же семье вариант упоминает лишь о не названном «городе» (Озаровская, № 11, с. 112).<sup>26</sup> Не находим мы точных новгородских примет в редакции 1860-х годов из Пудожья (Рыбников, II, № 156), а в каргопольском тексте 1928 года (Сokolov—Чичеров, № 279, запись на Кенозере) действие произвольно перемещается к «монастырю Данилову» близ «Чернигова».

Более поздние, чем текст Кирши Данилова, записи, отмеченные чем далее, тем более нарастающими признаками деструкции произведения, по-своему усиливают впечатление естественности новгородского зачина для сюжета в целом. Количественный показатель (1 зачин о Новгороде на 7 текстов или 1 на 4, где есть Новгород) в данном случае отнюдь не выступает свидетельством такого позднейшего видоизменения текста песенной новеллы о госте Терентии, при котором традиционный зачин о Новгороде просто бы заходил в песню — заходил в целях формального приурочения последней к Новгороду. Напротив, новгородский зачин — явно *исконная* форма зачина, принадлежащего целостной новгородской версии сюжета о неверной жене и ее наказании (хотя старших форм сюжетного начала у устно импровизируемого всякий раз

произведения могло быть несколько). Зашиши выявляют недостаточность зафиксированности ранних редакций произведения, и при всем количественном перевесе записей зачина, не говорящего о Новгороде, неоспоримые достоинства качественной характеристики — на стороне двух ранних записей (XVIII века и 1838 года). Формальная цифра здесь вообще не имеет значения аргумента, ибо для решения вопросов историко-генетической текстологии она непригодна: ей нечего сказать исследователю.

Обратившись к новгородским сюжетам о Василии Буслаеве и Садко, подобным образом можно было бы отклонить и здесь цифровые доводы С. Н. Азбелева. Но они тотчас рушатся при сопоставлении между собой зачинов разного вида.

Взяв 118 текстов названных былин, я отвел 32 из них по причинам явной текстологической непригодности (17)<sup>27</sup> и неприуроченности действия к Новгороду (15).<sup>28</sup> Из 86 основных для анализа текстов 52 — о Василии Буслаеве, 34 — о Садко.

Для былин о бое Буслаева с Новгородом или контаминаций двух сюжетов о Буслаеве характерен зачин «В славном великом Нове-граде // А и жил Буслай до девяноста лет...» (Новгородские былины, № 1; только здесь и в тексте № 19 (оба — записи XVIII века из Сборника Кирши Данилова) Новгород назван «великим»), варьируемые записями («Во славном во Нове-городе // Жил Буслаев девяноста лет» — там же, № 2).<sup>29</sup> Распространен и более позд-

<sup>27</sup> См. Новгородские былины, № 13, 15, 26, 29, 30, 45, 46, 47; БП и ЗБ № 85, 85а, 86, 86а; Крюкова, II, № 77, 78; Астахова, II, прилож. I, № 4. Число их можно было бы увеличить, так как и ряд других, особенно южнорусских, казачьих редакций текстов представляет собой в записи продукты разрушения и позднейшей деформации произведений.

<sup>28</sup> Новгородские былины, № 20—22, 42—44, 52; Рыбников, I, № 65, II, № 124 (текст в публикации назван: «Садко (отрывок)»); Григорьев, III, № 86 (390); Ончуков, № 74; БН и НЗ, № 94; Шуб, с. 231—232; БП и ЗБ, № 18, 87. Тексты № 22 «Новгородских былин» и Григорьева начинаются соответственно подчеркнутым отрицанием мысли о повгородском театре действия: «Не на Волхови зеленой нонь сад шатаище...», «Не по Волхову флигарочка шатаище...»

<sup>29</sup> См. также № 6, 7, 16, 23 в «Новгородских былинах» и еще — Киреевский, V, с. 3—8; Рыбников, I, № 17; Ончуков, № 28 (Новгород упомянут во втором стихе, речь идет не о Буслаеве, а о Васеньке Буславиче; начало былины о поездке Буслаева в «Ерусалимград»); Астахова, II, прилож. I, № 4;

<sup>24</sup> Собрание народных песен П. В. Киреевского / Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях. Л., 1977, т. 1, № 211.

<sup>25</sup> Ср. реконструированный словесный текст из расшифровки фонограммы и подтекстовку в кн.: Былины: Русский музыкальный эпос / Сост. Б. М. Добровольский, В. В. Коргузалов. М., 1981, с. 500—502 (№ 130), с. 588. Второй текст здесь совпадает с началом полного текста № 73 из сборника «Новгородские былины».

<sup>26</sup> См. также зачин — фрагмент второй записи О. Э. Озаровской 1921 года (там же, с. 589).

ний его вид, утративший фонетическую перекличку однокоренных форм «В славном» — «Буслай»: «Жил-был Буслав во Нове-граде // Жил Буслав девяносто лет...»<sup>30</sup> В части позднейших текстов содержательность зачина выветривается, и он служит переходу к действию, ряд предшествующих звеньев исчез: «...А во том-то было во Нове-городе, // Кабы был, заводился тут почесен пир...» (Новгородские былины, № 14).<sup>31</sup> Упоминается Новгород и отношения с ним отца Буслаева в зачинах, представляющих собой «усушенный» вид начала текстов «Жил-был Буславин девяносто лет, // А с Новым городом не спаривал»,<sup>32</sup> что развернуто в старших записях.

В процессе жизни былины из многих вариантов ее зачина Новгород вообще уходит (хотя сохраняется в дальнейшем повествовании) и зачин получает примерно следующий вид: «Жил да был Буслав да девяносто лет, // Девяносто лет да целу тысящу // И за тым Буслав да переставился».<sup>33</sup> Иногда канонические стихи отодвигаются вторгающимися инородным былинным зачином о «Рязани — славном городе», куда помещают Буслая певцы Мезени.<sup>34</sup> Подчас за переоформленным началом типа: «А как жил Буслав да девяносто лет, // Да и зуба во рти нет...»<sup>35</sup> — следует

Соколов—Чичеров, № 136, 145, 174 (первые 3 стиха говорят о «славном городе» и о Дюке Степановиче, который «приставился», 7-й стих — о Новгороде, куда стал похаживать «Василей сын Буслаевич»; былина вступила в стадию разложения).

<sup>30</sup> Рыбников, I, № 64; ср.: Рыбников, II, № 150; Новгородские былины, № 24; Русский фольклор, т. XVI, с. 120 (прозаический пересказ с сохранением ряда былинных ритмизованных формул).

<sup>31</sup> В круг привлекаемых текстов включен текст № 223 из сб. Песенный фольклор Мезени (Л., 1967). Он прозаичен, но исполнитель еще помнил то, что «татка пел» (с. 285), а оттого начал словами: «В Новом городе это, знаешь, было...» (с. 284).

<sup>32</sup> Новгородские былины. № 11; ср.: Гильфердинг, I, № 30; Соколов—Чичеров, № 256.

<sup>33</sup> Гильфердинг, I, № 44; ср.: Астахова, II, № 102, 115; Ончуков, № 97; Тихонравов—Миллер, № 62; БН и НЗ, № 93; Новгородские былины, № 3, 10, 25 (проза со следами эпического размера); Русский фольклор, т. XVI, с. 124; Соколов—Чичеров, № 259.

<sup>34</sup> Григорьев, III, № 3 (307), № 18 (322); Песенный фольклор Мезени, № 224. Из Рязани же отправляется в Иерусалим «управитель» «Василей сын Буслаевич» в одном печорском тексте — Ончуков, № 48.

<sup>35</sup> Новгородские былины, № 8; ср.: Рыбников, I, № 72 (записи от Т. Иевлева 1871 и 1861 годов).

описание пир — повода для ссоры в Киеве, у князя Владимира.

От ряда сказителей былины о Буслаеве записывались в явно теряющих редакциях, когда сбивчивая традиция, утратив ориентир-образцы, металась в поисках убедительных трактовок сюжетов о Василии Буслаеве, от чего зачины становились и более далекими от древней, традиционной основы и просто пестрее, случайнее, индивидуальнее по текстовому облику.<sup>36</sup> Если зачины классического извода, восходящие к редакциям старейшим (типа Кириши Данилова), группируются легко и образуют достаточно стройные взаимозависимые ряды, то среди численно большего круга зачинов былины о Буслаеве без отправных формул «В славном Нове-граде...», «Жил-был Буслай в Нове-граде», невозможно создать никакой другой группы начальных стихов, способной коллективно соперничать с комплексом текстов, хранявших историко-географически конкретную, художественно необходимую и потому неопределимую формульность зачина.

Среди 52 текстов былины о Буслаеве Новгород как место действия упоминают в зачине 20, что составляет почти 40% от общей их суммы. К ним тесно примыкает «дочерний» зачин, где извещается, что у Буслая «с Новым городом спору не было» (3 текста).<sup>37</sup> но они при желании могут рассматриваться как особая группа. Тексты, в зачинах которых говорится, что Буслав жил «девяносто (сто) лет» или «жил — не старился», или «жил — преставился», без местной конкретизации, допустимо весьма условно свести в «противостоящий» новгородскому разряд из 13-ти номеров.<sup>38</sup> О том, что «Васильюшко Буславьевич» сделал он, задержал (заводил) свой почетный пир» в зачине знают 3 текста.

Взаимные процентные соотношения групп — яснее ясного. Самые крупные три группы дают лишь в совокупности 19 текстов. Превалирующий характер зачина о Новгороде среди записей былины о Василии Буслаеве доказывается

<sup>36</sup> Таковы они в текстах: Киреевский, V, с. 8—14; Рыбников, II, № 125; Гильфердинг, III, № 259, 284; Ончуков, № 11; Тихонравов—Миллер, № 63; Соколов—Чичеров, № 25; Новгородские былины, № 5, 9, 12, 17 (Буслав является на пир у Грозного, о котором пелось в зачине), 18.

<sup>37</sup> Гильфердинг, I, № 30.

<sup>38</sup> В эту цифру включены и вышеупомянутые тексты: Соколов—Чичеров, № 259 (впрочем, здесь «преставляется» не Буслай, а «Василья Буслаевич»), Русский фольклор, т. XVI, с. 121 (фрагмент из 9 стихов, где в первых строках: «На пристави, на пристави // Жил Буславей 90 лет...» — слышится отголосок слова «преставился»).

той самой статистикой, которую выдвинул в качестве орудия атаки С. Н. Азбелев.

Остаются былины о Садко, где вариация традиционного зачина «Во славном в Нове-городе» имеют 9 текстов,<sup>39</sup> а еще 1 несет слова: «Под славным Новым-городом».<sup>40</sup> Есть «скользящий» новгородский мотив в двух зачинах: «Ише был-жил Садко новгородския»,<sup>41</sup> «Есь устроена в Нове-граде мать божья черковь...»<sup>42</sup> Единжды встречаемся с деформацией темы Новгорода в зачине, взятом из былины о Добрыне и Змее либо о бое Добрыни с Ильей Муромцем:

Как прежде Казань да слободой была,  
Ищэ нынче Казань да Новым городом,  
Как во той во Казани, в Новом  
  городе...<sup>43</sup>

Новгородская тема звучит в вариантах Сборника Кирши Данилова, А. Ф. Гильфердинга, А. М. Листопадова, но не в зачине.<sup>44</sup> Ее эхо доносится в тексте: «Да как хвалится Сотко, похваляется Сотко // Во ниш гради товары вси по-выкупить...»<sup>45</sup>

Остальные записи пестры столько же по виду зачинов, сколько по сюжетной структуре. В трех из них говорится о Царе-граде («стольном граде», «славном городе»)<sup>46</sup> где в кабаке пьют-упивается, похваляется герой. Мотив питья и похвалы, присутствующий в одном из зачинов другого текста,<sup>47</sup> соединен там

<sup>39</sup> Новгородские былины, № 27, 28, 38; Рыбников, I, № 66; Гильфердинг, I, № 2; II, 146; Липец, 1951, № 5 (с. 223—240); Соколов—Чичеров, № 137; БП и ЗБ, № 31.

<sup>40</sup> Новгородские былины, № 34, 2-й стих.

<sup>41</sup> Там же, № 32.

<sup>42</sup> Там же, № 40.

<sup>43</sup> Там же, № 39 (ср.: Илья Муромец / Подг. текстов, статья и комментарий А. М. Астаховой. М.; Л., 1958, № 29; Добрыня Никитич и Алеша Попович / Изд. подг. Ю. И. Смирнов и В. Г. Смолцкии. М., 1974, № 4, 5, 8, 10, 24, 33 п с. 376, 389—390; Новгородские былины, с. 410).

<sup>44</sup> Там же, № 31, 36, 51, 53. Ср. записи от певца Ф. А. Конашкова 1928 и 1938 годов. В первом варианте Садко спорит с новгородцами-купцами в Индип, во втором спорит в Новгороде, куда приплывает из Индии. В записи от него 1937 года в первом стихе обозначена местом действия «святая земля», сюжет же близок версии 1938 года (см. соответственно: Новгородские былины, № 35; Сказитель Ф. А. Конашков. Петрозаводск, 1948, № 18, 18а).

<sup>45</sup> Новгородские былины, № 37.

<sup>46</sup> Там же, № 48, 49, 53 (вновь упомянаю текст, о зачине которого выше не говорилось).

<sup>47</sup> Там же, № 50.

с эпической повествовательной формулой: «Ишша был-то Садко купец да богатыя»,<sup>48</sup> — привычной для ряда текстов. Последняя определяет вид трех зачинов («Жил-был Садко, богатый гость»)<sup>49</sup> Еще два текста начинаются сообщением, что у Садко заводится пир.<sup>50</sup> Четыре текста говорят о пире в Киеве у князя Владимира, где начинается спор оказавшийся там Садко.<sup>51</sup>

Хотя из 34 текстов былин о Садко лишь 10 (31%) открываются зачином о «Новгороде — славном городе», он абсолютно доминирует как вид былинного начала. И он типичен для тех редакций сюжетов, которые являются старшими и авторитетнейшими в нашем эпосоведении.

Любопытно взглянуть на следующие факты: из 31 (если включить и «Гостя Терентиша») записи зачина о «славном Новгороде» 3 принадлежат XVIII веку, 1 — 1844 году, 11 — 1860—1871 годам, 6 — 1899—1909 годам, т. е. 21 запись (более двух третей) донесены временем, когда были произведены основные для науки записи эпического репертуара. 6 записей дали 1926—1928 годы. 4 (по одной в год) падают на 1934, 1942, 1957, 1961 годы.

Эти данные подкрепляют убеждение, что зачин новгородских былин, которому посвящено столько внимания в сегодняшней статье, воистину *обычно* (в том числе и в «основном значении», *сречь «чаще всего»*), *традиционно* вводит слушателей в мир Новгорода.

Подводя итог, не могу не сказать: крикливое и агрессивное полужайство опасно для науки. В свое время С. Н. Азбелеву весьма выразительно сделали на сей счет предостережения Д. С. Лихачев и М. Н. Тихомиров.<sup>52</sup> Однако годы показали, чт урок не пошел впрок.

<sup>48</sup> Там же, № 41.

<sup>49</sup> Рыбников, I, № 18; см. там же, № 54 и Астахова, II, прилож. II, с. 638.

<sup>50</sup> Астахова, I, № 94; Соколов—Чичеров, № 26 (прозаический вариант, лишь частично хранящий фразеологию былины).

<sup>51</sup> Ончуков, № 55, 70; Астахова. I, № 50; *Листопадов А.* Песни донских казаков. М., 1949, т. 1, № 40.

<sup>52</sup> *Лихачев Д. С.* Анастезизм и дрене-русская литература. — Русская литература, 1963, № 1, с. 79—87; *Тихомиров М. Н.* Русское летописание. М., 1979, с. 82. Последний, в частности, писал о факте, подобном нынешнему, когда С. Н. Азбелев вносил путаницу в ясный вопрос: «...непредудуманное замечание Азбелева, который по недостатку знаний не различает два произведения, сходные по названию и совершенно различные по содержанию и происхождению, появилось... в правдоучительной форме опровержения чужих (в данном случае точных) ссылок, в форме, которая заставит исследователей, мало знающих русское летописание, поверить...»

## ОТВЕТ НА «РЕПЛИКУ»

В «Литературной газете» № 23 от 4 июня 1986 года опубликована «Реплика» «Повторение старых ошибок», в которой совершенно голословно в мой адрес брошено тяжкое обвинение в идеологических ошибках. В статье утверждается: «Например, упорствует в своих идейных заблуждениях П. Выходцев в книге „Земля и люди. Очерки о русской советской поэзии 40—70 годов“ (издательство «Современник», М., 1984), где прямо отступает от классовых позиций, марксистско-ленинской методологии в анализе культуры, духовной жизни».

О каких «заблуждениях» идет речь? О каком «упорстве»? Как и в чем проявились эти «идейные заблуждения» в книге? Где конкретно в тексте анонимный автор обнаружил отступления «от классовых позиций, марксистско-ленинской методологии»? Ни одного примера не приведено, и ответа на этот вопрос получить невозможно, потому что утверждения автора «Реплики» — вымысел, недозволенные наветы, которые «Литературная газета» предпринимает против меня не первый раз.

Такое же извращение сути дела допускает автор и в следующем абзаце:

«В своем последнем выступлении (журнал «Русская литература», № 2, 1986) П. Выходцев касается спора между А. Кузьминым и Ю. Суровцевым на страницах „Нашего современника“ о соотношении национального и социального начал в литературе. По П. Выходцеву получается, что рассмотрение историко-литературного процесса в свете ленинского учения о двух культурах является „догматическим, начетническим использованием положений классиков марксизма“».

А вот что сказано по этому поводу в моем выступлении:

«С первых, можно сказать, дней Октябрьской революции и до нашего времени наиболее острыми в критике и теории проблемами оказались проблемы сущности и соотношения национального и социального начал в литературе. В спорах, доходивших порой, особенно в первые полтора десятилетия, до крайних форм противопоставления и отрицания этих категорий, были серьезные пздерж-

ки и потери. В послевоенные годы было несколько всплесков острейшей полемики по этим вопросам, особенно в середине—конце 50-х годов и в середине 60-х годов. Однако более острой, чем та, что разгорелась в наши дни, а именно в 1985 году (я имею в виду спор между А. Кузьминым и Ю. Суровцевым на страницах «Нашего современника»), кажется, не было даже в 20-е годы. Этот спор выявил опасные и общетеоретические, и методологические тенденции, проявляющиеся подчас в догматическом, начетническом использовании положений классиков марксизма в некоторых трудах, претендующих на теоретическую и методологическую ценность. Речь при этом идет не только об эстетических категориях, но и о таких идеологически насыщенных понятиях, как патриотизм».

Как видим, ленинская концепция «двух культур» даже не упоминается. Автор «Реплики» пытается сделать вид, что статей А. Кузьмина как бы и не было, а что есть только предложенное Ю. Суровцевым «рассмотрение историко-литературного процесса в свете ленинского учения о двух культурах» как истина в последней инстанции. Между тем именно Ю. Суровцев, как убедительно и весьма обстоятельно показал в своих статьях А. Кузьмин («Наш современник», 1985, № 3, 9), схоластически толкуя категории национального, социального и интернационального, по существу предлагает субъективную концепцию нации и патриотизма. Вместо того чтобы аргументированно ответить Кузьмину на столь серьезные обвинения в адрес Суровцева по столь серьезным вопросам, автор «Реплики» без зазрения совести приписывает мне явную целепиду.

На что рассчитывают подобные авторы и редколлегии «Литгазеты»? На безоглядное доверие читателя? Или на его непонимание? На вседозволенность и безнаказанность? Или на свою исключительность в отношении норм научной полемики? Или, может быть, они полагают, что научную полемику можно по своему усмотрению толковать и заглушать, исходя из должностного положения, а не истины?

Налицо явная подтасовка.

*П. С. Выходцев*

# ХРОНИКА

## ДНИ ДРЕВНЕГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ

Десять лет назад, в январе 1976 года, сектор древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР совместно с кафедрой древнегрузинской литературы Тбилисского государственного университета организовали научный симпозиум «Три дня древнегрузинской литературы в Пушкинском Доме». Осенью 1977 года состоялся ответный симпозиум «Три дня древнерусской литературы в Тбилисском государственном университете». Результатом работы этих двух симпозиумов стал сборник научных статей, изданных совместно Пушкинским Домом и Тбилисским университетом, «Русская и грузинская средневековые литературы» (Л., 1979). Продолжением традиции знакомства с научными проблемами в области изучения грузинской и русской средневековых литератур стал новый симпозиум «Дни древнегрузинской литературы в Пушкинском Доме», состоявшийся 5—7 февраля 1986 года. В нем приняли участие преподаватели Тбилисского университета, сотрудники Института истории грузинской литературы и Института востоковедения АН СССР.

В Большом конференц-зале ИРЛИ была развернута выставка грузинских изданий древних литературных памятников, фотографий древнегрузинских рукописей, памятников грузинской архитектуры и изобразительного искусства, подготовленная грузинскими коллегами. Кроме того, они познакомили ленинградцев с грузинскими фильмами о древнем искусстве, мастерстве переписчиков и иллюстраторов средневековых рукописей и природе Грузии.

Открыл симпозиум академик Д. С. Лихачев. Он сказал о том, что совместные конференции, проходящие уже в третий раз, показывают, как важно то общее, что объединяет древнерусскую и древнегрузинскую литературы. Непосредственных грузино-русских литературных связей не так уж много, но сходство наших средневековых литератур по своему типу гораздо значительнее, чем это может быть объяснено только общей основой. Средневековые культуры, продолжал Дмитрий Сергеевич, сопоставимы на уровне их нормы. Конечно, было немало отступлений от нее, особенно в творчестве выдающихся писателей. Но есть, однако, некий идеал среднего уровня, и нам надо взглянуть в эту норму

средневековья, которая характерна для его этики, эстетики и «мировидения». Культура нового времени более мобильна, чем жесткая культура средневековья, но жесткие по своей структуре культуры легче сравнивать между собой, чем мобильные: искусство нового времени в гораздо большей степени требует интуиции в его понимании, средневековое же искусство, по словам Д. С. Лихачева, подобно идеографическому письму, составляется из «смысловых блоков». Условность в культуре средних веков — это система определенных знаков, поэтому средневековому искусству легче научиться. Д. С. Лихачев сравнил средневековую культуру с «рыцарем в железных доспехах канонических правил». Этим, подчеркнул он, достигалось самосохранение культуры, которого требовали особенности развития феодальной Европы. В условиях нашествия внешних врагов, опасности быть подчиненной культурам других народов или вовсе уничтоженной средневековая национальная культура стремилась сохранить себя, и это стремление имело огромное значение для ее развития.

Выступая с ответным словом, доктор филол. наук, зав. кафедрой древнегрузинской литературы Л. В. Менабде сказал, что встречи ленинградских и тбилисских ученых всегда были событием большого культурного значения. Цель нынешнего симпозиума — познакомить ленинградцев с состоянием и основными проблемами изучения древнегрузинской литературы. Л. В. Менабде вспомнил тех, кто десять лет назад принимал участие в такой встрече, но кого уже нет в живых: В. И. Малышева, В. Д. Лихачев, Р. Р. Орбелл. Говоря о том, как много значит для грузинских ученых выступление в стенах Пушкинского Дома, Л. В. Менабде отметил, что 65 лет тому назад в эти дни было написано стихотворение А. Блока «Пушкинскому Дому», созвучное чувствам многих грузинских исследователей. Далее Л. В. Менабде подробно остановился на истории развития русско-грузинских литературных связей, начиная с раннего средневековья вплоть до XIX века. Россия, сказал он, являлась для Грузии «новыми Афинами», где грузинские литературные деятели не просто знакомы с русской культурой, но и учились у нее.

Доклад канд. филол. наук Л. М. Грп-

голашвили «Давид Гурамишвили и русско-украинская культура (типологические разыскания)» ставил целью «выделить некоторые аспекты художественного творчества знаменитого грузинского поэта и проанализировать их в контексте русско-украинской культуры». Напомнив слушателям основные этапы творческой биографии Давида Гурамишвили, докладчица остановилась на анализе поэтического сборника «Давитпани», включающего четыре поэмы и лирические стихи Гурамишвили. Подчеркнув композиционную целостность сборника и библейские истоки его образной системы, Л. М. Григолашвили выделила в нем несколько тем и мотивов, которые позволяют соотносить творчество Давида Гурамишвили с поэзией барокко. Но этим не исчерпывается все творчество поэта. Была подчеркнута близость его мировоззрения и поэзии творческим взглядам Григория Сквороды. По мнению докладчицы, перспективно также для установления типологических связей сопоставление творчества Давида Гурамишвили с поэзией Симеона Полоцкого.

Выступая в прениях по докладу Л. М. Григолашвили, доктор филол. наук А. М. Панченко поддержал основные положения ее доклада, отметив, однако, что не следовало бы объединять украинскую и русскую литературу в одно целое в пределах XVIII века, так как они представляли собой разные культурные явления.

Доклад доктора филол. наук Р. Г. Барамидзе был посвящен вопросам изучения типологии литературных течений на примере грузинского и русского просветительства. В эту эпоху в Грузии, сказал докладчик, наблюдается ориентация на Россию в поисках культурных связей, так как в странах Западной Европы (во Франции и Италии) грузинские просветители, в частности поэт и философ Сулхан-Саба Орбелиани, не нашли единомышленников. Р. Г. Барамидзе показал, что грузинское просветительство было близко просветительству стран Восточной Европы и России. Лозунг Орбелиани: «Мудрость (разум) победит все заблуждения» нашел поддержку в творчестве многих литературных деятелей Грузии в это время. Вместе с общим типологическим сходством, отметил докладчик, можно обнаружить и конкретные проявления этого сходства. Пример тому — ориентация грузинских и русских просветителей на философские взгляды Локка, следование принципу правдивости в литературе. И в этом ряду, по мнению докладчика, стоят имена Арчила Багратиони, Ломоносова, Крылова.

Итоги первого дня симпозиума подвел член-корр. АН СССР Л. А. Дмитриев, отметив высокий научный уровень и познавательное значение прочитанных докладов.

Второе заседание открылось докладом доктора филол. наук Э. Г. Хинти-

бидзе «Теория „восточного ренессанса“ в советском литературоведении и мировоззрение Руставели». Докладчик охарактеризовал взгляды советских ученых (Н. И. Конрада, С. Н. Чалояна, В. М. Жирмунского) на теорию мирового Возрождения. Э. Г. Хинтибидзе напомнил, что Ш. Нуцубидзе отнес поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре» к произведениям «восточного ренессанса» и что Н. И. Конрад писал о близости Руставели к восточному миру. Однако, сказал докладчик, такое представление о поэме Руставели ошибочно, так как в этом случае Руставели отделяется исследователями от европейского Ренессанса. Грузинскую культуру связывала с Европой XII—XIII веков «общехристианская платформа». Три источника, по мнению Э. Г. Хинтибидзе, питали творчество Руставели и грузинскую литературу его эпохи: христианская литература, философия Аристотеля, неоплатонизм. Таким образом, мировоззрение Руставели содержит типологическое родство с европейским поздним средневековьем.

В прениях по докладу Э. Г. Хинтибидзе выступил канд. историч. наук М. Т. Петров. Поддержав основные выводы доклада, он изложил свои взгляды на теорию «восточного ренессанса». Само понятие «Ренессанс» включает, сказал М. Т. Петров, единство четырех смыслов: «расцвет культуры», «переворот в культуре», «переходный период», «восстановление древности». Теория «восточного ренессанса» не может быть, по мнению выступающего, научно обоснованной, так как она подчеркивает лишь сходство разных культур, но не представляет их различия, не объясняет «восточный ренессанс» ни как целостное явление, ни как закономерный исторический процесс; растрояет понятие «возрожденческий гуманизм» в общечеловеческой идее «гуманности»; наконец, сводит восстановление полузабытой и спой по типу античной культурной традиции к простому «оживлению» древности, которая в странах Востока никогда не умирала и не была обновляющим началом.

Академик Д. С. Лихачев, согласившись с положениями доклада Э. Г. Хинтибидзе, возражая М. Т. Петрову, предостерег исследователей от непонимания некоторых высказываний Н. И. Конрада. «Ренессанс», сказал Д. С. Лихачев, не является похвальным термином. Ренессанс — это термин, обозначающий переходный период от Великого средневековья к Новому времени, когда происходит смена разных типов культур. Вопрос заключается в том, сказал Д. С. Лихачев, был ли этот переход определенной и короткой эпохой или это были явления, растянувшиеся на несколько столетий. Возврат к античной культуре, по мнению Д. С. Лихачева, не является основным признаком Возрождения. Античность как «своя культура» сыграла

огромную роль в Италии, но для Северной Европы обращение к античности стало явлением совсем другого типа, так как она там была чужой культурой, оказавшей тем не менее способной взломать жесткую структуру средневековья. Д. С. Лихачев напомнил, что главное завоевание эпохи Возрождения — в освобождении личности. Но мы иногда забываем, как и от чего освобождалась личность. Ведь в определенных отношениях, например в некоторых сословных понятиях, личность стояла очень высоко. Освобождение личности было освобождением от строгих сословных ограничений. И здесь мы должны, подчеркнул Д. С. Лихачев, учитывать социально-экономические факторы развития общества, которые подчас забываются исследователями. Необходимо учитывать также и значение христианского мировоззрения, которое часто несправедливо воспринимается как неподвижное целое. Таким образом, сказал Д. С. Лихачев, отрицание периода Возрождения исторически не оправдано.

В докладе доктора филол. наук Г. Г. Парулавы «Содержание и структура образа человека в грузинской литературе V—XII веков» было противопоставлено изображение идеального героя в античной литературе внутренне противоречивому образу страдающего и оскорбленного человека в литературе христианской. На примере памятников грузинской агнографии (Мученичество Шушаник, Евстатия, Або и др.) Г. Г. Парулава показал, как менялся со временем этот образ. В сочинениях отцов церкви, сказал он, появляются новые аспекты его понимания. Разные тенденции в изображении человека в древнегрузинской литературе достигают гармонического единства в поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Канд. филол. наук М. И. Гигинейшвили выступила с докладом «Древнейший памятник грузинской литературы». Ею было рассмотрено «Мученичество Шушаник», агнографическое сочинение V века, с целью ответа на вопрос, положил ли этот памятник начало литературной традиции или ему предшествовал некоторый этап развития литературы? Анализ образной системы «Мученичества Шушаник» позволил автору доклада выявить глубокие связи с новозавестной традицией. На примере таких образов, как «украшения—кандалы—оковы грехов», «дворец—малая келья», «вино», «хлеб», «мученический подвиг — духовный брак», М. И. Гигинейшвили показала, как художественная деталь становится метафорой и приобретает символическую функцию, как символы в «Мученичестве Шушаник» способствуют развитию сюжета. Таким образом, сказала докладчица, памятник свидетельствует о высоком уровне начитанности и «наслышанности» тех, с кем автор вел диалог. Следовательно, «Мученичество Шушаник» не начинается, а

развивает определенные литературные навыки древнегрузинских агнографов.

В прениях по прослушанным докладам выступили доктор историч. наук К. Н. Юзбашян, затронувший вопрос о времени и месте создания «Мученичества Шушаник», член-корр. АН СССР Л. А. Дмитриев и доктор филол. наук О. В. Творогов, отметившие черты типологического сходства древнегрузинской и древнерусской агнографии, доктор филол. наук А. М. Панченко, подчеркнувший значение высокой культуры устного слова в эпоху раннего христианства, канд. филол. наук Н. С. Демкова. Всем докладам была дана высокая оценка.

Третий день симпозиума открылся докладом доктора филол. наук В. С. Шадури «Царица Тамара в древнегрузинской и русской литературах. (Спорные вопросы)». Докладчик проследил изменение образа легендарной грузинской царицы от средневековья вплоть до эпохи начала XIX века, особо остановившись на М. Ю. Лермонтове, В. С. Шадури указал на возможный источник лермонтовского стихотворения — записки известного французского путешественника Жаана Шардена (1643—1713), в которых царица Тамара предстает действительно «коварной и злой».

Выступая по этому насыщенному интересными сопоставлениями докладу, доктор филол. наук Л. М. Лотман отметила несомненную правоту В. С. Шадури в его интерпретации стихотворения Лермонтова и указала на некоторые не учтенные автором поэтические ассоциации, в частности на образ Лорелет и на то, что легенды возникают часто в связи с поэтическим восприятием определенного пейзажа. Так, сказала Л. М. Лотман, восприятие кавказского пейзажа на фоне культурных ассоциаций могло породить стихотворение Лермонтова.

Канд. филол. наук Н. С. Демкова и канд. филол. наук Д. М. Буланги в связи с докладом В. С. Шадури остановились на текстологических и идеологических проблемах изучения древнерусской «Повести о царице Динаре», недавно проведенного новосибирской исследовательницей Т. С. Троицкой. Н. С. Демкова указала на необходимость учитывать тему исторического и профессионального оптимизма и на особую тему акафиста богородице, звучащую в Повести.

Доклад доктора филол. наук А. А. Гвахария, подготовленный совместно с М. Н. Инасаридзе, «Из истории персидско-русско-грузинских литературных связей» был посвящен судьбе грузинского памятника «Барамгуландмиани», который в начале XVIII века по инициативе царя Вахтанга VI был переведен с прозаического персидского даяна «Бахрам и Голандам», когда создавалась целая серия грузинских версий персидских произведений. В 1773 году



в Москве был напечатан перевод этого сочинения на русский язык, выполненный С. Игнатьевым, под названием «Похождение новомодной красавицы принцессы Гуладаны и храброго принца Ба-рама». Грузинский переводчик, как установил докладчик, довольно точно изложил содержание персидской повести, хотя и внес в нее ряд оригинальных деталей. С. Игнатьев углубил эту тенденцию. Как и в персидском оригинале, в русском переводе присутствуют стихотворные вставки, которые представляют определенный интерес с точки зрения истории русской версификации. В докладе были определены источники русского перевода «Похождения новомодной красавицы...». Вольный перевод С. Игнатьева, сказал А. А. Гвахария, является значительным литературным фактом в истории русских переводных повестей.

С докладом «Идейная борьба в грузинской литературе XVI—XVIII веков и некоторые вопросы русско-грузинских культурных связей» выступил канд. филол. наук Д. В. Апциаури. Он рассмотрел вопрос о том, что сделало возможным главенство Грузии на Кавказе, которая выступала политическим защитником христианских народов Закавказья, и каковы были политические отношения Москвы — «Третьего Рима» — с Грузией. Процесс развития грузинской духовной жизни, сказал докладчик, зависел и от этих обстоятельств. Более подробно Д. В. Апциаури остановился на литературном развитии XV—XVI веков, когда четко выявляется стремление грузин сохранить политические и культурные традиции классического периода и когда особенно важна традиция «подражания Руставели». Культура «Вепхисткаосани», сказал докладчик, стала для эпохи Возрождения символом мощи и умственного прогресса Грузии. Далее в литературе XVI—XVIII веков много внимания уделяется внешнему подражанию, что отразилось, по мнению докладчика, на «персидском

стиле» сочинений Теймураза. Были рассмотрены и литературные взгляды школы «исторического реализма» Арчила Багратони, выступившей против влияния персидской литературы. В заключение Д. В. Апциаури остановился на русско-грузинских культурных связях XVII века.

Выступивший по докладу Д. В. Апциаури доктор филол. наук А. М. Панченко заметил, что в нем была затронута очень важная проблема: что такое Европа как культурное понятие, которое появляется только в эпоху Ренессанса? А. М. Панченко призвал к тому, чтобы на конкретном материале определить необходимые номинации.

В прениях по докладом последнего дня симпозиума выступил также доктор филол. наук Г. М. Прохоров, О. В. Творогов, С. А. Фомичев, канд. филол. наук В. Э. Вацуро.

В заключительном слове доктор филол. наук Л. В. Менабде поблагодарил всех организаторов симпозиума и Пушкинский Дом в целом за возможность выступить перед ленинградскими коллегами. С ответным заключительным словом выступил Д. С. Лихачев. Нынешний симпозиум, сказал он, это подарок, который сделали нам грузинские ученые. Д. С. Лихачев отметил высокий научный уровень всех докладов, а также грузинской гуманитарной науки в целом. Он говорил о высокой культуре грузинской научной интеллигенции и высказал благодарность научным учреждениям, которые представляли ученые. Д. С. Лихачев предложил издать новый совместный сборник статей по древнегрузинской и древнерусской литературе.

Участники симпозиума познакомились с экспозицией Литературного музея ИРЛИ и собранием древнерусских рукописей Древлехранилища им. В. И. Малышева. Кроме того, для них состоялось выступление фольклорного ансамбля под руководством Д. Покровского.

*М. В. Рождественская*

## ПЕРВЫЕ ГРИБОЕДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

28—30 января 1986 года в городе Вязьме и в селе Хмелпта Вяземского района — бывшем родовом имении Грибоедовых — состоялись научные чтения «Проблемы творчества и биографии А. С. Грибоедова», организованные Смоленским обкомом КПСС, Министерством культуры РСФСР, Пушкинской комис-

сией АН СССР и газетой «Советская культура».<sup>1</sup>

Вступительное слово произнес начальник Главка Министерства культуры РСФСР В. В. Кучеров, особо отметив-

<sup>1</sup> О работе Чтений см. также: Сов. культура, 1986, № 12, 14; Сов. Россия,

ший тот факт, что Первые Грибоедовские чтения проходят на Смоленщине, в селе Хмелита, и это «приближение» науки к той земле, на которой воспитывался и рос талант Грибоедова, имеет глубокий нравственный смысл. С приветствием к участникам Чтений обратился также первый секретарь Вяземского горкома партии В. И. Атрощенко. Утверждением памяти нашего выдающегося земляка, подчеркнул он, станет восстановление усадьбы и открытие музея, который со временем должен стать научным центром по изучению наследия Грибоедова.

Рассмотрению общих проблем исследования биографии и творчества Грибоедова посвятил свой доклад «Личность и судьба А. С. Грибоедова. Легенды и факты» доктор филол. наук С. А. Фомичев (Ленинград), открывший первое заседание. Общим местом рассуждений о жизни Грибоедова, размышлений о его судьбе — чуть ли не изначально и вплоть до последних лет — стало сожаление о полной неразработанности его биографии. Простой перечень работ только советских исследователей (Н. К. Пиксанова, В. Н. Орлова, О. И. Поповой, М. В. Нечкиной, С. В. Шостаковича, В. С. Шадури, И. К. Ениколопова и др.) показывает неосновательность подобных сетований. Настало время трезво оценить, что уже сделано и что предстоит сделать в научном изучении грибоедовской биографии. И тут выясняется, что основные этапы его жизни нам известны более или менее неплохо. Ряд же гипотез в этой области не противоречит научному исследованию проблемы, но лишь подчеркивает то обстоятельство, что постижение «тайны Грибоедова» имеет преимущественно не фактологическую, а методологическую направленность.

В сообщении зам. директора ЦГИА СССР Н. А. Малеванова (Ленинград) «Грибоедовский документ эпохи Отечественной войны 1812 года» содержался анализ новых архивных материалов, касающихся семьи Грибоедовых. Это два прошения 1813—1814 годов Н. Ф. Грибоедовой, матери драматурга, в «Сословие призрения разоренных от неприятеля» — общество, деятельность которого заключалась в приеме денежных пожертвований от частных лиц и выдаче пособий пострадавшим от грабежей наполеоновской армии. Сумма потерь семьи Грибоедовых, согласно прошениям, составляла сто десять тысяч рублей. Ходатайства не имели установленных свидетельств и поэтому не были удовлетворены.

В докладе канд. филол. наук Л. М. Аринштейна (Ленинград) «Средневосточный узел и гибель Грибоедова» были проанализированы различные версии,

объясняющие причины и мотивы нападения на русское посольство в Тегеране, в ходе которого погиб А. С. Грибоедов. В докладе было показано, что нападение, спровоцированное британскими спецслужбами, имело своей целью подорвать процесс нормализации русско-персидских отношений, начатый Туркманчайским миром, а в более широком плане — посеять раздор между Россией и ее южными соседями. Согласно архивным документам, введенным в научный обиход в этой связи, очевидно, что персидское правительство расценивало нападение на русское посольство как направленное и против интересов Персии. Одной из целей заговора, сказал докладчик, было вынудить руководство британской Ост-Индской компании и ее дипломатических представителей в Персии Макдональда и Кэмпбелла, сотрудничавших с Грибоедовым в деле поддержания мира в Средневосточном регионе, изменить свои позиции в сторону более жесткого антирусского курса.

С докладом «А. С. Пушкин и А. С. Грибоедов: творческие связи» выступил доктор филол. наук В. С. Баевский (Смоленск), который сосредоточил внимание на сопоставлении стиха «Евгения Онегина» и «Горя от ума» и пришел к выводу, что ритм четырехстопного ямба «Евгения Онегина» и четырехстопного ямба «Горя от ума» имеют разную ориентацию. Если Пушкин перешел на новый, «симметричный» ритм, присущий стиху большей части его современников, то Грибоедов ориентировался на «асимметричный» ритм четырехстопного ямба XVIII века. В стихе «Евгения Онегина» наряду с говорным реализуется напевное начало, а в стихе «Горя от ума» — ораторское, декламативное. Лирический четырехстопный ямба Грибоедова еще более архаичен, чем в составе драматического вольного ямба, и в некоторых отношениях сближается со стихом М. В. Ломоносова. Таким образом, становится возможным более полно осознать своеобразие эстетической позиции Грибоедова как «младшего архаиста» (Ю. Н. Тынянов).

Выявлению некоторых источников пушкинского текста был посвящен доклад канд. истор. наук В. С. Листова (Москва) «Грибоедовский эпизод в „Путешествии в Арзрум“». Докладчик проанализировал жанровые особенности эпизода, наметил его перекличку с импровизацией А. Мицкевича (1828) о злодейском убийстве патриарха в Стамбуле.

Народный артист РСФСР Н. С. Михалков рассказал о работе творческого коллектива в составе А. А. Адабашьяна, И. М. Квирикадзе, Ю. М. Лощина и Н. С. Михалкова над сценарием фильма-диалогии и телесериала «Жизнь и гибель Александра Грибоедова», о причинах, побудивших его обратиться к этой теме, прочитал несколько фрагментов сценария.

Первое заседание Чтенй закончилось концертом московских артистов. Молодые актеры Малого театра сыграли сцену из «Горя от ума».

Второе заседание Чтенй проходило в доме Грибоедовых, где в скором времени, по завершении реставрационных работ, должен открыться Музей-усадьба «Хмелита».

С сообщением, посвященным проблемам научной реставрации имения Грибоедовых, выступил архитектор В. Е. Кулаков (Москва). Реконструкция первоначального облика всей усадьбы затруднена рядом причин — исторический материал позволял представить его лишь в самых общих чертах, главный же дом был перестроен в первой половине XIX века. Потребовалось девятнадцать лет скрупулезных поисков, сложнейших реставрационных работ, чтобы здание, пока только снаружи, приобрело свой исконный вид. Еще более сложная проблема возникает на следующем этапе — воссоздание интерьера.

В сообщении зав. Музеем-усадьбой «Хмелита» Н. А. Тарховой на основании «Летописи села Хмелита», составленной местным священником в 1883 году, писем А. Ф. Грибоедова 1799 года из Хмелиты, «Дела о взыскании с А. Ф. Грибоедова кредиторами денег» и других источников автором выявляются лица, с которыми в Хмелите мог общаться юный Грибоедов, уточняются некоторые детали, касающиеся устройства самой усадьбы.

В докладе Г. Д. Овчинникова (Владимир) и Е. В. Цымбала (Москва) «А. С. Грибоедов на Владимирщине» были систематизированы и обобщены архивные материалы о малоизученном периоде жизни Грибоедова — его пребывании во Владимирском крае. Докладчики привели биографические данные о владимирской ветви фамилии Грибоедовых, из которой происходил отец драматурга, сообщили новые факты из жизни С. И. Грибоедова, уточнили дату его смерти. В результате архивных разысканий авторов стало известно о пребывании А. С. Грибоедова во владимирском имении Лачиновых — сельце Сущево, где он лечился от «простуды в левом боку и нервной горячки» в 1812—1813 годах.

В. Ф. Шубин (Ленинград) в сообщении «Нина Чавчавадзе в письмах современника» познакомил участников Чтенй с письмами Николая Дмитриевича Сенявина (старшего сына прославленного русского адмирала), находившегося на военной службе на Кавказе в 1827—1828 годах и познакомившегося там с будущей женой Грибоедова. Н. Д. Сенявин рассказывает в письмах к Б. Г. Чиляеву (видному военному деятелю Кавказа, знакомому Пушкина и Грибоедова) о своей безответной любви к Нине Чавчавадзе. Эти документы, хранящиеся в рукописном отделе Пушкин-

ского Дома, дополняют существующие представления о Нине Александровне, об ее исключительном обаянии. Они также представляют собой интересный материал для изучения психологического склада человека грибоедовской эпохи, культуры любовных чувств, испытывавшей влияние романтической литературы.

О Грибоедовском собрании чл.-корр. АН СССР Н. К. Пиксанова в Пушкинском Доме — истории его создания, источниках комплектования и составе рассказала С. А. Полозкова (Ленинград). Основой этого собрания стала богатейшая коллекция библиографа и библиофила И. О. Сержпутовского. Здесь встречаются книги с владельческими и дарственными надписями и книжными знаками Г. Н. Генпади, П. А. Ефремова, Ф. А. Витберга, И. А. Шляпкина и многих других ученых, библиографов, собирателей. В собрании сосредоточена вся литература, посвященная Грибоедову, — более 150 изданий «Горя от ума», среди которых редчайшее бесцензурное армейское издание 1830—1840-х годов, почти все существующие переводы комедии, огромная литература о самом драматурге и его эпохе и, конечно, известные пиксановские копюлоты — проблемно-тематические папки, содержащие сотни разнообразных печатных и рукописных материалов, в которых продолжают обнаруживаться уникальнейшие. Только за последнее время в грибоедовском собрании Пиксанова были найдены: подлинные письма дяди Грибоедова, владельца Хмелиты, и его жены, купчая 1786 года на крепостную девушку, персидский рукописный сборник, содержащий копии документов, относящихся к гибели Грибоедова, тетрадь с копиями неопубликованных писем В. А. Жуковского, К. Н. Багюшкова, Н. В. Кукольника, Н. М. Карамзина, Н. И. Гнедича и др. из Карловского архива Булгарина, который, как известно, сохранился не в полном составе. Все эти материалы должны быть использованы при подготовке новых изданий грибоедовского наследия.

Н. П. Попова (Ленинград) выступила с обзором «Грибоедовские материалы в собрании Всесоюзного музея А. С. Пушкина». В сообщении был дан подробный анализ иконографического материала, представленного в коллекции. Перечень же подлинных вещей Грибоедова в Музее невелик: письменный стол писателя, его очки, стол А. А. Жандра, за которым, по семейному преданию, работал Грибоедов, бывая в Петербурге.

Зав. Музеем Грибоедова в Ереване Н. А. Оганян посвятила свой доклад проблеме «Грибоедов и Армения». В истории армянского народа, его благодарной памяти имя Грибоедова занимает особое место. И это обусловлено не только его конкретной деятельностью как дипломата, но и прежде всего его незаурядными человеческими качествами. Однако, чтобы наиболее полно и

глубоко понять эту личность, необходимо принимать в ней все — не только внешний блеск, «беспредельные замыслы», ум и способности в патриотической деятельности дипломата и ученого, мужество воина, но и, казалось бы, порочащие его качества — честолюбие, а также расчет и хитрость политика. Все это вместе, но обязательно выверенное особым нравственным законом личности, в самой органике которой совмещаются боль ближнего и собственная миссия в жизни. Именно такая концепция ее, заключила автор, убеждает нас в том, что предопределило исключительную роль и особое место Грибоедова в истории Армении и памяти ее народа.

С сообщением «Грибоедов в дореволюционной разноязычной печати Азербайджана» выступила М. А. Якубова (Баку). Основное внимание докладчица сосредоточила на анализе анонимной комедии «Чацкий в Баку» (подражание грибоедовской комедии), опубликованной в юмористическом журнале «Джигит» в 1907—1908 годах. Сопоставление сюжетной интриги, образной системы двух произведений показало, что, хотя неизвестный автор бакинской комедии и не обладал большим талантом, тем не менее, творчески использовав «Горе от ума», он дал превосходный образец сатиры, обличающей быт и нравы дореволюционной азербайджанской столицы.

Драматург Б. А. Голлер (Ленинград) рассказал о своей работе над пьесой «Венок Грибоедову», прочитал несколько отрывков из нее.

По окончании второго заседания участники и гости Чтений осмотрели мемориальную усадьбу Грибоедовых. В Доме культуры состоялся концерт московских артистов.

Третье заседание Чтений проходило в Городской библиотеке г. Вязьмы.

В докладе «„Горе от ума“ как формула жизни» доктор филол. наук А. Л. Гришунин (Москва) отнес комедию Грибоедова к числу произведений, фабула которых имеет универсальный характер и может быть типологически соотнесена со многими реальными проявлениями жизни. А. И. Герцен «примерял» Чацкого к декабризму и к самому себе; Д. П. Писарев говорил о «кровном родстве» с ним «повейших реалистов». Трансплантация грибоедовских типов на страницы произведений Салтыкова-Щедрина, Достоевского и др. — это не что иное, как анализ современных общественных процессов, предполагаемые модификации героев «Горя от ума» в новых исторических условиях. «Горе от ума» — гениальная всеобъемлющая формула развития жизни. В этом «секрет» жизнестности этого произведения.

Об интерпретации взаимоотношений Грибоедова и декабристов в работах последних лет говорилось в докладе канд. филол. наук Ю. П. Фесенко (Воронеж). Докладчик отметил, что в последние годы наряду с исследованиями,

раскрывающими новые грани этих взаимоотношений, появляются работы, в которых, как правило, без развернутой аргументации, на основании ограниченно набора «фактов», кочующих из работы в работу, отрицается связь Грибоедова и декабристов и декабристское содержание «Горя от ума». Разбирая эти суждения, докладчик приходит к выводу о недостаточном учете их авторами достижений отечественного литературоведения, о необходимости больше доверять самим декабристам, четверо из которых подтвердили на следствии принадлежность Грибоедова к тайному обществу. Вместе с тем, отметил Ю. П. Фесенко, в работах ряда ученых эта сложная тема получает чрезмерную определенность, не соответствующую современному уровню науки.

Проблеме осмысления и оценки комедии «Горе от ума» литературной критикой демократов-шестидесятников посвятил свое выступление доктор филол. наук В. В. Ильин (Смоленск). Основное внимание докладчик уделил Д. И. Писареву, в статьях которого, и особенно в его юношеском дневнике, содержались ростки гончаровского «Мильона терзаний», идейные импульсы которого поступали к «юной России» и последующим поколениям «молодых штурманов будущей бури». Неоднократные выступления русской демократической критики 1860-х годов по поводу комедии Грибоедова раскрывают сложнейшие связи, существовавшие между литературой и постоянно изменяющейся действительностью, определявшей в свою очередь новые критерии оценки произведения, новые подходы к его содержанию и художественной структуре.

С докладом «Ю. Н. Тынянов и А. С. Грибоедов (из наблюдений над романом «Смерть Вазир-Мухтара)» выступил канд. филол. наук В. Э. Вацура (Ленинград). Исследователи спорят, сказал докладчик, с романом как с исследовательской монографией, читателя — с романной концепцией личности Грибоедова, не отвечающей читательскому ожиданию. Не следует забывать, что эмоциональная, художественная, форма познания действительности имеет такое же право на существование, как и рациональная, историко-литературная. Легенда о нереализованных возможностях Грибоедова в своих конструктивных основах была высказана уже в пушкинском «Путешествии в Арзрум». У Тынянова — та же основа, а концовка — самое сильное место — почти цитата из «Путешествия в Арзрум». Таким образом, конструктивная идея Тынянова — гений на сломе эпох — вполне правомерна.

В докладе канд. филол. наук В. А. Кошелева (Череповец) «Комедия А. С. Грибоедова и П. А. Катенина „Студент“»: А. С. Грибоедов и К. Н. Батюшков» была детализирована и развита давняя гипотеза Н. В. Фридмана о том, что в

структуре комедии «Студент» (1817) содержатся яркие пародийные элементы, направленные против только что вышедшего первого прозаического тома «Опытов...» Батюшкова. Проанализировав литературную ситуацию, в которой была написана комедия, и сопоставив ряд аллюзий в комедии Грибоедова и Катенина с реальными эпизодами полемики о балладе, с ситуацией появления «Опытов...» и некоторыми высказываниями из писем современников, автор пришел к выводу, что личность и творчество Батюшкова стали ближайшими адресатами литературной сатиры авторов «Студента».

В докладе канд. филол. наук С. А. Кибальника (Ленинград) «А. С. Грибоедов и Н. И. Гнедич. (Литературная полемика)» было рассмотрено печатное выступление Грибоедова в защиту П. А. Катенина, направленное против Н. И. Гнедича и В. А. Жуковского. Докладчик исходил из того, что этот литературный спор ни в коем случае нельзя рассматривать — что делалось неоднократно и делается даже в работах последнего времени — как полемику «Арзамаса» с кружком А. А. Шаховского. В результате детального анализа С. А. Кибальник пришел к выводу, что спор шел главным образом по вопросу не о «славянщине», а о «простонародности» и «простоте». И именно убежденность Грибоедова в необходимости в поэзии простоты через несколько лет поможет ему осуществить свое понимание народности языка в его блестящей комедии «Горе от ума».

Сообщение аспирантки О. А. Левченко (Смоленск) «Стихотворение „Хищники на Чегеме“ в творческой биографии А. С. Грибоедова» было посвящено двум фактам непосредственного соприкосновения Грибоедова с жанром романтической баллады. Ряд формальных признаков позволяет отнести к этому жанру стихотворение «Хищники на Чегеме»: оно написано четырехстопным хореем, имеет строгую строфическую организацию и др. С известной долей осторожности можно предположить два пародийных момента, направленных по адресу романтической баллады, и в комедии «Горе от ума». Сон Софьи, построенный по схеме жанра и введенный в авантюрно-бытовую ситуацию, трагедизирует тем самым романтическую балладу. Автору представляется, что и любовная интрига Софьи и Молчалина близка мелодраматическому сюжету «Золотой арфы» В. А. Жуковского, обыгрывая который таким образом, Грибоедов низводит его до уровня комического. Все эти моменты вносят дополнительные штрихи в полемику о романтической балладе, начатую поэтом в 1816 году и продолженную в 20-х годах.

С сообщением «Письма В. Д. Вольховского к А. С. Грибоедову» выступил канд. филол. наук Д. И. Белкин (Горький). Письма, а их сохранилось всего

три, были отправлены адресату из Тегерана в период между 13 декабря 1827 года и 11 января 1828 года. Почти все их содержание сосредоточено вокруг нарушения персидской стороной условий выплаты контрибуции. Вместе с тем, отметил докладчик, тон писем, соображения, которыми делится Вольховский, убедительно свидетельствуют об искренних дружеских отношениях между автором «Горя от ума» и его младшим современником.

В докладе канд. филол. наук О. С. Муравьевой (Ленинград) «Замысел трагедии Грибоедова „Грузинская ночь“» рассматривался вопрос о предполагаемом содержании трагедии. При реконструкции его, по мнению автора, необходимо учитывать жанровую специфику «Грузинской ночи», особенности поэтики драмы. Исходя из анализа сюжетной коллизии и драматического конфликта, докладчица выдвинула гипотезу, что замысел трагедии не содержит никаких внутренних противоречий и поэтому свидетельства современников Грибоедова о том, что произведение было завершено, не должны вызывать недоверия. Трагедия «Грузинская ночь» могла стать произведением, знаменующим новый закономерный этап творчества Грибоедова и естественно включающимся в литературный контекст эпохи.

Доктор филол. наук Я. С. Билингис (Ленинград) выступил с докладом «Драматургия „Горя от ума“». Комедия сформировалась как произведение подлинно драматическое: здесь нет «выдерживаемого» утверждения одной из противоборствующих сторон за счет другой, но развертывается их широкое взаимодействие. Москва у Грибоедова — не только фамусовская, а и Москва, где еще сохранным то давнее русское, к чему и Чацкий привязан и привержен. В столкновении с Москвой Чацкий выказывает не одну лишь прогрессивность, но и умозрительность, отвлеченность своих представлений о жизни, их «несоответственность» ее реальной сложности и движению. Лирическое «я» во взаимодействии с персонажами комедии обрело истинную высоту поэзии и свободу ее выражения, став непосредственно «двигателем произведения» (А. Кушнер). Драматургическая структура «Горя от ума» обусловила характеристику его Белинским как «первого», наряду с «Евгением Онегиным», «образца поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова» и явилась для критика в известной мере основанием к тому, чтобы усматривать — вслед за Гегелем — в драме синтетический литературный ролю.

В докладе Г. С. Меркина (Смоленск) «Творческая биография А. С. Грибоедова в школе» был поставлен вопрос о необходимости внесения уточнений в содержание школьной программы, в методические рекомендации к учебному пособию и в содержание самого учеб-

ного пособия для учащихся 8 класса с учетом достигнутый литературоведческой науки последних лет, в частности относительно всестороннего раскрытия проблемы «Грибоедов — выразитель идей преддекабризма и декабризма», «Чацкий — выразитель передовых идей своего времени». Эта проблема важна и по методологической причине. В 8—9 классах средней школы учащиеся, изучая творчество А. С. Грибоедова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, должны будут прийти к выводу о том, что писатель-реалист часто выражал передовые общественно-политические взгляды эпохи. Самый яркий пример здесь — ленинское толкование феномена Л. Н. Толстого. Восприятие в связи с этим личности А. С. Грибоедова во всей ее сложности, неоднозначности, противоречивости — необходимая задача.

Проблемам грибоедовской текстологии в изданиях «Библиотеки поэта» посвятила свое выступление Д. М. Климова (Ленинград). «Библиотека поэта», отметившая в 1984 году свое пятидесятилетие, выпустила четыре сборника стихотворных произведений Грибоедова. Начиная новый этап своей деятельности — третье издание Большой и четвертое издание Малой серий, редакция «Библиотеки поэта» одним из первых запланировала выпуск пятого по счету грибоедовского тома. Перед «Библиотекой поэта», отметила докладчица, стоит непростая задача: сделать следующий шаг в разработке состава, композиции, в подготовке текста и комментариев, используя, но не копируя опыт предшественников, а также выполнить одно из основных требований, предъявляемых к изданиям этого типа: целостность книги, в которой сумма всех компонентов

должна выражать позицию составителя, комментатора, текстолога по отношению к общим проблемам творческого наследия писателя.

После докладов состоялись прения. В них приняли участие А. Л. Гришунин, Б. А. Голлер, Ю. П. Фесенко, Е. В. Цымбал, Д. И. Белкин, Я. С. Билинникс, Н. А. Малеванов. Выступавшие говорили о важности проведения Первых Грибоедовских чтений, о необходимости коллективных усилий в осмыслении творческого наследия Грибоедова, о невозможности образования музея — этого чрезвычайно тонкого и сложного организма — без науки, предшествующей и сопутствующей этому рождению. Особо было сказано о недопустимости таких псевдонаучных сообщений, как недавнее, прошедшее по многим газетам, о гомельском экземпляре списка «Горя от ума», якобы авторизованном. Этому «открытию» ровно пятьдесят лет; экспертиза, проведенная в Пушкинском Доме еще в начале 60-х годов, установила, что вставки на этом списке не принадлежат Грибоедову.

В конце заседания С. А. Фомпчев поблагодарил Вяземский горком партии, на высоком уровне организовавший научный симпозиум, писателей и артистов, чьи выступления сделали Грибоедовские чтения праздником; было сказано о необходимости сделать Чтения регулярными. Собравшиеся были извещены о том, что Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР приступил к подготовке академического издания Полного собрания сочинений А. С. Грибоедова в 3-х томах. В решениях Чтений содержалось предложение подготовить сборник научных трудов по материалам конференции.

*С. А. Полозкова*

## XXIII НЕКРАСОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР 29—30 января 1986 года состоялась очередная Всесоюзная научная Некрасовская конференция, в работе которой участвовали некрасоведы из Ленинграда, Казани, Орла, Коломны, Костромы, Иванова, Фрунзе, Одессы, Ленинабада, Ивано-Франковска, Москвы. Вступительное слово при открытии конференции произнес директор ИРЛИ АН СССР доктор филолог. наук А. Н. Иезуитов.

С докладом «Некрасов и Добролюбов» выступил доктор филолог. наук Ф. Я. Прийма (Ленинград). Первая часть его доклада была посвящена творческой истории статьи А. И. Герцена

«Лишние люди и желчевики» (1860), одной из побудительных причин написания которой, как предполагает докладчик, послужила рецензия Добролюбова на сочинения А. Г. Филипова «Очерки Дона». Критик дискредитировал в ней «лишних людей» ссылкой на «Песню Еремушке» Некрасова. Во второй части доклада было обстоятельно проанализировано стихотворение Некрасова «Тургеневу», в своей первоначальной редакции (1861) обращенное против Герцена. Однако переоценка роли «лишних людей» в жизни и литературе, прошедшая отражение в ряде работ лондонского изгнанника, написанных после 1863 года («Новая фаза в русской ли-

тературе», «VII лет» и др.), заставила Некрасова отказаться от своего первоначального замысла и в дополненном и переработанном виде переадресовать его Тургеневу (1877). При этом, если первые восемь строф характеризуют автора «Отцов и детей», то последние три строфы изображают «русских юношей вождя и русских дев кумира» — Добролюбова. Образ гениального русского критика в стихотворении вполне соответствует тому представлению о нем, которое было запечатлено в сознании передовой молодежи 1860-х годов.

Доктор филолог. наук Е. Г. Бушкаев (Казань) рассмотрел известные письма Добролюбова с точки зрения отразившегося в них литературно-общественного движения второй половины 50-х—начала 60-х годов XIX века. Изучая письма Добролюбова, Е. Г. Бушкаев обратил особое внимание и на своеобразие эпистолярного наследия революционного демократа. Докладчик отметил назревшую необходимость издания не только полного собрания добролюбовских писем, но и писем, адресованных критике.

Доклад канд. филолог. наук Н. П. Генераловой (Ленинград) был посвящен комментированию полемики между революционно-демократическим и либерально-демократическим лагерями в русской литературе в период их наиболее острого размежевания накануне крестьянской реформы. Эта полемика нашла яркое отражение на страницах «Свистка», идейными вдохновителям которого были Некрасов и Добролюбов. Особое место в этой полемике принадлежало Добролюбову и Тургеневу. Добролюбов, выступивший с рядом статей, посвященных творчеству Тургенева, немалое место уделил ему и на страницах «Свистка», в частности, как было показано в докладе, в заметке «Отъезжающему за границу» (1860), написанной совместно с Некрасовым, в неопубликованной в «Свистке» заметке «Что о нас думают в Париже...» (1860), в стихотворении «В начале августа вернулся я домой...», также не вошедшем в «Свисток». В свою очередь Тургенев не только отразил перипетии этой полемики в романе «Отцы и дети», но еще раньше выступил с сатирическим выпадом против Добролюбова на страницах «Искры» (заметка «Шестилетний обличитель»). Более детальное рассмотрение фактов «присутствия» Тургенева на страницах «Свистка» поможет, по мнению докладчика, как всесторонне осветить полемику между либералами и демократами в творчестве самого Тургенева, так и глубже понять смысл лучших страниц русской сатирической журналистики 50—60-х годов.

Оценка творчества Некрасова журналистами 70-х годов XIX века была в центре внимания доклада, прочитанного канд. филолог. наук С. И. Коршуновой (Ивано-Франковск), которая обратилась

к журналам «Отечественные записки», «Дело», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Заря». Именно в них, по мнению С. И. Коршуновой, наиболее полно выявлялись различные направления литературы и критики середины XIX века. Докладчица привела оценки творчества Некрасова на страницах «Русского вестника» и «Зари», обратив внимание на попытки этих журналов дискредитировать эстетическую основу некрасовской поэзии — теснейшую связь с жизнью, социальную детерминированность образов. Демократическая печать незамедлительно вступала в активную полемику с реакционной критикой, неизменно высоко оценивая произведение Некрасова. Однако особую позицию по отношению к творчеству поэта занял демократический журнал «Дело». В докладе были приведены оценки поэзии Некрасова, которые свидетельствовали о том, что журнал видел в Некрасове лишь поэта-дворянина, взявшегося за освещение чуждой ему темы. С. И. Коршунова объясняет такую позицию «Дела» позитивистским подходом к вопросу о связи мировоззрения писателя с его происхождением. Этот подход и привел журнал к явным эстетическим промахам. Критика «Дела» выражала настроения той радикальной части русской разночинной интеллигенции, которая отрицала дворянскую культуру во имя создания культуры трудового народа и вела борьбу с авторитетами и традициями дворянского общества, ставя знак равенства между творчеством писателя и социально-экономическими условиями существования художника.

«Некрасов и литературная позиция „Современника“ 1847-го—начала 50-х годов» — так озаглавил свой доклад доктор филолог. наук Г. В. Краснов (Коломна). Став во главе «Современника», Некрасов обновил все основные разделы журнала, привлекая к работе в нем ряд сотрудников из «Отечественных записок» и приглашая новых. Докладчик указал далее на активную роль, которую играли в полемике «Современника» с «Москвитянином» в 1847 году А. В. Никитенко и К. Д. Кавелин. Роль Никитенко в журнале не ограничивалась редакторско-цензурскими обязанностями. В программной для «Современника» статье «О современном направлении русской литературы» («Современник», 1847, № 1) Никитенко отстаивает историзм принципа народности. В его же рецензии на «Курс теории словесности» М. Чистякова («Современник», 1847, № 8), одобренной Некрасовым, учитывалась критика Белинским «Опыта истории русской литературы» самого же Никитенко. Известные разногласия между Никитенко и Некрасовым — И. И. Панаевым послпи во многом внутрядеконный характер. В 1849—1852 годах, отметил докладчик, Некрасов на главное место в журнале выдвигает наряду с беллетристикой и русскую ис-

торическую литературу, требует от молодого ученого А. Н. Афанасьева, сотрудника журнала, полноты анализа этой литературы. Тактика Некрасова-редактора, подчеркнул Г. В. Краснов, менялась: ведущим в журнале в определенный период мог быть тот или иной отдел.

Доклад канд. филолог. наук Н. Н. Мостовской (Ленинград) «Некрасов и Тургенев: (Из литературной полемики 1850-х годов)» был посвящен полемике Некрасова с Тургеневым по поводу поисков нового типа литературного героя, новой литературной стилистики, полемике, отразившейся и в художественном творчестве. Особое внимание в докладе было уделено проблематике романа «Тонкий человек, его приключения и наблюдения» («Современник», 1855, № 1), в котором, так же как и во многих эпистолярных высказываниях Некрасова о Тургеневе (50-е годы) и критических статьях этого периода (рецензия на альманах «Комета», изданный Н. Щепкиным в 1851 году, «Заметки о журналах за февраль 1856 года» и др.), нашли отражение раздумья Некрасова над художественными открытиями Тургенева. Глубокий интерес поэта к осмыслению социально-этических проблем времени проявился не только в его высказываниях о «Рудине», о «Гамлете Щигровского уезда», но и в художественной интерпретации «лишнего человека» в романе «Тонкий человек». Poleмичность по отношению к тургеневскому типу «лишнего человека» («Дневник лишнего человека», «Гамлет Щигровского уезда») усиливалась тем, что некрасовский роман, особенно его первые четыре главы, написан в пародийно-проничном стилевом ключе. В результате сопоставительного анализа стиля романа, тематических и текстуальных совпадений ряда его эпизодов и мотивов с аналогичными в повести «Гамлет Щигровского уезда» Н. Н. Мостовская выявила нацеленность романа Некрасова на проническое переосмысление и развенчание тургеневского типа «лишнего человека». По своей смысловой наполненности (фразерство, болезненное самолюбие, склонность к эффектам) понятие «тонкий человек» у Некрасова созвучно тургеневской формуле «лишний человек». Но в отличие от Тургенева, которого более интересовала психологическая природа героя, философские корни его мировоззрения, Некрасов, с одной стороны, делает акцент на социальное-политическом факторе, способствующем появлению «тонких людей», с другой — дает проническую интерпретацию тургеневского «лишнего человека». Сознательно лишая своего героя какого-либо сочувствия и сосредоточившись только на теневых сторонах типа «российского Гамлета», автор «Тонкого человека» разрушает его внутреннюю целостность, художественную емкость и делает своего героя более

однозначным. Скрытая пародийность (как форма полемки) достигается рядом художественных приемов, прежде всего несоответствием пронического стиля сложности проблемы, обыгрыванием тургеневских слов и ситуаций. Глубоко принципиальная полемика с Тургеневым, сказавшаяся в романе «Тонкий человек», занимает важное место в формировании революционно-демократической позиции Некрасова, его революционно-демократического художественного мышления и в конечном счете — в становлении реализма нового типа.

Канд. филолог. наук В. А. Громов (Орел) привлек внимание к отклику «Современника» на первое представление комедии И. С. Тургенева «Завтрак у предводителя» в Александринском театре, состоявшееся в конце 1849 года. Этот отзыв содержал отсылку к рецензии Н. А. Некрасова на спектакль «Холостяк», в которой впервые была упомянута комедия «Завтрак у предводителя», переданная М. С. Щепкиным редактору «Современника» в первой половине сентября 1849 года. В отклике «Современника», как отметил В. А. Громов, развивались основные положения некрасовской рецензии на постановку «Холостяка». Сопоставляя отзыв «Современника», рецензию и письмо Некрасова к Тургеневу от 14 сентября 1849 года, докладчик пришел к выводу, что критический отдел «Современника» способствовал воздействию на художественный процесс, помогал Некрасову «стимулировать» самые сильные стороны таланта писателей и отбирать для журнала лучшее из написанного ими.

Не разработанной в литературоведении проблеме «Н. С. Лесков и Некрасов» был посвящен доклад канд. филолог. наук А. А. Горелова (Ленинград).<sup>1</sup>

В докладе «Фольклорные источники поэмы „Коробейники“» канд. филолог. наук Н. Г. Морозов (Кострома) сделал попытку прояснить методы использования Некрасовым русского фольклора. Отметив родство ситуаций в обрядовом фольклоре и в поэме, докладчик в то же время указал и на расхождение некоторых эпизодов поэмы с обрядовыми канонами, на отказ Некрасова от изображения патриархальных обычаев, неперенных в традиционной обрядности. Поэт сохраняет лишь те элементы народного обряда, в которых воплощен художественный опыт многих поколений.

Анализируя хранящиеся в фондах ЦГАЛИ и в некоторых областных архивах рукописные сборники с текстами произведений Некрасова, доктор филолог. наук Л. А. Розапова (Иваново) в докладе «Восприятие произведений Некрасова современниками и нынешнее их

<sup>1</sup> Текст доклада публикуется в настоящем номере журнала.



толкование» обратила внимание на различия, которые, по ее мнению, подтверждают правильность ряда текстологических решений в ныне осуществляемом академическом издании полного собрания сочинений Н. А. Некрасова.

Произведениям Некрасова, печатавшимся в листовках комитетов РСДРП, посвятил свой доклад канд. филолог. наук А. З. Дун (Ленинабад). Изучение бытования литературных образов в революционных листовках, отметил докладчик, убеждает в том, что наиболее популярными были гражданские стихотворения Некрасова. Его поэзия органически включалась в тексты листовок, способствовала их более эмоциональному восприятию и в то же время сама как бы приближалась к русской действительности 900-х годов.<sup>2</sup>

Доктор филолог. наук С. А. Рейсер (Ленинград) вновь вернулся в своем докладе к вопросу, поднятому им много лет назад, выдвинув дополнительные доводы и соображения по поводу атрибуции литературной фальсификации — поэмы «Светочи». Поводом к выступлению ученого послужила статья Л. А. Розановой «Загадка „Светочей“» (в кн.: Некрасов и современность. Ярославль, 1984), в которой сделана попытка вновь рассмотреть эту поэму с точки зрения аутентичного некрасовского текста или же как агитационного произведения революционных групп 1870—1880-х годов.<sup>3</sup>

Вопросы текстологического изучения некрасовской публицистики легли в основу доклада канд. филолог. наук Б. В. Мельгунова (Ленинград) «Публицистика в академическом издании полного собрания сочинений Н. А. Некрасова». Исследователь сосредоточил внимание главным образом на периоде 1847—1866 годов (период «Современника»). Доля авторского участия Некрасова в публицистическом отделе («Смесь») «Современника» остается до сих пор еще мало проясненной. Опираясь на свидетельства сотрудников Некрасова по редакции журнала и на известные особенности журнальной деятельности поэта, Б. В. Мельгунов предложил особо тщательно изучить следующие категории анонимных материалов «Современника»: статьи и заметки, написанные от имени редакции, статьи, фельетоны, органически включающие стихотворения Некрасова, статьи, содержащие полемические отклики на критику некрасовских произведений. По мнению докладчика, зна-

чительная часть этих материалов составлялась самим Некрасовым или при его ведущем участии.

Дату написания Некрасовым стихотворения «Бунт» уточнила в своем сообщении канд. филолог. наук Т. С. Царькова (Ленинград). Она относит создание этого произведения к 1867 году на основе сопоставления его с имеющимися в периодической печати того времени материалами судебного процесса над крестьянами с. Хрущовки Рязанской губернии. Т. С. Царькова обнаружила, что некоторые подробности событий в с. Хрущовка, упоминавшиеся на процессе и сообщенные прессой, совпадают с деталями некрасовского стихотворения. Это дает веские основания датировать стихотворение 1867 годом.

Канд. педагог. наук М. Д. Эльзон (Ленинград) доложил об обнаруженном им в архиве П. П. Пекарского неизвестном четверостишии Некрасова. Написание этого четверостишия было связано с отказом Александра II предоставить помещение императорского театра для проведения юбилейного вечера, посвященного 300-летию со дня рождения Шекспира. Вновь найденные некрасовские строки и комментарий к ним будут опубликованы М. Д. Эльзоном в X выпуске «Некрасовского сборника».

Канд. филолог. наук Б. Л. Бессонов (Ленинград) в одном из архивохранилищ обнаружил неопубликованное письмо В. Г. Белинского к А. Я. Панаевой. С этим письмом он познакомил присутствовавших на конференции.

Доктор филолог. наук М. В. Теплинский (Ивано-Франковск) в своем докладе попытался выяснить отношение В. М. Лазаревского к Некрасову на основе дневниковых записей. Анализируя личный дневник В. М. Лазаревского, не предназначавшийся к печати, М. В. Теплинский пришел к выводу о недоброжелательном отношении Лазаревского к Некрасову и его близким.<sup>4</sup>

На конференции выступил также доктор филолог. наук В. Г. Прокшин (Уфа) с докладом, посвященным проблеме жанра «Кому на Руси жить хорошо». Канд. филолог. наук М. Н. Дарвин (Иркутск) прочитал доклад «Своеобразие лирических циклов Некрасова». канд. филолог. наук А. А. Слюсарь (Одесса) — «Поэтика стихотворений „Поэт и гражданин“ Некрасова и „Поэт и толпа“ Пушкина», Т. П. Баталова (Карабах) — «Авторская позиция в поэме „Коробейники“, З. П. Ермакова (Фрунзе) — «Произведения Некрасова в среде рабочих: (По материалам библиотек-читален конца XIX—начала XX века)»,

<sup>2</sup> На основе доклада А. З. Дуном подготовлена статья «Некрасовская поэзия в революционной пропаганде: (Листовки комитетов РСДРП 1901—1906 годов)», которая публикуется в составе IX выпуска «Некрасовского сборника».

<sup>3</sup> Доклад С. А. Рейсера составил основу его статьи «Через пятьдесят шесть лет...». См.: Вопросы литературы, 1986, № 2, с. 217—222.

<sup>4</sup> Материалы и выводы, содержащиеся в докладе, составили один из разделов статьи М. В. Теплинского «Из архивных разысканий о Н. А. Некрасове», публикуемой в IX выпуске «Некрасовского сборника».

Т. А. Шлясова (Москва) — «Московские мотивы в творчестве Некрасова», канд. филолог. наук О. Б. Алексеева (Ленинград) — «Неопубликованные письма к Некрасову в рукописном отделе ИРЛИ АН СССР» (материалы этого доклада готовятся к печати в составе X выпуска «Некрасовского сборника»).

На конференции было заслушано 23 доклада и сообщения. В обсуждении докладов приняли участие Л. А. Розанова, В. Г. Прокшин, М. В. Теплинский

и др. В заключительном слове Ф. Я. Прийма отметил высокий уровень большинства докладов, присутствие в них новых фактических материалов и глубокое их осмысление.

Участники и гости конференции почтили память недавно ушедших из жизни ученых-некрасоведов Г. П. Верховского, М. М. Гина и С. А. Червяковского, много сделавших в изучении наследия поэта.

*О. Б. Алексеева*

## НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

7 января 1986 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялась научно-теоретическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова. Конференцию подготовили Институт русской литературы, Научный совет по истории общественной мысли АН СССР, Ленинградская писательская организация, Университет им. А. А. Жданова, Институт культуры им. Н. К. Крупской, Педагогический институт им. А. И. Герцена.

Открыл заседание директор Института русской литературы доктор филол. наук А. Н. Иезуитов. Он охарактеризовал положение, которое занимал Добролюбов в жизни русского общества, особо остановившись на значении наследия критика в наши дни. Докладчик подчеркнул: русский революционный демократизм, вопреки клеветническим утверждениям наших идейных противников, что он будто бы является сугубо национальным, местным образованием, выступает на самом деле как типологически сопоставимый этап всемирно-исторического процесса развития революционной мысли. И это принципиально важно в условиях современной идеологической борьбы, когда русский революционный национально-исторический опыт и его литературно-эстетическая значимость всячески принижаются и обесцениваются врагами мира и социального прогресса. В. И. Ленин типологически сопоставлял русское просветительство 60-х годов XIX века с французским и шире — европейским просвещением XVIII века, подчеркивая этим всевропейскую значимость и одновременно национально-историческое своеобразие русского революционного просветительства. Именно революционный демократизм явился закономерным этапом на пути передовой русской общественной мысли к марксизму.

А. Н. Иезуитов остановился на про-

блеме: Ленин и Добролюбов. Ведь известно, что педагогические и литературно-эстетические идеи Добролюбова оказали заметное влияние на духовное формирование Ленина. Активным сторонником педагогических принципов Добролюбова являлся И. Н. Ульянов, применявший их к воспитанию своих детей. Вспоминая о том, как он пришел к учению Маркса, Ленин специально говорил о воздействии Добролюбова: «Две его статьи — одна о романе Гончарова „Обломов“, другая о романе Тургенева „Накануне“ — ударили как молния. Я, конечно, и до этого читал „Накануне“, но вещь была прочитана рано, и я отнесся к ней по-ребячески. Добролюбов выбил из меня такой подход. Это произведение, как и „Обломов“, я вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова. Из разбора „Обломов“ он сделал ключ, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа „Накануне“ настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается. Вот как нужно писать!»<sup>1</sup> Эта ленинская оценка идейно-эстетической действительности литературно-критических статей Добролюбова, подчеркнул докладчик, сохраняет свою принципиальную значимость и в наши дни. Мы часто встречаемся сейчас по меньшей мере с удивительными вещами. Так, например, в кино нас всерьез убеждают, что Обломов — это истинно положительный герой, крайне нужный нашему времени как образец нравственной чистоты, а со сцены и в некоторых книгах уверяют, что «темное царство» — это истинный оплот национальной гармонии и исконно народной нравственности. Все это, как отметил А. Н. Иезуитов, находится в вопиющем противоречии прежде всего с самим Добролюбовым и с писательски-

<sup>1</sup> В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1976, с. 650.

ми замыслами. Глубоки и пронизательны суждения Добролюбова о назначении и общественном смысле литературы, сказал в заключение докладчик. Они помогают нам точнее определить и яснее охарактеризовать задачи литературного творчества и на современном этапе нашего социального развития.

С докладом «Революционный демократизм Н. А. Добролюбова, материалистическая традиция в России и современность» выступил член-корр. АН СССР М. Т. Иовчук. Он остановился на некоторых вопросах, связанных с историей науки, материалистической диалектики, и проблемах современной идеологической борьбы. Докладчик подчеркнул, что В. И. Ленин придавал огромное значение наследию русских революционных демократов в условиях победившей революции. В этой преемственной связи — вклад нашей страны в дело борьбы за культуру, за жизнь на земле. Добролюбов — это представитель передового круга людей, революционеров, которые в условиях революционной ситуации смогли сказать новое слово новым людям. Они продолжили традиции социалистов-утопистов, Герцена и Беллинского. Все надежды Добролюбова были связаны с литературой, с литературной критикой, отметил исследователь. Именно в этой сфере наиболее полно проявились философские и социологические воззрения русских революционеров.

Докладчик проследил развитие материалистической традиции в России, начиная с Киевской Руси; эту традицию продолжил Ломоносов, Радищев слил ее с революционными исканиями. В. И. Ленин отмечал, что материалистическая традиция была присуща передовой русской общественной мысли. М. Т. Иовчук выступил против рассмотрения русской философской мысли как подражательной, против утверждения, что Добролюбов черпал свои идеи из сочинений Бюхнера, Фохта и Молешотта. Сведение мышления революционных демократов к вульгарному материализму долго не было преодолено в нашей науке. В настоящее время усилиями ряда философов ярко показано то новое, что внесли наши революционные демократы в материалистическую диалектику. Многие ученые также успешно занимаются вопросами современной идеологической борьбы, которая ведется вокруг наследия революционной демократии. М. Т. Иовчук отметил антиисторизм такого рассмотрения роли общины, когда преувеличение ее значения объявляют заветом революционных демократов, при этом игнорируется опыт социалистических стран. Этот вопрос очень актуален сейчас для развивающихся государств. При создании обобщающего труда по истории русской философии необходимо показать взаимосвязи русской революционной демократии и революционной демократии в странах Европы.

Нам сейчас нельзя забывать о наших

духовных ценностях, сказал в заключение М. Т. Иовчук. Ведь речь идет о воспитании человека труда, свободного от обломовщины, о воспитании в нем высокой духовности, без которой не может быть нового человека коммунистического общества.

Член-корр. АН СССР П. А. Николаев в докладе «Н. А. Добролюбов и русская литература» отметил, что критический метод великого революционного демократа заслужил самую высокую оценку В. И. Ленина. Исследователь подчеркнул переключку педагогических идей Добролюбова с современной концепцией социального формирования молодого поколения. Великий критик был убежден, что главная забота учителя должна состоять не только в подготовке хорошего специалиста, а и в развитии «внутреннего» человека, готового к общественному подвигу. Многие идеи Добролюбова касались вопросов духовного и физического здоровья нации. Статья «Народное дело. Распространение обществ трезвости», например, излагала реальную программу борьбы против этого тяжелого общественного зла, объясняла его причины и одновременно внушала оптимизм относительно главного содержания духовной жизни народа. Здесь есть чему поучиться современной публицистике, подчеркнул П. А. Николаев.

Особенно велика заслуга Добролюбова в столкновении мировоззрения писателя, которое надо искать в живых образах, им созданных, теоретические же взгляды писателя, по мнению критика, не определяют сильной стороны мышления его и нередко являются заимствованными. В свете этого ясно, отметил докладчик, почему у крупных художников публицистический замысел часто в конечном итоге опровергался повествованием, художественный реализм доминировал над умозрительными доктринами. Как подчеркнул П. А. Николаев, эта теория очень близка к ленинским взглядам. В. И. Ленин иллюстрировал их примерами из произведений народнической публицистики и литературы, где правдивые картины жизни пореформенной русской деревни не совпадали с теоретическими иллюзиями их авторов. Таким образом, теоретические взгляды Добролюбова — один из источников ленинской эстетики и, по сути, ее составная часть, хотя в современной литературе имеется и резкое неприятие такого вывода. Как считает П. А. Николаев, это объективно означает отрицание национальных истоков ленинского учения об искусстве. В нынешних оценках текущей литературы также далеко не всегда присутствует озабоченность тем, к какому общему выводу относительно реального мира приводит читателя рассматриваемое произведение. Но только то искусство является реалистичным, какое разъясняет смысл бытия, помогает истинно, а не ложно судить о жизни.

Из литературы берутся аргументы

для «приговора» над жизнью, о социальном обновлении которой заботился Добролюбов. Революционная призывность статей критика об «Обломове» и «Накануне» возникла из анализа самих романов. Здесь действовал добролюбовский принцип «реальной критики», когда произведение понимается и как особое духовное образование, и как прямое отражение жизни, обеспечивающее справедливость того или иного суда над ней. Тургенев был не согласен с политическими выводами, сделанными на основе анализа «Накануне», но возразить по существу самого анализа он не мог: критик не отступил от романного текста, он лишь увидел в нем те «готовности», которые не захотел замечать автор. Слово «обломовщина» взято Добролюбовым из текста романа Гончарова. Прочтенные критиком «Обломова» были оригинальным и столь безупречным по аргументации, что не вызвало у Гончарова ни единого возражения. П. А. Николаев подчеркнул, что недавние критические новации относительно Обломова, которые возводят этику Ильича чуть ли не в ранг национального достоинства, — плод беззаботного отношения к художественному материалу, интерпретируемому вопреки тексту.

Как показал исследователь, теории реализма у Добролюбова не есть свод нормативных эстетических правил, прилагаемых к искусству извне, из сферы понятийных абстракций. Его критический метод потому универсален, что в нем слито воедино: история, теория, анализ. Если нельзя понять мотивы поведения героев, не следует торопиться с заявлением о реализме этого произведения. В современных же критических обзорах, как отметил П. А. Николаев, или понятие реализма вообще не упоминается, или все без разбора объявляется реалистическим искусством. Это происходит из-за ослабления связей между теорией и критикой, поэтому уроки Добролюбова чрезвычайно важны.

Докладчик считает несостоятельными попытки пересмотреть учение Ленина о «двух культурах», противопоставив ему более позднее ленинское высказывание о необходимости овладеть «знаниями всех тех богатств, которые выработало человечество». К «богатствам», подчеркнул П. А. Николаев, относится только то, что отражает демократический дух мировой культуры. Как говорил Ленин, есть культура Чернышевского и культура Пуришкевича. Широкий массовый читатель из пролетарского сословия хотел своей художественной культуры. Отражением этой новой духовной потребности явилось ленинское учение о партийности искусства и литературы. Одной из его опор была эстетика русских революционных демократов, в том числе добролюбовская теория искусства и его «реальная критика», сказал в заключение П. А. Николаев.

Со «Словом писателя» о Н. А. Добро-

любова выступил первый секретарь Ленинградской писательской организации А. Н. Чепуров. Он подчеркнул, что именно сегодня, когда мы изучаем партийные документы последнего времени, ощущаем коренную перестройку жизни, участвуя в ней на новом витке исторического развития, мы отчетливо видим, сколь значителен вклад русских революционных демократов, давших мощный толчок русской критической мысли. Главное и вечно актуальное в литературном наследии Добролюбова — это то, о чем мы не устаем говорить сегодня, то, что является непреложным требованием к каждому писателю, — его идейно-творческая позиция. Поэтому кто является героем произведения, какую цель преследует автор, создавая его, какова социальная значимость этого героя — вот вопросы, которые вечно будут волновать и самого художника, и его широкую аудиторию. Классика не стареет. И в нашу эпоху крупных исторических свершений нужен подлинный герой, как нужен он был в эпоху Добролюбова, в эпоху поворота общественного сознания на новый путь. И главным, отличавшим «новых людей» была принадлежность к великому делу, ставшему для них, по словам критика, жизненной необходимостью.

Добролюбовская критика заряжает нас гражданским мужеством и принципиальностью, отметил А. Н. Чепуров. Сегодня с трибун писательских конференций, в многочисленных выступлениях печати, наконец, в партийных документах говорится, что наша критика полчас грешит излишней комплиментарностью, а иногда и просто проходит мимо достойных внимания общественных, талантливых произведений. Заветом великого критика было требование сблизить литературу с жизнью, тщательно и строго воспитывать гражданский талант, готовить людей к гражданской деятельности. Добролюбов приветствовал тех писателей, которые всей силой своего пера обрушивались на либеральных болтунов, подчеркивали никчемность и бесплодность бездеятельной жизни. Зная могущество слова писательской правды, Добролюбов требовал от литератора глубокого знания «фактов нашей родной жизни», мужества в искусстве. А. Н. Чепуров подчеркнул единство наших современных и добролюбовских требований к писателю. В статье о романе И. С. Тургенева «Накануне» великий критик писал о внутренних врагах, для борьбы с которыми необходимо героизм и мужество. А разве сегодня взяточничество, чиновничьи гонимые, раслабленность, разбазаривание народного достояния, прекраснотупые и самоуспокоенность не являются нашими внутренними врагами? Герой наших литературных произведений должен обладать принципиальностью убеждений, решимостью вести борьбу за выдвинутые партией задачи, глубокой верой в конечную победу, сказал в заключение А. Н. Чепуров.

Доклад доктора философ. наук А. И. Новикова был посвящен проблеме «Наследие Н. А. Добролюбова и современная идеологическая борьба». Исследователь отметил, что идейное наследие великого мыслителя вот уже более столетия является объектом острой идеологической борьбы, далеко выходящей за рамки специальных историко-философских, историко-социальных и эстетических проблем. Революционные демократы были непосредственными предшественниками русской социал-демократии. Поэтому фальсификация их идей выступает составным элементом практически любой антимарксистской, антикоммунистической концепции. В современных условиях фальсификация идейного наследия Добролюбова искажает пред историю марксизма в России, создает ложную модель истории русской общественной мысли и подкрепляет несостоятельную, но распространенную в современной буржуазной и ревизионистской идеологии концепцию локализации ленинизма, трактовку его как не интернационального, а чисто российского явления. Учет всех этих обстоятельств особенно повышает актуальность как исследования учения и роли Добролюбова в истории не только всероссийской, но и мировой общественной мысли, так и критики концепций, извращающих это учение, подчеркнул А. И. Новиков.

С докладом «Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский (типологический анализ)» выступил доктор филол. наук Б. Ф. Егоров.<sup>2</sup>

Социально-этические взгляды Добролюбова были проанализированы в докладе канд. философ. наук В. С. Никоенко. Исследователь подчеркнул, что этические проблемы рассматривались в трудах великого критика в контексте идей социальных. В основе этических воззрений Добролюбова лежала материалистическая философия, в центре которой был антропологический принцип. Добролюбов, как и его учитель Н. Г. Чернышевский, воспринял и развил философию В. Г. Беллинского и Л. Фейербаха. Фактически в трудах русских мыслителей возникла материалистическая философия нового типа.

Сравнительный анализ этических взглядов Л. Фейербаха и Добролюбова показывает, как убедительно доказал В. С. Никоенко, что русский мыслитель значительно шире, чем Фейербах, трактовал основные философские понятия. Они имели у Добролюбова богатое социальное содержание, охватывали не только мораль, но и экономические, социальные и политические отношения. Нравственное несовершенство личности Добролюбов объяснял существующими общественными условиями. Русский мыслитель преодолевал односторонность просветительской точки зрения на мо-

раль тем, что в основу ее изменений он положил борьбу классов, борьбу за удовлетворение «естественных» стремлений трудящихся классов. Опираясь на материализм и диалектику, в основном определив социальную сущность философских теорий, Добролюбов считал «естественным» счастьем человека счастье человека труда, выражающееся в возможности удовлетворять материальные и духовные потребности человека в целях гармоничного развития общества. Он резко критиковал буржуазную мораль, полагая, что предоставление трудящимся формального права на счастье без предоставления экономических, социальных прав служит прикрытием для эксплуатации трудящихся буржуазией. Буржуазной морали Добролюбов противопоставил мораль «разумного эгоизма» передовых людей. В этой концепции не было места индивидуализму и буржуазному утилитаризму. Нравственное удовлетворение, получаемое личностью, по мысли великого критика, предполагает деятельность в пользу общественных интересов.

Этика Добролюбова, подчеркнул В. С. Никоенко, имела революционно-действенный характер, она была соединена с борьбой за идеалы социализма. Ее действительный характер проявился в той роли, которую играла она в формировании положительного идеала русской литературы. Действенность этики Добролюбова выразилась в том, что ее принципы были результатом обобщения деятельности передовых людей России того времени — Беллинского, Герцена, Станкевича, Чернышевского, жизни народных масс. В силу своей революционной направленности и практического характера данная этика была реализована в жизненной позиции самого Добролюбова, русских революционеров-демократов. Именно в таком виде, заключил докладчик, она содействовала воспитанию последующих поколений русских революционеров.

Доклад доктора филол. наук Л. И. Емельянова был посвящен деятельности Н. А. Добролюбова как литературного критика. Исследователь отметил, что нет ни одной сферы литературной науки и критики, в которых идеи и принципы Добролюбова до сих пор не осознавались бы как одни из основополагающих. Его можно назвать прежде всего литературным критиком, но в то же время и выдающимся историком литературы, потому что его конкретные разборы и оценки, ориентировавшие его современников в текущем литературном процессе, и сегодня для нас являются исходными, представляя собой редкий пример полнейшего единства критики и литературоведения.

Л. И. Емельянов подчеркнул, что и в области теории литературы труды Добролюбова сохраняют непреходящее значение. Специфика художественного творчества, его социология и психология.

<sup>2</sup> Текст доклада опубликован во 2-м номере журнала за 1986 год.

принципы идейно-художественного анализа литературных произведений, вопросы мастерства — все эти проблемы, имеющие первостепенное значение в любую эпоху, были разработаны Добролюбовым с исключительной глубиной и последовательностью. Четко сформулированная и всесторонне обоснованная им система принципов «реальной критики» прочно вошла в методологический арсенал отечественной литературной критики. Важнейшую сторону взаимоотношений литературы и общества Добролюбов видит в том, что литература есть выражение общества, причем такое выражение, за характер которого ответственно прежде всего само общество. Ставя литературу и общественную жизнь в столь определенную связь, Добролюбов тем самым обосновывает принципиальную возможность рассматривать литературу как показатель состояния общества, как своего рода «сигнал» о его бедах и неурядицах. Призывом к активному социальному действию, к крутой ломке отживших социальных отношений — вот чем была добролюбовская «реальная критика» прежде всего, подчеркнул Л. И. Емельянов. Особая убедительность добролюбовских оценок и выводов заключалась в том, что его социологический анализ литературного произведения основывался на ясном и точном понимании специфики литературы, поэтому его выводы всегда были точным «социологическим эквивалентом» художественного произведения.

Исследователь подробно рассмотрел, что такое «правда» в понимании Добролюбова: это не только и не столько достоверность изображения, не просто «зеркальное» отражение явленной действительности; «правда» — это прежде всего полнота, всесторонность охвата предмета изображения, отражающая то объективное значение, какое предмет имеет в самой действительности. В выражении этой «правды», как считал Добролюбов, проявляется не только талант художника, но и его социально-философская объективность, которая тем выше

в художнике, чем органичнее его художественная интуиция дополняется широтой и объективностью его общих нравственно-социальных представлений. По мысли Добролюбова, право художника — требовать от критики, чтобы в анализе и оценке его произведения она не требовала от писателя других объяснений его идейной позиции, кроме тех, которые дает изображенная им картина. Но и у критики есть право — не принимать от художника никаких пояснений. Критик благодарит художника за само изображение и, учтя мнение художника, вытекающее из этого изображения, формулирует затем свое понимание изображенных явлений, ставя их в возможно более широкий социальный контекст. Таков был метод «реальной критики», позволивший гораздо полнее и конкретнее раскрыть взаимовлияние литературы и общественной жизни. Богатейшие возможности этого метода Добролюбов блестяще продемонстрировал в своих знаменитых статьях. Насколько действительной была «реальная критика» Добролюбова, насколько велико было ее воздействие на читателей, свидетельствуют отзывы многих его современников. На примере Н. А. Добролюбова, подчеркнул Л. И. Емельянов, мы учимся самому главному — методологии литературно-критического анализа, логике правильных социально-эстетических умозаключений.

Закрывая конференцию, А. Н. Иезутов сказал, что она явилась первым звеном в цепи юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Н. А. Добролюбова. По материалам конференции Институтом русской литературы будет издан сборник статей «Н. А. Добролюбов. Эстетика. Литература. Критика».

В Литературном музее Пушкинского Дома была организована выставка, посвященная выдающемуся критику.

Участники конференции возложили венок на могилу Н. А. Добролюбова на Волковом кладбище.

*А. К. Михайлова*



#### ОТ РЕДАКЦИИ

В № 1 журнала «Русская литература» 1986 года была опубликована статья «Из переписки ленинградских писателей периода Великой Отечественной войны» (публикация В. В. Базанова, В. А. Прокофьева, В. И. Протченко). В этой статье на стр. 189 в сноске 68 по вине автора, готовившего письмо Н. С. Тихонова В. М. Саянову, к несмотру редакции допущена ошибка.

Упомянутое примечание следует читать: «Орлов Владимир Николаевич (1908—1985) — критик и литературовед, исследователь творчества Блока».

Редакция приносит свои извинения читателям.

## НОВЫЕ КНИГИ

- Алексеев М. П. Русская культура и романский мир. Избр. труды [Отв. ред. Ю. Б. Вишпер, П. Р. Заборов]. Л., «Наука», 1985. 542 с. (АН СССР. Отделение лит-ры и языка).
- Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. Факс. воспроизведение 1-го т. Собр. соч. А. С. Пушкина (Материалы для биографии). Изд. П. В. Анненкова. 1855 г. М., «Книга», 1985. 489 с.
- Античная культура и современная наука. [Сб. ст., посвящ. А. Ф. Лосеву. Редколлегия: Б. Б. Пиотровский (пред.) и др.]. М., «Наука», 1985. 344 с.
- Астафуров В. И. М. В. Ломоносов. Книга для учащихся. М., «Просвещение», 1985. 145 с.
- Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии. [Сборник. Сост., вступ. ст. и коммент. В. Кошелева]. М., «Современник», 1985. 408 с.
- Бердников Г. П. Над страницами русской классики. М., «Современник», 1985. 415 с.
- Берковский Н. Я. О русской литературе. Сб. статей. Л., «Худож. лит-ра», 1985. 383 с.
- Болдинские чтения. 1984. [Материалы]. Горький, Волго-Вятское книжное изд-во, 1985. 191 с. (Музей-заповедник А. С. Пушкина в с. Болдино. Горьковский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского).
- Бэлаз И. Ф. Исторические судьбы романтизма и музыки. Очерки. М., «Музыка», 1985. 255 с.
- Волков И. Ф. Литература как вид художественного творчества. Книга для учителя. М., «Просвещение», 1985. 192 с.
- Вопросы историзма и реализма в русской литературе XIX—начала XX века. [Сб. статей. Редколлегия: Г. П. Макогоненко (отв. ред.) и др.]. Л., Изд-во ЛГУ, 1985. 193 с.
- Герцен — мыслитель, писатель, борец. [Материалы конф. 6—7 апр. 1982 г. Редколлегия: С. Д. Гурвич-Лишнер и др.]. М., Лит. музей, 1985. 154 с.
- Гин М. М. Достоевский и Некрасов. Два мировоззрения. Петрозаводск, «Карелия», 1985. 184 с.
- Гнутов В. П. Поэт в краю степей необозримых. Рассказы-эссе о пребывании А. С. Пушкина на Дону. Ростов н/Д, Книжное изд-во, 1985. 62 с.
- Гордин М. А. Жизнь Ивана Крылова. [Вступ. ст. А. Арьева]. М., «Книга», 1985. 283 с. (Писатели о писателях).
- Грановская Н. И. Всесоюзный музей А. С. Пушкина. Очерк-путеводитель. Л., Лениздат, 1985. 208 с.
- Григорьева А. Д., Иванова Н. Н. Язык поэзии XIX—XX вв. Фет. Современ. лирика. Отв. ред. А. И. Горшков. М., «Наука», 1985. 231 с. (АН СССР, Ин-т русского языка).
- Дерюгин А. А. В. К. Треднаковский-переводчик. Становление классицист. перевода в России. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1985. 191 с.
- Дмитренко Н. К. А. А. Потебня — собиратель и исследователь фольклора. К 150-летию со дня рождения. Киев, о-во «Знание» УССР, 1985. 49 с.
- Долинина Н. Г. Прочитаем «Онегина» вместе; Печорин и наше время. Эссе. [Для сред. и ст. шк. возраста. Предисл. Н. Неуйминой]. Л., «Детская лит-ра», 1985. 335 с.
- Енишерлов В. П. В те баснословные года... Лит. очерки. М., «Правда», 1985. 48 с.
- Жанры в историко-литературном процессе. [Межвуз. сб. науч. трудов. Под ред. В. В. Гуры]. Вологда, Вологодский ГПИ. 1985. 152 с.
- Живой родник. Дон. загадки, пословицы и поговорки, собранные С. Н. Земцовым. Волгоград, Нижне-Волжское книжное изд-во, 1985. 128 с.
- Земля трудом богата. Пословицы, поговорки, крылатые выражения о сельском хозяйстве и крестьянском труде. Народные приметы. Ростов н/Д, Книжное изд-во, 1985. 191 с.
- Историко-литературная экспозиция. Принципы научного построения. [Сб. науч. трудов. Отв. ред. Н. В. Шахалова]. М., ГИИ, 1984 (вып. дан. 1985). 110 с.
- Кишкин Л. С. Чехословацкие находки. Из зарубежной пушкинианы. М., «Сов. Россия», 1985. 219 с.
- Козлов Н. С. Лев Толстой как мыслитель и гуманист. М., Изд-во МГУ, 1985. 136 с.
- Козлова Л. П., Камчатова Т. В. Жил труженик с высокою душой. Докум. очерк [о жизни В. Г. Беллинского в Петербурге. Для сред. и ст. шк. возраста]. Л., «Детская лит-ра», 1985. 128 с.
- Коробков Г. Я. Когда казаки поют. Записки о донском народном творчестве. Волгоград, Нижне-Волжское книжное изд-во, 1985. 128 с.
- Кошелев В. А. Вологодские давности. Лит.-краевед. очерки. Архангельск; Вологда, Северо-Западное книжное изд-во, 1985. 223 с.
- Культурно-бытовые процессы у русских Сибири XVIII—начала XIX в. [Сб. ст. Отв. ред. Л. М. Русакова, Н. А. Миненко]. Новосибирск, «Наука», 1985. 237 с.
- Курилов А. С. Виссарион Белинский (175 лет со дня рождения). М., «Знание», 1985. 64 с.
- Ласунский О. Г. Литературно-общественное движение в русской провинции. [Воронежский край в эпоху Чернышевского]. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1985. 211 с.

- Лебедев Е. П. Тризна. Книга о Е. А. Боратынском. М., «Современник», 1985. 301 с. (Б-ка «Любителям российской словесности»).
- Левин Ю. Д. Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода. Отв. ред. А. В. Федоров. Л., «Наука», 1985. 299 с. (Инт русской лит-ры).
- Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Статьи и очерки. Л., «Наука», 1985. (Наука. Мировоззрение. Жизнь).
- Мельников М. Н. Поиски сокровищ. Записки фольклориста. Новосибирск, Запдно-Сибирское книжное изд-во, 1985. 176 с.
- Милонов Н. А. Литературное краеведение. [Учеб. пособие для пед. ин-тов..] М., «Просвещение», 1985. 192 с.
- Невелев Г. А. «Истина сильнее царя...» (А. С. Пушкин в работе над историей декабристов). М., «Мысль», 1985. 205 с.
- Николаев Д. П. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Очерк. [Для ст. возраста]. М., «Детская литература», 1985. 222 с.
- Осват А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальную повесть сохранить...» Об авт. и читателях «Медного всадника». М., «Книга», 1985. 303 с.
- Памятники литературы Древней Руси, середина XVI в. [Сборник. Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. Вступ. ст. Д. С. Лихачева]. М., «Худож. лит-ра», 1985. 625 с.
- Петенева З. М. Язык и стиль русских былин. Львов, «Вища школа», 1985. 209 с.
- Пинегина Л. А. «Праздничная энергия масс...» (Худож. творчество рабочих 20-х гг.). М., «Знание», 1985. 64 с.
- Померанцева Э. В. Русская устная проза. [Учебное пособие по спецкурсу для пед. ин-тов.. Сост. В. Г. Смолицкий]. М., «Просвещение», 1985. 271 с.
- А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. [Сост. и примеч. В. Э. Вацуро и др. Вступ. статья В. Э. Вацуро]. М., «Худож. лит-ра», 1985. (Серия лит. мемуаров). Т. I — 543 с.; т. II — 575 с.
- Рифей. Уральский лит.-краеведческий сборник. Челябинск, Южно-Уральское книжное изд-во, 1985. 236 с.
- Ромодановская Е. К. Повести о гордом царе в рукописной традиции XVII—XIX веков. [Отв. ред. Л. А. Дмитриев]. Новосибирск, «Наука», 1985. 383 с.
- Русская литература. [Тезисы докладов конф. по гуманитар. и естеств. наукам Студ. науч. общества Тартуского гос. ун-та]. Тарту, ТГУ, 1985. 32 с.
- Русская литература 1870—1890 годов. Литература и философия. [Сб. науч. трудов. Редколлегия: Г. К. Щенников (отв. ред.) и др.]. Свердловск, УрГУ, 1984. 144 с.
- Саратовские друзья Чернышевского. [Сборник. Под общ. ред. И. В. Пороха]. Саратов, Приволжское книжное изд-во, 1985. 112 с.
- Скатов Н. Н. Литературные очерки. М., «Современник», 1985. 366 с.
- Старкова З. С. Литература и живопись. Книга для учащихся. М., «Просвещение», 1985. 112 с.
- «... Таганрог я не минуя». Чехов в Таганроге. [Авт. текста и сост. Е. П. Копоплева и др. Послесл. В. Я. Лакшина]. Ростов н/Д, Книжное изд-во, 1985. 223 с.
- Теория и история литературы. (К 100-летию со дня рождения акад. А. И. Белецкого). [Сб. ст. Отв. ред. и автор предисл. Н. Е. Крутикова]. Киев, «Наукова думка», 1985. 325 с.
- Усенко П. Г. Идеиное единство русских, украинских и польских революционеров-демократов (50—60-е гг. XIX в.). Киев, «Наукова думка», 1985. 124 с.
- Щеблыкин И. П. История русской литературы (XI—XIX вв.). [Учеб. для пед. ин-тов по педфил. спец.]. М., «Высшая школа», 1985. 511 с.
- Абдуллаева Г. Ш. Тема труда в произведениях русской и узбекской прозы 60—70-х годов (Типол. аспекты). Ташкент, Фац, 1985. 119 с.
- Агаян Г. З. А. Фадеев и армянская литература. Ереван, Изд-во Ереванского ун-та, 1985. 145 с.
- Актуальные проблемы современного литературного процесса. [Реф. сб. Ред.-сост. Е. С. Померанцева]. М., ИНИОН, 1985. 233 с.
- Александрян Е. А. Движение литературы. Статьи. Ереван, «Советакан грох», 1985. 298 с.
- Алешкин А. В. Эпос дружбы. (Типология жанра поэмы в лит-ре народов Поволжья). Саранск, Мордовское книжное изд-во, 1985. 183 с.
- Библиография художественной литературы и литературоведения. [Учеб. для ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов. Под ред. С. А. Трубникова]. М., «Книга», 1985. 335 с.
- Васильев Л. Г. Всегда вместе. Лит. портреты, статьи, заметки. Саранск, Мордовское книжное изд-во, 1985. 126 с.
- Великая Отечественная война в советской литературе. [Межвуз. сб. науч. трудов. Отв. ред. С. И. Шешуков]. М., МГПИ, 1985. 154 с. (Московский гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина).
- Горланов Г. Е. Николай Почивалин. Критико-биограф. очерк. Саратов; Пенза, Приволжское книжное изд-во, 1985. 167 с.
- Горн В. Ф. Наш сын и брат. Проблемы и герои прозы В. Шукшина. Барнаул, Алтайское книжное изд-во, 1985. 208 с.
- Горшенин А. В. Требуется лидер. Лит.-критич. статья. Новосибирск, Запдно-Сибирское книжное изд-во. 1985. 132 с.



- Громов Е. С. Комедии и только комедии. О драматурге Э. Брагинском. М., Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1985. 127 с.
- Константин Гусев. Непубликованное. Из эпистоляр. наследия. Воспоминания. [Сборник. Сост. Л. П. Гусева, О. Г. Ласунский. Предисл. О. Ласунского]. Воронеж, Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1985. 223 с.
- Дедков И. А. Сергей Залыгин. Страницы жизни, страницы творчества. М., «Современник», 1985. 431 с. (Лит. портреты).
- Дементьев В. В. Звездный путь. Поэзия Горного Алтая и др. сиб. народов: прошлое и настоящее. Горно-Алтайск, Алтайское книжное изд-во, 1985. 175 с.
- Сергей Есенин. Воспоминания родных. [Сост. Т. Флор и др.]. М., «Московский рабочий», 1985. 157 с.
- Сергей Есенин. Проблемы творчества. [Сборник. Вып. 2. Сост. П. Ф. Юшин, О. И. Юшина]. М., «Современник», 1985. 240 с.
- Жанрово-стилевые проблемы советской литературы. [Сб. науч. трудов. Редколлегия: А. В. Огнев (отв. ред.) и др.]. Калинин, КГУ, 1985. 134 с.
- Жизнь и творчество Николая Носова. [Сборник. Сост. С. Миримский]. М., «Детская лит-ра», 1985. 256 с.
- Жирков А. В. М. В. Фрунзе и художественная литература. К 100-летию со дня рождения М. В. Фрунзе. Фрунзе, «Кыргызстан», 1985. 23 с.
- Журавлев С. И. Подвиг, воскрешенный в слове. Лит. критика. М., «Молодая гвардия», 1985. 128 с.
- Закономерности новописанных литератур и проблемы социалистического реализма. [Материалы конф. 1980 г. Редколлегия: Г. И. Ломидзе (отв. ред.) и др.]. Фрунзе, «Илим», 1985. 263 с. (Ин-т мировой лит-ры, АН КиргССР, Ин-т яз. и лит-ры).
- Земля и на ней человек. Лит.-критич. статьи. Саратов, Приволжское книжное изд-во, 1985. 114 с.
- Исаев Е. А. Чувство глагола. (Кн. ст. и размышлений). М., «Современник», 1985. 336 с.
- Исенов А. Х. Психологизм современной прозы. На материалах творчества Ч. Айтматова. Алма-Ата, «Жазушы», 1985. 120 с.
- Исследования по стилистике художественной речи. [Сборник. Редколлегия: Х. М. Сайкыев (науч. ред.) и др.]. Алма-Ата, КазГУ, 1984. 177 с.
- Кассиль Л. А. Увидеть будущее. [Сб. статей о воспитании и о детской литературе. Сост. Е. А. Таратута. Вступ. ст. С. Михалкова]. М., «Педагогика», 1985. 191 с.
- Коваленко Р. М. Анатолий Ананьев. Страницы жизни, страницы творчества. М., «Современник», 1985. 413 с. (Лит. портреты).
- Коваленко С. А. Сергей Алексеев. [Для ст. шк. возраста]. М., «Сов. Россия», 1985. 143 с. (Писатели Сов. России).
- Ковский В. Е. Пафос гуманизма. Современ. сов. лит-ра и духовный мир личности. М., «Знание», 1985. 127 с.
- Крившенко С. Ф. Героика освоения и социалистического преобразования Дальнего Востока в русской и советской литературе. Владивосток, Изд-во Дальневосточного ун-та, 1985. 207 с.
- Кузин Н. Г. В мире самого трудного. [Статьи. Портреты. Заметки о книгах]. М., «Современник», 1985. 319 с.
- Леонов Б. А. Вадим Кожевников. Очерк жизни и творчества. М., «Худож. лит-ра», 1985. 255 с. (Сов. писатели — Герои Соц. Труда).
- Литвинов В. М. Проза-1984. М., «Знание», 1985. 64 с.
- Литературный вечер «Сергей Есенин». К 90-летию со дня рождения. [Сборник. Сост. Ю. М. Ильчук]. М., «Искусство», 1985. 141 с.
- Луначарский А. В. О детской литературе, детском и юношеском чтении. Избранное. [Сост., автор вступ. статьи и коммент. Н. Б. Медведева]. М., «Детская лит-ра», 1985. 223 с.
- Махалов В. В. Поэт Василий Федоров. Кемерово, Книжное изд-во, 1985. 23 с.
- В. В. Маяковский и советская поэзия. (Творч. связи, традиции и новаторство). Межвуз. сб. науч. трудов. [Отв. ред. В. П. Раков]. М., МГПИ, 1985. 123 с.
- Маяковский и современность. [Сб. статей. Отв. ред. А. М. Ушаков]. М., «Наука», 1985. 192 с.
- Международный съезд славистов, 9-й. Киев, 1983. Науч.-информ. материалы. [Отв. ред. Г. В. Степанов]. М., «Наука», 1985. 247 с.
- Методологические проблемы изучения советской литературы. Пособие по спецкурсу. [Сб. статей, ч. 1. Редколлегия: Я. И. Явчуновский (отв. ред.) и др.]. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1985. 104 с.
- Мир современной драмы. [Сб. науч. трудов. Отв. ред. и сост. Е. С. Калмановский]. Л., ЛГИТМИК, 1985. 135 с.
- Михалков Б. Д. Проблемы героического. Пер. с болг. Л. Шикиной. М., Воениздат, 1985. 144 с.
- Мой край, задумчивый и нежный! Сергей Есенин в Константинове. [Фотоальбом. Авт.-сост. К. П. Воронцов]. М., «Сов. Россия», 1985. 127 с.
- Москва литературная. Критики столицы о новой и старой моск. лит. [Сборник. Сост. В. Гусев]. М., «Московский рабочий», 1985. 270 с.
- Неводов Ю. Б. Советская героическая драма 20-х годов. (Проблематика, структура, жанр). Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1985. 157 с.

- Пантелеева Е. М. Стилистика художественного текста. (Учеб. пособие по спецсеминару). Томск, Изд-во Томского ун-та, 1985. 166 с.
- Поэтика русской советской прозы. Межвуз. науч. сб. [Редколлегия: В. С. Шищенко (отв. ред.) и др.]. Уфа, БГУ, 1985. 159 с.
- Прокушев Ю. Л. Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха. М., «Современник», 1985. 433 с.
- Путнин Ф. В. и др. Дом-музей С. Н. Сергеева-Ценского. Путеводитель. Симферополь, «Таврия», 1985. 78 с. (Музеи Крыма).
- Пьяных М. Ф. Поэзия Александра Межирова. Л., «Сов. писатель», 1985. 208 с.
- Рацкая Ц. С. Музыка в жизни и творчестве А. М. Горького. М., «Музыка», 1985. 63 с.
- Руденко-Десняк А. А. Комментарий к счастливой судьбе. О творчестве Н. Думбадзе. М., «Сов. писатель», 1985. 304 с.
- Сабирова Р. М. Роль русской литературы в утверждении новых традиций в узбекской советской прозе. Ташкент, Фан, 1985. 176 с. (АН УзССР, Ин-т яз. и лит-ры им. А. С. Пушкина).
- Селезнев Ю. И. Златая цепь. [Критич. статьи]. М., «Современник», 1985. 415 с.
- Сиволов Б. М. Валерий Брюсов и передовая русская литература его времени. Харьков, «Вища школа», 1985. 135 с.
- Скороспелова Е. Б. Русская советская проза 20—30-х годов: судьбы романа. М., Изд-во МГУ, 1985. 263 с.
- Соотношение жанра и композиции. Межвуз. сб. науч. трудов. [Редколлегия: П. Е. Глинкин (отв. ред.) и др.]. Калининград, КГУ, 1985. 128 с.
- Социалистический реализм и проблемы развития советской многонациональной литературы. [Тезисы докладов респ. науч.-теорет. конф. (ноябрь 1984 г.). Редколлегия: С. Г. Асадуллаев (отв. ред.) и др.]. Баку, АзГУ, 1984. 175 с.
- Специфика жанров в литературах Центральной и Восточной Азии. Современность и классическое наследие. [Сборник. Редколлегия: С. Ю. Неклюдов (отв. ред.) и др.]. М., «Наука», 1985. 261 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Сравнительно-историческое изучение и теоретические вопросы развития современных литератур. [Сб. статей. Редколлегия: Ю. В. Богданов и др.]. М., «Наука», 1985. 295 с.
- Твардовский А. Т. Письма о литературе, 1930—1970. [Сост. М. И. Твардовская, Предисловия А. Туркова, М. И. Твардовской]. М., «Сов. писатель», 1985. 511 с.
- Творческое содружество (Интернац. характер лит-ры народов СССР, их взаимовлияние). [Сборник. Сост. Н. Н. Игрунова]. М., «Знание», 1985. 64 с.
- Творчество писателя и литературный процесс. (Д. А. Фурманов). [Межвуз. сб. науч. трудов. Редколлегия: П. В. Куприяновский (отв. ред.) и др.]. Иваново, ИвГУ, 1985. 150 с.
- А. Н. Толстой. Материалы и исследования. Отв. ред. А. М. Крюкова. М., «Наука», 1985. 528 с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Толченова Н. П. Сибирский характер: По страницам книг Г. Маркова. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное изд-во, 1985. 112 с.
- Трущенко Е. Ф. Социалистический реализм в современном мире. Позиции. Оценки. Размышления. М., «Сов. писатель», 1985. 382 с.
- Фольклорный театр народов СССР. [Сб. ст. Отв. ред. О. Н. Кайдалова]. М., «Наука», 1985. 247 с.
- Чагин А. П. Герой и время. (О герое соврем. сов. поэзии). М., «Знание», 1985. 63 с.
- Чернышева Т. А. Природа фантастики. Иркутск, Изд-во Иркутского ун-та, 1984 (вып. дан. 1985). 331 с.
- Шайтанов И. О. В содружестве светил. Поэзия Н. Асеева. М., «Сов. писатель», 1985. 398 с.
- Шапошников В. Н. Чтобы стать классиком. Лит.-критич. статьи. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное изд-во, 1985. 159 с.
- Шкляр В. И. Поэт и газета. Сов. стихотвор. публицистика: специфика, жанры, мастерство. Киев; Одесса, «Вища школа», 1985. 180 с.
- Шпрыгов Ю. М. Проза утреннего края. Лит.-критич. очерки. Магадан, Книжное изд-во, 1985. 102 с.
- Язикова Ю. С. Слово в языке А. М. Горького. Смысловая структура слова в семантико-стилист. системе писателя. Горький, Волго-Вятское книжное изд-во, 1985. 176 с. (Горьковский гос. пед. ин-т им. М. Горького).
- Боград В. Э. Журнал «Отечественные записки», 1839—1848. Указатель содержания. М., «Книга», 1985. 688 с. (Гос. публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).
- Завьялова В. П., Каминская Т. Б., Латышева В. И. Детская литература. Библиогр. указатель. [1974—1975]. М., «Детская лит-ра», 1985. 589 с.
- Инventарь инкунабулов. [Вып. 5. Сост. Н. П. Черкашина и др.]. М., ГБЛ, 1985. 96 с.
- Летопись периодических и продолжающихся изданий. [Гос. библиогр. указатель СССР, 1976—1980. В 2-х ч. Ч. 2. Газеты. Сост. Н. П. Митина]. М., «Книга», 1985. 496 с.
- Литература о М. Горьком. Библиогр. указатель, 1966—1970. [В 2-х ч. Сост. А. С. Морщикина и др.]. Л., БАН, 1985. Ч. 1—368 с. Ч. 2—235 с.

Сергей Павлович Зайцев. Библиограф. указатель по теме "Творчество Сергея Павловича Зайцева". [Сост. А. А. Зайцев и др. предмеч.]. М., ГИИЛ, 1981. 30 с.

Русская книга XX века в собрании Гос. биб-ки СССР им. В. И. Ленина. [Каталог]. Вып. 5. Прижизненные издания В. Я. Брюсова. Сост. Л. М. Ельницкая, Г. А. Сусликова]. М., ГБЛ, 1985. 89 с.

Константин Симонов. (К 76-летию со дня рождения, 1915—1979). Инструкт.-метод. письмо. [Сост. Л. С. Бутучел, М. С. Солтан]. Кишинев, ГБ МССР, 1985. 9 с. (Гос. биб-ка МССР им. Н. К. Крупской).

Словарь языка русских произведений Шевченко. В 2-х т. [Т. 1 А—О. Сост. В. М. Брицын и др.]. Киев, «Наукова думка», 1985. 754 с.

Н. Г. Чернышевский. Указатель лит-ры [1971—1981]. Сост. П. А. Супонидкая]. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1985. 175 с.

Технический редактор Г. А. Смирнова

Корректоры Г. А. Лебедева, И. А. Корзинина и О. В. Олендская

Сдано в набор 13.05.86. Подписано к печати 27.08.86. М-18237. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,40 + 0,17 вкл. Усл.-кр. отг. 23,61. Уч.-изд. л. 27,46. Тираж 11 606. Тип. зак. 429.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука», Ленинградское отделение  
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская линия, 1  
Редакция журн. Русская литература, тел. 218-16-01

Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая типография издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12